

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://pasternakboris.ru/> Приятного чтения!

Полное собрание сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак

СВОБОДНАЯ СУБЪЕКТИВНОСТЬ

Подъем, пережитый русской культурой в начале двадцатого столетия, был отмечен невиданной интенсивностью художественных экспериментов и быстротой и резкостью смены поэтических систем. Блок и Белый, Ахматова и Мандельштам, Маяковский и Хлебников, Цветаева и Пастернак – каждый на свой лад раскрыли неведомую прежде глубину человеческого сознания и богатства возможностей языка. Современникам недаром казалось, что лучшей поэзией в Европе в первую треть века была русская. Но место, доставшееся в этом ряду Пастернаку, обусловлено не просто новизной содержания и смелостью инноваций поэтической техники. Эти качества, столь ярко свойственные эпохе в целом, менее всего определяют особенность его роли в ней. Кажется, лучше всего уловил это сам Пастернак, когда в конце жизни говорил о «тайной побочной, никогда вначале не известной, всегда с опозданием распознаваемой силе, видимостью безусловности сковывающей произвол автора, без чего он запутался бы в безмерной свободе своих возможностей», и определил эту силу как «черту предвидения», которая и накладывает свою печать на «семейную хронику века»¹.

Многое в загадочных поэтических высказываниях и парадоксальных утверждениях Пастернака не понять без точного знания историко-литературной реальности его времени. Всю жизнь он сторонился политики, избегал власть предержащих, уклонялся от общественных почестей, стремясь замкнуться в труде. В стихотворении 1936 года «Мне по душе строптивый норов...» он дал портрет «артиста в силе»: «он отвык // От фраз, и прячется от взоров // И собственных стыдится книг». Но без его свидетельств невозможно понять эпоху и вынести о ней верное суждение.

¹ Письмо М. Г. Ватагину 15 декабря 1955 г.

Не # *

Своеобразные черты облика и поступки поэта были на всю жизнь predeterminedены обстоятельствами его происхождения и художественных дебютов. Отец, Леонид Осипович Пастернак, известный художник, преподавал в московском Училище живописи, ваяния и зодчества. Мать, Розалия Исидоровна, принадлежала к наиболее талантливым пианистам своего поколения; семейная жизнь заставила ее по-жертвовать начатой в раннем возрасте концертной карьерой. Борис вырос в семье, где ежедневное существование было насыщено проникнутой атмосферой искусства. Все дети – не только он сам, но и брат его, Александр, и две сестры, Жозефина и Лидия, – оказались «облученными» ею и каждый из них оставил неповторимо «пастернаковский» след в культурной жизни России. Представление о семье и детстве как основном и неисчерпаемом источнике творчества и непосредственных переживаний искусства глубоко осело в сознании будущего поэта. Пастернак с малых лет был не просто окружен картинами и рисунками, как видит их – застывшими в музейных рамах – публика, но мог погрузиться в наблюдение самого процесса создания этих произведений, в сопоставление разных стадий трансформации холста. Произведения музыки раскрывались перед ним в аналогичном процессе рождения, разучивания, упражнений, проб и счастливых находок, а не только в «готовом» виде с концертной эстрады.

Такое сгущенное присутствие искусства, воспринимаемого «изнутри», обогатило Бориса опытом, незнакомым большинству его сверстников. Подростком он испытал непреодолимую тягу к тем проявлениям творческой жизни, которые наблюдал дома. Стилистическое воздействие «беглых» набросков отца явственно ощущается в рисунках будущего поэта, сделанных в его гимназические годы. Но еще более захватывающим оказалось воздействие мира музыки. Услышанное дома в младенческом возрасте исполнение Трио Чайковского, на котором присутствовал Л. Н. Толстой, он воспринимал как одну из решающих вех в своем художественном «пробуждении». Огромным событием стало личное знакомство с А. Н. Скрябиным летом 1903 года, когда подросток увидел своего кумира в быту, в беседах с родителями, музицирующим и философствующим, в ходе работы над тем, что стало «Божественной симфонией».

Тем же летом Борис пережил катастрофу, ставшую для него дополнительным толчком к профессиональным занятиям музыкальной композицией. Вынужденное длительное неподвижное лежание в гипсе после падения с лошади обернулось для мальчика «внутренним» открытием явления ритма. До окончания гимназии и поступления в университет музыка была главным предметом его забот и занятий. Основы музыкальной грамоты он прошел с прекрасными музыкантами-учителями – сперва с Ю. Д. Энгелем, потом с Р. М. Глиэром.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас Зимой 1909 года Борис показал свои опусы Скрябину. Некоторые из них были обнаружены после смерти поэта и исполнены. Как ни скромны, быть может, их художественные достоинства, они не только подтверждают скрябинскую высокую оценку композиторского дарования юности, но и дают некоторое представление о направлении его творческих исканий в музыке. И замечательно, что, в то время как самая ранняя из сохранившихся пьес – Прелюдия фа-диез минор – неопровержимо свидетельствует о гипнотическом воздействии скрябинской музыкальной стилистики, другой, более поздний и более зрелый опыт – Соната си-бемоль минор, – столь же наглядно демонстрирует стремление к преодолению своей зависимости от кумира, поиски своего собственного творческого лица.

Вместе с тем уроки, вынесенные из жизни, в музыке вовсе не сошлись к овладению техническими навыками, законами и правилами музыкальной грамоты. Параллельно с этим шел другой, более существенный процесс анализа самих свойств музыкального высказывания, возможностей музыкального языка. Скрябин здесь служил примером не только в качестве композитора, но и в качестве мыслителя¹. И потому Борис сразу послушался его совета перейти с юридического факультета на занятия философией в университете.

Философские интересы современников Пастернака в то время были сосредоточены вокруг двух полюсов. Наиболее влиятельным было «неославянофильское» течение, погруженное в религиозно-философскую проблематику. Против него выступали «западники», требовавшие от философии строгой научности и отвергавшие попытки подчинения ее религиозным или общественным догмам. Философия была для них научным исследованием, а не мировоззренческой исповедью. Борьба лагерей выразилась в противостоянии двух философских антреприз в Москве: неославянофильского издательства «Путь», с одной стороны, и сборников «Логос» – с другой, сплотивших при символистском издательстве «Мусагет» русских последователей германского неокантианства.

Пастернак в университетские годы совершенно определенно и сознательно примкнул ко второму лагерю. Философия для него была в первую очередь теорией познания, ключом к пониманию исторического развития естественно-научной мысли. Обращение к ней казалось ему необходимым для обретения внутренней дисциплины мысли, подчинения ей художественного начала в себе. Подобно тому, как ранее его манило постижение особой «логики» музыкального языка, сейчас он с фанатическим рвением погрузился в изучение философской логики и

¹ Юргис Балтрушайтис говорил: «Скрябин не только музыкант, но и философ, и, может быть, больше философ, чем музыкант». См.: Алиса Коонен. Страницы жизни. М.: Искусство, 1975. С. 123.

логики научного знания. Сохранившиеся конспекты университетских лет показывают, сколько страсти и упорства он вложил в эти штудии и как резко отличается его отношение к ним от дилетантского философствования Скрябина, не умевшего (по свидетельству друзей) заставить себя прочитать какую бы то ни было книгу до конца. Гораздо более основательными они выглядят и по сравнению с писаниями Андрея Белого, увлекшегося в конце 1900-х годов вопросами гносеологии и искавшего в новейших трудах немецких неокантианцев выхода из теоретического тупика, в который зашла школа символизма. Стремление Пастернака «во всем дойти до самой сути» привело его весной 1911 года в лоно проблематики Марбургской философской школы, считавшейся одним из трех главных направлений европейской философии начала века.

Кульминацией этих занятий явилась поездка Бориса в Марбург в апреле-июле 1912 года. Он записался там в семинары всех трех ведущих преподавателей философской кафедры – Германа Когена, Пауля Наторпа и Николая Гартмана, книги которых прорабатывал еще в Москве. Наибольший подъем (который сам Борис называл «философской любовью», «эросом») вызвал в нем когеновский семинар по этике Канта, в котором он сделал два доклада¹. Его поразило при этом, что «в Марбурге не во всей чистоте (за немногими исключениями) понимают Марбургскую философию» (письмо А. Л. Штиху 8 июля 1912), и это привело его к намерению посвятить себя целиком изучению когеновской системы. Выступления Пастернака на семинаре произвели настолько сильное впечатление на Когена, что он рекомендовал Борису остаться в Германии для продолжения профессиональной философской карьеры. С живейшим интересом отнесся к идеям и планам Пастернака и любимиый ученик Когена Эрнст Кассирер, с которым они встретились на банкете, отмечавшем уход главы школы на пенсию. Отправляясь в Марбург, Борис не мог и мечтать о столь высокой оценке своих успехов в философии. Но, как и в случае с одобрением Скрябина, он вновь отказался от победы, как только она была одержана. В минуту высшего подъема и триумфа он решил пренебречь когеновским советом и порвать с философией: «Я докопался в идеализме до основания. У меня начата работа о законах мышления как о категории динамического предмета. <...> Боже, как успешна эта поездка в Марбург. Но я бросаю все; – искусство, и больше ничего»

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас (письмо А. Л. Штиху 11 июля 1912).

1 Материалы работы над марбургскими рефератами Пастернака помещены в издании: Lazar Fleishman, Hans-Bernd Harder, Sergej Dorzweler. Boris Pasternaks Lehrjahre. Неопубликованные философские конспекты и заметки Бориса Пастернака. Том II (Stanford, 1996) (Stanford Slavic Studies. Vol. 11:2).

Замечательно, что все пережитое накануне марбургской поездки и во время ее – томление по философской системе и разрыв с философской наукой – было «предсказано» Пастернаком за год до того в наброске статьи о Клейсте. Там он утверждал, что «когда в философскую школу вступает художник, он оказывается на предварительной диалектической стадии философом в большем смысле, чем всякий другой». Но «когда философ созревает до систематика или, преследуя одну из отраслей системы, – становится ученым, – тут художник расходится с ним», поскольку «идеализм его – игра, а не система, – символика, а недействительность».

Как бы то ни было, художник в Пастернаке победил философа и ученого. Но последовательные этапы формирования самосознания – детские опыты в графике, музыка, философия – не исчезали при переходе к каждой следующей фазе, а откладывались в глубине. В записях 1910–1913 годов проблематика логики научного знания сплошь и рядом сливается с проблематикой теоретической поэтики. Стихи были своего рода новым методом изложения и анализа идей, ранее испытанных на языке музыки и на языке философии. Логика поэтического воплощения мысли вырастала из логики музыкальной композиции и из логики очищения, прояснения понятий, усвоенной в ходе «уроков философии». К каким бы темам в дальнейшем ни обращался поэт и как бы ни менялся его стиль, философская основа оставалась главной чертой его поэтического облика. Ни один русский поэт в XX веке не достигал такой напряженности философской мысли в стихе, как он.

Но черту эту можно рассмотреть и под другим углом – в контексте той тяги к синтезу искусств, которой была проникнута русская культура того времени, начиная со Скрябина и кончая Кандинским. Можно утверждать, что в творчестве Пастернака (на разных стадиях художественного созревания овладевавшего разными языками, разными логиками) эти тенденции были осознаны и осуществлены – без громкогласных деклараций – более органически и глубоко, чем у современников. Посещая с осени 1910 года, параллельно с университетскими занятиями, собрания молодежных кружков при издательстве «Мусагет», Пастернак оказался в центре полемики, развернувшейся в русском символизме на последнем, конечном этапе его духовных исканий. В эти кружки Бориса влекли в равной степени и философские, и литературные интересы.

В точке пересечения философской и литературной проблематики оказалось и его первое публичное выступление – доклад «Символизм и бессмертие», зачитанный 10 февраля 1913 года. Содержание доклада известно нам по тезисам, рассылавшимся накануне собрания, и по позднейшему отчету автора в «Людях и положениях». Главная его тема – та же, что приковывала к себе Пастернака в философских набросках предшествующих лет: субъективность как черта не личности, а всех предметов вокруг, «субъективность без субъекта». Будучи не существом, а всего лишь «условием для качества» (или, выражаясь иначе, объектом такой субъективности), поэт стоит вне времени, он бессмертен, а потому «поэзия – бессмертие, "допустимое культурой"». Основное, если не единственное содержание поэзии – поэт, понятий как бессмертие.

Доклад связывал воедино стадии, пройденные Пастернаком к тому времени, – музыку, философию и поэзию. Музыка ищет значение своего ритма и находит его в слове. Для обретения этого значения одного лишь философского анализа слова недостаточно: только поэзия, разделяющая с музыкой ее основание – ритм, – может раскрыть значение музыкального языка.

Поскольку субъективность – качество самих вещей, и поскольку окружающая действительность занята поисками «свободной субъективности», поэт перенимает эти поиски и ведет себя так же, как и предметы вокруг. Так встает вопрос о «реализме» и «символизме» искусства, оказавшийся в фокусе журнальных дебатов конца 1900-х – начала 1910-х годов. Вслед за А. Белым и Вяч. Ивановым Пастернак определяет «символизм» не как конкретную литературную школу, а как искусство в целом, и противопоставление символизма реализму становится ненужным. Но в отличие от старших теоретиков символистской школы, «символизм» для Пастернака – не определение метода или стилистической ориентации художника, а черта самих вещей, которые требуют своего воплощения артистом.

Доклад «Символизм и бессмертие» – не абстрактно-умозрительное построение, а лирическая исповедь Пастернака, тем более значительная, что она предшествовала его собственному литературному дебюту. Существенно также, что эта исповедь представляет собой развитие мыслей, издавна одолевавших Пастернака. Убедиться в этом можно, сопоставив доклад с темами разговоров его с Ольгой Фрейденберг,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
отра-женными в письме к ней 23 июля 1910 года. Там, в частности, говорит-ся:
«Иногда предметы перестают быть определенными, конечными, такими, с которыми
порешили. Которых порешило раз навсегда общее сознание, общая жизнь <...> Тогда
они становятся (оставаясь реальны-ми для моего здравого смысла) нереальными, еще
не реальными образа-ми, для которых должна прийти форма новой реальности,
аналогичной с этой прежней, порешившей с объектами реальностью здравого смыс-ла;
эта форма – недоступная человеку, но ему доступно порывание за этой формой, ее
требование». Сравнения, говорит Пастернак (подразу-мевая, по-видимому,
поэтические тропы вообще), делают предметы «свободными качествами», освобождая
их от принадлежности «причин-ной связи, обреченности, судьбе». На место
причинной связи в такой «беспредметной фантастике» приходит ритм.
Встает вопрос, какова роль в «Символизме и бессмертии» реаль-ного символизма, то
есть поэтов-символистов, учителей Пастернака и его поколения в литературе.
Задачи, которые ставил перед собой молод-дой поэт, – сближение слова с музыкой, –
во многом выглядели родст-венными проблематике символистов. У символистов (вслед
за роман-тиками и Шопенгауэром) музыка представала как высшее из искусств, и
любое искусство способно было достигнуть совершенства лишь в той степени, в
какой оно следовало идеалу музыки. Однако поиски музы-кальной основы
стихотворения у Пастернака с самого начала пошли в ином русле, чем у
символистов. В то время как для них музыкальность состояла в неопределенности,
расплывчатости значения слова (симво-ла, неисчерпаемого в своей глубине) и
подчинении его звуковой ор-ганизации стиха, у Пастернака, наоборот, происходила
активизация семантики, предполагавшая строгую определенность и конкретность
каждого из вовлеченных в структуру текста значений слова. Критикуя символистов,
он позже писал: «<...> любви к материальной выразитель-ности, к многосмысленной,
ко всеосмысленной, скажу – точности в них нет ни на грош. Дальше идти некуда»
(письмо С. П. Боброву 13 фев-раля 1917). Музыкальность стихового текста у него
воплощалась в спо-собе развертывания, обнажения и сопоставления элементов
семанти-ческой структуры произведения по законам грамматики музыкального языка.
Без осознания внутренней логики такого «музыкального» сопо-ставления мельчайших
единиц словесного текста ранние стихи Пастер-нака кажутся просто бессмыслицей.
В итоге Пастернак осуществлял на более глубоко-м уровне то, что поэты-символисты
пытались достичь более легким и простым путем. Разделяя с ними тягу к синтезу,
основанному на приближении словес-ного искусства к музыке, Пастернак, однако,
отмежевывался от утопи-ческих проектов «жизнетворчества», от грандиозных,
космических пре-тензий, общих у русских символистов со Скрябиным.

* * *

Первые пастернаковские опыты в литературе, отно-сящиеся к 1910–1913 годам,
представляют собою совершенно необыч-ный художественный феномен. Это не стихи и
не проза, а какая-то аморфная смесь, гибрид того и другого. Это мучительная
попытка пе-ревода на язык литературы того синкретического процесса, который
органически включал в себя ранние стадии мыслительной работы Пас-тернака,
выразившиеся в музыкальных сочинениях и в философских набросках. Главный их
предмет – искусство. Они принципиально бес-событийны; в них нет ни фабулы, ни
ясно очерченных, друг с другом сопоставленных персонажей. Центральная фигура –
Реликвимини – несет явно автобиографические черты и выступает то как герой, то
как повествователь.

Сверстники видели в Пастернаке в то время скорее музыканта и философа, чем
поэта. В кружке Ю. П. Анисимова к его стихам относи-лись пренебрежительно:
слишком сильно они отличались от эпигон-ско-гладкой стиховой манеры и слишком
далеко расходились с идеа-лизацией деревенской Руси, свойственной участникам
анисимовского салона. Но с появлением в кружке Сергея Боброва и Николая Асеева
характер собраний изменился. Бобров стал энергично проводить в жизнь план
основания издательства.

Общим печатным дебютом группы стал изданный в складчину в мае 1913 года альманах
«Лирика». В нем, наряду со стихами Анисимо-ва, Асеева, Боброва, Раевского
(Дурылина), Рубановича, Сидорова и Станевич, впервые появились стихотворения
Пастернака. Последний предвоенный год был отмечен лихорадочной активностью и
бурной ра-дикализацией литературных экспериментов молодых поэтов. Один за другим
выходили сборники с изычно-изысканными либо шокирующе-скандальными названиями:
«Дары Адонису», «Пощечина обществен-ному вкусу», «Вернисаж», «Крематорий
здравомыслия», «Дохлая луна», «Требниктроих», «Засахаре кры», «Бей, но
выслушай!..», «Всегда», «Раз-вороченные черепа» и т. д. На всю страну прошумели
дерзкие публич-ные выступления «Гилей». На этом фоне «Лирика» с ее
непритязатель-но-блеклым названием выглядела робким анахронизмом. Эпиграф из
Вяч. Иванова к сборнику был как бы удостоверяющим вежливо-почти-тельное
отношение к старшим учителям. Книга производила впечат-ление подражательных,
эпигонских упражнений. Наименее стандарт-ными выглядели стихотворения

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас- Пастернака, но остановить на себе внимание в таком окружении они не могли. По-видимому, сам Пастернак не спешил искать продолжения своему стихотворческому дебюту. Сразу вслед за альманахом вышел автор-ский сборник Боброва «Вертоградари над лозами», и в приложенном к нему списке намеченных изданий упомянута стихотворная книга Асеева «Ночная флейта», тогда как Пастернак представлен только (невышедшей) книгой статей под названием «Символизм и бессмертие». То-варищи по «Лирике» все еще видели в нем больше теоретика-эссеиста, чем поэта. Сколь ни невзрачным, на общем фоне, было название альманаха и издательства, оно отражало круг теоретических идей, все сильнее зани-мавших как товарищей Бориса по кружку, так и его самого. «Лирика» была ключевым понятием в его философско-литературных записях 1911–1913 годов, синонимом «свободной субъективности». Эти раз-мышления сблизили его с наиболее темпераментным теоретиком в ани-симовской группе – Сергеем Бобровым. Бобров написал статью «О ли-рической теме (18 экскурсов в ее области)», развивавшую концепцию, изложенную в незадолго перед тем появившейся статье Вяч. Иванова «О существе трагедии» (с экскурсом «О лирической теме»). Согласно этой концепции тема лирического стихотворения должна быть понята не в обычном, житейском смысле, а по аналогии с термином «тема» в музыке, означающим элемент музыкальной формы, некий звукоряд, ме-лодический оборот, материал для развития. Статью свою Бобров явно обсуждал с Пастернаком, и отражением их диалога явилось пастерна-ковское стихотворение «Лирический простор», родившееся в сентябре 1913 года в результате рефлексии автора над своими новыми стихотво-рениями, созданными в течение летних месяцев. Бобров убедил Пас-тернака выпустить эти новые стихи отдельной книжкой. Она вышла под названием «Близнец в тучах» в декабре 1913 года. Стихи в нее отбирал Бобров вместе с Асеевым. Сам же автор, по-видимому, испытывал столь сильные сомнения в оправданности начинания, что принимал в нем самое пассивное участие. Книга вышла с предисловием Асеева (предис-ловие к «Ночной флейте» написал Бобров), что вызвало издевательские комментарии в прессе, поскольку и автор стихотворного сборника, и автор предисловия, представлявший его публике, были никому не из-вестными новичками в литературе. Конфуз был настолько большим, что Пастернак всегда впоследствии отказывался и от чужих предисловий к своим книгам, и от писания предисловий к чужим. Зато большое вооду-шевление вызывали шумные декларации у Боброва, превращавшегося в вождя левого, более радикального крыла «Лирики». Стремясь к раз-межеванию с консервативной частью анисимовского кружка, осенью 1913 года он завязал отношения с руководителем эгофутуристической группы «Петербургский Глашатай» Иваном Игнатьевым. В альманахе «Всегда», готовившемся этой группой, предполагалось поместить стихи Боброва и Пастернака. План этот не был осуществлен, по-видимому, из-за сопротивления Вадима Шершеневича. Но в декабре статья и сти-хотворения Боброва были напечатаны в девятом (и последнем) альма-нахе петербургских эгофутуристов «Развороченные черепа». Конфликт в «Лирике» обострился сразу после выхода в декабре 1913 года книг Асеева и Пастернака. Членам кружка не удалось догово-риться о единой позиции для намечавшегося журнала. Все они отверга-ли «Гилею» с ее культивированием зауми и эпатажных форм литератур-ного поведения. Но по отношению к символистскому наследию такого единодушия не было. Анисимова отталкивало то, что Брюсов изменил теургическому идеалу и что он покровительствовал антисимволистским выступлениям поэтов новой формации. Во время своей поездки в Ев-ропу Анисимов и Станевич сблизились с находившимися за границей Эллисом и Белым и под их влиянием превратились в горячих поклон-ников Штейнера. Антропософские темы на собраниях кружка стали вытеснять темы литературные. 22 января 1914 года в «Лирике» произошел раскол: Бобров, Асеев и Пастернак вышли из группы. И хотя в численном отношении уходя-щая тройка была меньшинством, она наносила смертельный удар по издательству, так как большую часть его продукции на протяжении 1913 года составили книги именно этих «отступников». Издательство Анисимова так и не воскресло после этого разрыва. Уходившие образо-вали новую литературную группу «Центрифуга» и стали готовить свое первое издательское выступление. Вспоминая в «Охранной грамоте» о времени своего литературного дебюта, Пастернак писал: «Новички объединялись в группы. Группы разделялись на эпигон-ские и новаторские. Это были немислимые в отдельности части того порыва, который был загадан с такой настойчивостью, что уже насы-щал все кругом атмосферой совершающегося, а не только еще ожидае-мого романа. Эпигоны представляли влечение без огня и дара. Новато-ры – ничем, кроме выхолощенной ненависти, не движимую воинст-венность». История выделения новаторской группы «Центрифуга» из эпигон-ской «Лирики» ярко иллюстрирует положение о близком родстве враж-довавших групп. Еще за год до того Бобров и думать не смел о выдвиже-нии антисимволистских лозунгов. Сейчас такие лозунги стали идеоло-гической основой рекрутирования союзников для «Центрифуги».

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
Со-юзников приходилось искать в числе футуристов, проявивших себя громче всех
других на протяжении последних месяцев. Вступление боб-ровской группы в
футуристическое движение было не единичным, од-нократным актом, а длительным
процессом, начавшимся весной

1914 года и растянувшимся на несколько лет. Само понятие «футуризм» при этом
претерпевало существенные изменения.

Основано издательство «Центрифуга» было 1 марта 1914 года. Пер-вым его изданием
была брошюра Боброва «Лирическая тема», а в конце апреля вышел в альманах
«Руконог». Тем временем в марте появился первый (и оказавшийся единственным)
номер «Первого журнала рус-ских футуристов», созданного по соглашению между
Маяковским и мос-ковской эгофутуристической группой «Мезонин поэзии» в целях
обра-зования широкого общесфутуристического фронта. В вышедшем журнале были
помещены оскорбительно-высокомерные отзывы Шершеневича и его приятелей об
изданиях левого крыла «Лирики». Книги Асеева, Пастернака и Боброва были
заклеймлены как эпигонство, «символист-ская дешевка». Раскол в «Лирике» и резкий
скачок влево, ознаменован-ный возникновением «Центрифуги», в этих нападках
Шершеневича упомянут не был, и это, естественно, давало искаженную картину: ведь
в альманахе «Руконог» в разделе поэзии значительное место заняли стихи
петербургских эгофутуристов (Игнатьева, Ивнева, Гнедова) и явно уси-лены были
модернистские черты у Боброва, Асеева и Пастернака.

Необходимость дать отпор злым атакам заставила свести ма-нифест «Грамота» в
«Руконоге» к исключительно резким нападкам на руководителей «Первого журнала
русских футуристов». Они были об-винены в «пассеизме», причем обвинение это
опиралось на авторитет-ный отзыв Маринетти, побывавшего в январе в России.
Полемическая сторона издания этим документом не исчерпывалась. В разделе
«Хро-ники» Бобровым были без подписи помещены оскорбительно-ругатель-ные
заметки, направленные против Шершеневича и его соратников.

Объектом язвительного разбора Шершеневич стал и в статье Пас-тернака
«Вассерманова реакция» – первой в его жизни напечатанной статье. Но критика
Шершеневича у Пастернака решительно отличает-ся, не только по тону, но и по
существу, от заметок Боброва, полных личных выпадов против своего кровного
врага. Особая ценность «Вас-сермановой реакции» в том, что Пастернак в ней
впервые публично высказался о футуризме и связал этот разговор с размышлениями
об арсенале поэтических средств.

Пастернак начинает с различия двух футуризов – истинного и ложного. В
качестве образца истинного футуризма он называет Хлеб-никова, «с некоторыми
оговорками – Маяковского, только отчасти – Большакова и поэтов из группы
"Петербургского Глашатая"». Такая иерархия была в высшей степени странной.
Начать хотя бы с того, что Пастернак воздерживается от похвал футуризму как
таковому и «Цент-рифугу» к нему не относит. Неожиданным выглядит выставление на
первое место Хлебникова, поэта, так же глубоко почитаемого Пастер-наком, как и
чуждого ему. Но в стихах, напечатанных в «Руконоге», Пас-тернак приближается к
хлебниковской поэтике больше, чем когда бы то ни было. В любом случае, не
подлежит сомнению, что выставление Хлебникова на главное место было продиктовано
двойной тактической целью: он назван образцом «подлинного футуризма» потому,
во-первых, что был равнодушен к урбанистической метафорике, ставшей главной
чертой, объединявшей Маяковского, Большакова и Шершеневича; а во-вторых,
известно было, что Шершеневич, отрицательно относившийся к творчеству
Хлебникова, не хотел допустить его в «Первый журнал рус-ских футуристов».
Антитеза «подлинного» и «мнимого» футуризма основывается у Пастернака на
противопоставлении поэзии, создаваемой без оглядки на вкус читателя, и поэзии,
фабрикуемой в угоду рынку (образцом ее выступает Шершеневич). При этом у
Пастернака различие между дву-мя родами обосновывается и анализом чисто
поэтических свойств. В то время как Шершеневич сплошь и рядом прибегает к
метафорам по сходству, «только явлениям смежности и присуща та черта
принудитель-ности и душевного драматизма, которая может быть оправдана
метафо-рически», – заявляет Пастернак.

Таким образом, несмотря на то что непосредственные задачи «Вас-сермановой
реакции» были чисто полемическими, статья представляла собой вполне серьезный,
основательный разговор о поэзии футуризма. Именно эта вескость суждений и
заставила Маяковского, Большакова и Шершеневича потребовать в своем письме от 2
мая присутствия

Пастернака на переговорах двух групп, организованных для объяснений по поводу
оскорбительных пассажей в «Грамоте» и в хронике «Руконо-га». Так Пастернак
впервые встретился с Маяковским. Неожиданным результатом этой встречи было
глубокое взаимное понимание, устано-вившееся между обоими поэтами.

«Стычка» двух групп имела далеко идущие последствия для них: союз кубофутуристов
с «Мезонином поэзии» распался, Маяковский порвал с Шершеневичем, а Большаков

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
сблизился с «Центрифугой» и особенно с Пастернаком. Таким образом,
унизительность положения «Центрифуги» в майских переговорах обернулась победой
«Вассермановой реакции».

Но Пастернак был подавлен тем, что его вступление в литературу произошло в столь
скандальных обстоятельствах. Взглянув после лич-ного знакомства с Маяковским
по-новому на «Гилею», он готов был сожалеть, что не в ней, а в анисимовской
«Лирике» состоялись его пер-вые литературные шаги¹. Борис подумывал о том, чтобы
уйти из «Цент-рифуги».

Появление печатного отзыва В. Брюсова удержало его от такого искушения. Брюсов
тогда выступал в журнале «Русская мысль» с регу-лярными обзорами новейших
поэтических книг, и начинающие авторы с трепетом ждали его оценки. Отклик
Брюсова на первые книжки Асе-ева, Боброва и Пастернака и на появление
«Центрифуги» на литератур-ной сцене был включен в серию статей, посвященных
новым поэти-ческим группам. Разговор о «Центрифуге» поразил Пастернака
обсто-ятельностью анализа и серьезностью тона. Обрадовало само по себе
брюсовское определение литературной позиции «Центрифуги» – «по-рубежники», –
подчеркивавшее особенность ее положения относи-тельно «новаторов» и «эпигонов».
Внимательно-уважительным был и разбор книг каждого из основателей группы. В то
время как Асеев и Бо-бров демонстрируют более виртуозное владение стихотворной
техни-кой, Пастернак из всех троих наиболее, по Брюсову, самобытен. У него
«чувствуется наибольшая сила фантазии; его странные и порой неле-пые образы не
кажутся надуманными: поэт, в самом деле, чувствовал и видел так;
"футуристичность,, стихов Б. Пастернака – не подчинение теории, а своеобразный
склад души»². Таким образом, отнесение к но-ваторам, футуристам, чего стеснялась
и «Центрифуга» в целом, и тем более сам Пастернак, теперь не только было
санкционировано Брюсо-вым, но и состоялось в контексте характеристики, особенно
окрылив-шей Пастернака: «своеобразный склад души».

¹ Письмо А. Л. Штиху 1 июля 1914 г.

² Валерий Брюсов. «Год русской поэзии (апрель 1913 г. – ап-рель 1914 г.).

Порубежники», Русская Мысль, 1914, июнь, 3-я пагинация. С. 17.

Пастернак был так взволнован этим отзывом, что свою следующую после
«Вассермановой реакции» статью «Черный бокал» начал с кос-венной отсылки к ней.
Новая статья была посвящена не противопос-тавлению «истинного» футуризма
«ложному», а установлению сущности футуризма и анализу его отношений с
учителями-символистами. Ста-тья появилась во «Втором сборнике Центрифуги»,
вышедшем (из-за разразившейся мировой войны) только весной 1916 года. Но
написана она была, по всей вероятности, еще в конце 1914 года. В ней,
подхватыва-вая формулу Брюсова, автор подвергает основательному и
бескомпро-миссному разбору «ходячую теорию футуризма» и сущность футуризма
обнаруживает не в ее положениях, а в «своеобразном складе души». Понятие
футуризма истолковано в «Черном бокале» принципиально иначе, чем у кого-нибудь
из современников. Для Пастернака футу-ризм – высшая стадия лирики. В то время
как самоопределение рус-ских кубофугуристов базировалось на провозглашении
полного разрыва с предшественниками – не только с символистами, но и со всей
клас-сикой, – у Пастернака проводится мысль о неразрывном сцеплении между отцами
и детьми, учителями и учениками, символистами и футу-ристами. Замечательно и то,
что такое рассмотрение футуризма проти-востояло декларациям о самоликвидации
футуризма, которую Маяков-ский поспешил провозгласить в начале войны. В
сущности, «Черный бокал» был наиболее серьезным аналитическим разбором понятия
«фу-туризм» и мог бы служить основой для дискуссии, если бы не трудность
пастернаковского стиля и если бы не изменившиеся условия литера-турной жизни.
Войну Пастернак встретил в Петровском-на-Оке, на даче Бал-трушайтиса, куда он
был приглашен домашним учителем. Рядом про-водил летний отдых Вяч. Иванов.
Впервые Пастернак оказался в столь близком контакте с ведущими представителями
символизма, которые при этом обнаруживали неподдельный интерес к недавним
дебютам поэта. Балтрушайтис ввел Пастернака в незадолго перед тем основан-ный
Камерный театр, и по заказу театра Борис стал переводить «Раз-битый кувшин»
Клейста. Одновременно расширились связи и с футу-ристическим лагерем. Маяковский
пригласил Бориса в организованную им Литературную страницу газеты «Новь». В
посвященном войне номе-ре стихотворение Пастернака «Артиллерист стоит у кормила»
появилось в ранее невыслимом окружении – Маяковский, Большаков, Давид Бур-люк.
В новой обстановке и среде Пастернак обратился к эксперимен-там в области,
которую Брюсов считал у него наименее сильной: техни-ка стиха. В 1914–1915 годах
он написал целую тетрадь стихотворений в форме «верлибра». Привлекла его,
по-видимому, разновидность, прак-тиковавшаяся Маяковским, Шершеневичем и
Большаковым (сейчас ее назвали бы акцентным стихом). Решение обратиться к более
свободной ритмике пришло, надо думать, и под воздействием Вяч. Иванова. Об этом
можно догадываться по отчету о их разговорах в письме Бориса к родителям (конец

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак (июль 1914): «Вообще В. Ив. говорит, что я лучше и больше того, что я думаю о себе, хотя я ничуть перед ним не скромничаю; что никогда он не видел человека, который настолько бы вразрез со своими данными поступал, как я. Он имеет при этом в виду то рабское подчинение ритмической форме, которое действительно заставляло меня часто многим поступиться в угоду шаблонному строю стиха, но зато предохраняет меня и от той, опасной в искусстве свободы, которая грозит разливом вширь, несущим за собой неизбежное обмеление». Эксперименты в области «свободного стиха» до нас дошли в далеко не полном виде, так как тетрадь 1914–1915 года погибла в погроме немецких предприятий в Москве 27–29 мая 1915 года. Последний раз к этой форме поэт обратился в «Поэме о ближнем» (1917). Уже в статье 1918 года «Квинтэссенция» он решительно отмежевался от верлибра, и до конца жизни с пренебрежением отзывался о его «водянистости». Параллельно весной 1915 года Пастернак написал первую свою законченную прозаическую вещь – «Апеллесова черта». И на сей раз он не мог приняться за сочинение, не сфокусировав повествования на художнике. Но, в отличие от набросков 1910–1913 годов, автор теперь полностью избавился от теоретических, философских сентенций, ввел острую фабулу, а заимствованного из прежних бумаг персонажа (с уточненным ныне именем – Релинквимини) столкнул с его антиподом, тоже поэтом, Генрихом Гейне, – не с историческим лицом, а просто «случайным совпадением». В рассказе – первое изложение пастернаковских идей о двух противоположных видах отношения к жизни, о двух типах художника, в одном из которых («Гейне») сконденсированы размышления о «зрелищной» концепции поэта, олицетворяемой Маяковским, а в другом («Релинквимини») скрыт, вероятно, сам Пастернак. К этому противопоставлению автор вернется в главах «Охранной грамоты», посвященных Маяковскому.

В начале 1916 года издательская деятельность «Центрифуги» возобновилась. Боброву удалось объединить разбредшихся участников, найти новых союзников и собрать средства на выпуск «Второго сборника» и новых поэтических книг, в том числе вышедшей в декабре второй книги Пастернака «Поверх барьеров». Он сумел привлечь в сборник Большакова и Хлебникова и тем самым придать новому изданию более «левый» в стилистическом отношении, по сравнению с «Руконогом», характер. При этом роль Пастернака в группе становилась доминирующей. Он был единственным, кроме Боброва, ее членом, который оставался верен «Центрифуге» на протяжении всего времени ее существования. Группа образовывала собой альтернативу остальным флангам футуристического движения. Пастернак был не просто участником, но теоретиком-стратегом, чьи статьи сыграли большую роль, чем выступления «вождя» группы Боброва. Во многом именно благодаря пастернаковским высказываниям «Центрифуга» обрела серьезную репутацию в литературной среде. Сколь ни значительна была роль Пастернака в «Центрифуге», он остро осознавал случайность своего нахождения в ней и необходимость отказа от самого принципа групповой организации литературной жизни, от всех решительно групп. В 1918 году он писал:

«Портретист, пейзажист, жанрист, натюрмортист? Символист, акмеист, футурист? Что за убийственный жаргон!

Ясно, что это – наука, которая классифицирует воздушные шары по тому признаку, где и как располагаются в них дыры, мешающие им летать» («Несколько положений»). Так он пришел к пересмотру апологии «футуризма», хотя бы и в особом своем толковании, содержащемся в «Черном бокале».

Пересмотр этот совпал по времени с революцией. За несколько недель до февральских событий 1917 года Борис писал родителям: «<...> я не ищу просвета в дящемся еще сейчас мраке потому, что мрак его выделить не в состоянии. Зато я знаю, что просвета не будет потому, что будет сразу свет. Искать его сейчас в том, что нам известно, нет возможности и смысла: он сам ищет и нащупывает нас и завтра или послезавтра нас собою обольет» (письмо 9 декабря 1916). О его тогдашних настроениях Константин Локс рассказывает: «Он был счастлив, он был доволен. "Подумайте, – сказал он мне при первой же встрече, – когда море крови и грязи начинает выделять свет..." Тут красноречивый жест довершил его восторг». Несмотря на весь свой энтузиазм, он наотрез отказывался принять какое бы то ни было участие в политической борьбе. В этом обнаружилось его принципиальное отличие от Маяковского, который вошел в газету Горького «Новая жизнь» и искал любого случая для декларирования своих политических позиций. Пастернак же, вместо публичного отклика на текущие события, задумывает трагедию о французской революции.

Представление о замысле дают «Драматические отрывки», написанные летом 1917 года. Подъем и эйфория, вызванные революцией, в те дни сменялись усталостью в обществе и резкой поляризацией политической жизни. Дорога к народовласти оказалась торной. Июльский кризис временного правительства и неудача русской армии на фронте создавали ощущение непрочности революционных завоеваний и

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас неясности перспектив нового порядка. Это оставило отпечаток на трактовке революционной темы в «отрывках»: они рисуют обреченность и жертвенность вождя французской революции Сен-Жюста и Робеспьера в ее финальные дни, и воле революционного вождя в них противопоставлен непреклонный ход истории. «Драматические отрывки» были напечатаны спустя почти год в «Знамени труда». Одновременно с ними в той же газете появилась и другая вещь Пастернака, «Диалог». Хотя, в отличие от «отрывков», «Диалог» написан прозой и хронологически никакого отношения к ро-беспьеровской эре не имел, а географическая приуроченность действия, несомненно разворачивающегося в России, нарочито затуманена, можно полагать, что эта пьеса создавалась параллельно с «отрывками» и в прямой зависимости от них. В «Диалоге» дано первое отчетливое выражение пастернаковской философии «естественного права», утверждающей революцию как стихийную силу, захватывающую всех людей независимо от их намерений или желаний. Мощным порывом стихии человек освобождается от всего наносного, низменного, безнравственного. Каждый превращается в гения. Революция истолкована у Пастернака как состояние природы и человечества, отмеченное вселенским чувством любви, сносящее перегородки между людьми. Главное действующее лицо «Диалога» определено странно – как безымянный «Субъект». Очевидно, это своеобразная трансформация «свободной субъективности» набросков 1910–1913 годов и доклада «Символизм и бессмертие».

Приход большевиков к власти в октябре 1917 года обозначил крутой перелом в русской революции. Борис писал О. Т. Збарской после этих событий: «Скажите, счастливее ли стали у Вас люди в этот год, Ольга Тимофеевна? У нас – наоборот, озверели все, я ведь не о классах говорю и не о борьбе, а так вообще, по-человечески. Озверели и отчаялись. Что-то дальше будет. Ведь нас десять дней сплошь бомбардировали, а теперь измором берут, а потом, может статься, подвешивать за ноги, головой вниз, станут». В стихотворениях, написанных зимой 1917–1918 года, после разгона Учредительного собрания, содержатся беспрецедентно резкие инвективы против новых узурпаторов власти. Поэт считал происходящее катастрофой, крахом революции. И все же первоначальная резкость отрицания и негодования была постепенно смягчена, и Пастернак имел в виду, несомненно, и себя, когда спустя несколько десятилетий, во времена «Доктора Живаго», утверждал, что февральскую и октябрьскую революции интеллигенция восприняла как два этапа единого разворачивающегося процесса.

Приверженность революционным идеалам у поэта в первые после-октябрьские месяцы выразилась в симпатии к эсерам и участии в их органе «Знамя труда». Но летом 1918 года, с устраниением остатков плюрализма общественной и политической жизни, левые эсеры и меньшевики вышли из коалиции с большевиками и их органы печати были закрыты. В стране устанавливался «военный коммунизм» (позднее названный Пастернаком «пещерный век»).

В эти дни Пастернак написал прозаическую вещь под странным названием «Безлюбье» о первых днях февральской революции. В произведении раскрывалась атмосфера политической нестабильности, непредсказуемости событий в первые дни революции – действительно ли монархия разрушена и новый строй прочен? «Безлюбье» появилось в «Воле труда», органе ЦК партии революционного коммунизма, – группе, отколовшейся в сентябре 1918 года от левых эсеров. Газете удалось привлечь к себе несколько крупных литературных имен – Андрея Белого, Хлебникова, Есенина, Мандельштама и Шершеневича. Пастернаковское «Безлюбье» – первый вообще рассказ в ней – был напечатан в номерах от 26 и 28 ноября 1918 года, притом что сам текст датирован 20 ноября. Нет, однако, уверенности, что он напечатан в газете полностью или что произведение было автором закончено.

Пастернака в «Волю труда» ввел, по-видимому, поэт Рюрик Ивнев, бывший эгофутурист, печатавшийся в «Центрифуге». В конце 1918 года он приехал в Москву в качестве секретаря наркома просвещения А. В. Луначарского. Луначарскому была подана петиция о субсидии издательству, за подписями Боброва, Аксенова, Большакова, Ивнева и Пастернака. Через Ивнева Пастернак стал близок к новой, возникавшей в тот момент группе – имажинистам. Инициатором ее создания был Шершеневич, оставшийся с лета 1914 года вне какого-нибудь литературного объединения. В январе 1919 года был обнародован манифест имажинистов, подписанный Шершеневичем, Есениным, Ивневым, Мариенгофом и художниками Борисом Эрдманом и Георгием Якуловым. Первой их коллективной публикацией стал сборник «Явь», вышедший в марте 1919 года, где, наряду с членами группы, участвовали также Пастернак, Василий Каменский и Петр Орешин. Многие в новом литературном течении, просуществовавшем до 1924 года, наминало ранний футуризм.

Имажинистам удалось привлечь к своим антрепризам Хлебникова и Мандельштама. Борис Пастернак лишь в самом начале существования группы оказался как-то причастен к их выступлениям, причём к таким, куда приглашены были и другие не-имажинисты («Явь», «Автографы», «Мы»). В их ранних программных заявлениях его

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас привлекало полное пренебрежение агитационной на-правленностью, столь сильно проявившейся у пролетарских поэтов и футуристов в период гражданской войны, и сосредоточенность на тех-нических задачах литературного труда. Ему претили, однако, саморек-лама и эпатаж, взятые из арсенала дореволюционного футуризма. В свою очередь, отношение членов группы к Пастернаку, несмотря на пер-воначальные попытки совместных печатных выступлений, было про-хладным, а с Есениным, осуждавшим Пастернака за космополитизм, равнодушие к русским национальным темам в поэзии и адресацию к узкому интеллигентскому кругу, конфликты, как вспоминал Пастернак в «Людях и положениях», доходили едва ли не до драки. Из различных прозаических опытов, которыми Пастернак был по-глощен с начала 1918 года, наиболее заверченный вид приобрела напе-чатанная в 1922 году повесть «Детство Люверс». Современников в ней удивило своеобразие художественной манеры. На фоне прозаических новаций Андрея Белого, Ремизова и Пильняка, более того – на фоне «Апеллесовой черты», она поражала безыскусностью, традициона-лизмом. Но по сравнению с прозой «реалистов» (Горького, Бунина и Зайцева) в повествовании ощущались модернистские новации (то, что формалисты называли «остранением»). Философская проблематика, отягчавшая самые ранние прозаические наброски Пастернака, не уле-тучилась, не исчезла, но «ушла на дно», растворясь в фабульно-сюжет-ной и тематической структуре (созревание самосознания, соотношение мысли и слова, названия и предмета, образование общих понятий). Не # *

Как ни значительны были стилистические новшест-ва, характеризовавшие пастернаковскую прозу, гораздо более радикаль-ный переворот совершен был им в области стиха. Две книги, составлен-ные из стихотворений этого времени, – «Сестра моя жизнь» и «Темы и варьяции» – вершина русской лирической поэзии XX века. В них в на-иболее полном виде выкристаллизовались самые оригинальные черты ранней пастернаковской поэтики. Существенное расширение поэтиче-ского словаря, достигнутое путем обращения к разговорной речи, сопро-вождалось беспрецедентным усложнением семантики стихового слова. Новое проявилось в том, что сам Пастернак называл, по воспоминани-ям Н. Н. Вильмонта, «всеобщей теорией поэтической относительности» (выводя этот термин из учения А. Эйнштейна): движущим стержнем построения текста становилась не метафорика как таковая, но такой способ организации стихотворения, при котором одно и то же слово обнаруживало и переносный, и буквальный смысл в зависимости от выбранного угла зрения и стадии раскрытия содержания. Процесс «ме-тафоризации» высказывания при этом шел рука об руку с противополож-ным процессом «деметафоризации» тех же самых слов. В «Охранной грамоте» утверждается, что «реалистичность» искусства заключается в том, что оно «не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело». Из погружений в Шекспира Пастернак вынес наблю-дение, что метафоризм – сжатое, как стенограмма, воспроизведение безмерности картины мира, открывающейся художнику («Замечания к переводам из Шекспира»). А в конце жизни, сводя воедино свои раз-мышления о метафоре, он говорил: «прямая формулировка и метафо-ра – не противоположности, а одновременные стадии мысли, ранней, мгновенно родившейся и еще не проясненной в метафоре и отлежав-шейся, определившей свой смысл и только совершенствующей свое выражение в неметафорическом утверждении. И как в природе рядом уживаются ранние и поздние сорта разных сроков, было бы бессмыс-ленным аскетизмом ограничивать течение душевной жизни одними явлениями только начального или только конечного порядка» (письмо к С. Чиковани 6 октября 1957). Выработанный Пастернаком новый, ди-намический принцип построения стихотворного текста противостоял расплывчатости и зыбкости значений слова у символистов, с одной сто-роны, и футуристическим попыткам «освобождения слова» посредст-вом «заумного» языка – с другой.

Но в пастернаковской поэзии современников поразило не только обнаружение невиданных прежде возможностей обновления традици-онных средств стиха, но и система авторского мироощущения, впервые с такой полнотой выявившаяся именно в «Сестре моей жизни». Несмо-тря на подзаголовок («Лето 1917 года»), в книге почти начисто отсутст-вовали упоминания политических реалий революционного времени. Содержание ее было целиком сведено к жизни природы и душевным событиям. И все же воспринималось оно как созвучное революции бла-годаря новому изображению внутреннего мира человека и пониманию его как «свободной субъективности». К компоновке книги «Сестра моя жизнь» Пастернак приступил зимой 1918–1919 года. Из-за паралича издательской жизни в период гражданской войны выход сборника задержался на несколько лет. При необычайном богатстве и многообразии поэтических направлений и интенсивности поэтического творчества в те годы, ни одна другая стихотворная книга не вызвала столь восторженной реакции, как «Сест-ра». Брюсов заявлял, что со времени Пушкина стихи не оказывали такого действия в допечатном, рукописном виде. Своеобразным подтвержде-нием его мнения

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
было радикальное изменение собственной поэтической манеры Брюсова. Их
исключительную силу сразу оценили и сверстники Пастернака в поэзии –
Маяковский, Ахматова, Мандельштам, Цветаева. Но лирические открытия Пастернака
стали источником мощного влияния не только на поэтов разных поколений, но и на
передовую литературно-теоретическую мысль. Эволюцию «формального метода» в
русском литературоведении трудно полностью объяснить вне учета воздействия
пастернаковской поэзии на его представителей. Лучшие работы Юрия Тынянова и
Романа Якобсона были во многом результа-том обобщения художественных открытий,
которыми было отмечено пастернаковское творчество.

Появившиеся на протяжении 1922 года, параллельно с «Сестрой моей жизнью», новые
произведения Пастернака – «Детство Люверс», «Письма из Тулы», статья «Несколько
положений», перевод «Тайн» Гёте – раскрывали ранее неизвестные читателю грани
его литератур-ного дарования. До того Пастернак никогда не появлялся в печати
так часто. Он стал известен внезапно, и известность сразу стала всеобщей. С
поразительным единодушием его воспринимали как наиболее харак-терное явление
нового, послереволюционного этапа русской культуры, неоспоримое доказательство
расцвета искусства в советской России.

При этом столкнулись две различные интерпретации места Пастер-нака в современной
поэзии. Валерий Брюсов объявил его и Маяковского двумя центральными фигурами в
футуризме¹. Полноправным членом своей группы считал Пастернака сам Маяковский, и
гордился принад-лежностью Пастернака к ней. Но отношение Пастернака к
октябрьской революции и к новой власти было несравненно более сдержанным и
амбивалентным, чем у Маяковского или Бриков. «Пропагандистское усердие»
Маяковского в советский период казалось ему совершенно неприемлемым.
«Футуристическое» толкование поэзии Пастернака сосуществова-ло с
«антифутуристическим». Редактор журнала «Печать и революция», один из партийных
организаторов культурной жизни первых после-революционных лет В. П. Полонский,
высоко ценя пастернаковскую по-эзию, усматривал в ней альтернативу
авангардистским течениям и счи-тал искусство Пастернака более соответствующим
духу революционной эпохи, чем футуризм Маяковского. Он познакомил поэта с А. К.
Ворон-ским, тогда наиболее влиятельным проводником партийной линии в культурной
политике, пользовавшимся безграничным личным довери-ем Ленина и Троцкого, и
Пастернак стал одним из первых авторов редак-тировавшегося им нового «толстого»
журнала «Красная новь». «Анти-футуристическая» интерпретация Пастернака исходила
не только из партийных кругов. Его старались привлечь к себе различные
антимо-дернистские объединения, и в их изданиях – в альманахе «Современ-ник», в
журнале «Маковец» – появились его публикации, выглядевшие выражением
солидарности с художественной платформой группы. В то же время на протяжении
всего 1922 года Пастернак продолжал фигури-ровать в анонсах и «Центрифуги».
В феврале 1922 года Пастернак получил разрешение выехать в Гер-манию. Там уже
несколько месяцев находились родители и сестры. Но не одно только желание
увидеть семью побудило Пастернака хода-тайствовать о визе. Ему хотелось укрыться
от внезапной славы, чтобы взглянуть на самого себя и совершавшееся на родине с
некоторой дистанции. Происходившее в советской России не могло не вызывать
смешанных чувств. На смену «пещерному веку» – периоду военного коммунизма – шла
либерализация и возрождение хозяйственной и культурной жизни в стране. В декабре
1921 года поэт присутствовал на IX Всероссийском съезде советов и слушал речь
Ленина, обосновывав-шего переход советской власти к новой экономической
политике. Впе-чатления от этой речи отразились в концовке поэмы «Высокая
болезнь», добавленной и опубликованной в 1928 году (когда нэп подходил к
кон-цу), а также в первой части «Охранной грамоты». С другой стороны,
1 Брюсов В. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М.:
Художественная литература, 1975. С. 516.

обозначились симптомы резкого ужесточения партийного контроля над идеологической
деятельностью интеллигенции, и летом 1922 года прошел показательный судебный
процесс по делу руководителей эсе-ровской партии.

Незадолго до отъезда, в августе 1922 года, Пастернак удостоился аудиенции у Л.
Д. Троцкого, пожелавшего познакомиться с автором не-давно вышедшей «Сестры моей
жизни» и выяснить его общественные настроения, для читателя сборника
остававшиеся загадочными. На глав-ный вопрос: почему он избегает общественных
тем, Пастернак ответил, что «подлинный индивидуализм» является неотъемлемой
составной частью каждого «общественного организма». Время, эпоха, без всякого
желания автора или даже вопреки ему, выражает себя в его творчестве, и прилагать
чрезмерные усилия, чтобы выглядеть современным (как это делают футуристы), нет
никакой необходимости. Пастернак предупре-дил, что его следующие произведения
будут в еще меньшей степени содержать отклик на общественные темы и будут еще
более индивидуа-листическими, чем «Сестра моя жизнь». Для всех, знакомых с
высказы-ваниями поэта начальной поры, особенно с «Символизмом и бессмер-тием»,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас не было ничего неожиданного в этих парадоксах. Но Троцкого, надо полагать, они озадачили. Он ни разу не упомянул Пастернака в статье о пореволюционных течениях русской литературы, которые писал в те недели и которые составили его книгу «Литература и революция». Понятие «свободной субъективности» в его анализ текущей ли-тературной действительности никак не вписывалось. Но какой-то след аргументации поэта у него найти можно: в своей статье о футуризме он подверг Маяковского критике за чрезмерный советский сервиллизм, от-дав предпочтение его произведениям предреволюционного периода.

В Берлин Борис и его жена выехали 17 августа 1922 года. Берлин тогда был третьей, наряду с Москвой и Петроградом, столицей русской культуры. Там сосредоточены были ведущие литературные силы и воз-никали антрепризы, в которых сотрудничали и эмигранты, и писатели, оставшиеся в советской России. О ситуации в русском Берлине Пастернак имел представление еще до приезда: его друг Борис Пильняк, недавно вернувшийся оттуда в Москву, мог дать ему детальный отчет о расстановке литературно-общественных сил. Но никакого ощутимого участия в жизни берлин-ской русской колонии поэт не принимал, оставаясь все время в тени. Он пришел к выводу о бесплодности и бесперспективности русской ли-тературы в «бескачественном и сверхколичественном», как он говорил, Берлине, да и вообще в эмиграции. Сколь ни неприемлемыми были для него «агитки» Маяковского, масштаб гениальности его казался переве-шивающим все, что Пастернак мог увидеть и услышать в Берлине. «<...> Тут мы кажемся богами», – писал он 10 января 1923 года Полонскому из Германии.

* * *

За время его отсутствия в советской России произош-ла радикальная перестройка литературно-общественной жизни. Одним из главных событий было образование Маяковским и Бриком группы Леф. Провозгласив полный разрыв с дореволюционным искусством, Леф призывал к новым формам и жанрам. В противовес концепции искусства как отражения жизни лефовский теоретик Николай Чужак выдвигал задачу «жизнестроительства». В прошлом искусство было пассивно и бесцельно, оно призвано было отвлекать читателя и зрителя от борьбы классов при помощи иллюзорного мира фантазии. Новое ис-кусство должно полностью порвать с традиционными эстетическими ценностями и подчинить себя нуждам социалистического строительст-ва. Поэтому надо обратиться к газетному репортажу, мемуарам, фелье-тонам, биографиям. Наряду с этой теорией искусства как производства существовала противоположная крайность – словесные эксперимен-ты (вплоть до зауми) Алексея Крученых и Василия Каменского. Мая-ковский занимал двойственную позицию; с одной стороны, он соли-даризировался с лозунгами Чужака, направленными на уничтожение искусства, а с другой, оказался как поэт неспособным полностью при-нять их и покончить с лирическими темами (что убедительно показала его поэма «Про это»).

В первом номере журнала «Леф», вышедшем в марте 1923 года, было помещено стихотворение Пастернака «Кремль в буран конца 1918 года», взятого из сборника «Темы и варьяции», вышедшего в Берлине. Но во второй номер Пастернак дал новое стихотворение «1 Мая», написанное специально для коллективного первомайского цикла в журнале. В этом, несомненно, выразилось желание поддержать создававшуюся группу. На этой начальной стадии в Леф был привлечен и Бобров, и Пастернак мог надеяться, что «центрифугистам» удастся оказать воздействие на плат-форму Маяковского.

Однако вскоре выяснилось, что Пастернак интересуется лефовцев «избирательно». Из его вещей журнал брал лишь те, где присутствовали гражданские темы; лирическим его стихам места не предоставлялось. Не нравилась Маяковскому и проза Пастернака, выглядевшая недоста-точно современной на его вкус. Леф во всеуслышание заявил, что цен-ность пастернаковского творчества не в идеях, не в содержании, а в фор-мальной виртуозности. В результате Пастернаку в Лефе отведено было периферийное место.

Ситуация осложнялась в связи с появлением на литературной арене новой организации – Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Она объединяла в себе, в основном, начинающих авторов рабочего происхождения, отличавшихся крайне низким профессиональ-ным уровнем и художественной серостью, но считавших себя един-ственно непогрешимым проводником линии партии. В главном ее ор-гане – журнале «На посту» – печатались различные статьи против писателей-«попутчиков» (как, вслед за Троцким, стали называть ли-тераторов непролетарского происхождения, принявших революцию и новый строй в России). Уже в октябре 1923 года Леф и РАПП заключили союз между со-бой. Но при этом Маяковский отказался уступить требованию РАППа и порвать с Пастернаком и Щелковским. Тогда «На посту» напечатал статью В. Перцова «Вымышленная фигура», целиком посвященную развенчанию Пастернака. Возмущение Асеева и Маяковского было особенно бурным потому, что Перцов лично был ближе к ним, чем к рапповцам. Хотя

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас критики (В. Правдухин, С. Клычков) и прежде упрекали Пастернака в недоступности его творчества и темноте стиля, перцовская статья была первой развернутой атакой на него с позиций политической демагогии.

С конца 1923 года у Пастернака все чаще проскальзывают утверждения о ненужности поэзии в современном обществе. К ним его приво-дили, с одной стороны, теория Лефа об отмирании искусства, а с дру-гой – ожесточенные нападки РАППа на писателей. Если за год до того, перед отъездом в Берлин, Пастернак выражал уверенность, что инди-видуалистическая поэзия полнее всего выражает дух революционной эпохи, то теперь в новой общественной атмосфере такое утверждение выглядело лишенным почвы. После статьи Перцова Госиздат отказался от нового издания «Сестры моей жизни». Власти закрыли лучший тог-дашний беспартийный литературный журнал «Русский современник». Пессимистическая оценка перспектив литературной жизни привела Пастернака к отказу присоединиться к обращению писателей-попут-чиков в ЦК с просьбой защитить их от нападок «напостовцев». А когда Маяковский объявил о разрыве Лефа с дореволюционным футуризмом, Пастернак выступил с демонстративной апологией Крученых. Хотя никаких заблуждений относительно художественной ценности поэзии Крученых у него никогда не было, он и в 1925 году, и позже считал нуж-ным выразить солидарность с бескомпромиссной позицией «буки рус-ской литературы», не желавшего следовать эстетическим предписани-ям официальных кругов.

Своеобразие литературной позиции Пастернака сильнее всего про-явилось в его статье, написанной по поводу резолюции ЦК РКП(б) о литературе 1925 года. Казалось бы, ему, как всем писателям-попутчи-кам, принятое постановление, ограждавшее их от произвола рапповцев, должно было импонировать. Но Пастернак воспользовался случаем, чтобы отвергнуть не только партийную резолюцию как таковую, но и всю логику государственно-партийного вмешательства в художествен-ную жизнь, которое этот документ узаконивал самим фактом своего появления. Оспорив один за другим все пункты партийного документа, поэт поставил ему в вину пренебрежение историей и равнодушие к во-просу, «допустим я или не допустим». Спустя десять лет партийные чи-новники припомнили поэту эту статью, когда И. Лежнев значительную часть своего выступления на Первом всесоюзном съезде советских пи-сателей в 1934 году посвятил разбору пастернаковской «ереси».

При полном неприятии происходивших в литературной жизни процессов и упрямом нежелании войти в любой из существующих лаге-рей Пастернак стремился понять исторический опыт своего поколения, прошедшего через два десятилетия испытаний революцией. Все его по-пытки стихового эпоса разрабатывали тему революции. Группировались они вокруг двух узловых моментов – октябрьской революции и граж-данской войны («Высокая болезнь», роман в стихах «Спекторский» и прозаическая «Повесть») и событий 1905 года.

Первой русской революции были посвящены две поэмы – «Девять-сот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». В первой из них современников удивила интенсивность автобиографического элемента, непосредствен-ного выражения авторского «я». Она была в разительном контрасте с лирикой Пастернака, в которой лирический субъект был, наоборот, за-тушеван. «Девятьсот пятый год» был у Пастернака решительным отступ-лением и от поэтики прежних эпических опытов: в отличие от «Балла-ды», «Поэмы о ближнем», «Высокой болезни», в которых событийный план представлен в нарочито размытом виде, «стихотворная хроника» (как автор назвал ее) «Девятьсот пятый год» была организована вокруг четко определенных (и всем памятных) событий и фактов.

В «Лейтенанте Шмидте» Пастернак дал развернутый портрет ге-роя, первый набросок которого угадывается в жертвенности вождей французской революции Сен-Жюста и Робеспьера, как они изображе-ны в «Драматических отрывках» (1917). При этом в главном персонаже поэмы были усилены черты, ранее проявлявшиеся только в эмбриональ-ном виде: мягкость характера, нерешительность, поиски истины и вера в конечное торжество правды – которые переходят далее к Спектор-скому, а потом и к доктору Живаго, объединив в специфически-пастер-наковском ключе «чеховский» и «гамлетовский» элемент. Пастернак вдохновился публикациями подлинных исторических документов о Шмидте и подчас почти дословно переводил их в стихи. Но самый вы-бор персонажа и фокусировка на нем историко-революционного пове-ствования оказались вызовом нормам, воцарявшимся в официальном изображении революции и ее героев. Скрытый полемический смысл поэмы состоял в том уже, что Шмидт не представлял какую-нибудь по-литическую партию и, по идее Пастернака, призван был символизиро-вать органически общерусский, надпартийный характер революции.

Обе поэмы внешне выглядели созвучными официальной кампа-нии торжественного празднования в 1925 году двадцатилетнего юбилея первой русской революции. Но упорный отказ Пастернака хотя бы в малой степени поддержать актуальные

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас агитационно–дидактические цели этих торжеств очевиден, когда мы сравниваем его исторический эпос с другим выдающимся памятником советской культуры двадцатых годов – кинофильмом С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин».

* * *

Ближайшего единомышленника Борис Пастернак на–ходил в 20–е годы не в советской литературе, а в эмиграции. Это была Марина Цветаева. Переписка между ними завязалась летом 1922 года в связи с выходом книги Цветаевой «Версты» и «Сестры моей жизни». Во время пребывания Пастернака в Берлине встреча их не состоялась: Цветаева перебралась в Прагу до приезда Пастернака в Германию. Несмотря на расстояние и барьеры, воздвигнутые политической реальностью, их переписка «на воздушных путях» стала редким по интенсивности лирическим диалогом, к 1926 году превратившимся в своего рода эпистолярный роман. Пастернак был готов «рвануться» к Цветаевой, и сроки этого свидания зависели от продвижения работы над «Лейтенантом Шмидтом», в которую он был погружен. Первую часть поэмы при публикации в журнале «Новый мир» предваряло «Посвящение», которое представляло собой обращенный к Цветаевой акростих. Поскольку отношение советской прессы к Цветаевой, как к «белоэмигрантскому» автору, в это время стало непримиримо–враждебным, это «Посвящение» вызвало скандал, как только адресат акростиха был разгадан. Пастернак был вынужден оправдываться перед редактором журнала В. П. Полонским, только что подвергшимся разносу за публикацию пильняков–ской «Повести непогашенной луны».

Эпистолярный роман с Цветаевой принял новый оборот, когда в него вошел Р.–М. Рильке. Великого немецкого поэта Борис увидел один лишь раз – в 1900 году, десятилетним мальчиком, когда Рильке совершал свою вторую поездку в Россию и направлялся к Л. Н. Толстому в Ясную Поляну. В 1911–1913 и в 1920 годах Пастернак брался переводить «Книгу картин» Рильке. Весной 1926 года его ошеломила весть о том, что великий немецкий поэт знаком с его стихами. Оказалось, что в 1924–1925 годах, находясь в Париже и встретившись там с русскими эмигрантами, в том числе с М. О. и М. С. Цетлиными, Рильке услышал о Пастернаке. По их рекомендации он ознакомился с пастернаковскими стихами, включенными в антологию Эренбурга «Портреты русских поэтов», и с переводами пастернаковских стихотворений, напечатанными во французском журнале «Соттегсе». Об этом он упомянул в письме Л. О. Пастернаку 26 марта 1926 года. Получив от родителей выдержку из этого письма, Борис 12 апреля написал Рильке. Там он упомянул о потрясении от «Поэмы конца» Цветаевой и попросил послать ей в подарок

«Дуинезские элегии». Рильке эту просьбу сразу выполнил, и между ним и Цветаевой завязалась переписка, приобретающая романтические обертоны. Цветаева надеялась на скорую встречу с Рильке, но ей не суждено было состояться – он умер спустя несколько месяцев. Перипетии трех–сторонней переписки оставили неизгладимый след в судьбах Цветаевой и Пастернака. Лирический подъем, пережитый Цветаевой с 1922 года, после смерти Рильке к ней никогда не возвращался.

Работа Пастернака над «Лейтенантом Шмидтом» в значительной мере определялась цветаевской реакцией на создаваемый текст: он посылал ей поэму в рукописи кусок за куском. Тем более грустно было ему узнать о разочаровании, испытанном Цветаевой от поэмы. Как и Маяковского, ее не удовлетворило то, что главный персонаж был лишен того героического ореола, без которого, по ее мнению, невозможен был разговор о революции. В портрете Шмидта она почувствовала громадную личную пастернаковскую, автобиографическую подоплеку. В рассуждениях «Охранной грамоты» о различиях между «героем» и «автором», о принципиальной негероичности поэта можно усмотреть своеобразный отзвук этих споров.

Переезд Цветаевой из Праги в Париж в Рождество 1925 года по–влек за собой ощутимые сдвиги в литературной жизни эмиграции. С появлением альманаха «Версты», в котором она и Сергей Эфрон играли центральную роль, в эмигрантской прессе обострились дебаты о советской литературе вообще и о Пастернаке в частности. Вопреки большинству в эмиграции евразийская группа, издававшая «Версты», придерживалась взгляда, что в советской стране русская культура переживает невиданный расцвет, тогда как в эмиграции она обречена на увядание. В этом контексте «Версты» выдвигали Пастернака как ведущего советского поэта. Помимо Цветаевой, такую оценку отстаивал и главный литературный авторитет евразийской группы Д. П. Святополк–Мирский. Он считал, что пастернаковская поэзия – лучшая в современной Европе, ей равна только поэзия Т.–С. Элиота. Мирский обладал широкими связями в европейской среде и был вхож в журнал Элиота «Criterion» и в парижский журнал «Соттегсе», редактировавшийся Полем Валери.

(По–видимому, по рекомендации Мирского в «Соттегсе» и появились стихотворения Пастернака в переводе на французский язык.) Если для молодых русских поэтов – поклонников Пастернака в Париже его творчество было высшим образцом технической виртуозности, то в евразийских «Верстах» приветствовали и самый факт обращения

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас- Пастернака к революционной теме, и то, как он эту тему трактовал. И подобно тому как самой близкой себе по духу в современ-ной поэзии Пастернак считал Цветаеву («поверх барьеров», разделяв-ших советскую и эмигрантскую литературу), так и самое близкое себе идейное течение он находил не в советской России, а в эмиграции, – в группе «Верст». При этом он отдавал себе отчет в том, что Цветаева обречена была на такое же литературное одиночество в эмиграции, ка-кое сам он испытывал внутри советской литературы.

Сближение с В. П. Полонским, наметившееся в тот момент, одно-временно способствовало и смягчению этого ощущения одиночества, и более ясному его осознанию. С января 1926 года Полонский возглавил редакцию «Нового мира». Он горячо приветствовал обращение Пастер-нака к историко-революционным темам и напечатал в своем журнале отрывки из «Девятьсот пятого года» и полный текст «Лейтенанта Шмид-та». В противоположность А. К. Воронскому, порицавшему Пастерна-ка за чрезмерную затрудненность поэтического языка и недоступность для широкого читателя, Полонский сложность поэтической культуры не считал недостатком и отвергал выдвигавшиеся против Пастернака обвинения в том, что тот уходит от общественных тем и интересов. Он заявлял, что, в отличие от периода военного коммунизма, когда были необходимы действенные агитационные формы, теперь гражданская тематика нуждается в более вдумчивой разработке. Несмотря на то что к ней Пастернак обращается не так часто и открыто, как Маяковский или Есенин, Асеев или Тихонов, его трактовка несравненно глубже, чем у этих поэтов. С подлинной искренностью и реализмом Пастернак пе-редал трагедию интеллигенции в революционную эпоху. Погружение его в эту проблематику привело к изменению поэтического стиля, сделав его более прозрачным и ясным. При этом Пастернак в своих историко-революционных поэмах не изменил не только своим моральным и граж-данским убеждениям, но и основным принципам своей поэтики.

В Полонском Пастернак видел одного из «людей революции»; «политическое воспитание я получил здесь», – позднее писал он¹. С редактором «Нового мира» он разделял убеждение в том, что природа революции и социализма предполагает честность и прямоту в человеке и исключает раболепство и угодничество перед верхами.

Но близость к Полонскому, в свою очередь, повлияла на отноше-ния поэта с Маяковским и кружком Лефа. Осенью 1926 года Пастернак принял участие в лефовских собраниях, посвященных возобновлению журнальной деятельности группы. В первом номере «Нового Лефа», вышедшем в январе 1927 года, был помещен отрывок из «Лейтенанта Шмидта» и Пастернак был анонсирован в списке главных авторов. В развернувшейся вокруг «Нового Лефа» полемике главным оппо-нентом журнала Маяковского стал Полонский. Всегда принадлежавший к либеральному флангу руководства советской культурой, Полонский до появления «Нового Лефа» избегал прямого участия в литературных бит-вах. Но сейчас, когда он был назначен редактором «Нового мира», он не

¹ Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской ли-тературы 1920–1930-х годов. Новые материалы и исследо-вания. М.: Наука, 1983. С. 684.

считал возможным от них уклониться. Его яростная борьба против «Ново-го Лефа» не была вызвана личной враждебностью. Напротив, в 1926 году, перед появлением «Нового Лефа», Маяковский и Асеев печатались в его журнале даже больше, чем Пастернак. Но его встревожил дух группо-вой борьбы, насаждавшийся «Новым Лефом». Для Полонского Пастер-нак, Асеев и Маяковский были бесконечно интереснее как индивиду-умы, чем как члены претендовавшей на монолитность группы. Новый Леф был, с его точки зрения, ненужным и нежизнеспособным образо-ванием, занявшимся дешевой саморекламой, совершенно бессмыслен-ной в советскую эпоху. При этом Полонский последовательно выделял Пастернака из группы и противопоставлял его другим ее членам.

Литературная полемика быстро обросла политическими обвине-ниями, и Пастернак твердо занял в ней сторону Полонского. Он оста-вался на его стороне и в период, когда над Полонским нависли тучи и из-за обвинений в троцкизме он был отстранен от редактирования «Но-вого мира». Poleмика, которую Полонский повел против Лефа, приоб-ретала под влиянием Пастернака более серьезный и глубокий характер: если первоначально свой полемический задор Полонский сосредото-чил на высмеивании «богемности» Маяковского, то затем он выступил против проповедовавшейся лефовцами теории «социального заказа».

Впервые эта теория была выдвинута еще в 1922 году в статье Н. Асе-ева в «Печати и революции». Она вкратце сводилась к следующему. Пос-ле октябрьской революции функции художника изменились. Он сейчас превращается в добровольного исполнителя заданий, поставленных перед ним социалистическим государством. В качестве образца такого сознательного подчинения государственным целям называлась работа Маяковского над агитационными плакатами в «Окнах Роста» в период гражданской войны.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Концепция социального заказа стала краеугольным камнем плат-формы Лефа; все
остальные элементы ее – призыв к замене беллетрист-тики «литературой факта»,
отказ от романа и лирики во имя газетного репортажа, отрицание Рембрандта и
Рафаэля ради фотографии – опи-рались на это фундаментальное положение. В то
время как остальные экстравагантные положения лефовской доктрины в других
литературных организациях не имели ни малейшей поддержки, теория социального
заказа выглядела само собою разумеющейся и не подвергалась какому-нибудь
сомнению. Полонский был первым, кто осмелился выступить против нее. Отвергал он
ее на том основании, что понятие «социально-го заказа» предполагало сервиллизм и
цинизм художника, его готовность выполнять условия «клиента» (государства)
независимо от того, был ли переход художника на позиции нового строя искренним
или нет. Под-линный переход немислим без сомнений и мучительной внутренней
борьбы, и образцом такой искренности и честности для Полонского был Пастернак. В
«Охранной грамоте», над которой поэт стал работать с 1927 года, вскоре после
смерти Рильке, он солидаризировался с ар-гументами Полонского и развил их. В
лефовской теории Пастернак видел прямую угрозу литературе.
Споры вокруг теории «социального заказа» протекали в условиях крутых изменений
общественно-политического климата. Разгром но-вой оппозиции («правых
уклонистов») в партии отразился и на ситуа-ции в литературе. Объединенным
фронтом РАПП и Леф повели атаку против писателей-попутчиков, объявив их «правой
опасностью». Осе-нью 1928 года Маяковский с ближайшими друзьями вышел из Лефа.
Казалось бы, Пастернак должен был торжествовать победу – он давно, с 1927 года,
призывал Маяковского бросить Леф. Но Маяковский стре-мился не к большей
независимости, а, наоборот, к большему подчине-нию своей работы партийному
контролю. Главной целью созданного им Рефа (Революционного фронта искусств) была
объявлена газетная дея-тельность, газетные репортажи. В них усматривалось
надежное проти-воядие против ненавистой «аполитичности» искусства.

* * *

В конце августа 1929 года произошли драматические события, в корне изменившие
характер советской литературы. Статьи против Пильняка и Замятина (их обвинили в
публикации произведе-ний за границей в обход советской цензуры) послужили
началом ярост-ной кампании, направленной против лагеря попутчиков. В
воцарявшей-ся инквизиторской атмосфере под обстрелом оказывались все новые и
новые имена: Андрей Платонов, Булгаков, Клычков, Мариенгоф, Вс. Иванов,
Эренбург. 1 сентября с поста наркома просвещения был уволен А. В. Луначарский,
бывший в глазах интеллигенции одним из наиболее культурных партийных
руководителей. РАПП потребовал де-завуирования резолюции ЦК от 1925 года о
литературе, гарантировав-шей относительную независимость писателям-попутчикам.
Во время этой кампании Маяковский и его ближайшее окружение безоговорочно встали
на сторону рапповцев, признав их авторитет, как выразителей взглядов партии на
литературу. Но это не уберегло их са-мих от ударов. Осенью 1929 года Маяковскому
впервые было отказано в выезде за границу, и это выражение политического
недоверия потряс-ло его до глубины души. Последние месяцы жизни поэта были
сплош-ной цепью попыток доказать свою полную лояльность советской влас-ти.
Апогеем этих унижительных усилий стало его вступление в РАПП. Вскоре после
этого, 14 апреля 1930 года, он покончил собой.

Пастернак был подавлен кампанией 1929 года. Исчезновение из советской жизни
ценностей, казавшихся ему неотъемлемо присущими революции, – таких, как личная
независимость, искренность, честность, гуманность, – вызвали у него
предчувствие скорой гибели лите-ратуры. Не случайно смерть Юрия Живаго в романе
приурочена к авгу-сту 1929 года, к тем самым дням, когда разразившаяся травля
писателей полностью изменила общественную атмосферу в стране. В предвидении
«конца литературы» Пастернак сосредоточился на завершении больших работ – романа
в стихах «Спекторский» и «Охранной грамоты».

«Охранную грамоту» поэт начал писать в 1927 году, под впечатле-нием неожиданного
известия о смерти Рильке. Он колебался в опреде-лении жанра будущего
произведения, называя его то «чем-то средним между статьей и художественной
прозой», то «полуфилософской ве-щью», то «автобиографическими отрывками». Текст
создавался в пери-од мучительного разрыва с Маяковским и его группой и с самого
начала задумывался в полемике с лозунгами, исходившими из лефовских кру-гов.
Появление в печати первой части книги в августе 1929 года совпало с кампанией
против Пильняка и Замятина. Изменившаяся обществен-ная атмосфера обусловила
резкое усиление полемической направлен-ности «Охранной грамоты». Во второй и
третьей ее частях автор дал (хотя и в иносказательной форме) развернутое
изложение своих коренных рас-хождений с доктриной «Лефа». Вместе с тем он
выступил и против тех новых тенденций культурной политики государства, которые
казались тесно связанными с лефовскими идеями и предствлениями (если и не прямо
инспирированными ими). Так в книгу были введены рассужде-ния об искусстве и его

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
казчике, внешне приуроченные к главам о Венеции и живописи Ренессанса. По
Пастернаку, художник неизбежно обманывает заказчика, всегда сопротивляется его
диктату, а неспособность к сопротивлению оборачивается изменой искусству.
Именно в этом и состоит «охранная» функция искусства, приносящая чело-вечеству
бессмертие. Гибель первого поэта революции Маяковского, в котором соединились
сопротивление и бессилие, бунт и покорность, верность художническим началам и
измена им, – стала убедительным подтверждением правоты этой концепции.
При этом в гибели Маяковского Пастернак видел и другую, «роман-тическую»
сторону: неспособность принять действительность и высто-ять перед ее ударами.
Новая пастернаковская жизненная программа со-единяла в себе, казалось бы,
несовместимые стороны: «бунт» – и «со-трудничество с действительной жизнью».
Какой из двух полюсов возоб-ладает, зависело от менявшейся общественной и
литературной ситуации.
Весна 1931 года принесла с собой ошутимое ослабление полицей-ского нажима,
введенного в действие в ходе травли Пильняка и Замяти-на. В эти весенние дни
Пастернак пишет стихотворение «Столетье с лишним – не вчера...» – парафразу
пушкинских «Стансов», в котором параллель между нынешней, с одной стороны, и
пушкинско-николаев-ской и петровской эпохами, с другой, придавала заявленному
автором приятию современной действительности амбивалентный, неуверенный оттенок
исторической обусловленности и предвзятости. Отчетли-вее всего это
проявлялось в четвертой строфе, являвшейся завуалиро-ванным обращением к Сталину
и заключающей в себе допущение, что террору в стране приходит конец¹:
Но лишь сейчас сказать пора, Величьем дня сравнение разня: Начало славных дней
Петра Мрачили мятежи и казни.
Стихотворение было опубликовано спустя год, в мае 1932 года, в момент краткой и
бурной «оттепели», – но без этой, одновременно на-иболее панегирической и
наиболее взрывоопасной, строфы. Трудно ска-зать, что именно явилось причиной ее
изъятия: само ли по себе упоми-нание «мятежей и казней»; подразумеваемый ли
призыв к примирению в стране, измученной враждой; упрек ли по адресу властей за
то, что «лишь сейчас» – то есть с неким опозданием – произносимое кажется
уместным; или же, наоборот, ощущение, что за апологией «величья дня» скрыт намек
на преждевременность ожидаемого успокоения в общест-ве. Это, как и другие
стихотворения Пастернака той поры, свидетельст-вовало, однако, о его готовности
принять советскую реальность в каче-стве неизбежной и законной формы социализма.
Спустя несколько недель, в июне 1931 года, поэт в составе писатель-ской бригады
совершил поездку на Урал. Командировка была устроена журналом Полонского «Новый
мир» в целях освещения успехов индус-триализации страны, провозглашенной
пятилетним планом. Пастернак был настолько потрясен увиденным – соединением
циклопического размаха строительства, напоминавшего петровскую эпоху, с
чудовищ-ным обезличиванием индивидуума при торжестве «организованной
по-средственности», – что прервал поездку и вернулся в Москву. Но удру-чающие
впечатления, вынесенные из этой командировки, столкнулись с более радостными,
когда осенью он с З. Н. Нейгауз отправился по при-глашению Паоло Яшвили в
Грузию. Здесь он обнаружил то, чего не мог найти на Урале: богатую
интеллектуальную атмосферу, утонченную куль-туру, сочетание искренней веры в
социализм с личной независимостью и внутренним благородством. Все проявления
приятия социализма и советской действительности у поэта вплоть до 1937 года так
или иначе преломлялись сквозь призму его восторженного отношения к Грузии.
Между тем Полонский был из «Нового мира» уволен, а над Пас-тернаком к весне 1932
года стали сгущаться тучи. Резким нападкам кри-тиков подверглась не только
«Охранная грамота», обвиненная в «субь-
О том, что давало основания для такого допущения, см. в кн.: Лазарь Флейшман.
Борис Пастернак в тридцатые го-ды (Jerusalem: The Magnes Press, 1984), гл. 1
(«Черный год»).

ективном идеализме» и после 1931 года никогда не перепечатававшая-ся из-за
цензурного запрета, но и новые лирические его высказывания, выразившие небывалое
у него принятие социализма в его советской разновидности. Атаки на него были
частью общего наступления рап-повского руководства против беспартийных
литераторов. Предсказать, как далеко зайдут вердикты литературной бюрократии,
приобретавшие все более угрожающий характер, и чем они обернутся для поэта, было
невозможно.
Однако 23 апреля 1932 года произошла внезапная и резкая перемена: в этот день
было опубликовано постановление Центрального Коми-тета ВКП(б) о роспуске РАППа.
Вся вина за установление аракчеевского режима в советской литературе была
возложена на Авербаха и его соратни-ков в руководстве РАППа. Совершавшийся
переворот предполагал ще-друю поддержку государством ранее гонимых
писателей-попутчиков. Более того, самая эта кличка – «попутчик», имевшая
несколько прене-брежительный оттенок, была заменена новым, почетным официальным

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас термином – «советский писатель». Провозглашался отказ от разделения писателей по принципу классового происхождения и было объявлено о создании объединенной организации – Союза советских писателей.

Ни одна другая резолюция партийного руководства не получала такого искреннего одобрения со стороны советской интеллигенции, как постановление от 23 апреля. Еще недавно находившиеся в безнадежно-мрачном, подавленном состоянии писатели теперь испытали неподдель-ную радость. Но голоса Пастернака в общем ликующем хоре не было слышно. Его расстроил и обеспокоил грубо-директивный характер дей-ствия властей. Литературные же верхи спешили продемонстрировать свое расположение ранее полуопальному автору. «Литературная газета» поместила большую, непривычно доброжелательную статью о поэте, в которой объявлялось, что Пастернак «сочувствует платформе советской власти» и отменялись прежние рапповские оценки его творчества¹. В эти недели вышел сборник стихов Пастернака «Второе рождение».

Симпатии режима к поэту выразились и в организации новой его поездки на Урал летом 1932 года – на сей раз не в составе «бригады», направляемой на производство, а приватным образом – на летнюю дачу вместе с семьей. Урал был объявлен ударной стройкой пятилетки, и ожидалось, что Пастернак должным образом оценит достижения соци-алистического строительства и воспевает их. Но никаких дифирамбов из-под пера Пастернака не вышло. Впечатления, вынесенные им из этой поездки, оказались еще более подавляющими, чем те, что он испытал годом раньше. На сей раз он впервые воочию увидел ужасающие разме-ры разорения, совершенного коллективизацией в деревне. Он послал

1 К., «О Борисе Пастернаке». Литературная газета, 1932, 29 мая. С. 2.

письмо в Союз писателей в надежде привлечь внимание руководства к происходившему. Но никакого ответа не получил.

Осенью 1932 года только что изобретенный и спущенный сверху лозунг «социалистического реализма» (восходивший прямо к Сталину) еще не получил позднейшего одиозного значения. Он нес в себе отчет-ливо либеральные, а не офаничительно-директивные оттенки и казал-ся прямо нацеленным против рапповского требования «метода диалек-тического материализма». Пастернак со всей серьезностью отнесся и к новому требованию «реализма», и к его расшифровке руководителем Союза писателей И. М. Тройским («Пишите правду, товарищи»). Тем большее недоумение должно было вызвать отсутствие какой бы то ни было реакции на посланное им письмо об увиденном на Урале. Пастер-нак остался в стороне от двух главных событий литературной жизни того момента – встречи писателей со Сталиным, организованной на квар-тире Горького 26 октября 1932 года, и первого пленума Оргкомитета Союза писателей.

Поэтому столь неожиданной кажется приписка Пастернака к пись-му писателей на имя Сталина по поводу смерти жены вождя Аллилуе-вой, помещенному 17 ноября в «Литературной газете». Там к казенным выражениям соболезнования и солидарности с «делом освобождения миллионов угнетенного человечества» в кратком тексте за 33 подписа-ми бывших попутчиков и бывших рапповцев было отдельно добавлено несколько строк поэта:

«Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упор-но думал о Сталине; как художник – впервые. Утром прочел известие. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел.

Борис Пастернак».

Как отметил Михаил Коряков, загадочный характер этого выска-зывания не мог не броситься читателю в глаза¹. Действительно, Пастер-нак счел нужным не только отделить свои слова от безличного общего хора, но и, в отличие от последнего, как бы и не адресовался непосред-ственно к Сталину. Признание при этом, что «накануне» (получения известия, то есть в 15-ю годовщину октябрьской революции) «глубоко и упорно думал о Сталине», и притом, впервые – «как художник», не только наделяло сказанное ореолом мистического ясновидения, но и оказывалось в странной переключке с лихорадочными попытками вла-стей мобилизовать советских и иностранных писателей на создание книг о вожде. Обработке в этом направлении подвергался сам Горький.

1 М. Коряков, «Термометр России». Новый журнал. Кн. LV (декабрь 1958). С. 140–141. Следует напомнить, что в пер-вые же дни разнесся слух о том, что Н. С. Аллилуева покон-чила самоубийством.

Было бы наивным интерпретировать данную приписку как знак суетливого верноподданничества, как изъявление намерения участво-вать в создании высокопарных од в духе позднейших шедевров социа-листического реализма. Будь у Пастернака действительно такое наме-рение, ему нетрудно было бы найти возможности для его осуществле-ния и тогда же, и в позднейшие годы. Гораздо больше оснований рас-сматривать это высказывание совсем в ином ключе. Речь шла о задуманном стихотворении, в котором картина невиданных жертв И раз-рушений,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас причиненных в ходе коллективизации, раскрывалась бы взору Сталина во всем ее ужающем масштабе. Сталин, по этому замыслу, находил историческое оправдание бесчисленным страданиям, сопро-вождавшим гигантский рост страны. Поскольку само упоминание об этих страданиях исключало возможность-напечатания стихотворения, поэт не довел свой замысел до завершения. [См. об этом: «Impressions of Boris Pasternak», *The New Reasoner*, 4 (Spring 1958), p. 88-89.] Можно полагать, что задумано оно было в 1932–1933 годах, когда страшный голод обрушился на огромные районы советской страны. Тема этого произведения переключалась с мыслями о новой роли, взятой на себя Сталиным в литературной жизни, о его требовании «писать правду»; об этой новой роли свидетельствовала встреча его с писателями, только что проведенная на квартире Горького. Таков, по всей вероятности, был ход размышлений Пастернака вокруг замысла стихотворения. Написано оно не было. Пастернак не вышел из кризиса, наступив-шего сразу вслед за появлением «Второго рождения» в 1932 году. Эта новая книга стихов после первых двух, «Сестры моей жизни» и «Тем и варьяций», явно проигрывала на их фоне. Автор ощущал некоторую степень компромисса в безусловно искренних признаниях, в ней содер-жавшихся. Оптимистический настрой, выраженный в сборнике и в на-звании его, вступал в противоречие с поразившими поэта впечатления-ми, вынесенными из уральских поездок. Ощущение неполной адекват-ности усугублялось изменениями, происходившими в пастернаковской поэтике – значительным упрощением стиля лирического высказыва-ния, введением прямого выражения лирического «я», ранее несвойст-венного поэту. К решению радикально упростить язык своей лирики Пастернак пришел задолго и независимо от введения норм, предписы-вавшихся доктриной «социалистического реализма». Уже в 1929 году он предсказывал такой поворот в своем творчестве, объясняя неизбежность его тем, что язык, выработанный в рамках модернистских эксперимен-тов им самим, Хлебниковым и Тихоновым, стал в советскую эпоху об-щим достоянием¹.

¹ Письмо Пастернака Н. С. Тихонову 31 мая 1929 г. См.: Дм. Хренков. Николай Тихонов в Ленинграде. Л.: Лениз-дат, 1984. С. 83.

* * *

Долголетнее молчание Пастернака в лирике в 1930-е годы не следует рассматривать как политическую демонстрацию. Период этот отмечен мучительными колебаниями и драматическими переменами в отношении поэта к социалистическому государству, к совершавшемуся в нем гигантскому социальному эксперименту. Вос-принимал его Пастернак не замкнуто, а в широком, всеевропейском историческом контексте. Вот почему в одном из откликов на события в Европе, в письме отцу 5 марта 1933 года, он уподобил только что побе-дивший в Германии нацизм советскому строю: «И одно и то же, как это ни покажется странным тебе, угнетает меня и у нас, и в вашем порядке. То, что это движенье не христианское, а националистическое, то есть у него та же опасность скатиться к бестиа-лизму факта, тот же отрыв от вековой и милостивой традиции, дышав-шей превращеньями и пред восхищеньями, а не одними констатациями слепого аффекта. Это движенья парные, одного уровня, одно вызвано другим, и тем это все грустнее. Это правое и левое крылья одной мате-рьялистической ночи».

Летом 1933 года в советской литературной жизни произошли зна-чительные перемены. По возвращении Горького из-за рубежа к нему перешли бразды правления в Оргкомитете Союза писателей. Поражен-ный той легкостью, с какой фашистская чума одержала верх в Герма-нии, и подавленный теми последствиями, которые эта победа имела для культурной жизни (аресты и изгнание писателей, книжные аутодафе на улицах городов), Горький приходил к заключению, что только культура (и в первую очередь, культура социализма) может служить барьером против распространения бесчеловечной идеологии нацизма в Европе.

Он со всей энергией принялся за подготовку первого съезда созда-ваемого писательского союза. Съезд должен был стать событием боль-шого международного значения. В его программе акцент должен был быть поставлен – в противовес расистским лозунгам, исходившим из гитлеровской Германии, – на демонстрации дружбы народов и расце-та национальных литератур в социалистическом обществе. Во испол-нение этих стратегических замыслов в сентябре 1933 года были созданы писательские бригады для отправки в национальные республики и на окраины Советского Союза. Пастернак первоначально был, в качестве эксперта по Уралу, прикреплен к уральской бригаде. Чиновников уди-вило, когда он настоял на том, чтобы его взамен направили в Грузию. К «грузинской» писательской бригаде Пастернак привлек даже своего друга в Ленинграде Николая Тихонова. Хотя Пастернак, вопреки на-деждам руководства, не вывез из поездки новых оригинальных стихов о социалистической действительности в Грузии, он, однако, с азартом взялся за переводы из грузинской поэзии. Когда его упрекнули в огра-оттенке исторической обусловленности и предварительности. Отчетли-вее всего это проявлялось в четвертой строфе, являвшейся завуалиро-ванным обращением к Сталину

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас и заключающей в себе допущение, что террору в стране приходит конец¹:

Но лишь сейчас сказать пора, Величьем дня сравнение разня: Начало славных дней Петра Мрачили мятежи и казни.

Стихотворение было опубликовано спустя год, в мае 1932 года, в момент краткой и бурной «оттепели», – но без этой, одновременно на-иболее панегирической и наиболее взрывоопасной, строфы. Трудно ска-зать, что именно явилось причиной ее изъятия: само ли по себе упоми-нание «мятежей и казней»; подразумеваемый ли призыв к примирению в стране, измученной враждой; упрек ли по адресу властей за то, что «лишь сейчас» – то есть с неким опозданием – произносимое кажется уместным; или же, наоборот, ощущение, что за апологией «величья дня» скрыт намек на преждевременность ожидаемого успокоения в общест-ве. Это, как и другие стихотворения Пастернака той поры, свидетелст-вовало, однако, о его готовности принять советскую реальность в каче-стве неизбежной и законной формы социализма. Спустя несколько недель, в июне 1931 года, поэт в составе писатель-ской бригады совершил поездку на Урал. Командировка была устроена журналом Полонского «Новый мир» в целях освещения успехов индус-триализации страны, провозглашенной пятилетним планом. Пастернак был настолько потрясен увиденным – соединением циклопического размаха строительства, напоминавшего петровскую эпоху, с чудовищ-ным обезличиванием индивидуума при торжестве «организованной по-средственности», – что прервал поездку и вернулся в Москву. Но удру-чающие впечатления, вынесенные из этой командировки, столкнулись с более радостными, когда осенью он с З. Н. Нейгауз отправился по при-глашению Паоло Яшвили в Грузию. Здесь он обнаружил то, чего не мог найти на Урале: богатую интеллектуальную атмосферу, утонченную куль-туру, сочетание искренней веры в социализм с личной независимостью и внутренним благородством. Все проявления приятия социализма и советской действительности у поэта вплоть до 1937 года так или иначе преломлялись сквозь призму его восторженного отношения к Грузии. Между тем Полонский был из «Нового мира» уволен, а над Пас-тернаком к весне 1932 года стали сгущаться тучи. Резким нападкам кри-тиков подверглась не только «Охранная грамота», обвиненная в «субь-О том, что давало основания для такого допущения, см. в кн.: Лазарь Флейшман. Борис Пастернак в тридцатые го-ды (Jerusalem: The Magnes Press, 1984), гл. 1 («Черный год»).

ективном идеализме» и после 1931 года никогда не перепечатаывавшая-ся из-за цензурного запрета, но и новые лирические его высказывания, выразившие небывалое у него принятие социализма в его советской разновидности. Атаки на него были частью общего наступления рап-повского руководства против беспартийных литераторов. Предсказать, как далеко зайдут вердикты литературной бюрократии, приобретающие все более угрожающий характер, и чем они обернутся для поэта, было невозможно.

Однако 23 апреля 1932 года произошла внезапная и резкая переме-на: в этот день было опубликовано постановление Центрального Коми-тета ВКП(б) о роспуске РАППа. Вся вина за установление аракчеевского режима в советской литературе была возложена на Авербаха и его соратни-ков в руководстве РАППа. Совершившийся переворот предполагал ще-друю поддержку государством ранее гонимых писателей-попутчиков. Более того, самая эта кличка – «попутчик», имевшая несколько прене-брежительный оттенок, была заменена новым, почетным официальным термином – «советский писатель». Провозглашался отказ от разделения писателей по принципу классового происхождения и было объявлено о создании объединенной организации – Союза советских писателей.

Ни одна другая резолюция партийного руководства не получала такого искреннего одобрения со стороны советской интеллигенции, как постановление от 23 апреля. Еще недавно находившиеся в безнадежно-мрачном, подавленном состоянии писатели теперь испытали неподдель-ную радость. Но голоса Пастернака в общем ликующем хоре не было слышно. Его расстроил и обеспокоил грубо-директивный характер дей-ствия властей. Литературные же верхи спешили продемонстрировать свое расположение ранее полуопальному автору. «Литературная газета» поместила большую, непривычно доброжелательную статью о поэте, в которой объявлялось, что Пастернак «сочувствует платформе советской власти» и отменялись прежние рапповские оценки его творчества¹. В эти недели вышел сборник стихов Пастернака «Второе рождение».

Симпатии режима к поэту выразились и в организации новой его поездки на Урал летом 1932 года – на сей раз не в составе «бригады», направляемой на производство, а частным образом – на летнюю дачу вместе с семьей. Урал был объявлен ударной стройкой пятилетки, и ожидалось, что Пастернак должным образом оценит достижения соци-алистического строительства и воспоеет их. Но никаких дифирамбов из-под пера Пастернака не вышло. Впечатления, вынесенные им из этой поездки, оказались еще более подавляющими, чем те, что он испытал годом раньше.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
На сей раз он впервые воочию увидел ужасающие разме-ры разорения, совершенного
коллективизацией в деревне. Он послал

1 К., «О Борисе Пастернаке». Литературная газета, 1932, 29 мая. С. 2.

письмо в Союз писателей в надежде привлечь внимание руководства к
происходившему. Но никакого ответа не получил.

Осенью 1932 года только что изобретенный и спущенный сверху лозунг
«социалистического реализма» (восходивший прямо к Сталину) еще не получил
позднейшего одиозного значения. Он нес в себе отчет-ливо либеральные, а не
ограничительно-директивные оттенки и казал-ся прямо нацеленным против
рапповского требования «метода диалек-тического материализма». Пастернак со всей
серьезностью отнесся и к новому требованию «реализма», и к его расшифровке
руководителем Союза писателей И. М. Тройским («Пишите правду, товарищи»). Тем
большее недоумение должно было вызвать отсутствие какой бы то ни было реакции на
посланное им письмо об увиденном на Урале. Пастер-нак остался в стороне от двух
главных событий литературной жизни того момента – встречи писателей со Сталиным,
организованной на квар-тире Горького 26 октября 1932 года, и первого пленума
Оргкомитета Союза писателей.

Поэтому столь неожиданной кажется приписка Пастернака к пись-му писателей на имя
Сталина по поводу смерти жены вождя Аллилуе-вой, помещенному 17 ноября в
«Литературной газете». Там к казенным выражениям соболезнования и солидарности с
«делом освобождения миллионов угнетенного человечества» в кратком тексте за 33
подписа-ми бывших попутчиков и бывших рапповцев было отдельно добавлено
несколько строк поэта:

«Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упор-но думал о Сталине;
как художник – впервые. Утром прочел известие. Потрясен так, точно был рядом,
жил и видел.

Борис Пастернак».

Как отметил Михаил Коряков, загадочный характер этого выска-зывания не мог не
броситься читателю в глаза. Действительно, Пастер-нак счел нужным не только
отделить свои слова от безличного общего хора, но и, в отличие от последнего,
как бы и не адресовался непосред-ственно к Сталину. Признание при этом, что
«накануне» (получения известия, то есть в 15-ю годовщину октябрьской революции)
«глубоко и упорно думал о Сталине», и притом, впервые – «как художник», не
только наделяло сказанное ореолом мистического ясновидения, но и оказывалось в
странной переключке с лихорадочными попытками вла-стей мобилизовать советских и
иностраных писателей на создание книг о вожде. Обработке в этом направлении
подвергался сам Горький.

1 М. Коряков, «Термометр России». Новый журнал. Кн. LV (декабрь 1958). С.
140–141. Следует напомнить, что в пер-вые же дни разнесся слух о том, что Н. С.
Аллилуева покон-чила самоубийством.

Было бы наивным интерпретировать данную приписку как знак суетливого
верноподданничества, как изъявление намерения участво-вать в создании
высокопарных од в духе позднейших шедевров социа-листического реализма. Будь у
Пастернака действительно такое наме-рение, ему нетрудно было бы найти
возможности для его осуществле-ния и тогда же, и в позднейшие годы. Гораздо
больше оснований рас-сматривать это высказывание совсем в ином ключе. Речь шла о
задуманном стихотворении, в котором картина невиданных жертв и раз-рушений,
причиненных в ходе коллективизации, раскрывалась бы взо-ру Сталина во всем ее
ужасающем масштабе. Сталин, по этому замыслу, находил историческое оправдание
бесчисленным страданиям, сопро-вождавшим гигантский рост страны. Поскольку само
упоминание об этих страданиях исключало возможность-напечатания стихотворения,
поэт не довел свой замысел до завершения. [См. об этом: «Impressions of Boris
Pasternak», The New Reasoner, 4 (Spring 1958), p. 88–89.] Можно полагать, что
задумано оно было в 1932–1933 годах, когда страшный голод обрушился на огромные
районы советской страны. Тема этого произведения перекликалась с мыслями о новой
роли, взятой на себя Сталиным в литературной жизни, о его требовании «писать
правду»; об этой новой роли свидетельствовала встреча его с писателями, только
что проведенная на квартире Горького. Таков, по всей вероятности, был ход
размышлений Пастернака вокруг замысла стихотворения.

Написано оно не было. Пастернак не вышел из кризиса, наступив-шего сразу вслед
за появлением «Второго рождения» в 1932 году. Эта новая книга стихов после
первых двух, «Сестры моей жизни» и «Тем и варьяций», явно проигрывала на их
фоне. Автор ощущал некоторую сте-пень компромисса в безусловно искренних
признаниях, в ней содер-жавшихся. Оптимистический настрой, выраженный в сборнике
и в на-звании его, вступал в противоречие с поразившими поэта впечатления-ми,
вынесенными из уральских поездок. Ощущение неполной адекватности усугублялось
изменениями, происходившими в пастернаковской поэтике – значительным упрощением
стиля лирического высказыва-ния, введением прямого выражения лирического «я»,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак ранее несвойственного поэту. К решению радикально упростить язык своей лирики Пастернак пришел задолго и независимо от введения норм, предписанных доктриной «социалистического реализма». Уже в 1929 году он предсказывал такой поворот в своем творчестве, объясняя неизбежность его тем, что язык, выработанный в рамках модернистских экспериментов им самим, Хлебниковым и Тихоновым, стал в советскую эпоху общим достоянием¹.

¹ Письмо Пастернака Н. С. Тихонову 31 мая 1929 г. См.: Дм. Хренков. Николай Тихонов в Ленинграде. Л.: Лениздат, 1984. С. 83.

* * *

Долголетнее молчание Пастернака в лирике в 1930-е годы не следует рассматривать как политическую демонстрацию. Период этот отмечен мучительными колебаниями и драматическими переменами в отношении поэта к социалистическому государству, к совершавшемуся в нем гигантскому социальному эксперименту. Воспринимал его Пастернак не замкнуто, а в широком, всеевропейском историческом контексте. Вот почему в одном из откликов на события в Европе, в письме отцу 5 марта 1933 года, он уподобил только что победивший в Германии нацизм советскому строю:

«И одно и то же, как это ни покажется странным тебе, угнетает меня и у нас, и в вашем порядке. То, что это движение не христианское, а националистическое, то есть у него та же опасность скатиться к бестиализму факта, тот же отрыв от вековой и милой традиции, дышавшей превращениями и предвосхищениями, а не одними констатациями слепого аффекта. Это движения парные, одного уровня, одно вызвано другим, и тем это все грустнее. Это правое и левое крылья одной материалистической ночи».

Летом 1933 года в советской литературной жизни произошли значительные перемены. По возвращении Горького из-за рубежа к нему перешли бразды правления в Оргкомитете Союза писателей. Пораженный той легкостью, с какой фашистская чума одержала верх в Германии, и подавленный теми последствиями, которые эта победа имела для культурной жизни (аресты и изгнание писателей, книжные аутодафе на улицах городов), Горький приходил к заключению, что только культура (и в первую очередь, культура социализма) может служить барьером против распространения бесчеловечной идеологии нацизма в Европе.

Он со всей энергией принялся за подготовку первого съезда создаваемого писательского союза. Съезд должен был стать событием большого международного значения. В его программе акцент должен был быть поставлен – в противовес расистским лозунгам, исходившим из гитлеровской Германии, – на демонстрации дружбы народов и расцвета национальных литератур в социалистическом обществе. Во исполнение этих стратегических замыслов в сентябре 1933 года были созданы писательские бригады для отправки в национальные республики и на окраины Советского Союза. Пастернак первоначально был, в качестве эксперта по Уралу, прикреплен к уральской бригаде. Чиновников удивило, когда он настоял на том, чтобы его взамен направили в Грузию. К «грузинской» писательской бригаде Пастернак привлек даже своего друга в Ленинграде Николая Тихонова. Хотя Пастернак, вопреки надеждам руководства, не вывез из поездки новых оригинальных стихов о социалистической действительности в Грузию, он, однако, с азартом взялся за переводы из грузинской поэзии. Когда его упрекнули в ограничении отбора для переводов произведениями медитативной лирики, он согласился пойти на уступки и перевести несколько стихотворений гражданской тематики.

Среди них были две оды о Сталине – Паоло Яшвили и Николо Мицишвили. Поскольку на русском языке подобные стихотворные панегирики вождю еще не появлялись, эти переводы были расценены как значительное литературное событие. Их создание совпало с пропагандистской кампанией, предпринятой накануне XVII съезда партии. В январе 1934 года была напечатана большая статья К. Радека о Сталине «Зодчий социалистического общества» – первое проявление «культ личности», воцарившегося с тех пор в советской печати. Стихотворения Яшвили и Мицишвили, переведенные Пастернаком, были своеобразным лирическим аналогом этой статьи. Перевод был сделан по просьбе грузинских поэтов. Пастернак вызвался помочь им выйти к широкой аудитории и сделал это по доброй воле, а не по принуждению вышестоящих инстанций. Смысл этого шага не сводился к личной дружеской услуге. С грузинскими друзьями Пастернак разделял убеждение, что Сталин – цементирующая сила в стране, что заметная либерализация, наступившая осенью 1933 года и выразившаяся в примирении бывших оппозиционеров с партийным руководством и в их возвращении из ссылки, кладет конец периоду «мятежей и казней» и что торжество в СССР принципов разума и справедливости неизбежно и близко.

Поэтому Пастернак отрицательно отнесся к антисталинской эпиграмме «Мы живем, под собою не чуя страны...» Осипа Мандельштама, изображавшей Сталина как тирана и узурпатора власти. В разговоре с Мандельштамом он расценил написание этого стихотворения как «самоубийство», подразумевая не только опасность, связанные с распространением текста, но и отсутствие у автора сколь-нибудь положительной

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас альтернативы общепринятому порядку. Да и художественные качества подпольной рифмованной инвективы казались Пастернаку недостойными Мандельштама как поэта. Одним из наиболее заметных результатов XVII съезда партии и ярким симптомом процесса либерализации явилось назначение Н. И. Бухарина главным редактором «Известий». Подобно Горькому, Бухарин верил, что подъем культуры в советской стране явится единственным заслоном перед фашистской опасностью. С его назначением характер газеты сильно изменился. Акцент в ней отныне был не на ведомственнo-директивных или пропагандистских материалах, а на высоком качестве публикаций, посвященных вопросам культуры. Пастернак с его грузинскими переводами сразу стал одним из главных авторов в бухаринской газете. В переведенных им и помещенных в «Известиях» лирических стихотворениях Тициана Табидзе и Паоло Яшвили ощутима перекличка с идеями, проводимыми главным редактором в газете. Борис Пастернак для Бухарина – как прежде для В. П. Полонского – олицетворял идеал смелого, искреннего и честного принятия существующего порядка вещей в сочетании с чувством личной независимости. Узнав об аресте Мандельштама, Пастернак бросился к Бухарину в «Известия», и в письме Сталину Бухарин, ходатайствуя за арестованного, добавил: «О Мандельштаме пишу еще потому, что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста М[андельштама] <...>». В результате вмешательства высших эшелонов следствие перестало трактовать эпиграмму «Мы живем, под собою не чуя страны...» как террористический акт, перекаленив ее как контрреволюционную пропаганду, и вынесло сравнительно мягкий приговор автору – ссылку в Чердынь. В те же дни было оглашено решение о назначении Бухарина докладчиком о поэзии на предстоящем писательском съезде. Это неожиданное решение, санкционированное высшим руководством, было воспринято как сигнал дальнейшей либерализации и литературной жизни, и внутривластной линии. Именно в эти дни состоялся звонок Сталина к Пастернаку, одной из целей которого было предотвратить нежелательные толки по поводу попытки Мандельштама покончить собой в Чердыни. У неожиданного звонка могли быть и дополнительные, полицейско-разведывательные цели: установление причин «умопомрачения» Пастернака, проверка, не был ли он знаком с криминальным мандельштамовским стихотворением, а если знал, то почему не донес, и не было ли это «двурушничеством» на фоне предпринятых им переводов грузинских од. Поэт почувствовал также, что собеседника интересует, не покровительствует ли Бухарин оппозиционным силам, и уловил скрытый упрек, что действовал через редактора «Известий» в обход других, более уместных каналов. Но если у Пастернака осталось ощущение неясности от разговора с вождем, то те современники, кому факт сталинского звонка стал известен, восприняли его как симптом высочайшей поддержки либеральных тенденций литературной политики, как личное внимание вождя к Борису Пастернаку. В результате отношение к поэту со стороны руководства Союза советских писателей еще более потеплело. В эти недели накануне съезда, в борьбе различных литературных лагерей, начала складываться концепция Пастернака как лучшего – «первого» – советского поэта, усиленная направлением доклада, зачитанным на съезде Бухариным. Хотя она нигде не получила однозначного официального закрепления, возникло впечатление, что она выражает существо советской литературной политики.

* * *

Между тем либеральным тенденциям, которые заставили поэта ощутить себя «частицей своего времени и государства» (как он писал отцу 25 декабря 1934), был, после убийства Кирова 1 декабря 1934 года и поднявшейся волны репрессий, нанесен ряд ударов. Первые симптомы изменения курса обозначились перед поездкой Пастернака в июне 1935 года в Париж в качестве члена советской делегации на Международный конгресс писателей в защиту культуры. Во время этой командировки (совершенной по приказу Сталина, переданному в уничижительно-категорической форме) поэт встретился с Мариной Цветаевой. Встреча эта – первая после отъезда Цветаевой в эмиграцию весной 1922 года – оказалась своего рода не-встречей, поскольку былого взаимопонимания и общности взглядов, которой так сильно была отмечена их прежняя переписка, уже не было. Муж и дочь Цветаевой придерживались активной просоветской позиции и сотрудничали с советскими инстанциями в целях получения разрешения на репатриацию семьи в СССР. Необходимость выглядеть более советским, чем он был на самом деле, в контактах с людьми, гораздо более восторженно относившимися, чем он сам, к происходящему на родине, ставила Пастернака в ложное положение. Но поездка в Париж помогла поэту снова прийти к «примирению с действительностью». Оно упрощено было обнародованием вердикта Сталина 5 декабря 1935 года, объявившего Маяковского «лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Это избавляло Пастернака от той двусмысленной роли, которая навязана была ему накануне писательского съезда. С другой стороны, вердикт казался очередным проявлением приверженности вождя либеральной линии по

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас отноше-нию к литературе, поскольку в первой половине 1930-х годов наследие Маяковского продолжало быть мишенью демагогических нападок быв-ших рапповцев. В конце 1935 – начале 1936 года к предположению, что симпатии Сталина на стороне либеральных кругов советского общест-ва, были и другие основания. Так, Сталин объявил, что советское госу-дарство перестает быть пролетарским и становится общенародным. В об-ществе не переставали циркулировать слухи о будущей конституции и свободах, которые она должна была гарантировать. Как и другие его современники (включая Горького и Бухарина), Пастернак поворот к демократизации режима связывал с личной позицией Сталина, с надеж-дой на его сочувствие либеральным силам.

В этом контексте следует рассматривать два его стихотворения, напечатанные в бухаринских «Известиях» 1 января 1936 года, – «Я по-нял: все живо...» и «Мне по душе строптивый норов...» («Художник»). В 1956 году поэт сказал о втором стихотворении: «Искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон». Нарисованный в нем портрет Сталина в корне противостоял складывавшейся в то время традиции сталинской гимнологии ориен-тальной окраски, делегировавшей Сулеймана Стальского и Джамбула Джабаева в ряды советских классиков. Публикация в бухаринской газе-те представляла собой попытку «западной» переориентации поэтиче-ской разработки темы о Сталине. Тон, который принял Пастернак, должен был, по убеждению Бухарина, стать образцом для русской про-эзии в целом. При этом в пастернаковской «двухголосной фуге» – как Пастернак во второй части стихотворения «Мне по душе строптивый норов...» (не включавшейся ни в какие книжные издания) определил отношения художника и власти – Бухарина привлекала не только часть, говорившая о вожде, но и апология независимости художника. Пастер-наковское стихотворение Сталину и литературной бюрократии, оче-видно, не пришлось по душе. Недаром его не включали в антологии лучших стихов о Сталине. С другой стороны, и автор не перепечатывал известинский текст после 1936 года. Бухаринско-пастернаковский экс-перимент оказался, таким образом, неудачей.

События культурной жизни ближайших после публикации недель позволяют объяснить причины этого. 28 января 1936 года в «Правде» была опубликована редакционная статья «Сумбур вместо музыки», в беспрецедентно грубой, начальственной форме осудившая оперу Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» за формализм. Со-временники не могли не считать, что инициатива статьи и изъятые в ней оценки восходили прямо к Сталину. За ней в газете последовали другие редакционные статьи по вопросам искусства, носившие столь же устрашающе-директивный характер. В кампанию против формализма включились все органы печати. К началу марта она захватила и сферу литературы, и Союз писателей в Москве начал многодневную «дискус-сию» о формализме.

Кампания эта не имела прецедента в советской России. До того нападки на писателей предпринимались определенным лагерем – ру-ководителями РАППа. Притом что партийное руководство наделило их огромными полномочиями, существовала все же презумпция некоего профессионального равенства атакующей стороны и ее жертвы. С лик-видацией в 1932 году РАППа казалось, что самый институт политиче-ской травли в сфере искусства или литературы уходит в невозвратное прошлое. Статьи «Правды» 1936 года эту иллюзию разрушали. Но, в от-личие от дела Пильняка и Замятина 1929 года, на сей раз в вину были поставлены не пороки гражданской позиции (отправка рукописей за границу) или идеологические дефекты, а чисто художественные особен-ности, ныне квалифицируемые как антинародное поведение. Пастернак дважды, 13 и 16 марта, выступил на писательской «дис-куссии». Его выступления были столь еретическими по содержанию, что их стенограмма опубликована не была. Газеты, подвергнув их яростно-му разносу, привели только сжатые выдержки в своих хроникальных отчетах. Пастернак был единственным из писателей, кто осмелился открыто заявить о своем неприятии установочных статей «Правды» и нового курса культурной политики, который они собой обозначили. Эф-фект был тем более оглушительным, что истинной целью кампании было устранение последних остатков плюрализма в обществе и какое бы то ни было открытое неподчинение вышестоящим директивам казалось немислимым.

Полный текст первого пастернаковского выступления был пере-дан Сталину 17 марта вместе с подготовленной редакцией «Правды» разгромной статьёй¹. Однако статья в газете не появилась. Ясно, что Сталин решил придержать ретивых чиновников и спустить дело на тор-мозах. После полутора месяцев эскалации кампания против формализ-ма и натурализма внезапно захлебнулась – и захлебнулась сразу вслед за бунтарским выступлением Пастернака. Характерно, что вызывающее поведение поэта в те дни было по необъяснимым причинам начисто «за-, быто» начальством и ни в каких кампаниях и чистках последующих лет ни разу не было ни поставлено Пастернаку в вину, ни вообще упомяну-то. Можно полагать, что этот эпизод «несостоявшейся расправы» на-чальства с поэтом послужил причиной появления

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас позднейшей легенды о личном заступничестве Сталина в период «ежовщины», о каком-то особо благодушном отношении его к Пастернаку.

* * *

Хотя кампания против формализма провалилась – в решающей степени благодаря сопротивлению, олицетворенному выступлениями Пастернака, – методы обеспечения общественного единодушия, использованные в ней, во всю силу заработали с наступлением «большого террора». Первый открытый процесс (по делу Зиновьева и Каменева) в августе 1936 года сразу же отозвался на литературных кругах. В этот период горячее дыхание ада коснулось и Пастернака. Он потереял многих из своих знакомых и близких друзей. Драма семьи Марины Цветаевой, арест Тициана Табидзе и самоубийство Паоло Яшвили, процесс Бухарина, арест Пильняка и Мейерхольда представляли не только невыносимую моральную пытку для него, но и подчас непосредственную угрозу. В деле Мейерхольда Пастернак фигурировал наряду с Шостаковичем, Эренбургом, Олешей и др. как «формалист», причем это определение служило синонимом «троцкиста»². Но в фантазмагорической атмосфере проявились бесстрашие и решимость поэта сопротивляться

1 См.: Александр Галушкин, «Сталин читает Пастернака». В кн.: В кругу Живаго: Пастернаковский сборник (Stanford, 2000).

2 «Верните мне свободу!» Деятели литературы и искусства России и Германии – жертвы сталинского террора. Мемориальный сборник документов из архивов бывшего КГБ. – М.: Медиум, 1997. С. 229.

«накатывающейся неизбежности» и остаться художником, сохранив верность усвоенным с детства убеждениям и принципам. Выражением этой позиции явился отказ подписать составленное в Союзе писателей групповое письмо с требованием смертной казни Тухачевскому и другим военачальникам. И хотя сам Пастернак не мог не понимать бесплодности донкихотского упрямства – невозможно было ни спасти Тухачевского, ни удержать писателей от раблепного подпевания кровожадным лозунгам – он ни на какие уговоры не поддавался. Оглядываясь назад, он вспоминал после смерти Сталина: «Я уже и раньше, в самое еще страшное время, утвердил за собою род независимости, за которую в любую минуту мог страшно поплатиться» (письмо к О. М. Фрейденберг 31 декабря 1953). «Я до сих пор не понимаю, почему меня тогда не арестовали!» – сказал он по поводу того же эпизода Ольге Ивинской. На Западе в 1938 году циркулировали слухи об его аресте и тюремном заключении¹. В период ежовщины установился взаимный «полубойкот» опального поэта и официальной советской литературы, продержавшийся, в сущности, до конца жизни Пастернака. Он образовывал разительный контраст с 1933–1935 годами, когда литературная «номенклатура» видела в Пастернаке «первого» советского поэта, а сам он склонен был принять «правоту» времени. Этот «полубойкот» не был раз навсегда застывшим в своей однородности. Были моменты, когда начальство пыталось протягивать руку непокорному поэту. Так, весной 1941 года «автор, издательство и все, что стоит за ними» просили Пастернака перевести поэму Г. Леонидзе о Сталине «Детство вождя» (письмо С. Д. Спасскому 9 мая 1941). От лестного предложения Пастернак, однако, наотрез отказался. Но и, отвергая все, что претило его пониманию нравственной чистоты и честности, он стремился, вне зависимости от прихотей и зигзагов литературной политики, сохранить диалог с читателем. «Одинаковое писание что для печати, что не для печати было бы мне не свойственной романтикой», – говорил он позднее Н. П. Смирнову (письмо 2 апреля 1955).

Особый интерес представляет в этой связи проза конца 30-х годов, известная под названием «Записки Патрика» и в разрозненных кусках появившаяся в печати в 1937–1938 годах. Задуманный роман, как и все к тому времени законченные и незаконченные пастернаковские опыты больших произведений, был посвящен революции. Некоторые его фабульные моменты позднее были использованы в «Докторе Живаго», при том что основные философские идеи «Живаго» выкристаллизовались лишь в послевоенный период. Отличительная черта «Записок Патрика» – предельная простота, нарочитая «незаметность», нивелирован-

ность повествовательной манеры. Внешне это выглядит сознательным подчинением эстетическим требованиям «социалистического реализма», принудительно навязывавшимся в официальной литературе. Возникает недоумение: зачем надо было на публичных собраниях в одиночку выступать против директивных статей «Правды» и побуждать товарищей к гражданскому неповиновению, если теперь творчество определялось художественными чертами, практически неотличимыми от насаждаемых сверху? Причины этого лежали равно в стилистически-художественной и в общественно-этической плоскостях. Чем более неприемлемой для советского окружения была система убеждений и ценностей поэта, тем большей прозрачности выражения требовала такая несовместимость с официальными нормами.

Новая формула независимости, обретенная в годы террора, позволила Пастернаку летом 1940 года выйти из того периода литературного молчания, в котором он находился после «Второго рождения». Полыхавшая в Европе война и погружение в чтение и работу над переводом Шекспира заставляли взглянуть на себя и происходившее вокруг с новой исторической высоты. Возврат к писанию стихов совпал с моментом относительной либерализации в издательской жизни. Смягчение в советской культурной политике проявилось, в частности, в выходе в конце 1940 года пастернаковских «Избранных переводов» отдельной книгой. Появились и новые издания поэтов – Анненского, Сологуба, Хлебникова, – выпавших из советского канона вследствие похода против формализма в 1936 году. Но самым знаменательным в этом ряду было появление – впервые с 1923 года – сборника стихов Ахматовой «Из шести книг». Книга была распродана в один день. Бурный успех ее был для Пастернака свидетельством того, что их поколение с Ахматовой отпевать было рано. Даже старые ее стихи воспринимались не как факт далекого прошлого, не как «акмеизм», а как живое явление русской и европейской классики. В этом свете по-новому предстало поэту и творчество отца. Свою и его судьбу в искусстве Борис связывал с противопоставлением двух эпох: «Недавно я разбирал сундук с папиными набросками, самыми сырыми и черновыми, с его рабочей макулатурой. Помимо радости и гордости, которые всегда выносятся из этих пересмотров, действие этого зрелища уничтожающе. Нельзя составить понятия, не измерив этого в ощущениях, разницы несхоластического времени, когда естественно развивавшаяся деятельность человека наполняла жизнь, как растительный мир – пространство, когда все передвигались и каждый существовал для того, чтоб отличаться от другого» (письмо к О. М. Фрейденберг 20 марта 1941).

Облегчение, испытанное, несмотря на все катастрофические тяготы, в первые дни и месяцы после нападения немецких войск на Советский Союз, связано было с верой поэта в возвращение «несхоластического» характера времени. Пережитые испытания должны были привести к моральному обновлению народа, устранив все наносное, что режим пытался привить людям средствами террора. Перед лицом стремительного наступления германских войск Пастернак не терял уверенности в конечную победу народа и в неизбежное возрождение страны. Проявления героического самопожертвования, необходимость выбора и самостоятельного решения, перед которой поставлены были миллионы советских граждан, казалось бы, отученных «ежовщиной» от такой ответственности, сближение и тесный союз, после длительного периода идеологического противостояния, с западными демократическими государствами – все это казалось гарантией того, что возврата к страшным временам террора быть не может.

Война внесла изменения и в статус самого поэта в советской литературной среде. Повышенное внимание и заботливость, демонстрируемые руководством Союза писателей, имели отчетливо политическую подоплеку. Работа над Шекспиром, в которую Пастернак углубился еще до войны, неожиданно оказалась сильным козырем в стремлении советского правительства заручиться поддержкой западных союзников, в первую очередь Великобритании. В противоречии со слухами конца 30-х годов о преследованиях Пастернака, известия о его шекспировских переводах создавали впечатление полной гармонии его литературных занятий с культурными запросами советского общества и государства. После завершения «Гамлета» Пастернак перешел к работе над «Ромео и Джульеттой». Другой большой заказ, тогда же им полученный, – на переводы из Юлиуса Словацкого, – определялся пан-славянскими тенденциями внешнеполитического курса советского правительства после нападения Гитлера. Одиннадцать месяцев, проведенных в Чистополе в 1941–1942 году, поэт, несмотря на невероятные тягота и лишения, считал едва ли не лучшими за все годы советской жизни. Он испытал там беспрецедентное после 1936 года ощущение духовного освобождения, независимости и творческого подъема. Вместе с другими очутившимися в Чистополе членами избранного на съезде Правления Союза писателей – Фединым, Леоновым, Асеевым и Трениным – Пастернак возглавил местное отделение Союза. Оказалось, что вдали от столичного начальства то, о чем мечталось накануне писательского съезда в 1934 году, неожиданно оказалось воплотимым. Поэт с подъемом приступил к работе над пьесой, в которой намеревался выразить «новый дух большей гордости и независимости, пока еще зачаточных» (письмо Т. В. и В. В. Ивановым 12 марта 1942). Однако вскоре он обнаружил, что переоценил степень наступившей свободы, и летом 1944 года работа над пьесой была прекращена. Следующая после «Второго рождения» книжка стихов Пастернака «На ранних поездках» вышла летом 1943 года. Состояла она из военных и предвоенных стихов 1940–1941 годов, а также стихотворений, написанных в 1936 году. Инициатива издания исходила от литературного руководства, озбоченного необходимостью доказать загранице, что период немилости, наступивший в 1936–1937 годах, ушел в далекое прошлое и что лирика Пастернака на родине котируется не меньше его

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас- шекспировских переводов. Еще перед выходом книги стихи, в нее вошедшие, были выдвинуты, наряду с переводами «Гамлета» и «Ромео и Джульетты», на Сталинскую премию. Значение этого жеста уясняется из сопоставления его с тем, что в 1938 году, когда большая группа советских писателей была награждена орденами и медалями, Пастернака, еще так недавно считавшегося «лучшим советским поэтом», в ней не было¹. Хотя кандидатура Пастернака в лауреаты Сталинской премии не прошла как в 1943 году, так и снова спустя два года, самый факт такого выдвигания свидетельствовал о том, что поклонники поэта располагали определенным влиянием в верхах Союза писателей. Среди отзывов на книгу «На ранних поездках» выделялась рецензия 28-летнего поэта Константина Симонова, широко прославившегося в годы войны и удостоившегося внимания самого Сталина. Симонов отметил и приветствовал именно те качества в Пастернаке, которые в конце 1930-х годов навлекли на него опалу: искренность, честность и независимость, отказ подчиниться внешнему давлению. Симонову нравилась и новая простота пастернаковской лирики. Обращение Пастернака к широкой аудитории он расценил как проявление внутреннего роста (а не измену собственному таланту). Эта поддержка была важна не столько потому, что Симонов был восходящей звездой литературного руководства (при этом он, однако, сохранял репутацию достойного и смелого человека), сколько потому, что он был выразителем настроений нового поколения советских поэтов.

Голос поддержки раздался и из-за рубежа. В английском журнале «Life and Letters Today» в феврале 1943 года появилась статья Стефана Шиманского «The Duty of the Younger Writen» («Долг молодого писателя»). Автор обосновывал право художника на независимость, на воздержание от патриотических тем и сопротивление нажиму государства даже в апокалиптических условиях войны. Такую позицию он отстаивал и по отношению к советским условиям. Рассмотрев трех ведущих поэтов советской эпохи, он противопоставил Пастернака Есенину и Маяковскому, назвав причиной самоубийства двух последних поражение в поединке

1 Сколь говорящим выглядело отсутствие имени Пастернака в том списке, видно по статье Владислава Ходасевича «Орденосцы», помещенной в парижской газете «Возрождение» 17 февраля 1939 г.

со временем: «Только Пастернак выстоял все бури и справился со всеми событиями. Он – подлинный герой в борьбе индивидуализма и коллективизма, романтизма и реализма, нравственности и техники, искусства и пропаганды». Критик подчеркивал разницу между Пастернаком и Шолоховым, который хоть и отправился корреспондентом на фронт, но сумел откликнуться на войну лишь репортажами, а не произведением искусства. Тот факт, что Пастернак в военное время обратился к переводам из Шекспира, по мнению Шиманского, не только свидетельствует о его нежелании заниматься пропагандистской поденщиной, но и является актом высокой культурной ценности и политического мужества.

Статья Шиманского, перекликавшаяся с пастернаковской статьей «Concerning Shakespeare» («О Шекспире»), опубликованной на английском языке в «VOKS Bulletin» в 1943 году, вызвала беспокойство руководителей советской литературы. Их в особенности всполошило сопоставление Шолохова и Пастернака и явное предпочтение, отданное второму. Осуждение ухода Пастернака в годы войны в шекспировские переводы, с которым позднее выступил Александр Фадеев, было в определенной степени продиктовано необходимостью дезавуировать эту статью Шиманского.

Но, с другой стороны, те же «внешнеполитические» расчеты начальства обусловили выдачу Пастернаку разрешения на поездку в действующую армию. Этого разрешения он безуспешно добивался давно, и, подобно тому, как прежние отказы в такой поездке выглядели знаком личного к нему недоверия, новое разрешение сейчас должно было служить сигналом позитивных перемен в отношении официальных кругов. Пастернак был прикреплен к писательской бригаде, направленной на Брянский фронт в конце августа – первой половине сентября 1943 года. В ее состав входили также старые его друзья Константин Федин и Вс. Иванов, поэты Константин Симонов и Павел Антокольский, 80-летний Серафимович и вдова Николая Островского. Поездка на фронт состоялась после победы Красной Армии под Сталинградом. Бригада была направлена в 3-ю армию, только что освободившую Орел.

Пастернак впервые в жизни оказался на фронте. «Мне было очень хорошо с военными (армия была все время в передвижении)», – сообщал он двоюродной сестре (письмо к О. М. Фрейденберг 5 ноября 1943). С другой стороны, и военных привлекли в поэте личное бесстрашие, доступность и простота. Пастернак на фронте почувствовал себя столь же счастливым, как ранее в Чистополе. Он написал два очерка. Но газета «Красная звезда», организовавшая поездку, осталась ими недовольной и они не вошли в сборник, составленный из писательских отчетов. Только один из этих очерков был тогда опубликован (в газете «Труд»), и то его наполовину урезала цензура в части, отведенной размышлениям о гитлеровской

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас Германия. Устраненный цензурой кусок был единственным публичным высказыванием поэта о немецком фашизме. Пришлось поэту отказаться и от начатой работы над поэмой «Зарево». «Мне очень трудно бороться с царящим в печати тоном. Ничего не удастся; вероятно, я опять сдамся и уйду в Шекспира», – писал он О. М. Фрейденберг 12 ноября 1943 года.

* * *

С осени 1943 года у Пастернака установились прямые контакты с аудиторией, несравненно более близкие, чем в предшествующие годы. Хотя ему не раз приходилось делить зал с поэтами и писателями, чуждыми ему по духу, его имя на афише оказывалось главным магнитом для публики. После длительного периода молчания и искусственной изоляции поэта радовала неожиданная популярность и интерес к нему широкой аудитории. В обстановке либеральных веяний и надежд последних военных и первых послевоенных месяцев вышла книга избранных стихотворений Пастернака (1945). Высказывания его того времени проникнуты упоением новым ощущением свободы. Одно за другим появлялись его выступления в литературной прессе. Впервые после 1922 года публикации Пастернака появлялись с такой частотой. Нужда в более тесном контакте с читателем и резкий поворот к новой поэтике с началом работы над «Доктором Живаго» заставили его обратиться к литературной критике. Никогда раньше Пастернак не писал так много статей, как в те месяцы.

Его вдохновляли и сведения о растущей известности за рубежом, в первую очередь в Англии. Переводы пастернаковской поэзии появлялись на Западе с 1920-х годов, но интерес к ней проявляли преимущественно те круги левонастроенной интеллигенции, которые питали симпатии к русской революции и искали подтверждения тезису о расцвете культуры в советской стране. В этой среде и складывалось убеждение, что Пастернак – лучший современный русский поэт. Статья Стефана Шиманского 1943 года, появившаяся в разгар англо-советского сближения, представляла собой качественно новый этап в восприятии поэзии Пастернака на Западе. Шиманский поставил ее в совершенно иной контекст, рассматривая в плане извечного противостояния художника и государства. Пастернак ознакомился с этой статьей осенью 1943 года, по возвращении с фронта. Он получил ее от своего давнишнего поклонника и переводчика Джорджа Риви, который в то время работал в британском посольстве в Москве и руководил газетой «Британский союзник», издававшейся специально для советского читателя. Поэта радовали и другие проявления живого интереса к себе в Англии: одно из его стихотворений было включено в антологию оксфордского профессора Баура «A book of Russian Verse» (1943), а большая статья Дж.-М. Коэна «Поэзия Бориса Пастернака» вышла в журнале «Horizon» в июне 1944 года. Возникло ощущение, что в Англии складывался кружок читателей Пастернака, центром которого был молодой литературный критик Стефан Шиманский. Симпатии поэта к нему усилились, когда стало известно, что группа Шиманского выступает проповедью философии «персонализма», что к группе близки Герберт Рид и Стивен Спендер и что первый том издания персоналистов «Transformation» включил в себя перевод «Детства Люверс». При встрече с Исайей Берлиным в 1945 году Пастернак расспрашивал его о группе «Transformation»; говорил он о ней и с Дж. Риви, который выступил в четвертом томе издания с обзором текущей советской литературы. В декабре 1945 года поэт писал жившим в Оксфорде сестрам: «Для меня большим утешением в суровой моей судьбе были ваши персоналисты вокруг Transformation, я их близко не знаю и в особенности как о художниках ничего не могу сказать, но общий духовный рисунок, что ли, братства, идея его очертанье, те стороны, какими в нем присутствуют символизм и христианство (мне у них больше всего нравятся статьи, было несколько очень хороших статей Рида и хорошая статья Шиманского "в бомбоубежище"), – все это удивительно совпадает с тем, что делается со мной, это самое родное мне сейчас, самое нагретое место на холодной стене, отделяющей меня от вас».

В пространный виде оценка творчества Пастернака была дана Шиманским в его вступительной статье к сборнику переводов пастернаковской прозы, вышедшему в Лондоне в середине 1945 года. Роль Бориса Пастернака в современной русской литературе критик сравнил с ролью Пушкина в девятнадцатом веке, назвав гуманизм главной чертой обоих. В процессе работы над статьей Шиманский успел увидеться с Леонидом Осиповичем (умершим 31 мая 1945) и уловил то, что укрылось от внимания всех других поклонников Бориса Пастернака на Западе и от многих его советских читателей – а именно особую духовную близость отца и сына, проявившуюся в их творчестве. В книге помещены были произведения (в частности, «Воздушные пути» и «Охранная грамота»), публикация которых в СССР была в тот момент просто немыслима. Переведенные на английский текст казались принадлежащими другой, безвозвратно исчезнувшей эпохе. Но, с другой стороны, сам поэт так далеко ушел от своих ранних вещей, что книга была для него не только радостью, но и живым укором, незаслуженным авансом, требующим полного творческого возврата.

Между тем в августе 1946 года над Пастернаком снова сошли грозные тучи. 14 августа было опубликовано постановление ЦК об идейных пороках двух журналов – «Звезда» и «Ленинград». Вскоре А. А. Жданов выступил с чрезвычайно грубыми нападениями на Ахматову и Зощенко. Эти события, которые сам поэт сравнил с землетрясением, были началом нового периода репрессий и идеологического мракобесия, достигшего апогея в февральском постановлении ЦК о группе советских композиторов. Неуклонно ширившаяся кампания была связана с резким поворотом в советской международной политике, со взятием курса на «холодную войну», изоляционизм, ксенофобию. Она ознаменовала собой радикальное изменение форм давления на искусство. Ни в деле Пильняка и Замятина, ни в серии статей «Правды» о формализме в 1936 году ЦК партии не фигурировал прямо. Если прежние кампании продолжались сравнительно ограниченное время, то на сей раз новый идеологический режим просуществовал до самого конца сталинского периода.

Имя Пастернака в директивных документах ЦК не было упомянуто, но кампания косвенно задевала и его, поскольку он был одним из главных авторов ныне закрытого журнала «Ленинград». С сентября 1946 года его имя стало упоминаться в прессе исключительно в мрачных, угрожающих контекстах. 17 сентября генеральный секретарь Союза писателей Фадеев назвал поэзию Пастернака, как и поэзию Ахматовой, примерами безыдейности и аполитичности. Пастернаковская работа над переводами была объявлена проявлением оппозиционных настроений поэта. Атмосфера сгущалась с каждым днем. И сам Пастернак, и его близкие друзья допускали возможность ареста. Но, вопреки советам знакомых, побуждавших поэта, во избежание дальнейшего ухудшения положения, написать Сталину (подобно тому, как это сделал доведенный до отчаяния Зощенко), Пастернак от обращения к вождю наотрез отказался.

С другой стороны, и нападки на него носили более сдержанный характер, чем в случае с Зощенко и Ахматовой. Объяснение этому приходится, в частности, искать в международном резонансе, который получило к тому времени творчество Пастернака. В том же лондонском издательстве, которое в 1945 году выпустило том его прозаических произведений (в 1949 переизданный в США), зимой 1947 года – по инициативе С. Шиманского – вышел и сборник стихотворений в переводе Дж.-М. Козна. Никто другой из советских поэтов такой чести – почти одновременного выхода двух книг в переводе – не удостоивался. В отзывах зарубежных знатоков закреплялась оценка Пастернака как крупнейшего живущего русского поэта, по значению своему близкого к Пушкину. Здесь – а не в мифическом заступничестве кого-то в советском руководстве – и надо искать объяснения, почему поэт, предполагая, что в результате начавшейся кампании он будет лишен любых источников пропитания, неожиданно получил заказы на переводы Гете, Шекспира и Петефи. По-видимому, литературно-бюрократические инстанции рассчитывали, что чем сильнее он будет занят переводческой работой, тем большему забвению будут преданы его прежние оригинальные произведения и тем меньше возможностей у него останется для работы над новыми замыслами. И хотя материальное положение Пастернака оставалось сносным в течение всего этого периода, поэт был в сущности полностью вычеркнут из советской литературной жизни, причем, как сам Пастернак признавался в 1952 году, его уже перестало волновать, по справедливости это сделано или нет (письмо Елене Орловской).

Такое равнодушие отчасти объяснялось огромным различием между положением Пастернака внутри советской литературы и его растущей известностью на Западе. Вскоре после войны его кандидатура была впервые выдвинута на Нобелевскую премию. «Я никогда не играл в карты и не ездил на скачки, и вдруг на старости лет моя жизнь стала азартной игрой. Оказалось, что это очень интересно», – говорил он. Это совпало по времени с выдвижением на эту премию и другого советского писателя, сталинского фаворита Михаила Шолохова. К тому моменту лишь один русский писатель удостоился этой награды – эмигрант Бунин. О том, что Шолохов выдвинут в 1946 году официальным кандидатом в нобелевские лауреаты, сразу с ликованием и гордостью известила «Литературная газета». Тот факт, что и Пастернак стал фигурировать в списке возможных кандидатов, создавал для советских властей щекотливую ситуацию и сковывал их в выборе репрессивных мер по отношению к непокорному поэту. Необходимо было избежать превращения его в оученика, чтобы не подорвать тем самым шансы Шолохова. Косвенные меры воздействия на Пастернака выглядели более эффективными, чем прямые санкции против него. Таким был, по всей очевидности, расчет властей, когда 9 октября 1949 года была арестована Ольга Ивинская.

В этих условиях разворачивалась работа Пастернака над «Доктором Живаго». Ни одно другое произведение не поглотило у него столько времени – более десяти лет – и сил, как это. В нем автор видел главное достижение своей жизни, своего рода исповедь, которая заслонила, исправила и отменила бы все прежде сделанное и

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
сказанное. Необходимость довести начатый труд до конца вытекала из обостренного
чувства долга перед поколением. Целью было представить панораму, охватывающую
полвека, с трагедиями и взлетами, выпавшими на долю России в XX веке, и
аккумулирующую личный опыт автора и его среды: «я совсем его не пишу, как
произведение искусства, хотя это в большем смысле беллетристика, чем то, что я
делал раньше. Но я не знаю, осталось ли на свете искусство, и что оно значит
еще. Есть люди, которые очень любят меня (их очень немного), и мое сердце пе-ред
ними в долгу. Для них я пишу этот роман, пишу как длинное боль-шое свое письмо
им, в двух книгах» (письмо к О. М. Фрейденберг 1 Письмо к О. М. Фрейденберг 24 апреля 1947 г.
29 июня – 1 октября 1948). Концепция романа во многом складывалась в ходе
заочного диалога с группой английских «персоналистов» или, точнее, с тем кругом
западной интеллигенции, которую олицетворяла для Пастернака группа
«Transformation». Уже это одно усиливало универсальное звучание создаваемого
текста. Будучи прямым продолжением и обобщением ранее предпринимавшихся поэтом
опытов боль-шой прозы, от «Детства Люверс» до «Записок Патрика», «Доктор
Жи-ваго» – единственный роман в прозе, законченный Пастернаком, – обозначил
собой, однако, крутой перелом в художественной манере автора. Синтетический
характер произведения внешне выразился во включении внефабульной последней
главы, состоявшей из стихов глав-ного героя. Но «полифонизм» пронизывал и всю
внутреннюю структу-ру повествования, отбор и фабульную расстановку персонажей,
их речи и поступки. К такой полифоничности Пастернака подвели самые основы его
исконно «музыкального» мышления в лирике. Несмотря на то что это была «в большем
смысле беллетристика», чем все ранее напи-санное, автор включил в текст –
впервые после «Охранной грамоты» – пространные философские пассажи. Исподволь
выношенные поэтом раздумья о христианстве в современном мире были впервые в
развер-нутом виде изложены именно в «Докторе Живаго». Было бы неоправ-данным
подходить к ним как к философско-теологическому трактату. Это не прямо
изрекаемые авторские декларации, а элементы общей художественной композиции, в
ходе развертывания которой каждый подвергается соответствующему сюжетному
обоснованию или уточне-нию. Не случайно большая часть их доверена не титульному
персонажу, доктору Живаго, а другим героям: Веденяпину, Гордону, Ларе,
Тунце-вой. Глубже всего – но и многозначнее, чем все сентенции в тексте, –
преломляются эти философские идеи и евангельские размышления в стихах,
приписанных главному герою. При всей глубокой автобио-графичности произведения
здесь, в этой последней главе, и только в ней, за пределами романной фабулы, –
происходит полное, а не час-тичное отождествление автора с его героем. Тем самым
здесь, также как это было и в начале писательского пути Пастернака, искусство
пере-вешивает философские истины, сколь ни дороги они были бы для ху-дожника.
Современному читателю нелегко себе представить, до какой сте-пени немислимыми
являлись эти евангельские страницы в контексте советской литературы. –т и в
контексте советской действительности. Библию нельзя было полистать в библиотеке.
В официальной литера-туре с 20-х годов какие бы то ни было вариации или
упоминания еван-гельских тем были возможны лишь как средство антирелигиозной
аги-тации. Поэтому даже безотносительно к той роли, какую евангельские стихи
играли в общей идейной структуре Тюмана, их написание было дерзким вызовом.
* * *

Первые симптомы некоторого ослабления полицей-ского режима выявились тотчас
после смерти Сталина. Уже 27 марта 1953 года была провозглашена амнистия, по
которой на свободу вскоре смогла выйти и О. В. Ивинская. В печати было сообщено
о прекраще-нии следствия по «делу врачей» и о незаконных методах ведения его. Из
лагерей стали возвращаться заключенные, и у Пастернака снова роди-лась надежда,
что Тициан Табидзе жив и вскоре объявится дома. Блока-да вокруг Пастернака была
снята. В апреле 1954 года в журнале «Знамя» была напечатана подборка стихов из
романа «Доктор Живаго» с преам-булой автора. В Ленинграде состоялась первая
постановка «Гамлета» в переводе Пастернака. Общее оживление в культуре и
общественной жизни было тогда же названо несколько двусмысленным и неуверен-ным
словом «оттепель». Но даже публичное отмежевание партийного руководства от
«последствий культа личности» в 1956 году не привело к настоящей свободе в
обществе.

Скептицизм Пастернака относительно готовности властей пойти на радикальные
перемены в стране сливался с резко негативной оцен-кой у него способности
советской интеллигенции добиваться этих пе-ремен. В этот период, когда поэт
завершал работу над романом, его от-ношение к укоренившимся в советском обществе
нормам поведения становилось гораздо более резким и нетерпимым, чем в предыдущие
годы. Ему казались теперь совершенно недопустимыми любые прояв-ления
половинчатости и компромисса по отношению к властям. Отсю-да и решение в мае
1956 года передать рукопись законченного романа за границу.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас- Пастернак отчетливо сознавал огромный риск, на который шел. Такой шаг представлял собой вызов самым устоям советской «этики». С 1929 года – после кампании против Пильняка и Замятина – ни один писатель в Советском Союзе не мог допустить и мысли о не санкционированном официальными инстанциями контакте с зарубежным изда-тельством. Решение поэта передать рукопись в Италию было обуслов-лено спецификой складывавшейся ситуации. Предложение исходило от Фельтринелли, издателя-коммуниста, и речь шла о выпуске перевода, а не оригинального текста. Шансы на осуществление публикации в СССР были ничтожны, но – хотя автор с самото начала осознавал неприем-лемость своего произведения для советской литературной бюрократии – только что затеянная на XX партийном съезде десталинизация могла привести к непредсказуемым последствиям. Можно было думать, что намерение итальянского коммунистического издательства выпустить «Доктора Живаго» могло содействовать положительному рассмотрению вопроса и о советском издании романа. Поэт никакого секрета из свое-го поступка не делал. Усиливавшийся к лету 1956 года процесс либерализации общест-венно-литературной жизни в СССР был явственно ощутим на страни-цах главного литературного журнала «Новый мир». Если роману было суждено появиться на родине, то публикация состоялась бы именно в этом журнале. Но пастернаковское произведение резко отличалось от других литературных текстов периода оттепели. В нем под вопрос были поставлены самые основы советской идеологии. Не только не осуждая, а, наоборот, даже прославляя русскую революцию, автор тем не менее подходил к ней как к явлению далекого исторического прошлого, став-шему безнадежным анахронизмом в новой реальности. В корне расхо-дились с советским литературным канонem и самый характер главного героя, и круг размышлений и споров персонажей. Процесс либерализации был остановлен осенью 1956 года вспыш-ками народных волнений в Польше и Венгрии и опасениями советских властей, что брожение в творческой интеллигенции социалистических стран Восточной Европы может распространиться и на СССР. Решение редакции «Нового мира» по прямому указанию отдела культуры ЦК от-вергнуть пастернаковскую рукопись следует рассматривать в контексте этих опасений. Отказ в публикации убедил автора в том, что он посту-пил правильно, передав рукопись на Запад. Обеспокоенные перспек-тивной скорого выхода итальянского перевода, высшие партийные ин-станции предложили в течение года подготовить издание романа на ро-дине. Но этот жест был наделе обманным маневром, направленным на задержку или предотвращение выхода «Доктора Живаго» за рубежом. Сам по себе факт начавшейся игры свидетельствовал о важной победе Пастернака: к писателю, имя которого в течение ряда лет не могло быть даже упомянуто в советской прессе, литературные чиновники вынуж-дены были адресоваться как к равному партнеру. Инициатива в поединке с властями перешла к нему.

Тем временем борьба против «ревизионизма» расширялась, и ли-бералы были вынуждены публично покаяться. Бразды литературной политики переходили в руки чиновников сталинской закалки. Это ста-ло очевидно с публикацией «установочных» речей Н. С. Хрущева по во-просам искусства и литературы. Со времен Жданова не было столь от-кровенных проявлений прямого вмешательства высшего руководства в литературную жизнь. Перспектива советского издания «Доктора Жи-ваго» становилась все более иллюзорной, а нажим на автора с целью приостановить зарубежную публикацию – все сильнее. Происходило это на фоне растущего интереса к нему и к его новому произведению на Западе. Началась работа над переводами романа на другие языки, по-мимо итальянского. С весны 1957 года статьи и заметки о поэте стали все чаще появляться в западной прессе.

Два факта вызвали особенно сильное раздражение советского руководства. Первым было напечатание фрагментов из «Доктора Жи-ваго» летом 1957 года в польском журнале «Опинье», основанном спе-циально для пропаганды советской культуры. То, что первая публика-ция (после «Стихотворений Юрия Живаго» в «Знамени» в 1954) проза-ического текста появилась в социалистической стране, выглядело по-щечиной советской литературной бюрократии. Журнал «Опинье» был сразу закрыт. Вторым было помещение (без имени автора) в середине того же 1957 года евангельских стихов из романа в эмигрантском жур-нале «Грани».

После этих публикаций нажим на Пастернака приобрел совершен-но бесцеремонный характер, а заодно усилились попытки оказания дав-ления по разным каналам и на Фельтринелли. Между тем ничто не могло сильнее возбудить интерес читателей на Западе, чем слухи о преследо-вании автора и о запрещении романа на родине. Первый тираж италь-янского перевода был распродан в один день, 23 ноября. Началось три-умфальное шествие «Доктора Живаго» по миру.

* *

В 1922 году Марина Цветаева определила необычный характер литературной известности, выпавшей на долю Пастернака, как «подземная слава». К весне 1958 года слава поэта определенно перестала быть «подземной». С появлением романа он

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак становился европейской знаменитостью. Международный интерес к нему вызывали не только «детективные» обстоятельства создания и издания романа, но и, еще в большей степени, совершенно нетипичные для советского писателя черты: абсолютная независимость, редкая образцованность и органическая связь с европейской культурой, прекрасное знание языков, нежелание рассматривать марксизм как единственно законную систему мировоззрения, живое, свободное отношение к религии и Библии.

В этой атмосфере возобновились усилия по выдвижению Пастернака на Нобелевскую премию. Кандидатуру его поддерживали все более широкие круги западной интеллигенции. 23 октября 1958 года было оглашено решение Нобелевского комитета о присуждении премии по-эту. А на следующий день советское руководство, действуя через К. А. Федина, потребовало от Пастернака отказаться от премии. Поэт этот ультиматум отверг. В ответ была поднята кампания в прессе такого характера и таких масштабов, которых не было в послесталинское время. Помимо Союза писателей, в нее сразу была вовлечена газета «Правда», что указывало на решимость властей, не ограничиваясь литератур-

1 См.: Елена и Евгений Пастернаки. «Переписка Пастернака с Фельтринелли»,

Континент, № 107 и 108, 2001.
ными кругами, придать делу общегосударственный резонанс. 27 октября поэт был исключен из Союза писателей. В условиях стремительно разрастающейся травли он 29 октября послал телеграмму, извещавшую Нобелевский комитет о своем отказе от премии из-за реакции советской общественности. На общемосковском собрании писателей 31 октября эта телеграмма, однако, была объявлена очередной, еще более грязной провокацией. Еще до этого, 29 октября, в речи комсомольского лидера В. Семичастного, явно инспирированной самим Н. С. Хрущевым, было выдвинуто предложение лишить поэта советского гражданства. Это означало изгнание из страны. Хотя с 1929 года (высылка Троцкого) эта форма расправы в советской России не практиковалась, такое предложение с высокой трибуны делало угрозу вполне реальной. 31 октября Пастернак вынужден был отправить письмо Н. С. Хрущеву с просьбой не прибегать к этой мере. Текст этого обращения, подписанный поэтом, был составлен не им, а близкими ему людьми – Ольгой Ивинской, ее дочерью Ириной Емельяновой, Ариадной Эфрон и Вяч. Вс. Ивановым. Еще до этого властям стало известно, что Пастернак взвешивал в те дни возможность самоубийства. Поэтому решено было умерить кампанию, и она пошла на убыль. Несмотря на внешние проявления слабости и уступок поэта, во всей этой истории нельзя не видеть проявление того же сопротивления попыткам вытравить художника в человеке. В этих чрезвычайных обстоятельствах и испытаниях Пастернак оставался столь же непреклонным, каким был и в дни ежовщины, и в последние годы сталинского правления. В 1954 году, задолго до Нобелевского скандала, оглядываясь на прожитое, он писал: «Судьба моя сложилась именно так, как я сам ее сложил. Я многое предвидел, а главное, я многого не в силах был принять, – я многое предвидел, но запасся терпением не на такой долгий срок, как нужно» (письмо к О. М. Фрейденберг 7 января 1954).

Вся история вокруг Нобелевской премии подтверждает точность этого анализа и этого прогноза. Правда поэта и его предвидения столкнулась с косностью века. В свое время, когда В. П. Полонский выступил против лефовской теории «социального заказа», Пастернак считал это выступление «защитой всей литературы». Но такое определение можно приложить и ко всему поведению самого поэта. Вскоре после выхода «Доктора Живаго» в Италию, в предчувствии испытаний, подстерегающих его на родине, Пастернак писал: «Я не знаю, что меня ждет, – вероятно, время от времени какие-то друг за другом следующие неожиданности будут в том или другом виде отзываться на мне, но сколько бы их ни было и как бы они ни были тяжелы или даже, может быть, ужасны, они никогда не перевесят радости, которой никакая вынужденная моя двойственность не скроет, что по слепой игре судьбы мне посчастливилось высказаться полностью, и то самое, чем мы так призывали жертвовать и что есть самое лучшее в нас, художник – оказался в моем случае незатертым и нерастоптанным» (письмо Е. А. Благиной 16 декабря 1957). В пастернаковском сопротивлении «растоптыванию» художника была «защита всей литературы».

Положение, в котором поэт оказался в результате Нобелевского скандала, повторяло, хотя и в обостренном виде, ситуацию «двойственности» его судьбы «здесь» и «там» в начале работы над романом, в сороковые годы. С одной стороны – ставшая всемирной слава (тиражи переводов «Доктора Живаго» в те месяцы уступали лишь тиражам Библии), а с другой – полный бойкот автора на родине и запрет даже на упоминание его имени в печати. Но не только гонения на родине, но и восприятие романа на Западе, нередко сопровождавшееся (в вопиющем противоречии со всем духом пастернаковского творчества) поверхностными политическими комментариями по поводу произведения, причиняли страдания поэту. Не для того он шел на

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак расстрашный риск ради ограждения «свободной субъективности» от политической демагогии и идеологического контроля, чтобы содержание его главного произведения выпрямлялось в угоду политическим расчетам.

Как ни много значил для Пастернака роман, еще более важной для него казалась независимость даже от самостоятельно добытой истины, потребность «оторваться» от уже сформулированных понятий и мыслей и пойти вперед. Сразу по появлении «Доктора Живаго» он ощутил, что уже далеко ушел от своей книги. Ссылаясь на то, что «определенность содержания» («то, что при свободе выбора всего труднее») внушена была самим временем, когда писался роман, поэт горевал о том, что теперь, когда «все гораздо легче», нет больше «голоса необходимости», которому раньше нельзя было не подчиниться (письмо Ф. А. Степуну 10 июня 1958) и жаловался на «несчастный свой склад, требующий такой свободы духовных поисков и их выражения, которой, наверное, нет нигде» (письмо Б. К. Зайцеву 15 марта 1959).

Нравственный аспект был неотъемлемым элементом пастернаковских размышлений об искусстве с первых шагов поэта. Достаточно вспомнить саркастические выпады против «рыночной» концепции поэзии в «Вассермановой реакции», появление «забытого, гневного, огненного слова "совесть"» в «Письмах из Тулы» или определение книги как «кубического куска горячей, дымящейся совести» в «Нескольких положениях». Но в послевоенные годы «этический» момент предстал в усилившейся категоричности суждений. Вдохновляющим образцом здесь служила бунтарская проповедь Льва Толстого: «<...> главное и непомернейшее в Толстом, то, что больше проповеди добра и шире его бессмертного художественного своеобразия (а может быть, и составляет именно истинное его существо) новый род одухотворения в восприятии мира и жизнедеятельности, то новое, что принес Толстой в мир и чем шагнул вперед в истории христианства, стало и по сей день осталось основой моего существования, всей манеры моей жить и видеть», – утверждал Пастернак¹. «Нетерпимость» Толстого наряду с кругом мыслей Платона об искусстве и «иконоборческими варварскими замашками писаревщины» Пастернак назвал в числе наиболее близких себе явлений культуры².

Но резкое усиление категорической формы высказывания у позднего Пастернака сосуществовало с качеством, которое, кажется, должно было бы такую категоричность исключать и которое было свойственно ему с самых ранних шагов: философская рефлексия, подвергавшая каждое понятие неминуемому обращению в свою противоположность. В этом смысле поздний Пастернак остается тем же, каким он был в годы своих творческих начал, – еще до того, как стал поэтом. В ненасытности бескойной самопровержения заключен тот «новый дух одухотворения», которое поэт выделял у Толстого и возвращение которого он предвосхитил своим романом.

В исторической перспективе со всей непреложностью ясно, что творчество Пастернака в целом и в особенности его роман, обстоятельства его создания и завоевания им пути к читателю – стали ферментом развития общественного самосознания. Борис Пастернак стоял у истоков мучительного процесса раскрепощения советской интеллигенции, ее сопротивления растаптыванию «художника в человеке» и движения к разномыслию. Вслед за ним Анна Ахматова и Надежда Мандельштам, Синявский и Солженицын шаг за шагом утверждали другую, противостоящую официальной, литературу, дав мощный толчок тому движению неконформизма, которое, вместе с другими историческими причинами, к концу 80-х годов привело к падению казавшегося несокрушимым режима. Громадный монолит рухнул под напором «течения мыслей». «Семейная хроника века» подтвердила предвидения «свободной субъективности».

Для вдумчивого и внимательного ценителя искусства произведения Пастернака никогда не станут легким и гладким чтением. Чем глубже мы вникаем в них, тем сложнее, труднее и неуловимее оказываются истины, скрытые в его высказываниях. Но и чем большую сложность мы находим в самых, казалось бы, прозрачных изречениях поэта, тем более покоряющую убедительность они несут в себе. Будучи неразрывно связанными со временем, когда они были рождены, произведения его в каждую новую эпоху обнаруживают «безвременное значение».

Лазарь Флейшман

Весна 2003 года

¹ Письмо Н. С. Родионову 27 марта 1950 г.

² Письмо Вяч. Вс. Иванову 1 июля 1958 г.

НАЧАЛЬНАЯ ПОРА
1912–1913

* * *

Февраль. Достать чернил и плакать!

Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.
И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу,
Где пруд как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой свайной
И держит небо пред собой.
1912

* * *

Сегодня мы исполним грусть его –
Так, верно, встречи обо мне сказали,
Таков был лавок сумрак. Таково
Окно с мечтой смятенною азалий.
Таков подъезд был. Таковы друзья.
Таков был номер дома рокового,
Когда внизу сошлись печаль и я,
Участники похода такового.
Образовался странный авангард.
В тылу шла жизнь. Дворы тонули в скверне.
Весну за взлом судили. Шли к вечерне,
И паперти косил повальный март.
И отрасли, одна другой доходней,
Вздымали крыши. И росли дома,
И опускали перед нами сходни.
1911, 192

8

* * *

Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево развернется Инд,
Правей пойдет Евфрат.

А посреди меж сим и тем
Со страшной простотой
Легенде ведомый Эдем
Взовьет свой ствольный строй.

Он вырастет над пришлецом
И прошумит: мой сын!
Я историческим лицом
Вошел в семью лесин.

Я – свет. Я тем и знаменит,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
что сам бросаю тень.
Я – жизнь земли, ее зенит,
Ее начальный день.
1913,192

8СОН

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Но время шло, и старилось, и глохло,
И паволокой рамы серебра,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября.
Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лед, трещал и таял кресел шелк.
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк.

Я пробудился. Был, как осень, темен
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,
Как за возом бегущий дождь соломин,
Грядущих по небу берез.
1913,192

8Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли.

Я рос. И повечерий тканых
Меня фата обволокла.
Напутствуем вином в стаканах,
Игрой печальной стекла,

Я рос, и вот уж жар предплечий
Студит объятие орла.
Дни далеко, когда предтечей,
Любовь, ты надо мной плыла.

Но разве мы не в том же небе?
На то и прелесть высоты,
Что, как себя отпевший лебедь,
С орлом плечо к плечу и ты.
1913,192

8

Все наденут сегодня пальто
И заденут за поросли капель,
Но из них не заметит никто,
Что опять я ненастьями запил.

Засребрятся малины листья,
Запрокинувшись кверху изнанкой.
Солнце грустно сегодня, как ты, –
Солнце нынче, как ты, северянка.

Все наденут сегодня пальто,
Но и мы проживем без убытка.
Нынче нам не заменит ничто
Затуманившегося напитка.
1913,192

8Сегодня с первым светом встанут
Детьми уснувшие вчера.
Мечом призывов новых стянут
Изгиб застывшего бедра.

Дворовый окрик свой татары
Едва успеют разнести, –
Они оглянутся на старый
Пробег знакомого пути.

Они узнают тот сиротский,
Северно-сизый, сорный дождь,
Тот горизонт горнозаводский
Театров, башен, боен, почт,

Где что ни знак, то отпечаток
Ступни, поставленной вперед.

Они услышат: вот начаток,
Пример преподан, – ваш черед.

Обоим надлежит отныне
Пройти его во весь объем,
Как рашпилем, как краской синей,
Как брод, как полосу вдвоем.
1913,192

8ВОКЗАЛ

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный друг и указчик,
Начать – не исчислить заслуг.

Бывало, вся жизнь моя – в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.

Бывало, лишь рядом усядусь –
И крышка. Приник и отник.
Прощай же, пора, моя радость!
Я спрыгну сейчас, проводник.

Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.

И глохнет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой.

И вот уже сумеркам невтерпь,
И вот уж, за дымом вослед,
Срываются поле и ветер, –
О, быть бы и мне в их числе!
1913,192

8ВЕНЕЦИЯ

я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
В воде Венеция плыла.

Все было тихо, и, однако,
Во сне я слышал крик, и он
Подобьем смолкнувшего знака
Еще тревожил небосклон.

Он вис трезубцем Скорпиона
Над гладью стихших мандолин
И женщиною оскорбленной,
Быть может, издан был вдали.

Теперь он стих и черной вилкой
Торчал по черенок во мгле.
Большой канал с косою ухмылкой
Оглядывался, как беглец.
1 В отступление от обычая восстанавливаю итальянское
ударение. (Прим. Б. Пастернака.)

Туда, голодные, противясь,
Шли волны, шлендая с тоски,
И гондолы¹ рубили привязь,
Точа о пристань тесаки.

За лодочною их стоянкой
В остатках сна рождалась явь.
Венеция венецианкой
Бросалась с набережных вплавь.
1913, 192

8ЗИМА

Прижимаюсь щекою к воронке
Завитой, как улитка, зимы.
«По местам, кто не хочет – к сторонке!»
Шумы-шорохи, гром кутерьмы.

«Значит – в "море волнуется"? В повесть,
Завивающуюся жгутом,
Где вступают в черед, не готовясь?
Значит – в жизнь? Значит – в повесть о том,

Как нечаян конец? Об уморе,
Смехе, сутолоке, беготне?
Значит – вправду волнуется море
И стихает, не справясь о дне?»

Это раковины ли гуденье?
Пересуды ли комнат-тихонь?
Со своей ли поссорившись тенью,
Громыхает заслонкой огонь?

Поднимаются вздохи отдушин
И осматриваются – и в плач.
Черным храпом карет перекушен,
В белом облаке скачет лихач.
И невыполотые заносы
На оконный ползут парапет.
За стаканчиками купороса
Ничего не бывало и нет.
1913, 192

8ПИРЫ

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.
Надежному куску объявлена вражда.
Тревожный ветер ночей – тех здравиц
виночерпьем,
Которым, может быть, не сбыться никогда.

Наследственность и смерть – застольцы
наших трапез.
И тихую зарей – верхи деревьев горят –
В сухарнице, как мышь, копается анапест,
И Золушка, спеша, меняет свой наряд.

Полы подметены, на скатерти – ни крошки,
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,
И Золушка бежит – во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош, – и на своих двоих.
1913,192

8
Встав из грохочущего ромба
Передрассветных площадей,
Напев мой опечатан plombой
Неизбываемых дождей.

Под ясным небом не ищите
Меня в толпе сухих коллег.
Я смок до нитки от наитий,
И север с детства мой ночлег.
Он весь во мгле и весь – подобье
Стихами отягченных губ,
С порога смотрит исподлобья,
Как ночь, на объясненья скуп.

Мне страшно этого субъекта,
Но одному ему вдогад,
Зачем, ненареченный некто, –
Я где-то взят им напрокат.
1913,192

8ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Не поправить дня усильями светилен,
Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.

Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу – косяк особняка:
Это – барский дом, и я в нем гувернером.
Я один – я спать усладил ученика.

Никого не ждут. Но – наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо замечено.
Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй
И уверь меня, что я с тобой – одно.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар – исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин,
Вмерзшие бутылки голых, черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях, нелюдимый дым.

8

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ
1914–1916

ДВОР

Мелко исписанный инеем двор!
Ты – точно приговор к ссылке
На недоед, недосып, недобор,
На недопои и на боль в затылке.

Густо покрытый усышкой листвы,
С солью из низко нависших градирен!
Видишь, полозьев чернеются швы,
Мерзлый нарыв мостовых расковырян.

Двор, ты заметил? Вчера он набряк,
10 Вскрылся сегодня, и ветра порывы
Валяются, выпав из лап октября,
И зарываются в конские гривы.

Двор! Этот ветер, как кучер в мороз,
Рвется вперед и по брови нафабрен
Скрипом пути и, как к козлам, прирос
К кручам гудящих окраин и фабрик.

Руки враскидку, крючки назад,
Стан казакином, как облако, вспучен,
Окрик и свист, берегись, осади, –
20 Двор! Этот ветер морозный – как кучер.

Двор! Этот ветер тем родственен мне,
Что со всего околотка с налету
Он налипает билетом к стене:
«Люди, там любят и ищут работы!

Люди, там ярость сановней моей!
Там даже я преклоняю колени.
Люди, как море в краю лопарей,
Льдами щетинится их вдохновенье.

Крепкие тьме полыханьем огней!
1 Крепкие стуже стрельбою поленьев!
Стужа в их книгах – студеной моей,
Их откровений – темнее затменье.

Мздой облагает зима, как баскак,
Окна и печи, но стужа в их книгах –
Ханский указ на вощеных брусках
О наложении зимнего ига.

Огородитесь от вьюги в стихах
Шубой; от неба – свечою; трехгорным –
От дуновенья надежд, впопыхах
Двинутых ими на род непокорный».
<1916,1928>

ДУРНОЙ сон

Прислушайся к вьюге, сквозь десны
процеженной,
Прислушайся к голой побежке бесснежья.
Разбиться им не обо что, и заносы
Чугунною цепью проносятся понизу
Полями, по чересполосице, в поезде,
По воздуху, по снегу, в отзывах ветра,

Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.
Полями, по воздуху, сквозь окоlesiцу,
Приснившуюся Небесному Постнику.
Он видит: попадали зубы из челюсти,
И шамкают замки, помещия с пришептом,
Все вышиблено, ни единого в целости,
И постнику тошно от стука костей.

От зубьев пилотов, от флотских трезубцев,
От красных зазубрин карпатских зубцов.
Он двинуться хочет, не может проснуться,
Не может, засунутый в сон на засов.

И видит еще. Как назём огородника,
Всю землю сровняли с землей на Стоходе.
Не верит, чтоб выси зевнулось когда-нибудь
Во всю ее бездну, и на небо выплыл,
Как колокол на перекладине дали,
Серебряный слиток глотательной впадины,
Язык и глагол ее, – месяц небесный.
Нет, косноязычный, гундосый и сиплый,
Он с кровью заглочен хрящами развалин.
Сунь руку в крутящийся щебень метели, –
Он на руку вывалится из расселины
Мясистой култышкою, мышцей бесцельной
На жиле, картечиной напрочь отстреленной.
Его отожгло, как отёкшую тыкву.
Он прыгнул с гряды на ограду. Он в рытвине.
Он сорван был битвой и, битвой подхлестнутый,
Как шар, откатился в канаву с откоса
Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.

Прислушайся к гулу раздолий неезженных,
Прислушайся к бешеной их перебежке.
Расскальзывающаяся артиллерия
Тарелями ластится к отзывам ветра.
К кому присоседиться, верстами меряя,
Слова гололедицы, мглы и лафетов?
И сказка ползет, и клочки окоlesiцы,

Мелькая бинтами в желтке ксероформа,
Уносятся с поезда в поле. Уносятся
Платформами по снегу в ночь к семафорам.

Сопят тормоза санитарного поезда.
И снится, и снится Небесному Постнику...
1914, 192

8ВОЗМОЖНОСТЬ

В девять, по левой, как выйти со Страстного,
На сырых фасадах – ни единой вывески.
Солидные предприятия, но улица – из снов
ведь!
Щиты мешают спать, и их велели вынести.

Суконщики, С.Я., то есть сыновья суконщиков
(форточники наглухо, конторщики в отлучке).
Спит, как убитая, Тверская, только кончик
Сна высвобождая, точно ручку.

К ней–то и прикладывается памятник
Пушкину,
И дело начинает пахнуть дуэлью,
Когда какой–то из новых воздушный

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Поцелуй ей шлет, легко взмахнув метелью.

Во-первых, он помнит, как началось бессмертье
Тотчас по возвращеньи с дуэли, дома,
И трудно отвыкнуть. И во-вторых, и в-третьих,
Она из Гончаровых, их общая знакомая!

ДЕСЯТИЛЕТЬЕ ПРЕСНИ

(Отрывок)

Усыпляя, влачась и сплющивая
Плащи тополей и стоков,
Тревога подула с грядущего,
Как с юга дует сирокко.

Швыряя шафранные факелы
С дворцовых пьедесталов,
Она горящую паклю
Седое ненастье хлестала.

Тому грядущему, быть ему
10 Или не быть ему?
Но медных макбетовых ведьм в дыму –
Видимо-невидимо.

Глушь доводила до бесчувствия
Дворы, дворы, дворы... И с них,
С их глухоты – с их захолустья,
Завязывалась ночь портних
(Иных и настоящих), прачек
И спертых воплей караул,
Когда – с Канатчиковой дачи
Декабрь веревки вил, канатчик,
Из тел, и руки в дуги гнул,
Середь двора; когда посул
Свобод прошел, и в стане стачек
Стоял годами говор дул.

Снег тек с расстегнутых енотов,
С подмокших, слипшихся лисиц
На лед оконных переплетов
И часто на плечи жилиц.

Тупик, спускаясь, вел к реке,
И часто на одном коньке
К реке спускался вне себя
От счастья, что и он, дробя
Кавалерийским следом лед,
Как парные коньки, несет
К реке, – счастливый карапуз,
Счастливый тем, что лоск рейтуз
Приводит в ужас все вокруг,
Что всё – таинственность, испуг
И сокровенье, – и что там,
На старом месте, старый шрам
Ноябрьских туч; что, приложив
К устам свой палец, полужив,
Стоит знакомый небосклон,
И тем, что за ночь вырос он.
В те дни, как от побоев слабый,
Пал на землю тупик. Исчез,
Сумел исчезнуть от масштаба
Разбастовавшихся небес.

Стояли тучи под ружьем
И, как в казармах батальоны,
Команды ждали. Нипочем
Стесненной стуже были стоны.
Любила снег ласкать пальба,

И улицы обыкновенно
Невинны были, как мольба,
Как святость – неприкосновенны.
Кавалерийские следы
Дробили льды. И эти льды
Перестилались снежным слоем,
И вечной памятью героям
Стоял декабрь. Ряды окон,
Не освещенных в поздний час,
Имели вид сплошных попон
С прорезами для конских глаз.
1915
ПЕТЕРБУРГ

Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжён без осечки.

О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза наворачнулись,
Слезя их, заливы в осоке!

И к горлу балтийские волны, как комья
10 Тоски, подкатили; когда им
Забвеньё владело; когда он знакомил
С империей царство, край – с краем.

Нет времени у вдохновенья. Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа, –
Мне здесь сновиденье явилось, и счеты
Сведу с ним сейчас же и тут же.

Он тучами был, как делами, завален.
В ненастья натянутый парус
Чертежной щетиною ста готовален
20Врезалася царская ярость.

В дверях, над Невою, на часах, гайдуками,
Века пожирая, стояли
Шпалеры бессонниц в горячечном гаме
Рубанков, снастей и пицалей.

И знали: не будет приема. Ни мамок,
Ни дядек, ни бар, ни холопей,
Пока у него на чертежный подрамоч
Надеты таежные топи.
Волны толкутся. Мостки для ходьбы.
Облачно. Небо над буюм, залитым
Мутью, мешает с толченым графитом
Узких свистков паровые клубы.

Пасмурный день растерял катера.
Снасти крепки, как раскуренный кнастер.
Дегтем и доками пахнет ненастье
И огурцами – баркасов кора.

С мартовской тучи летят паруса
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть,
Тают в каналах балтийского шлака,
Тлеют по черным следам колеса.

Облачно. Щелкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь
Глухо въезжает на мокрый песок.

Чертежный рейсфедер
Всадника медного
От всадника – ветер
Морей унаследовал.

Каналы на прибыли,
Нева прибывает.
Он северным грифелем
Наносит трамваи.

Попробуйте, лягте-ка
Под тучею серой,
Здесь скачут на практике
Поверх барьеров.

И видят окраинцы:
За Нарвской, на Охте,
Туман продирается,
Отодранный ногтем.

Петр машет им шляпою,
И плещет, как прапор,
Пурги расцарапанный,
Надорванный рапорт.

Сограждане, кто это,
И кем на терзанье
Распущены по ветру
Полотнища зданий?

Как план, как ландкарту
На плотном папирусе,
Он город над мартом
Раскинул и выбросил.

Тучи, как волосы, встали дыбом
Над дымной, бледной невой.
Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,
Город – вымысел твой.

Улицы рвутся, как мысли, к гавани
Черной рекой манифестов.
Нет, и в могиле глухой и в саване
Ты не нашел себе места.

Волн наводнения не сдержишь сваями.
Речь их, как кисти слепых повитух.
Это ведь бредишь ты, неменяемый,
Быстро бормочешь вслух.
Оттепелями из магазинов
Веляло ватным теплом.
Вдоль по панелям зимним
Ездил звездистый лом.

Лед, перед тем как дрогнуть,
Соками пух, трещал.
Как потемневший ноготь,
Ныла вода в клещах.

Капала медь с деревьев.
Прячась под карниз,
К окнам с галантереей
Жался букинист.

Клейма резиновой фирмы
Сеткою подошв

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Липли к икринкам фирна
Или влекли под дождь.

Вот как бывало в будни.
В праздники ж рос буран
И нависал с полудня
Вестью полярных стран.

Небу под снег хотелось,
Улицу бил озноб,
Ветер дрожал за целость
Вывесок, блях и скоб.
1915,192
8ЗИМНЕЕ НЕБО

Цельною льдиной из дымности вынут
Ставший с неделю звездный поток.
Клуб конькобежцев вверху опрокинут:
Чокается со звонкою ночью каток.

Реже – реже –ре –же ступай, конькобежец,
В беге ссекая шаг свысока.
На повороте созвездьем врежется
В небо Норвегии скрежет конька.

Воздух железом к ночи прикован,
О конькобежцы! Там – все равно,
Что, как орбиты змеи очковой,
Ночь на земле, и как кость домино;

Что языком обомлевшей легавой
Месяц к скобе примерзает; что рты,
Как у фальшивомонетчиков, – лавой
Дух захватившего льда налиты.
1915

ДУША

О вольноотпущенница, если вспомнится,
О, если забудется, пленница лет.
По мнению многих, душа и паломница,
По-моему, – тень без особых примет.

О, – в камне стиха, даже если ты канула,
Утопленница, даже если – в пыли,
Ты бьешься, как билась княжна Тараканова,
Когда февралем залило равелин.
О внедренная! Хлопоча об амнистии,
Кляня времена, как клянут сторожей,
Стучатся опавшие годы, как листья,
В садовую изгородь календарей.
1915

* * *

Не как люди, не еженедельно,
Не всегда, в столетье раза два
Я молил Тебя: членораздельно
Повтори творящие слова.
И Тебе ж невыносимы смеси
Откровений и людских неволь.
Как же хочешь Ты, чтоб я был весел?
С чем бы стал Ты есть земную соль?
1915

РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС

В шалашную полночь площадь,
В сплывшую белую бездну
Незримою ими – «Извозчик!»
Низринуть с подъезда. С подъезда
Столкнуть в воспаленную полночь
И слышать сквозь темные спаи
Ее поцелуев – «На помощь!»
Мой голос зовет, утопая.
И видеть, как в единоборстве
С метелью, с лютейшей из лютен,
Он – этот мой голос – на черствой
Узде выплывает из мути...

МЕТЕЛЬ

1

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Иде и то, как убитые, спят снега, –

Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожей
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохластнулся обрывок шальной шлеи.

Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).

Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник – осиновый лист, он безгубый,
Безгласен, как призрак, белей полотна!

Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчком с мостовой...
– Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!

Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то... я сбился с дороги:
– Не тот это город, и полночь не та.

2

Все в крестиках двери, как в Варфоломееву
Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы:
Заваливай окна и рамы заклеивай,
Там детство рождественской елью топорщится.

Бушует бульваров безлиственных заговор,
Они поклялись известить человечество.
На сборное место, город! За город!
И вьюга дымится, как факел над нечистью.

Пушинки непрошено валяются на руки.
Мне страшно в безлюдьи пороши разнузданной.
Снежинки снуют, как ручные фонарики.
Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!

Дыра полыньи, и мерещится в музыке
Пурги: – Колиньи, мы узнали твой адрес! –
Секиры и крики: – Вы узнаны, узники
Уюта! – и по двери мелом – крест-накрест.

Что лагерем стали, что подняты на ноги
Подонки творенья, метели – сполагоря.
Под праздник отправятся к праотцам правнуки.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Ночь Варфоломеева. За город, за город!
1914, 192

8УРАЛ ВПЕРВЫЕ

Без родовспомогательницы, во мраке,
без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,
В мученьях ослепшая, утро рожала.

Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то.
Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого
Шарахаясь, падали призраки пихты.

Коптивший рассвет был снотворным.
Не иначе:
Он им был подсыпан – заводам и горам –
Лесным печником, злоязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.

Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны и звали на царство венчаться.

И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На усталанный наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.
1916

ЛЕДОХОД

Еще о всходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет.
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет.

Заря, как клещ, впилась в залив,
И с мясом только вырвешь вечер
Из топи. Как плотолюбив
Простор на севере зловещем!

Он солнцем давится взаглот
И тащит эту ношу по мху.
Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.

Увалы хищной тишины,
Шатанье сумерек нетрезвых, –
Но льдин ножи обнажены,
И стук стоит зеленых лезвий.

Немолчный, алчный, скучный хрип,
Тоскливый ляг и стук ножовый,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.
1916, 192

8* * *

Я понял жизни цель и что
Ту цель, как цель, и эта цель –
Признать, что мне невоготу
Мириться с тем, что есть апрель,

что дни – кузнечные мехи
и что растекся полосой

От ели к ели, от ольхи
К ольхе, железный и косой,

И жидкий, и в снега дорог,
Как уголь в пальцы кузнеца,
С шипеньем впившийся поток
Зари без края и конца.

Что в берковец церковный зык,
Что взят звонарь в весовщики,
Что от капели, от слезы
И от поста болят виски.
1916

ВЕСНА

1
Что почек, что клейких заплывших огарков
Налеплено к веткам! Затеplen
Апрель. Возмужалостью тянет из парка,
И реплики леса окрепли.

Лес стянут по горлу петлею пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной гладиатор органа.

Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.

Расти себе пышные брыжжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

2
Весна! Не отлучайтесь
Сегодня в город. Стаями
По городу, как чайки,
Льды раскричались, таючи.

Земля, земля волнуется,
И катятся, как волны,
Чернеющие улицы, –
Им, ветреницам, холодно.

По ним плывут, как спички,
Сгорая и захлебываясь,
Сады и электрички, –
Им, ветреницам, холодно.

От кружки синевы со льдом,
От пены буревестников
Вам дурно станет. Впрочем, дом
Кругом затоплен песнью.

И бросьте размышлять о тех,
Кто выехал рыбачить.
По городу гуляет грех
И ходят слезы падших.

3
Разве только грязь видна вам,
А не скачет таль в глазах?
Не играет по канавам –
Словно в яблоках рысак?

Разве только птицы цедят,
В синем небе щебеча,
Ледяной лимон обеден
Сквозь соломину луча?
Оглянись, и ты увидишь
До зари, весь день, везде,
С головой Москва, как Китеж, –
В светло-голубой воде.

Отчего прозрачны крыши
И хрустальны колера?
Как камыш, кирпич колыша,
Дни несутся в вечера.

Город, как болото, топок,
Струпья снега на счету,
И февраль горит, как хлопок,
Захлебнувшийся в спирту.

Белым пламенем измучив
Зоркость чердаков, в косом
Переплете птиц и сучьев –
Воздух гол и невесом.

В эти дни теряешь имя,
Толпы лиц сшибают с ног.
Знай, твоя подруга с ними,
Но и ты не одинок.
1914

ИВАКА

Кокошник нахлобучила
Из низок ливня – паросль.
Футляр дымится тучею,
В ветвях горит стеклярус.

И на подушке плюшевой
Сверкает в переливах
Разорванное кружево
Деревьев говорливых.

Сережек аметистовых
И шишек из сапфира
Нельзя и было выставить,
Из-под земли не вырыв.

Чтоб горы очаровывать
В лиловых мочках яра,
Их вынули из нового
Уральского футляра.
1916, 192

8СТРИЖИ

Нет сил никаких у вечерних стрижей
Сдержать голубую прохладу.
Она прорвалась из горластых грудей
И льется, и нет с нею сладу.

И нет у вечерних стрижей ничего,
Что б там, наверху, задержало
Витийственный возглас их: о торжество,
Смотрите, земля убежала!

Как белым ключом закипая в котле,
Уходит бранчливая влага, –
Смотрите, смотрите – нет места земле
От края небес до оврага.

1915

СЧАСТЬЕ

Исчерпан весь ливень вечерний
Садами. И вывод – таков:
Нас счастье тому же подвергнет
Терзанью, как сонм облаков.

Наверное, бурное счастье
С лица и на вид таково,
Как улиц по смьтыи ненастья
Столиственное торжество.

Там мир заключен. И, как Каин,
Там заштемпелеван теплом
Окраин, забыт и охаян,
И высмеян листьями гром.

И высью. И капель икотой.
И – внятной тем более, что
И рощам нет счета: решета
В сплошное слились решето.

На плоской листве. Океане
Расплавленных почек. На дне
Бушующего обожанья
Молящихся вышине.

Кустарника сгусток не выжат.
По клетке и влюбчивый клёст
Зерном так задорно не брызжет,
Как жимолость – россыпью звезд.
1915

ЭХО

Ночам соловьем обладать,
Что ведром полнодонным колодцам.
Не знаю я, звездная гладь
Из песни ли в песню ли льется.

Но чем его песня полней,
Тем полночь над песнью просторней.
Тем глубже отдача корней,
Когда она бьется об корни.

И если березовых куп
Безвозгласно великолепье,
Мне кажется, бьется о сруб
Та песня железною цепью,

И каплет со стали тоска,
И ночь растекается в слякоть,
И ею следят с цветника
До самых закраинных пахот.
1915

ТРИ ВАРИАНТА

1

Когда до тончайшей мелочи
Весь день пред тобой на весу,
Лишь знойное щелканье белочье

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Не молкнет в смолистом лесу.

И млея, и силы накапливая,
Спит строй сосновых высот.
И лес шелушится, и каплями
Струится веснушчатый пот.

2

Сады тошнит от верст затишья.
Столбняк рассерженных лощин
Страшней, чем ураган, и лише,
Чем буря, в силах всполошить.

Гроза близка. У сада пахнет
Из усыхающего рта
Крапивой, кровлей, тленьем, страхом.
Встает в колонны рев скота.

3

На кустах растут разрывы
Облетелых туч. У сада
Полон рот сырой крапивы:
Это запах гроз и кладов.

Устает кустарник охать.
В небе множатся пролеты.
У босой лазури – походь
Голенастых по болоту.

И блестят, блестят, как губы,
Не утертые рукою,
Лозы ив, и листья дуба,
И следы у водополя.
1914

ИЮЛЬСКАЯ ГРОЗА

Так приближается удар
За сладким, из-за ширмы лени,
Во всеоружьи мутных чар
Довольства и оцепененья.

Стоит на мертвой точке час
Не оттого ль, что он намечен,
Что желчь моя не разлилась,
Что у меня на месте печень?

Не отсыхает ли язык
У лип, не липнут листья к небу ль
В часы, как в лагере грозы
Полнеба топчется поодаль?

И слышно: гам ученья там,
Глухой, лиловый, отдаленный.
И жарко белым облакам
Грудиться, строясь в батальоны.

Весь лагерь мрака на виду.
И, мрак глазами пожирая,
В чаду стоят плетни. В чаду –
Телеги, кадки и сараи.

Как плат белы, забыли грызть
Подсолнухи, забыли сплунуть,
Их всех поработила высь,
На нихдохнувшая, как юность.

Гроза в воротах! на дворе!

Преображаясь и дурея,
Во тьме, в раскатах, в серебре,
Она бежит по галерее.
По лестнице. И на крыльцо.
Ступень, ступень, ступень. – Повязку!
У всех пяти зеркал лицо
Грозы, с себя сорвавшей маску

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

За окнами давка, толпится листва,
И палое небо с дорог не подобрано.
Все стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.
Сначала всё опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
И попраным парком из ливня – под град,
Потом от сараев – к террасе бревенчатой.
Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались, –
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.
Со стекол балконных, как с бедер и спин
Озябших купальщиц, – ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженный клин,
И градинки стелются солью поваренной.
Вот луч, покатаясь с паутины, залег
В крапиве, но кажется, это ненадолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.
1915,192

8ИМПРОВИЗАЦИЯ

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клетот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд
И волны. – И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.

И это был пруд. И было темно.
Пылали кубышки с полуночным дегтем.
И было волною обглодано дно
У лодки. И грызлись птицы о локте.

И ночь полоскалась в гортанях запруд.
Казалось, покамест птенец не накормлен,
И самки скорей умертвят, чем умрут,
Рулады в крикливом, искривленном горле.
1915

БАЛЛАДА

Бывает, курьером на борзом
Расскачется сердце, и точно
Отрывистость азбуки Морзе,
Черты твои в зеркале срочны.

Поэт или просто глашатай,
Герольд или просто поэт,
В груди твоей – топот лошадный
И сжатость огней и ночных эстафет.

Кому сегодня шутится?
10 Кому кого жалеть?
С платка текла распутица,
И к ливню липла плеть.

Был ветер заперт наглухо,
И штемпеля влеплял,
Как оплеухи наглости,
Шалея, конь в поля.
Бряцал мундштук закушенный,
Врывалась в ночь лука,
Конь оглушал заушиной
Раскаты большака.

Не видно ни зги, но затем в отдаленьи
Движенье: лакей со свечой в колпаке.
Мельчая, коптят тополя, и аллея
Уходит за пчельник, истлев вдалеке.

Салфетки белей алебастр балюстрады.
Похоже, огромный, как тень, брадобрей
Макает в пруды дерева и ограды
И звякает бритвой об рант галерей.

Впустите, мне надо видеть графа.
1 Вы спросите, кто я? Здесь жил органист.
Он лег в мою жизнь пятеричной оправой
Ключей и регистров. Он уши зарниц
Крючками прибил к проводам телеграфа.
Вы спросите, кто я? На розыск Кайяфы
Отвечу: путь мой был тернист.

Летами тишь гробовая
Стояла, и поле отхлебывало
Из черных котлов, забываясь,
Лапшу светоносного облака.

1А зимы другую основу
Сновали, и вот в этом крошечке
Я – черная точка дурного
В валящихся хлопьях хорошего.

Я – пар отстучавшего града, прохладой
В исходную высь воспаряющий. Я –
Плодовая падаль, отдавшая саду
Все счета по службе, всю сладость и яды,

Чтоб, музыкой хлынув с дуги бытия,
В приемную ринуться к вам без доклада.
Я – мяч полногласья и яблоко лада.
Вы знаете, кто мне закон и судья.

Впустите, мне надо видеть графа.
О нем есть баллады. Он предупрежден.
Я помню, как плакала мать, играв их,
Как вздрагивал дом, обливаясь дождем.

Позднее узнал я о мертвом Шопене.
Но и до того, уже лет в шесть,
Открылась мне сила такого сцепленья,
Что можно подняться и землю унести.

Куда б утекли фонари околотка
С пролетками и мостовыми, когда б
Их марево не было, как на колодку,
Набито на гул колокольных октав?

Но вот их снимали, и, в хлопья облекшись,

Пускались снова без оглядки дома,
И плотно захлопнутой нотной обложкой
Валилась в разгул листопада зима.

Ей недоставало лишь нескольких звеньев,
Чтоб выполнить раму и вырасти в звук,
И музыкой – зеркалом исчезновенья
Качнуться, выскальзывая из рук.

В колодец ее обалделого взгляда
Бадьей погружалась печаль и, дойдя
До дна, подымалась оттуда балладой
И рушилась былью в обвязке дождя.

Жестоко продрогши и до подбородков
Закованные в железо и мрак,
Прыжками, прыжками, коротким галопом
Летели потоки в глухих киверах.
'Их кожаный строй был, как годы, бороздчат,
Их шум был, как стук на монетном дворе,
И вмиг запружалась рыдванами площадь,
Деревья мотались, как дверцы карет.

Насколько терпелось канавам и скатам,
Покамест чекан принимала руда,
Удар за ударом, трудясь до упаду,
Дукаты из слякоти била вода.

Потом начиналась работа граверов,
И черви, разделив сырье под орех,
1 Вгрызались в создание гербом договора,
За радугой следом ползя по коре.

Но лето ломалось, и всею машиной
На август напарывались деревья,
И в цинковой кипе фальшивых цехинов
Тонули крушенья шаги и слова.

Но вы безответны. В другой обстановке
Недолго б длился мой конфуз.
Но я набивался и сам на неловкость,
Я знал, что на нее нарвусь.

'Я знал, что пожизненный мой собеседник,
Меня привлекая страшной из тяг,
Молчит, крепясь из сил последних,
И вечно числится в нетях.

Я знал, что прелесть путешествий
И каждый новый женский взгляд
Лепечут о его соседстве
И отрицать его велят.

Но как пронести мне этот ворох
Признаний через ваш порог?
'Я трачу в глупых разговорах
Все, что дорогой приберег.
Зачем же, земские ярыги
И полицейские крючки,
Вы обнесли стеной религий
Отца и мастера тоски?

Зачем вы выдумали послух,
Безбожие и ханжество,
Когда он лишь меньшей из взрослых
И сверстник сердца моего.
1916, 192

8МЕЛЬНИЦЫ

Стучат колеса на селе.
Струятся и хрустят колосья.
Далеко, на другой земле
Рыдает пес, обезголосев.

Село в серебряном плену
Горит белками хат потухших,
И брешет пес, и бьет в луну
Цепной, кудлатой колотушкой.

Мигают вишни, спят волы,
10 В низу спросонок пруд маячит,
И кукурузные стволы
За пазухой початки прячут.

А над кишеньем всех естеств,
Согбенных бременем налива,
Костлявой мельницы крестец,
Как крепость, высится ворчливо.

Плакучий Харьковский уезд,
Русалочьи начесы лени,
И ветел, и плетней, и звезд,
20 Как сизых свечек шевеленье.
Как губы, – шепчут; как руки, – вяжут;
Как вздох, – невнятные, как кисти, – дряхлы,
И кто узнает, и кто расскажет,
Чем тут когда-то дело пахло?

И кто отважится и кто осмелится
Из сонной одури хоть палец высвободить,
Когда и ветряные мельницы
Окоченели на лунной исповеди?

Им ветер был роздан, как звездам – свет.
Он выпущен в воздух, а нового нет.
А только, как судна, земле вопреки,
Воздушной ссудой живут ветряки.

Ключицы сутуля, крыла разбросав,
Парят на ходулях степей паруса.
И сохнут на срубках, висят на горбах
Рубахи из луба, порты-короба.

Когда же беснуются куры и стружки,
И дым коромыслом, и пыль столбом,
И падают капли медяшками в кружки,
1И ночь подплывает во всем голубом,

И рвутся оборки настурций, и буря,
Баллоном раздув полотно панталон,
Вбегает и видит, как тополь, зажмурясь,
Нашествием снега слепит небосклон, –

Тогда просыпаются мельничные тени.
Их мысли ворочаются, как жернова.
И они огромны, как мысли гениев,
И несоразмерны, как их права.

Теперь перед ними всей жизни умолот.
1 Все помыслы степи и все слова,
Какие жара в горах придумала,
Охалками падают в их постава.
Завидевши их, паровозы тотчас же
Врезаются в кашу, стремя к ветрякам,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
И хлопают паром по тьме клокочущей,
И мечут из топок во мрак потроха.

А рядом, весь в пеклеванных выкликах,
Захлебываясь кулешом подков,
Подводит шлях, в пыли по щиколку,
Под них свой сусличий подкоп.

Они ж, уставая от далей, пожалованных
Валам несчастной шестерни,
Меловые обвалы пространств обмалывают
И судьбы, и сердца, и дни.

И они перемалывают царства проглоченные,
И, вращая белками, пылят облака,
И, быть может, нигде не найдется вотчины,
Чтоб бездонным мозгам их была велика.

Но они и не жалуются на каторгу.
Наливаясь в грядущем и тлея в былом,
Неизвестные зарева, как элеваторы,
Преисполняют их теплом.
1915,192

8НА ПАРОХОДЕ

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя кишели светляки.

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.

Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла.

Волной захлебываясь, на волос
От затопленья, за суда
Ныряла и светильней плавала
1В лампаде камских вод звезда.

На пароходе пахло кушаньем
И лаком цинковых белил.
По Каме сумрак плыл с подслушанным,
Не пророня ни всплеска, плыл.

Держа в руке бокал, вы суженным
Зрачком следили за игрой
Обмолвок, вившихся за ужином,
Но вас не привлекал их рой.

Вы к былям звали собеседника,
' К волне до вас прошедших дней,
Чтобы последнею отцединкой
Последней капли кануть в ней.

Был утренник. Сводило челюсти,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
и шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камюю рассвет.

и утро шло кровавой банею,
Как нефть разлившейся зари,
Гасить рожки в кают-компани
40 и городские фонари.
1916

ИЗ ПОЭМЫ
(два отрывка)

1
Я тоже любил, и дыханье
Бессонницы раннею ранью
Из парка спускалось в овраг, и впотьмах
Выпархивало на архипелаг
Полян, утопавших в лохматом тумане,
В полыни и мяте и перепелах.
И тут тяжелел обожанья размах,
Хмелел, как крыло, обожженное дробью,
И бухался в воздух, и падал в ознобе,
10 и располагался росой на полях.

А там и рассвет занимался. До двух
Несметного неба мигали богатства,
Но вот петухи начинали пугаться
Потемок и силились скрыть перепуг,
Но в глотках рвались холостые фугасы,
И страх фистулой голосил от потуг,
И гасли стожары, и, как по заказу,
С лицом пучеглазого свечегаса
Показывался на опушке пастух.

20 я тоже любил, и она пока еще
Жива, может стать. Время пройдет,
И что-то большое, как осень, однажды
(не завтра, быть может, так позже
когда-нибудь)

Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись
Над чащей. Над глупостью луж, изнывающих
По-жабьи от жажды. Над заячьей дрожью
Лужаек, с ушами ушитых в рогожу
Листвы прошлогодней. Над шумом, похожим
На ложный прибор прожитого. Я тоже
Любил, и я знаю: как мокрые пожни
От века положены году в подножье,
Так каждому сердцу кладется любовью
Знобящая новость миров в изголовье.

Я тоже любил, и она жива еще.
Всё так же, катясь в ту начальную рань,
Стоят времена, исчезая за краешком
Мгновенья. Всё так же тонка эта грань.
По-прежнему давнее кажется давешним.
По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев,
1 безумствует быль, притворяясь незнающей,
Что больше она уж у нас не жилища.
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь
Всю жизнь удаляется, а не длится
Любовь, удивленья мгновенная дань?
1917, 192

82
Я спал. В ту ночь мой дух дежурил.
Раздался стук. Зажегся свет.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
В окно врывалась повесть бури.
Раскрыл, как был, – полуодет.

Так тянет снег. Так шепчут хлопья.
Так шепелявят рты примет.
Там подлинник, здесь – бледность копий.
Там все в крови, здесь крови нет.
Там, озаренный, как покойник,
С окна блужданьем ночника,
Сиренью моет подоконник
Продрогший абрис ледника.

И в ночь женеvскую, как в косы
Южанки, югом вплетены
Огни рожков и абрикосы,
Оркестры, лодки, смех волны.

И, будто вороша каштаны,
Совком к жаровням в кучу сгреб
Мужчин – арак, а горожанок –
Иллюминированный сироп.

И говор долетает снизу.
А сверху, задыхаясь, вяз
Бросает в трепет холст маркизы
И ветки вчерчивает в газ.

Взгляни, как Альпы лихорадит!
Как верен дому каждый шаг!
О, будь прекрасна, Бога ради,
О, Бога ради, только так.

Когда ж твоя стократ прекрасней
Убийственная красота
И только с ней и до утра с ней
Ты отчужденьем облита,

То атропин и белладонну
Когда-нибудь в тоску вкропив,
И я, как ты, взгляну бездонно,
И я, как ты, скажу: терпи.
1917

МАРБУРГ

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложение, –
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне – отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженной.

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значеньи своем подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб
10 Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Бульжник, и ветер, как лодочник, греб
По липам. И все это были подобья.

Но, как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: «Ребачья зазноба. За ним,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
20 К несчастью, придется присматривать в оба».

«Шагни, и еще раз», – твердил мне инстинкт
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

«Научись шагом, а после хоть в бег», –
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнава учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.

Одних это все ослепляло. Другим –
30Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозые играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) – этот вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Пропало... Отвергнут.

Тут жил Мартин Лютер. Там – братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И все это помнит и тянется к ним.
Все – живо. И все это тоже – подобья.

О нити любви! Улови, перейми.
Но как ты громаден, отбор обезьяний,
Когда под надмирными жизни дверьми,
Как равный, читаешь свое описание!

Когда-то под рыцарским этим гнездом
Чума полыхала. А нынешний жупел –
Насупленный лязг и полет поездов
Из жарко, как ульи, курящихся дупел.

Нет, я не пойду туда завтра. Отказ –
Полнее прощанья. Все ясно. Мы квиты.
Да и оторвусь ли от газа, от касс?
Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкой на оттоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
'Бессонницу знаю. Стрясется – спасут.
Рассудок? Но он – как луна для лунатика.
Мы в дружбе, но я не его сосуд.

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь – король. Я играю с бессонницей.
И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
'Я белое утро в лицо узнаю.
1916,192

8

СЕСТРА МОЯ –
ЖИЗНЬ
Лето 1917 года

Посвящается Лермонтову
Es braust der Wald, am Himmel zieh'n
Des Sturmes Donnerfluge,
Da tag ich in die Wetter hin,
O, Mädchen, deine Züge.
Nic. Lenau

ПАМЯТИ ДЕМОНА

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары,
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.
Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.
Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампы зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.
Но сверканье рвалось
В волосах и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.
От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
1 Бушует лес, по небу пролетают грозовые тучи, тогда на
фоне бури я рисую, девочка, твои черты. Ник. Ленау (нем.).
Спи, подруга, –• лавиной вернуся.

НЕ ВРЕМЯ ЛЬ ПТИЦАМ ПЕТЬ
ПРО ЭТИ СТИХИ

На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам.
Зимой открою потолок
И дам читать сырым углам.

Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.

Буран не месяц будет мечь,
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот.

Галчонком глянет Рождество,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
И разгулявшийся денек
Прояснит много из того,
Что мне и милой невдомек.

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку кликну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейнгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут, окунал.
ТОСКА

Для этой книги на эпиграф
Пустыни сипли,
Ревели львы и к зорям тигров
Тянулся Киплинг.

Зиял, иссякнув, страшный кладезь
Тоски отверстой,
Качались, ляская и глядясь
Иззябшей шерстью.

Теперь качаться продолжая
В стихах вне ранга,
Бредут в туман росой лужаек
И снятся Гангу.

Рассвет холодною ехидной
Вползает в ямы,
И в джунглях сырость панихиды
И фимиама.

Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Беспорно, беспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписание,
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней Святого Писанья
И черных от пыли и бурь канапе.
Что только нарвется, разлаявшись, тормоз
На мирных сельчан в захолустном вине,
С матрацев глядят, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезнает мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Тем часом, как сердце, плеча по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

ПЛАЧУЩИЙ САД

Ужасный! – Капнет и вслушается,
Всё он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

Но давится внятно от тягости
Отеков – земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях созревает.

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверюсь,
Берется за старое – скатывается
По кровле, за желоб и через.

К губам поднесу и прислушаюсь,
Всё я ли один на свете, –
Готовый навзрыд при случае, –
Или есть свидетель.
Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах
И вздохов и слез в промежутке.

ЗЕРКАЛО

В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и – прямой
Дорожкой в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.

Там сосны враскачку воздух саднят
Смолой; там по маете
Очки по траве растерял палисадник,
Там книгу читает Тень.

И к заднему плану, во мрак, за калитку
10 В степь, в запах сонных лекарств
Струится дорожкой, в сучках и в улитках
Мерцающий жаркий кварц.

Огромный сад тормошится в зале
В трюмо – и не бьет стекла!
Казалось бы, всё коллодий залил
С комода до шума в стволах.

Зеркальная всё б, казалось, нахлынь
Непотным льдом облила,
Чтоб сук не горчил и сирень не пахла, –
20 Гипноза залить не могла.

Несметный мир семенит в месмеризме,
И только ветру связать,
Что ломится в жизнь и ломается в призме
И радо играть в слезах.

Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырыть, как заступом клад.
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо – и не бьет стекла.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
И вот, в гипнотической этой отчизне
30 ничем мне очей не задуть.
Так после дождя проползают слизи
Глазами статуй в саду.

Шуршит вода по ушам, и, чирикнув,
На цыпочках скачет чиж.
Ты можешь им выпачкать губы черникой,
Их шалостью не опишь.

Огромный сад тормозится в зале,
Подносит к трюмо кулак,
Бежит на качели, ловит, салит,
АТрясет -- и не бьет стекла!

ДЕВОЧКА

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.
Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегают ветка в трюмо!
Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой.

Сад застлан, пропал за ее беспорядком,
За бьющей в лицо кутерьмой.
Родная, громадная, с сад, а характером –
Сестра! Второе трюмо!

Но вот эту ветку вносят в рюмке
И ставят к раме трюмо.
Кто это, – гадают, – глаза мне рюмит
Тюремной людской дремой?
* * *

Ты в ветре, веткой пробуящем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!

У капель – тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.

Моей тоскою вынынчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.

Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платью пробежал.

Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен
Обводит день теперешний
Глазами анемон.

ДОЖДЬ

Надпись на «Книге степи»
Она со мной. Наигрывай,
лей, смейся, сумрак рви!
Топи, теки эпиграфом
К такой, как ты, любви!

Снуй шелкопрядом тутовым
и бейся об окно.
Окутывай, опутывай,
Еще не всклянь темно!

– Ночь в полдень, ливень, – гребень ей!
На щебне, взмок – возьми!
И – целыми деревьями
В глаза, в виски, в жасмин!

Осанна тьме египетской!
Хохочут, сшиблись, – ниц!
И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.

Теперь бежим сощипывать,
Как стон со ста гитар,
Омытый мглю липовой
Садовый Сен-Готард.

КНИГА СТЕПИ
Est-il possible, – le fut-il?
verlaine1

ДО ВСЕГО ЭТОГО БЫЛА ЗИМА

В занавесках кружевных
Воронье.
Ужас стужи уж и в них
Заронен.

Это кружится октябрь,
Это жуть
Подобралась на когтях
1 Возможно ли, – было ли это? Верден (фр.).
К этажу.

Что ни просьба, что ни стон,
То, кряхтя,
Заступаются шестом
За октябрь.

Ветер за руки схватив,
Дерева
Гонят лестницей с квартир
По дрова.

Снег все гуще, и с колен –
В магазин
С восклицаньем: «Сколько лет,
Сколько зим!»

Сколько раз он рыт и бит,
Сколько им
Сыпан зимами с копыт
Кокаин!

Мокрой солью с облаков
И с удил
Боль, как пятна с башлыков,
Выводил.

ИЗ СУЕВЕРЬЯ

Коробка с красным померанцем –
Моя каморка.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
О, не об номера ж мараться,
По гроб, до морга!

Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев,
И – пенье двери.
Из рук не выпускал защелки,
Ты вырывалась,
И чуб касался чудной челки
И губы – фиалок.
О неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
Апрелю: «Здравствуй!»

Грех думать – ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

НЕ ТРОГАТЬ

«Не трогать, свежевыкрашен», –
Душа не береглась,
И память – в пятнах икр и щек,
И рук, и губ, и глаз.

Я больше всех удач и бед
За то тебя любил,
Что пожелтый белый свет
С тобой – белей белил.

И мгла моя, мой друг, божусь,
Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
Чем белый бинт на лбу!

* * *

Ты так играла эту роль!
Я забывал, что сам – суфлер!
Что будешь петь и во второй,
Кто б первой ни совлек.
Вдоль облаков шла лодка. Вдоль
Лугами кошених кормов.
Ты так играла эту роль,
Как лепет шлюз – кормой!

И, низко рея на руле
Касаткой об одном крыле,
Ты так! – ты лучше всех ролей
Играла эту роль!

БАЛАШОВ

По будням медник подле вас
Клепал, лудил, паял,
А впрочем – масла подливал
В огонь, как пай к паям.

И без того душило грудь
И песнь небес: «Твоя, твоя!»
И без того лилась в жару
В вагон, на саквояж.

Сквозь дождик сеялся хорал

На гроб и в шляпы молокоан,
А впрочем – ельник подбирал
К прощальным облакам.

И без того взошел, зашел
В большой душе, щемя, мечась,
Большой, как солнце, Балашов
В осенний ранний час.

Лазурью июльской облит,
Базар синел и дребезжал,
Юродствующий инвалид
Пиле, гундося, подражал.

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юридивого речь?
В природе лип, в природе плит,
В природе лета было жечь.

ПОДРАЖАТЕЛИ

Пекло, и берег был высок.
С подплывшей лодки цепь упала
Змеей гремучею – в песок,
Гремучей ржавчиной – в купаву.

И вышли двое. Под обрыв
Хотелось крикнуть им: «Простите,
Но бросьтесь, будьте так добры,
Не врозь, так в реку, как хотите.

Вы верны лучшим образцам.
Конечно, ищущий обрящет.
Но... бросьте лодкою бряцать:
В траве терзается образчик».

ОБРАЗЕЦ

О, бедный Homo sapiens¹,
Существованье – гнет,
Былые годы за пояс
Один такой заткнет.

Все жили в сушь и впроголодь,
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
1 человек разумный (лат.).
125
Что чудо жизни – с час.

С тех рук впивавши ландыши,
На те глаза дышав,
Из ночи в ночь валандавшись,
Гормя горит душа.

Одна из южных мазанок
Была других южней.
И ползала, как пасынок,
Трава в ногах у ней.

Сушился холст. Бросается
Еще сейчас к груди
Плетень в ночной красавице,
Хоть год и позади.

Он незабвенен тем еще,

что пылью припухал,
что ветер лускал семечки,
сорил по лопухам. *

что незнакомой мальвою
вел, как слепца, меня,
чтоб я тебя вымаливал
у каждого плетня.

сошел и стал окидывать
тех новых луж масла,
разбег тех рощ ракитовых,
куда я письма слал.

мой поезд только тронулся,
еще вокзал, Москва,
плясали в кольцах, в конусах
по насыпи, по рвам.

а уж гудели кобзами
колодцы, и, пылясь,
скрипели, бились об землю
} скирды и тополя.

пусть жизнью связи портятся,
пусть гордость ум вредит,
но мы умрем со спертостью
тех розысков в груди.

РАЗВЛЕЧЕНЬЯ ЛЮБИМОЙ

* # *

душистою веткою машучи,
впивая впотьмах это благо,
бежала на чашечку с чашечки
грозой одуренная влага.

на чашечку с чашечки скатываясь,
скользнула по двум, – и в обеих
огромною каплей агатовою
повисла, сверкает, робеет.

пусть ветер, по таволге веющий,
ту капельку мучит и плющит.
цела, не дробится, – их две еще
целующихся и пьющих.

смеются и вырваться силятся
и выпрямиться, как прежде,
да капле из рылец не вылиться,
и не разлучатся, хоть режьте.

СЛОЖА ВЕСЛА

лодка колотится в сонной груди,
ивы нависли, целуют в ключицы,
в локти, в уключины – о погоди,
это ведь может со всяким случиться!
этим ведь в песне тешатся все.
это ведь значит – пепел сиреневый,
роскошь крошеной ромашки в росе,
губы и губы на звезды выменивать!

это ведь значит – обнять небосвод,
руки сплести вокруг Геракла громадного,
это ведь значит – века напролет
ночи на шелканье славок проматывать!

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил
Лак экипажей, деревьев трепет.
Под луною на выкате гуськом скрипачи
Пробираются к театру. Граждане, в цепи!

Лужи на камне. Как полное слез
Горло – глубокие розы, в жгучих
Влажных алмазах. Мокрый нахлест
Счастья – на них, на ресницах, на тучах.

Впервые луна эти цепи и трепет
Платьев и власть восхищённых уст
Гипсовую эпопею лепит,
Лепит никем не лепленный бюст.

В чьем это сердце вся кровь его быстро
Хлынула к славе, схлынув со щек?
Вон она бьется: руки министра
Рты и аорты сжали в пучок.

Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.
Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь пред театром – прибор
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.

СВИСТКИ МИЛИЦИОНЕРОВ

Дворня бастует. Брезгуя
Мусором пыльным и тусклым,
Ночи сигают до брезгу
Через заборы на мускулах.

Возьются в вязах, падают,
Не удержавшись, с деревьев.
Вскакивают: за оградою
Север злодейств сереет.

И вдруг, – из садов, где твой
Лишь глаз ночевал, из милого
Душе твоей мрака, плотвой
Свисток расплескавшийся выловлен.

Милиционером зажат
В кулак, как он дергает жабрами
И горлом, и глазом, назад
По-рыбьи наискось задранным!

Трепещущего серебра
Пронзительная горошина,
Как утро, бодряще мокра,
Звездой за забор переброшена.

И там, где тускнеет восток
Чухоткою летнего Тиволи,
Валяется дохлый свисток,
В пыли агонической вывалян.

ЗВЕЗДЫ ЛЕТОМ

Рассказали страшное,
Дали точный адрес.
Отпирают, спрашивают,
Двигутся, как в театре.

Тишина, ты – лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши.

Июльской ночью слободы –
Чудно белокуры,
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.

Блещут, дышат радостью,
Обдают сияньем,
На таком-то градусе
И меридиане.

Ветер розу пробует
Приподнять по просьбе
Губ, волос и обуви,
Подолов и прозвищ.

Газовые, жаркие,
Осыпают в гравий
Всё, что им нашаркали,
Всё, что наиграли.

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

Когда случилось петь Дездемоне, –
А жить так мало оставалось, –
Не по любви, своей звезде, она –
По иве, иве разрыдалась.
Когда случилось петь Дездемоне
И голос завела, крепясь,
Про черный день чернейший демон ей
Псалом плакучих русл припас.

Когда случилось петь Офелии, –
А жить так мало оставалось, –
Всю сушь души взмело и свеяло,
Как в бурю стебли с сеновала.

Когда случилось петь Офелии,
А горечь грез осточертела,
С какими канула трофеями?
С охалкой верб и чистотела.

Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,
Входили, с сердца замираньем,
В бассейн вселенной, стан свой любящий
Обдать и оглушить мирами.

ЗАНЯТЬЕ ФИЛОСОФИЕЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ

Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок.

Это – сладкий заглохший горох,
Это – слезы вселенной в лопатках,
Это – с пультов и с флейт – Фигаро

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Низвергается градом на грядку.

Всё, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.
Площе досок в воде – духота.
Небосвод завалился ольхой.
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная – место глухое.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУШИ

Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе.
Как он предан – расстался с суком!
Сумасброд – задохнется в сухом!

Спелой грушею, ветра косей.
Как он предан, – «Меня не затреплет!».
Оглянись: отгремела в красе,
Отпылала, осыпалась – в пепле.

Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
О мой лист, ты пугливей щегла!
Что ты бьешься, о шелк мой застенчивый?

О, не бойся, приросшая песнь!
И куда порываться еще нам?
Ах, наречье смертельное «здесь» –
Невдомек содроганью сращенному.

БОЛЕЗНИ ЗЕМЛИ

О еще! Раздастся ль только хохот
Перламутром, Иматрой бацилл,
Мокрым гулом, тьмой стафилококков,
И блеснут при молниях резцы,

Так – шабаш! Нешаткие титаны
Захлебнутся в черных сводах дня.
Тени стянет трепетом tetanus¹,
И медянок запылит столбняк.

Вот и ливень. Блеск водобоязни,
Вихрь, обрывки бешеной слюны.
Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы
Или с сардонической сосны?

Чьи стихи настолько нашумели,
Что и гром их болью изумлен?
Надо быть в бреде по меньшей мере,
Чтобы дать согласие быть землей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА

Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена,
Накрывает ладонью, как шашки,
Сон и совесть, и ночь, и любовь оно.
И какую-то черную доведь²,
И – с тоскою какою-то бешеной,
К преставлению света готовит,
Конноборцем над пешками пешими.
А в саду, где из погреба, со льду,

Звезды благоуханно разохались,
Соловьем над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова заholодь.

1 Столбняк (лат.).

2 Доведь – шашка, проведенная в край поля, в дамы.

(Прим. В. Пастернака.)

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье – лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

НАША ГРОЗА

Гроза, как жрец, сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи. Расправляй
Губами вывих муравья.
Звон ведер сшиблен набекрень.
О, что за жадность: неба мало?!
В канаве бьется сто сердец.
Гроза сожгла сирень, как жрец.
В эмали – луг. Его лазурь,
Когда бы зябли, – соскоблили.
Но даже зяблик не спешит
Стряхнуть алмазный хмель с души.
У кадок пьют еще грозу
Из сладких шапок изобилья,
И клевер бурен и багров
В бордовых брызгах маляров.
К малине липнут комары.
Однако ж хобот малярный,
Как раз сюда вот, изувер,
Где роскошь лета розовой?!
Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Всадить стрекало озорства,
Где кровь как мокрая листва?!
О, верь игре моей, и верь
Гремящей вслед тебе мигрени!
Так гневу дня судьба гореть
Дичком в черешенной коре.
Поверила? Теперь, теперь
Приблизь лицо, и, в озареньи
Святого лета твоего,
Раздую я в пожар его!
Я от тебя не утаю:
Ты прячешь губы в снег жасмина,
Я чую на моих тот снег,
Он тает на моих во сне.
Куда мне радость деть мою?
В стихи, в графленую осьмину?
У них растрескались уста
От ядов писчего листа.
Они, с алфавитом в борьбе,
Горят румянцем на тебе.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНИЦА

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.

Что от треска колод, от бравады Ракочи,
От стекляшек в гостинной, от стекла и гостей
По пианино в огне пробежится и вскочит
От розеток, костяшек, и роз, и костей.

Чтоб, прическу ослабив, и чайный и шалый,

Зачаженный бутон заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши, как муку, и еле дыша.

Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.
Так сел бы вихрь, чтоб на пари
Порыв паров в пути
И мглу и иглы, как мюрид,
Не жмуря глаз снести.

И объявить, что не скакун,
Не шалый шепот гор,
Но эти розы на боку
Несут во весь опор.

Не он, не он, не шепот гор,
Не он, не топ подков,
Но только то, но только то,
Что – стянута платком.

И только то, что тюль и ток,
Душа, кушак и в такт
Смерчу умчавшийся носок
Несут, шумя в мечтах.

Им, им – и от души смеша,
И до упаду, в лоск,
На зависть мчащимся мешкам,
До слез, – до слез!

ПЕСНИ В ПИСЬМАХ,
ЧТОБЫ НЕ СКУЧАЛА

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.

Я слышал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят – не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, Бога нет в бору.

Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый
кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.

Здесь пресекались рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. Дальше им нельзя.
Дальше – воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользья.

Просевая полдень, Троицын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чаще, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

MEIN LIEBCHEN,
WAS WILLST DU NOCH MEHR?1

По стене сбежали стрелки.
Час похож на таракана.
Брось, к чему швырять тарелки,
Бить тревогу, бить стаканы?
С этой дачею дощатой
Может и не то стрястися.
Счастье, счастьем нет пощады!
Гром не грянул, что креститься?
1 Любимая, что тебе еще угодно? (нем.)
Может молния ударить, –
10 вспыхнет мокрою кабинкой.
Или всех щенят раздарят.
Дождь крыло пробьет дробинкой.

Всё еще нам лес – передней.
Лунный жар за елью – печью,
Всё, как стиранный передник,
Туча сохнет и лепечет.
И когда к колодцу рвется
Смерч тоски, то мимоходом
Буря хвалит домоводство.
Что тебе еще угодно?
Год сгорел на керосине
Залетевшей в лампу мошкой.
Вон, зарею серо-синей,
Встал он сонный, встал намокший.
Он глядит в окно, как в дужку,
Старый, страшный состраданьем.
От него мокра подушка,
Он зарыл в нее рыданья.

Как утешить эту ветошь?
О, ни разу не шутивший,
Чем запущенного лета
Грусть заглохшую утишишь?
Лес навис в свинцовых пасмах,
Сед и пасмурен репейник,
Он – в слезах, а ты – прекрасна,
Вся как день, как нетерпенье!
Что он плачет, старый олух?
Иль видал каких счастливей?
Иль подсолнечники в селах
1 Гаснут – солнца – в пыль и в ливень?
РАСПАД
Вдруг стало видимо далеко
во все концы света.
Гоголь
Куда часы нам затесать?
Как скоротать тебя, Распад?
Поволжьем мира, чудеса
Взялись, бушуют и не спят.
И где привык сдаваться глаз
На милость засухи степной,
Она, туманная, взвилась
Революционную копной.
По элеваторам, вдали,
В пакгаузах, очумив крысят,
Пылают балки и кули,
И кровли гаснут и росят.
У звезд немой и жаркий спор:
Куда девался Балашов?
В скольких верстах? И где Хопер?
И воздух степи всполошен:

Он чует, он впивает дух
Солдатских бунтов и зарниц.
Он замер, обращаясь в слух.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Ложится – слышит: обернись!

Там – гул. Ни лечь, ни прикорнуть.
По площадям летает трут.
Там ночь, шатаясь на корню,
Целует уголь поутру.

РОМАНОВКА

СТЕПЬ

Как были те выходы в тишь хороши!
Безбрежная степь, как марина,
Вздыхает ковыль, шуршат мураши
И плавает плач комариный.

Стога с облаками построились в цепь
И гаснут, вулкан на вулкане.
Примолкла и взмокла безбрежная степь,
Колеблет, относит, толкает.

Туман отовсюду нас морем обстиг,
10 В волчках волочась за чулками,
И чудно нам степью, как взморьем, брести –
Колеблет, относит, толкает.

Не стог ли в тумане? Кто поймет?
Не наш ли омет? Доходим. – Он.
– Нашли! Он самый и есть. – Омет,
Туман и степь с четырех сторон.

И Млечный Путь стороной ведет
На Керчь, как шлях, скотом пропылен.
Зайти за хаты, и дух займет:
20 Открыт, открыт с четырех сторон.

Туман снотворен, ковыль как мед.
Ковыль всем Млечным Путем рассорён.
Туман разойдется, и ночь обоймет
Омет и степь с четырех сторон.

Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.
Когда еще звезды так низко росли
И полночь в бурьян окунало,
Пылал и пугался намокший муслин,
Льнул, жался и жаждал финала?

Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит.
Когда, когда не: – В Начале
Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши,
Волчцы по Чулкам Торчали?

Закрой их, любимая! Запорошит!
Вся степь как до грехопаденья:
Вся – миром объята, вся – как парашют,
Вся – дыбящееся виденье!

ДУШНАЯ НОЧЬ

Накрапывало, – но негнулись
И травы в грозовом мешке.
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
Железо в тихом порошке.

Селенье не ждало целенья,
Был мак, как обморок, глубок,
И рожь горела в воспаленьи,
И в лихорадке бредил Бог.

В осиротелой и бессонной
Сырой, всемирной широте
С постов спасались бегством стоны,
Но вихрь, зарывшись, коротел.

За ними в бегстве слепли следом
Косые капли. У плетня
Меж мокрых веток с ветром бледным
Шел спор. Я замер. Про меня!
Я чувствовал, он будет вечен,
Ужасный, говорящий сад.
Еще я с улицы за речью
Кустов и ставней – не замечен.

Заметят – некуда назад:
Навек, навек заговорят.

ЕЩЕ БОЛЕЕ ДУШНЫЙ РАССВЕТ

Все утро голубь ворковал
У вас в окне.
На желобах,
Как рукава сырых рубах,
Мертвели ветки.
Накрапывало. Налегке
Шли пыльным рынком тучи,
Тоску на рыночном лотке,
Боюсь, мою
Юбаюча.

Я умолял их перестать.
Казалось, – перестанут.
Рассвет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов.

Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз
И песни колотой куски,
Жар наспанной щеки и лоб
В стекло горячее, как лед,
На подзеркальник льет.
Но высь за говором под стяг
Идущих туч
Не слышала мольбы
В запорошенной тишине,
Намокшей, как шинель,
Как пыльный отзвук молотьбы,
Как громкий спор в кустах.

Я их просил –
Не мучьте!
Не спится.
Но – моросило, и топчась
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру.
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
«Испить,

ПОПЫТКА ДУШУ РАЗЛУЧИТЬ

МУЧКАП

Душа – душна, и даль табачного
Какого-то, как мысли, цвета.
У мельниц – вид села рыбацкого:
Седые сети и корветы.

Чего там ждут, томя картину
Корыт, клешней и лишних крыльев,
Застлавши слез излишней тиною
Последний блеск на рыбьем рыле?

Ах, там и час скользит, как камешек
Заливом, мелью рикошета!
Увы, не тонет, нет, он там еще,
Табачного, как мысли, цвета.
Увижу нынче ли опять ее?
До поезда ведь час. Конечно!
Но этот час объят апатией
Морской, предгромовой, кромешной.

МУХИ МУЧКАПСКОЙ ЧАЙНОЙ

Если бровь резьбою
Потный лоб украсила,
Значит, и разбойник?
Значит, за дверь засветло?

Но в чайной, где черные вишни
Глядят из глазниц и из мисок
На веток кудрявый девичник,
Есть, есть чему изумиться!

Солнце, словно кровь с ножа,
10 Смыл – и стал необычаен.
Словно преступленья жар
Заливает черным чаем.

Пыльный мак паршивым пащенком
Никнет в жажде берегущей
К дню, в душе его кипящему,
К дикой, терпкой Божьей гуще.

Ты зовешь меня святым,
Я тебе и дик и чуден, –
А глыбастые цветы
20 На часах и на посуде?

Неизвестно, на какой
Из страниц земного шара
Отпечатаны рекой
Зной и тьяканье овчарок,

Дуб и вывески финифть,
Нестерпевшая и плашмя
Кинувшаяся от ив
К прудовой курчавой яшме.

Но текут и по ночам
Мухи с дюжин, пар и порций,
С крученого паныча,
С мутной книжки стихотворца.

Будто это бред с пера,
Не владеячи собою,
Брызнул окна запирать
Саранчю по обоям.

Будто в этот час пора
Разлететься всем пружинам
И, жужжа, трясясь, спираль
Тополь бурей окружила.

Где? В каких местах? В каком
Дико мыслящемся крае?
Знаю только: в сушь и в гром,
Пред грозой, в июле, – знаю.

Дик прием был, дик приход,
Еле ноги доволоок.
Как воды набрала в рот,
Взор уперла в потолок.

Ты молчала. Ни за кем
Не рвался с такой тугой.
Если губы на замке,
Вешай с улицы другой.

Нет, не на дверь, не в пробой,
Если на сердце запрет,
Но на весь одной тобой
Немутимо белый свет.

Чтобы знал, как балки брус
По-над лбом проволоку,
Что в глаза твои упрусь,
В непрорубную тоску.

Чтоб бежал с землей знакомств,
Видев издали, с пути
Гарь на солнце под замком,
Гниль на веснах взаперти.

Не вводи души в обман,
Оглуши, завесь, забей.
Пропитала, как туман,
Грудю белых отрубей.

Если душным полднем желт
Мышью пахнувший овин,
Обличи, скажи, что лжет
Лжесвидетельство любви.

* * *

Попытка душу разлучить
С тобой, как жалоба смычка,
Еще мучительно звучит
В названьях Ржакса и Мучкап.

Я их, как будто это ты,
Как будто это ты сама,
Люблю всей силою тщеты
До помрачения ума.

Как ночь, уставшую сиять,
Как то, что в астме – кисея,
Как то, что даже антресоль
При виде плеч твоих трясло.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
чей шепот реял на брезгу?
О, мой ли? Нет, душою – твой,
Он улетучивался с губ
Воздушной капли спиртовой.

Как в неге прояснялась мысль!
Безукоризненно. Как стон.
Как пеной, в полночь, с трех сторон
Внезапно озаренный мыс.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

* * *

Как усыпительна жизнь!
Как откровенья бессонны!
Можно ль тоску разможжить
Об мостовые кессоны?

Где с железа ночь согнал
Каплей копленный сигнал,
И колеблет всхлипы звезд
В Апокалипсисе мост,
Переплет, цепной обвал
10 Балок, ребер, рельс и шпал.

Где, шатаясь, подают
Руки, падают, поют.
Из объятий, и – опять
Не устанут повторять.

Где внезапно зонд вонзил
В лица вспыхнувший бензин
И остался, как загар,
На тупых концах сигар...

Это огненный тюльпан,
20 Полевой огонь бегоний
Жадно нюхает толпа,
Заслонив ладонью.

И сгорают, как в стыде,
Пыльники, нежнее лент,
Каждый пятый – инженер
И студент (интеллигенты).

Я с ними не знаком.
Я послан Богом мучить
Себя, родных и тех,
1 Которых мучить грех.

Под Киевом – пески
И выплеснутый чай,
Присохший к жарким лбам,
Пылающим по классам.
Под Киевом, в числе
Песков, как кипяток,
Как смытый пресный след
Компресса, как отек...
Пыхтенье, сажу, жар
>Не соснам разжижать.
Гроза торчит в бору,
Как всаженный топор.
Но где он, дроворуб?
До коих пор? Какой
Тропой идти в депо?

Сажают пассажиров,
Дают звонок, свистят,

Чтоб копоть послужила
Пустыней миг спустя.

5 Базары, озаренья
Ночных эспри и мглы,
А днем, в сухой спирее
Вопль полдня и пилы.
Идешь, и с запасных
Доносится, как всхнык,
И начали стираться
Клохтанья и матрацы.

Я с ними не знаком.
Я послан Богом мучить
1 Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

«Мой сорт», кефир, менадо.
Чтоб разрыдаться, мне
Не так уж много надо, –
Довольно мух в окне.

Охлынет поле зренья,
С салфетки набежит,
От поросенка в хрене,
Как с полусонной ржи.

Атоб разрыдаться, мне
По край, чтоб из редакций
Тянуло табачком
И падал жар ничком.

Чтоб щелкали с кольца
Клесты по канцеляриям
И тучи в огурцах
С отчаянья стрелялись.

Чтоб полдень осязал
Сквозь сон: в обед трясутся
э По звону квизисан
Столы в пустых присутствиях,

И на лоб пожаре
Сочились сквозь малинник,
Где – блеск оранжерей,
Где – белый корпус клиники.
Я с ними не знаком.
Я послан Богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

Возможно ль? Этот полдень
Сейчас, южней губернией,
Не сир, не бос, не голоден
Блаженствует, соперник?

Вот этот, душный, лишний,
Вокзальный вор, валандала,
Следит с соседских вишен
За вышиваньем ангела?

Синеет морем точек,
И, низясь, тень без косточек
Бросает, горсть за горстью
Измученной сорочке?

Возможно ль? Те вот ивы –
Их гонят с рельс шлагбаумами –

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Бегут в объятья дива,
Обращены на взбалмошность?

Перенесутся за ночь,
С крыльца вдохнут эссенции
И бросятся хозяйничать
Порывом полотенец?

Увидят тень орешника
На каменном фундаменте?
Узнают день, сгоревший
С восхода на свиданьи?

Зачем тоску упрямить,
Перебирая мелочи?
Нам изменяет память,
И гонит с рельсов стрелочник.
У СЕБЯ ДОМА

Жар на семи холмах,
Голуби в тлелом сенце.
С солнца спадает чалма:
Время менять полотенце
(Мокнет на днище ведра).
И намотать на купол.

В городе – говор мембран,
Шарканье клумб и кукол.

Надо гардину зашить:
Ходит, шагает масоном.
Как усыпительно – жить!
Как целоваться – бессонно!

Грязный, гремучий, в постель
Падает город с дороги.
Нынче за долгую степь
Веет впервые здоровьем.
Черных имен духоты
Не исчерпать.
Звезды, плацкарты, мосты,
Спать!

ЕЛЕНЕ

ЕЛЕНЕ

Я и непечатным
Словом не побрезговал бы,
Да на ком искать нам?
Не на ком и не с кого нам.

Разве просит арум
У болота милостыни?

Ночи дышат даром
Тропиками гниlostными.

Будешь, – думал, чаял, –
Ты с того утра виднеться,
Век в душе качаясь
Лилию, праведница!

Луг дружил с замашкой
Фауста, что ли, Гамлета ли,
Обегал ромашкой,
Стебли по ногам летали.

Или еле-еле,
Как сквозь сон овеивая
Жемчуг ожерелья
На плече Офелиином.

Ночью бредил хутор:
Спать мешали перистые
Тучи. Дождик кутал
Ниву тихой переступью

Осторожных капель.
Юность в счастье плавала, как
В тихом детском храпе
Наспанная наволока.

Думал, – Трои б век ей,
Горьких губ изгиб целуя:
Были дивны веки
Царственные, гипсовые.

Милый, мертвый фартук
И висок пульсирующий.
Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще.
Горе не на шутку
Разыгралось, навеселе.
Одному с ним жутко.
Сбесится, – управиться ли?

Плачь, шепнуло. Гложет?
Жжет? Такую ж на щеку ей!
Пусть судьба положит –
Матерью ли, мачехой ли.

КАК У НИХ

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
Подыметса, шелохнется ли сом, –
Оглушены. Не слышат. Далеки.

Очам в снопах, как кровлям, тяжело.
Как угли, блещут оба очага.
Лицо лазури пышет над челом
Недышащей подруги в бочагах,
Недышащей питомицы осок.

То ветер смех люцерны вдоль высот,
Как поцелуй воздушный, пронесет,
То княженикой с топи угощен,
Ползет и губы пачкает хвощом
И треплет речку веткой по щеке,
То киснет и хмелеет в тростнике.

У окуня ли ёкнут плавники, –
Бездонный день – огромен и пунцов.
Поднос Шелони – черен и свинцов.
Не свесть концов и не поднять руки...

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
ЛЕТО

Тянулось в жажде к хоботкам
И бабочкам и пятнам,
Обоим память оботкав

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Медовым, майным, мятным.

Не ход часов, но звон цепов
С восхода до захода
Вонзался в воздух сном шипов,
Заворожив погоду.

Бывало – нагулявшись всласть,
Закат сдавал цикадам
И звездам, и деревьям власть
Над кухнею и садом.

Не тени, – балки месяц клал,
А то бывал в отлучке,
И тихо, тихо ночь текла
Трусцой, от тучки к тучке.

Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой.

Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.

Вводили земство в волостях,
С другими – вы, не так ли?
Дни висли, в кислице блестя,
И винной пробкой пахли.

ГРОЗА, МОМЕНТАЛЬНАЯ НАВЕК

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепащих фотографий
Ночью снял на память гром.

Меркла кисть сирени. В это
Время он, нарвав охапку
Молний, с поля ими трафил
Озарить управский дом.

И когда по кровле зданья
Разлилась волна злорадства
И, как уголь по рисунку,
Грянул ливень всем плетнем,

Стал мигать обвал сознанья:
Вот, казалось, озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло как днем!

ПОСЛЕСЛОВЬЕ

Любимая – жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.

Глаза ему тонны туманов слезят.
Он застлан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает – нельзя:
Прошли времена и – безграмотно.

Он видит, как свадьбы справляют вокруг.
Как спаивают, просыпаются.
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее, – паюсной.

Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою.
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,

Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.

И таянье Андов волеет в поцелуй,
И утро в степи, под владычеством
Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим бляньем тычется.

И всем, чем дышалось оврагам века,
Всей тьмой ботанической ризницы
Пахнёт по тифозной тоске тюфяка,
И хаосом зарослей брызнется.

* * *

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?

Давай ронять слова,
Как сад – янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызгнута листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядном сквозных, красивых,
Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку

Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебаstra?

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист раки
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас

Ты спросишь, кто велит?
– Всесильный БОГ деталей,
Всесильный БОГ любви,
Ягайлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, – подробна.

ИМЕЛОСЬ

Засим, имелся сеновал
И пахнул винной пробкой
С тех дней, что август миновал
И не пололи тропки.

В траве, на кислице, меж бус
Брильянты, хмурясь, висли,
По захладелости на вкус
Напоминая рислинг.

Сентябрь составлял статью
В извозчичьем хозяйстве,
Летал, носил и по чутью
Предупреждал ненастье.

То, застя двор, водой с винцом
Желтил песок и лужи,
То с неба спринцевал свинцом
Оконниц полукружья.

То золотил их, залетев
С куста за хлев, к крестьянам,
То к нашему стеклу, с дерев
Пожаром листьев прянув.

Есть марки счастья. Есть слова
Vin gai, vin triste¹, – но верь мне,
Что кислица – травой трава,
А рислинг – пыльный термин.

¹ Вино веселья, вино грусти (фр.).

15

Имелась ночь. Имелось губ
Дрожание. На веках висли
Брильянты, хмурясь. Дождь в мозгу
Шумел, не отдаваясь мыслью.

Казалось, не люблю, – молюсь
И не целую, – мимо
Не век, не час плывет моллюск,
Свеченьем счастья тмимый.

Как музыка: века в слезах,
А песнь не смеет плакать,
Тряслась, не прорываясь в ах! –
Коралловая мякоть.

Любить, – идти, – не смолкнул гром,
Топтать тоску, не знать ботинок,
Пугать ежей, платить добром
За зло брусники с паутиной.

Пить с веток, бьющих по лицу,
Лазурь с отскоку полосую:

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
«Так это эхо?» – и к концу
С дороги сбиться в поцелуях.

Как с маршем, бресть с репьем на всём.
К закату знать, что солнце старше
Тех звезд и тех телег с овсом,
Той Маргариты и корчмарши.

Терять язык, абонемент
На бурю слез в глазах валькирий,
И в жар всем небом онемев,
Топить мачтовый лес в эфире.

Разлегшись, сгресть, в шипах, клочьям
События лет, как шишки ели:
Шоссе; сошествие Корчмы;
Светало; зябли; рыбу ели.
И раз сваясь, запеть: «Седой,
Я шел и пал без сил. Когда-то
Давился город лебедой,
Купавшейся в слезах солдаток.

В тени безлунных длинных риг,
В огнях баклаг и бакалеей,
Наверное, и он – старик
И тоже следом околеет».

Так пел я, пел и умирал.
И умирал, и возвращался
К ее рукам, как бумеранг,
И – сколько помнится – прощался.

ПОСЛЕСЛОВЬЕ

Нет, не я вам печаль причинил.
Я не стоил забвения родины.
Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины.

И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил.

Это вечер из пыли лепился и, пышучи,
Целовал вас, задохшись в охре, пылью.
Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши
За плетень, вы полям подставляли лицо
И пылали, плывя по олифе калиток,
Полумраком, золою и маком залитых.

Это – круглое лето, горев в ярлыках
По прудам, как багаж солнцепеком
заляпанных,
Сургучом опечатало грудь бурлака
И сожгло ваши платья и шляпы.

Это ваши ресницы слипались от яркости,
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, бодаясь, крушил палисад.
Это – запад, карбункулом вам в волоса
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
Нет, не я, это – вы, это ваша краса.

КОНЕЦ

Наяву ли всё? Время ли разгуливать?
Лучше вечно спать, спать, спать, спать
И не видеть снов.

Снова – улица. Снова – полог тюлевый.
Снова, что ни ночь – степь, стог, стон,
И теперь и впредь.

Листьям в августе, с астмой в каждом атоме,
Снится тишь и темь. Вдруг бег пса
Пробуждает сад.

Ждет – улягутся. Вдруг – гигант из затеми,
И другой. Шаги. «Тут есть болт».
Свист и зов: тубо!

Он буквально ведь обливал, обваливал
Нашим шагом шлях! Он и тын
Истязал тобой.

Осень. Изжелта-сизый бисер нижется.
Ах, как и тебе, прель, мне смерть
Как приелось жить!

О, не вовремя ночь кадит маневрами
Паровозов: в дождь каждый лист
Рвется в степь, как те.

Окна сцены мне делают. Бесцельно ведь!
Рвется с петель дверь, целовав
Лед ее локтей.

Познакомь меня с кем-нибудь из вскормленных,
Как они, страдой южных нив,
Пустырей и ржи.

Но с оскоминой, но с оцепененьем, с комьями
В горле, но с тоской стольких слов
Устаешь дружить!

ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ
1916–1922

ПЯТЬ ПОВЕСТЕЙ

ВДОХНОВЕНИЕ
По заборам бегут амбразуры,
Образуются бреши в стене,
Когда ночь оглашается фурой
Повестей, неизвестных весне.

Без клещей приближенье фургона
Вырывает из ниш костыли
Только гулом свершенных прогонов,
Подымающих пыль издали.

Этот грохот им слышен впервые.
Завтра, завтра понять я вам дам,
Как рвались из ворот мостовые,
Вылетая по жарким следам.

Как в росистую хвойную скорбкость
Скипидарной, как утро, струи
Погружали постройки свой корпус
И лицо окунал конвоир.

О, теперь и от лип не в секрете:

Город пуст по зарям оттого,
Что последний из смертных в карете
Под стихом и при нем часовой.

В то же утро, ушам не поверя,
Протереть не успевши очей,
Сколько бедных, истерзанных перьев
Рвется к окнам из рук рифмачей!
1921

ВСТРЕЧА

Вода рвалась из труб, из луночек,
Из луж, с заборов, с ветра, с кровель,
С шестого часа пополуночи,
С четвертого и со второго.

На тротуарах было скользко,
И ветер воду рвал, как вретище,
И можно было до Подольска
Добраться, никого не встретивши.

В шестом часу, куском ландшафта
С внезапно подсыревшей лестницы,
Как рухнет в воду, да как треснется
Усталое: «Итак, до завтра!»

Автоматического блока
Терзанья дальше начинались,
Где в предвкушеньи водосток
Восток шаманил машинально.

Дремала даль, рядясь неряшливо
Над ледяной окрошкой в иней,
И вскрикивала и покашливала
За пьяной мартовской ботвиньей.

И мартовская ночь и автор
Шли рядом, и обоих спорящих
Холодная рука ландшафта
Вела домой, вела со сборища.
И мартовская ночь и автор
Шли шибко, вглядываясь изредка
В мелькавшего как бы взаправду
И вдруг скрывавшегося призрака.

То был рассвет. И амфитеатром,
Явившимся на зов предвестницы,
Неслось к обоим это завтра,
Произнесенное на лестнице.

Оно с багетом шло, как рамошник.
Деревья, здания и храмы
Нездешними казались, тамошними,
В провале недоступной рамы.

Они трехъярусным гекзаграммом
Смещались вправо по квадрату.
Смещенных выносили замертво,
Никто не замечал утраты.
1921

МАРГАРИТА

Разрывая кусты на себе, как силок,
Маргаритиных стиснутых губ лиловой,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щелкал, царил и сиял соловей.

Он как запах от трав исходил. Он как ртуть
Очумелых дождей меж черемух висел.
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту
Подступал. Оставался висеть на косе.

И, когда изумленной рукой проводя
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,
То казалось, под каской ветвей и дождя,
Повалилась без сил амазонка в бору.
И затылок с рукою в руке у него,
А другую назад заломила, где лег,
Где застрял, где повис ее шлем теневой,
Разрывая кусты на себе, как силок.
1919

МЕФИСТОФЕЛЬ

Из массы пыли за заставы
По воскресеньям высыпали,
Меж тем как, дома не застав их,
Ломились ливни в окна спален.

Велось у всех, чтоб за обедом
Хотя б на третье дождь был подан,
Меж тем как вихрь – велосипедом
Летал по комнатным комодам.

Меж тем как там до потолков их
Взлетали шелковые шторы,
Расталкивали бестолковых
Пруды, природа и просторы.

Длиннейшим поездом линеек
Позднее стягивались к валу,
Где тень, пугавшая коней их,
Ежевечерне оживала.

В чулках как кровь, при паре бантов,
По залитой зарей дороге,
Упав, как лямки с барабана,
Пылили дьяволы ноги.

Казалось, захлестав из низкой
Листвы струей высокомерья,
Снесла б весь мир надменность диска
И терпит только эти перья.

Считая ехавших, как вехи,
Едва прикладываясь к шляпе,
Он шел, откидываясь в смехе,
Шагал, приятеля облапя.
1919

ШЕКСПИР

Извозчикий двор и встающий из вод
В уступах – преступный и пасмурный Тауэр,
И звонкость подков, и простуженный звон
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.

И тесные улицы; стены, как хмель,
Копящие сырость в разросшихся бревнах,
Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Как Лондон, холодных, как поступь, неровных.

Спиралями, мешкотно падает снег,
10 Уже запирали, когда он, обрюзгший,
Как сползший набрюшник, пошел в полусне
Валить, засыпая уснувшую пустошь.

Оконце и зерна лиловой слюды
В свинцовых ободьях. – «Смотря по погоде.
А впрочем... А впрочем, соснем на свободе.
А впрочем – на бочку! Цирюльник, воды!»

И, бреясь, гогочет, держась за бока,
Словам остряка, не уставшего с пира
Цедить сквозь приросший мунштук чубука
20 Убийственный вздор.

А меж тем у Шекспира
Остричь пропадает охота. Сонет,
Написанный ночью с огнем, без помарок,

За тем вон столом, где подкисший ранет
Ныряет, обнявшись с клешнею омара,
Сонет говорит ему:

«Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то есть выше по касте,
Чем люди, – короче, что я обдаю
Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?»

Простите, отец мой, за мой скептицизм
Сыновний, но, сэр, но, милорд, мы –
в трактире.

Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!

Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?
Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов –
И вы с ним в бильярдной, и там – не пойму,
Чем вам не успех популярность в бильярдной?»

– Ему?! Ты сбесился? – И кличет слугу,
И, нервно играя малаговой веткой,
Считает: полпинты, французский рагу –
И в дверь, запустя в привиденье салфеткой.
1919

ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ

...Вы не видали их,
Египта древнего живущих изваяний,
С очами тихими, недвижимых и немых,
С челом, сияющим от царственных
венчаний.

Но вы не зрели их, не видели меж нами
И теми сфинксами таинственную связь.

Ап. Григорьев

ТЕМА

Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
Скала и – Пушкин. Тот, кто и сейчас,
Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе
Не нашу дичь: не домыслы в тупик
Поставленного грека, не загадку,
Но предка: плоскогубого хамита,
Как оспу, перенесшего пески,
Изрытого, как оспою, пустыней,
И больше ничего. Скала и шторм.
В осатаненьи льющееся пиво

С усов обрывов, мысов, скал и кос,
Мелей и миль. И гул, и полыханье
Окаченной луной, как из лохани,
Пучины. Шум и чад и шторм взасос.
Светло как днем. Их озаряет пена.
От этой точки глаз нельзя отвлечь.
Прибой на сфинкса не жалеет свеч
И заменяет свежими мгновенно.
Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
На сфинксовых губах – соленый вкус
Туманностей. Песок кругом заляпан
Сырыми поцелуями медуз.
Он чешуи не знает на сиренах,
И может ли поверить в рыбий хвост
Тот, кто хоть раз с их чашечек коленных
Пил бившийся как об лед отблеск звезд?
Скала и шторм и – скрытый ото всех
Нескромных – самый странный, самый тихий,
Играющий с эпохи Псамметиха
Углами скул пустыни детский смех...

ВАРИАЦИИ

1. ОРИГИНАЛЬНАЯ

Над шабашем скал, к которым
Сбегаются с пеной у рта,
Чадя, трапезундские штормы,
Когда якорям и портам,

И выбросам волн, и разбухшим
Утопленникам, и седым
Мосткам набивается в уши
Клокастый и пильзенский дым.

Где ввысь от утеса подброшен
Фонтан, и кого-то позвать
Срываются гребни, но – тошно
И страшно, и – рвется фосфат.

Где белое бешенство петель,
Где грохот разосланных гроз,
Как пиво, как жеванный бетель,
Песок осушает взасос.

Что было наследием кафров?
Что дал царскосельский лицей?
Два бога прощались до завтра,
Два моря менялись в лице:

Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха.
Два дня в двух мирах, два ландшафта,
Две древние драмы с двух сцен.
2. ПОДРАЖАТЕЛЬНАЯ

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн.
Был бешен шквал. Песком сгущенный,
Кровавился багровый вал.
Такой же гнев обуревал
Его, и, чем-то возмущенный,
Он злобу на себе срывал.

В его устах звучало «завтра»,
Как на устах иных «вчера».
Еще не бывших дней жара
Воображалась в мыслях кафру,

Еще не выпавший туман
Густые целовал ресницы.
Он окунал в него страницы
Своей мечты. Его роман
Вставал из мглы, которой климат
Не в силах дать, которой зной
Прогнать не может никакой,
Которой ветры не подымут
И не рассеют никогда
Ни утро мая, ни страда.
Был дик открывшийся с обрыва
Бескрайний вид. Где огибал
Купальню гребень белогривый,
Где смерч на воле погибал,
В последний миг еще качаясь,
Трубя и в отклике отчаясь,
Борясь, чтоб захлебнуться вмиг
И сгнуть вовсе с глаз. Был дик
'Открывшийся с обрыва сектор
Земного шара, и дика
Необоримая рука,
Пролившая соленый нектар
В пространство слепнувших снастей,
На протяженье дней и дней,
В сырые сумерки крушений,

На милость черных вечеров...
На редкость дик, на восхищенье
Был вольный этот вид суров.

Он стал спускаться. Дикий чашник
Гремел ковшом, и через край
Бежала пена. Молочай,
Полынь и дрок за набалдашник
Цеплялись, затрудняя шаг,
И вихрь степной свистел в ушах.
И вот уж бережок, пузырьясь,
Заколыхал камыш и ирис
И набежала рябь с концов.
Но неподернуто-свинцов
'Посередине мрак лиловый.
А рябь! Как будто рыболова
Свивдовый грузик заскользил,
Осунулся и лег на ил
С непереимчивой ужимкой,
С какою пальцу самолетов
Умеет намекнуть без слов:
Вода, мол, вот и вся поимка.
Он сел на камень. Ни одна
Черта не выдала волненья,
>С каким он погрузился в чтение
Евангелья морского дна.

Последней раковине дорог
Сердечный шелест, капля сна,
Которой мука солона,
Ее сковавшая. Из створок
Не вызвать и клинком ножа
Того, чем боль любви свежа.
Того счастливейшего всхлипа,
Что хлынул вон и создал риф,
} Кораллам губы обагрив,
И замер на устах полипа.

3

Мчались звезды. В море мылись мысы.
Слепла соль. И слезы высыхали.
Были темны спальни. Мчались мысли,
И прислушивался сфинкс к Сахаре.

Плыли свечи. И казалось, стынет
Кровь колосса. Заплывали губы
Голубой улыбкою пустыни.
В час отлива ночь пошла на убыль.

Море тронул ветерок с Марокко.
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге.

4
Облако. Звезды. И сбоку –
Шлях и – Алеко. – Глубок
Месяц Земфирина ока: –
Жаркий бездонный белок.

Задраны к небу оглобли.
Лбы голубее олив.
Табор глядит исподлобья,
В звезды мониста вперив.

Это ведь кровли Халдеи
Напоминает! Печет,
Лунно; а кровь холодеет.
Ревность? Но ревность не в счет!

Стой! Ты похож на сирийца.
Сух, как скопец-звездочет.
Мысль озарилась убийством.
Мщенье? Но мщенье не в счет!
Тень как навязчивый евнух.
Табор покрыло плечо.
Яд? Но по кодексу гневных
Самоубийство не в счет!

Прянул, и пыхнули ноздри.
Не уходился еще?
Тише, скакун, – заподозрят.
Бегство? Но бегство не в счет!

5
Цыганских красок достигал,
Болел цингой и тайн не делал
Из черных дырок тростника
В краю воров и виноделов.

Забором крался конокрад,
Загаром крылся виноград,
Клевали кисти воробы,
Кивали безрукавки чучел,
Но, шорох гроздий перебив,
Какой-то рокот мёр и мучил.

Там мрело море. Берега
Гремели, осыпался гравий.
Тошнило гребни изрыгать,
Барашки грязные играли.

И шквал за шабо бушевал,
И выворачивал причалы.
В рассоле крепла бечева,
И шторма тошнота крепчала.

Раскатывался балкой гул,
Как баней шваркнутая шайка,
Как будто говорил Кагул
В ночах с очаковскою чайкой.

6
В степи охладевал закат,
И вслушивался в звон уздечек,
В акцент звонков и языка
Мечтательный, как ночь, кузнечик.
И степь порою спрехвала
Волок, как цепь, как что-то третье,
Как выпавшие удила,
Стреноженный и сонный ветер.
Истлела тряпок пестрота,
И, захладев, как медь безмена,
Завел глаза, чтоб стрекотать,
И засинел, уже безмерный,
Уже, как песнь, безбрежный юг,
Чтоб перед этой песнью дух
Невесть каких ночей, невесть
Каких стоянок перевесть.
Мгновенье длился этот миг,
Но он и вечность бы затмил.
191

8 БОЛЕЗНЬ

1
Больной следит. Шесть дней подряд
Смерчи беснуются без устали.
По кровле катятся, бодрят,
Бушуют, падают в бесчувствии.
Средь вьюг проходит Рождество.
Он видит сон: пришли и подняли.
Он вскакивает: «Не его ль?»
(Был зов. Был звон. Не новогодний ли?)
Вдали, в Кремле гудит Иван,
Плывет, ныряет, зарывается.
Он спит. Пурга, как океан
В величьи, – тихой называется.

2
С полу, звездами облитого,
К месяцу, вдоль по ограде
Тянется волос ракиновый,
Дыбятся клочья и пряди.
Жутко ведь, вея, окутывать
Дымами Кассиопею!
Наутро куколкой тутовой
Церковь свернуться успеет.
Что это? лавры ли Киева
Спят купола или Эдду
Север взлелеял и выявил
Перлом предвечного бреда?
Так это было. Тогда-то я
Дикий, скользкий, растущий
Встал среди сада рогатого
Призраком тени пастушьей.
Был он как лось. До колен ему
Снег доходил, и сквозь ветви
Виделась взору оленьему
На полночь легшая четверть.
Замер загадкой, как вкопанный,
Глядя на поле лепное:
В звездную стужу как сноп оно
Белой плескало копною.
До снегу гнулся. Подхватывал
С полу, всей мукой извилин
Звезды и ночь. У сохатого
Хаос веков был не спилен.
3

Может статься так, может иначе,
Но в несчастный некий час
Духовенств душней, черней иночеств
Постигает безумье нас.
Стужа. Ночь в окне, как приличие,
Соблюдает холод льда.
В шубе, в креслах Дух и мурлычет – и
Всё одно, одно всегда.
И чекан сука, и щека его
И паркет, и тень кочерги
Отливают сном и раскаяньем
Сутки сплошь грешившей пурги.
Ночь тиха. Ясна и морозна ночь,
Как слепой щенок – молоко,
Всею темью пихт неосознанной
Пьет сиянье звезд частокол.
Будто каплет с пихт. Будто теплятся.
Будто воском ночь заплывла.
Лапой ели на ели слепнет снег,
1 На дупле – силуэт дупла.
Будто эта тишь, будто эта высь,
Элегизм телеграфной волны –
Ожиданье, сменившее крик: «Отзовись!»
Или эхо другой тишины.
Будто нем он, взгляд этих игл и ветвей,
А другой, в высотах, – тугоух,
И сверканье пути на раскатах – ответ
На взыванье чьего-то ау.
Стужа. Ночь в окне, как приличие,
1 Соблюдает холод льда.
В шубе, в креслах Дух и мурлычет – и
Всё одно, одно всегда.

Губы, губы! Он стиснул их до крови,
Он трясется, лицо обхватив.
Вихрь догадок родит в биографе
Этот мертвый, как мел, мотив.

4. ФУФАЙКА БОЛЬНОГО

От тела отдельную жизнь, и длинней
Ведет, как к груди непричастный пингвин,
Бескрылая кофта больного – фланель:
То каплю тепла ей, то лампу придвинь.

Ей помнятся лыжи. От дуг и от тел,
Терявшихся в мраке, от сбруи, от бар
Валило! Казалось – сочельник потел!
Скрипели, дышали езда и ходьба.

Усадьба и ужас, пустой в остальном:
Шкафы с хрусталем и ковры и лари.
Забор привлекало, что дом воспален.
Снаружи казалось, у люстр плеврит.

Снедаемый небом, с зимою в очах,
Распухший кустарник был бел, как испуг.
Из кухни, за сани, пылавший очаг
Клал на снег огромные руки стряпух.

5. КРЕМЛЬ В БУРАН КОНЦА 1918 ГОДА

Как брошенный с пути снегам
Последней станцией в развалинах,
Как полем в полночь, в свист и гам,
Бредущий через силу в валяных,

Как пред концом, в упаде сил
С тоски взывающий к метелице,
Чтоб вихрь души не угасил,
К поре, как тьмою все застелется,

Как схваченный за обшлага
Хохочущею вьюгой нарочный,
Ловящей кисти башлыка,
Здороваящуюся в наручнях,

А иногда! – А иногда,
Как пригнанный канатом накороть
Корабль, с гуденьем, прочь к грядам
Срывающийся чудом с якоря,

Последней ночью, несравним
Ни с чем, какой-то странный, пенный
Он, Кремль, в оснастке стольких зим,
На нынешней срывает ненависть.

И грандиозный, весь в былом,
Как визионера дивинация,
Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый.

Под сумерки к тебе в окно
Он всю медью звонниц ломится.
Боится, видно, – год мелькнет, –
Упустит и не познакомится.

Остаток дней, остаток вьюг,
Сужденных башням в восемнадцатом,
Бушует, прядает вокруг,
Видать – не наигрались насыто.

За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьметса сызнова воспитывать.

6. ЯНВАРЬ 1919 ГОДА
Тот год! Как часто у окна
Нашептывал мне, старый: «Выкинься».
А этот, новый, всё прогнал
Рождественскою сказкой Диккенса.

Вот шепчет мне: «Забудь, встряхнись!»
И с солнцем в градуснике тянется
Точь-в-точь, как тот дарил стрихнин
И падал в пузырек с цианистым.

Его зарей, его рукой,
Ленивым веяньем волос его
Почерпнут за окном покой
У птиц, у крыш, как у философов.

Ведь он пришел и лег лучом
С панелей, с снеговой повинности.
Он дерзок и разгорячен,
Он просит пить, шумит, не вынести.

Он вне себя. Он внес с собой
Дворовый шум и – делать нечего:
На свете нет тоски такой,
Которой снег бы не вылечивал.

7

Мне в сумерки ты все – пансионеркою,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Все – школьницей. Зима. Закат лесничим
В лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося.
И вот – айда! Аукаемся, кличем.

А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!
Проведай ты, тебя б сюда пригнало!
Она – твой шаг, твой брак, твое замужество,
И тяжелей дознаний трибунала.
Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаей
горлинок
Летели хлопья грудью против гула.
Их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо
С лотков на снег, их до панелей гнуло!
Перебегала ты! Ведь он подсовывал
Ковром под нас салазки и кристаллы!
Ведь жизнь, как кровь, до облака пунцового
Пожаром вьюги озарясь, хлестала!
Движенье помнишь? Помнишь время?
Лавочниц?
Палатки? Давку? За разменом денег
Холодных, звонких, – помнишь, помнишь
давешних
Колоколов предпраздничных гуденье?
Увы, любовь! Да, это надо высказать!
Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
Гляжу, страшась бессонницы огромной.
Мне в сумерки ты будто все с экзамена,
Все – с выпуска. Чиж, мигрень, учебник.
Но по ночам! Как просят пить, как пламенны
Глаза капсуль и пузырьков лечебных!
1918–1919

РАЗРЫВ

1
О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!
Но так – я не смею, но так – зуб за зуб?
О скорбь, зараженная ложью вначале,
О горе, о горе в проказе!
О ангел залгавшийся, – нет, не смертельно
Страданье, что сердце, что сердце в экземе!
Но что же ты душу болезнью нательной
Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно
Целуешь, как капли дождя, и как время,
Смеясь, убиваешь, за всех, перед всеми!

2
О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом
раннем
Разрыве столько грез, настойчивых еще!
Когда бы, человек, – я был пустым собраньем
Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек!
Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
По крепости тоски, по юности ее
я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
я б штурмовал тебя, позорище мое!

3
От тебя все мысли отвлеку
Не в гостях, не за вином, так на небе.
У хозяев, рядом, по звонку
Отопрут кому-нибудь когда-нибудь.
Вырвусь к ним, к бряцанью декабря.
Только дверь – и вот я! Коридор один.
«Вы оттуда? Что там говорят?»

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
что слышать? Какие сплетни в городе?
Ошибается ль еще тоска?
Шепчет ли потом: «Казалось – вылитая»,
Приготовясь футов с сорока
Разлететься восклицаньем: «Вы ли это?»
Пощадят ли площади меня?
Ах, когда б вы знали, как тоскуется,
Когда вас раз сто в течение дня
На ходу на сходствах ловит улица!»

Стихотворения 1912–1931

4
Помешай мне, попробуй. Приди, покусись
потушить
Этот приступ печали, гремящий сегодня,
как ртуть в пустоте Торричелли.
Воспрети, помешательство, мне, – о, приди,
посягни!
Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись,
мы – одни.
О, туши ж, о, туши! Горячее!

5
Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей
И, как лилии, атласных и властных бессильем
ладоней!
Отбивай, ликованье! На волю! Лови их, – ведь
в бешеной этой лапте –
Голошенья лесов, захлебнувшихся эхом охот
в Калидоне,
Где, как лань, обеспамятев, гнал Аталанту
к поляне Актей,
Где любили бездонной лазурью, свистевшей
в ушах лошадей,
Целовались залиvistым лаем погони
И ласкались раскатами рога и треском
деревьев, копыт и когтей.
– О, на волю! На волю – как те!

6
Разочаровалась? Ты думала – в мире нам
Расстаться за реквиемом лебединым?
В расчете на горе, зрачками расширенными
В слезах, примеряла их непобедимость?
На мессе б со сводов посыпалась стенопись,
Потрясись игрой на губах Себастьяна.

Но с нынешней ночи во всем моя ненависть
Растянутасть видит, и жаль, что хлыста нет.
Впотьмах, моментально опомнясь,
без медлящего
Раздумья, решила, что все перепашет.
Что – время. Что самоубийство ей не для чего,
что даже и это есть шаг черепаший.

7
Мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь, как
ночью, в перелете с Бергена на полюс,
Валящим снегом с ног гагар сносимый жаркий
пух,
Клянусь, о нежный мой, клянусь, я не неволюсь,
Когда я говорю тебе – забудь, усйи, мой друг.
Когда, как труп затертого до самых труб
норвежца,
В виденьи зим, не движущих заиндевельных мачт,
Ношусь в сполохах глаз твоих шутивым –
спи, утешься,
До свадьбы заживет, мой друг, угомонись,
не плачь.

Когда совсем как север вне последних
поселений,
Украдкой от арктических и неусыпных льдин,
Полночным куполом полощущий глаза слепых
тюленей,
я говорю – не три их, спи, забудь: все вздор
один.

8мой стол не столь широк, чтоб грудью всею
Налечь на борт и локоть завести
За край тоски, за этот перешеек
Сквозь столько верст прорытого прости.
(Сейчас там ночь.) За душный твой затылок.
(И спать легли.) Под царства плеч твоих.
(И тушат свет.) Я б утром возвратил их.
Крыльцо б коснулось сонной ветвью их.

Не хлопьями! Руками крой! – Достанет!
О, десять пальцев муки, с бороздой
Крещенских звезд, как знаков опоздания
В пургу на север шедших поездов!

9
Рояль дрожащий пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: – милый! – Нет, – вскричу я, –
нет.
При музыке?! – Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, pogodно?
О пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! – ты свободна.

я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно – что жилы отворить.
1919

я их мог позабыть

1. КЛЕВЕТНИКАМ
О детство! Ковш душевной глуби!
О всех лесов абориген,
Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мой регент!

Что слез по стеклам усыхало!
Что сохло ос и чайных роз!
Как часто угасавший хаос
Багровым папортником рос!

Что вдавленных сухих костяшек,
Помешанных клавиатур,
Бродячих, черных и грустящих,
Готовят месть за клевету!

Правдоподобье бед клеветет,
Соседство богачей,
Хозяйство за дверьми клеветет.
Веселый звон ключей.

Рукопожатье лжи клеветет,
Манишек аромат,
Изящество дареной вещи,
Клеветет хиромант.

Ничтожность возрастов клеветет,
О юные, – а нас?
О левые, – а нас, левейших, –
Румянясь и юнясь?

О солнце, слышишь? «Выручь денег».
Сосна, нам снится? «Напрягись».
О жизнь, нам имя вырождение,
Тебе и смыслу вопреки.

Дункан седых догадок – помощь!
О смута сонмищ в отпусках,
О Боже, Боже, может, вспомнишь,
Почем нас людям отпускал?
1917

2
Я их мог позабыть? Про родню,
Про моря? Приласкаться к плацкарте?
И за оргию чувств – в западню?
С ураганом – к ордалиям партий?
За окошко, в купе, к погребцу?
Где-то слезть? Что-то снять? Поселиться?
Я горжусь этой мукой. – Рубцуй!
По когтям узнаю тебя, львица.
Про родню, про моря. Про абсурд
Прозябанья, подобного каре.
Так не мстят каторжанам. – Рубцуй!
О, не вы, это я – пролетарий!
Это правда. Я пал. О, секи!
Я упал в самомнении зверя.
Я унизил себя до неверья.
Я унизил тебя до тоски.
1917

3
Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, – а слова
Являются о третьем годе.
Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины
Мерещится, что мать – не мать.
Что ты – не ты, что дом – чужбина.
Что делать страшной красоте
Присевшей на скамью сирени,
Когда и впрямь не красть детей?
Так возникают подозренья.
Так зреют страхи. Как он даст
Звезде превысить досяганье,
Когда он – Фауст, когда – фантаст?
Так начинаются цыгане.

Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря.
Так будут начинаться ямбы.

Так ночи летние, ничком
Упав в овсы с мольбой: исполнься,
Грозят заре твоим зрачком,
Так затевают ссоры с солнцем.
Так начинают жить стихом.
1921

4
Нас мало. Нас, может быть, трое
Донецких, горючих и адских

Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.

Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило, и мчит в караване,
Как тундру под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.
Слетимся, ворвемся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим,

И – мимо! – Вы поздно поймете.
Так, утром ударивши в ворох
Соломы – с момент на намете, –
След ветра живет в разговорах
Идущего бурно собранья
Деревьев над кровельной дранью.
1921

5

Косых картин, летящих ливня
С шоссе, задувшего свечу,
С крюков и стен срывать к рифме
И падать в такт не отучу.

Что в том, что на вселенной – маска?
Что в том, что нет таких широт,
Которым на зиму замазкой
Зажать не вызвались бы рот?

Но вещи рвут с себя личину,
Теряют власть, роняют честь,
Когда у них есть петля причина,
Когда для ливня повод есть.
1922

НЕСКУЧНЫЙ САД

1. НЕСКУЧНЫЙ

Как всякий факт на всяком бланке,
Так все дознанья хороши
О вакханалиях изнанки
Нескучного любой души.

Он тоже – сад. В нем тоже – скучен
Набор уставших цвеств пород.
Он тоже, как и сад, – Нескучен
От набережной до ворот.
И, окуная парк за старой
Беседкою в заглохший пруд,
Похож и он на тень гитары,
С которой, тешась, струны рвут.
1917

2

Достатком, а там и пирами,
И мебелью стиля жакоб
Иссушат, убьют темперамент,
Гудевший, как ветвь жуком.

Он сыплет искры с зубьев,
Когда, сгребя их в ком,
Ты бесов самолюбья
Терзаешь гребешком.

В осанке твоей: «С кой стати?»,
Любовь, а в губах у тебя

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Насмешливое: «Оставьте,
Вы хуже малых ребят».

О свежесть, о капля смарагда
В упившихся ливнем кистях,
О сонный начес беспорядка,
О дивный, божий пустяк!
1917

3. ОРЕШНИК

Орешник тебя отрешает от дня,
И мшистые солнца ложатся с опушки
То решкой на плотное тленье пня,
То мутно-зеленым орлом на лягушку.
Кусты обгоняют тебя, и пока
С родимой чащей сроднишься с отвычки, –
Она уж безбрежна: ряды кругляка,
И роща редееет, и птичка – как гичка,
И песня – как пена, и – наперерез,
Лазурь забирая, нырком, душегубкой
И – мимо... И долго безмолвствует лес,
Следя с облаков за пронесшейся шлюпкой.

О место свиданья малины с грозой,
Где, в тучи рогами лишайника тычась,
Горят, одуряя наш мозг молодой,
Лиловые топи угасших язычеств!
1917

4. В ЛЕСУ

Луга мутило жаром лиловатым,
В лесу клубился кафедральный мрак.
Что оставалось в мире целовать им?
Он весь был их, как воск на пальцах мяк.

Есть сон такой, – не спишь, а только снится,
Что жаждешь сна; что дремлет человек,
Которому сквозь сон палит ресницы
Два черных солнца, бьющих из-под век.

Текли лучи. Текли жуки с отливом,
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под щипцами у часовщика.

Казалось, он уснул под стук цифири,
Меж тем как выше, в терпком янтаре,
Испытаннейшие часы в эфире
Переставляют, сверив по жару.
Их переводят, сотрясают иглы
И сеют тень, и мают, и сверлят
Мачтовый мрак, который ввысь воздвигло,
В истому дня, на синий циферблат.

Казалось, древность счастья облетает.
Казалось, лес закатом снов объят.
Счастливые часов не наблюдают,
Но те, вдвоем, казалось, только спят.
1917

5. СПАССКОЕ

Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском.

Не сегодня ли с дачи съезжать вам пора?
За плетнем перекликнулось эхо с подпаском
И в лесу различило удар топора.

Этой ночью за парком знобило трясину.
Только солнце взошло, и опять – наутек.
Колокольчик не пьет костоломных росинок,
На березах несмытый лиловый отек.

Лес хандрит. И ему захотелось на отдых,
Под снега, в непробудную спячку берлог.
Да и то, меж стволов, в почерневших обводах
Парк зияет в столбцах, как сплошной некролог.

Березняк перестал ли линять и пятнаться,
Водянистую сень потуплять и редеть?
Этот – ропщет еще, и опять вам – пятнадцать,
И опять, – о, дитя, о, куда нам их деть?

Их так много уже, что не все ж – куролесить.
Их – что птиц по кустам, что грибов за межой.
Ими свой кругозор уж случалось завесить,
Их туманом случалось застлать и чужой.

В ночь кончины от тифа сгорающий комик
Слышит гул: гомерический хохот райка.
Нынче в Спасском с дороги бревенчатый домик
Видит, галлюцинируя, та же тоска.
191

86. ДА БУДЕТ

Рассвет расколыхнет свечу,
Зажжет и пустит в цель стрижа.
Напоминанием влечу:
Да будет так же жизнь свежа!

Заря, как выстрел в темноту.
Бабах! – и тухнет на лету
Пожар ружейного пыжа.
Да будет так же жизнь свежа.

Еще снаружи – ветерок,
Что ночью жался к нам, дрожа.
Зарей шел дождь, и он продрог.
Да будет так же жизнь свежа.

Он поразительно смешон!
Зачем совался в сторожа?
Он видел, – вход не разрешен.
Да будет так же жизнь свежа.
Повелевай, пока на взмах
Платка – пока ты госпожа,
Пока – покамест мы впотьмах,
Покамест не угас пожар.
1919

7. ЗИМНЕЕ УТРО (Пять стихотворений)

* * *

Воздух седенькими складками падает.
Снег припоминает мельком, мельком:
Спатки – называлось, шепотом и патокую
День позападал за колыбельку.

Выйдешь – и мурашки разбегаются и ежится
Кожица, бывало, – сумки, дети, –
Улица в бесшумные складки ложится

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Серой рыболовной сети.

Все, бывало, складывают: сказку о лисице,
Рыбу пошвырявшей с возу,
Дерево, сарай, и варежки, и спицы,
Зимний изумленный воздух.

А потом поздней, под чижиком,
пред цветиками
Не сложенем, что ли, с воли,
Дуло и мело, не ей, не арифметикой ли
Подирало столик в школе?

Зуб, бывало, ноет: мажут его, лечат его, –
В докторском глазу ж – безумье
Сумок и снежков, линованное, клетчатое
С сонными каракулями в сумме.

Та же нынче сказка, зимняя, мурлыкина,
На бегу шурша метелью по газете,
За барашек грив и тротуаров выкинулась
Серой рыболовной сетью.
Ватная, примерзлая и байковая, фортковая
Та же жуть берез безгнездых
Гарусную ночь чем свет за чаем свертывает,
Зимний изумленный воздух.
191

8* * *
Как не в своем рассудке,
Как дети ослушанья,
Облизываясь, сутки
Шутя мы осушали.

Иной, не отрываясь
От судорог страницы
До утренних трамваев,
Грозил заре допить.

Раскидывая хлопок
Снежок, бывало, чижик
Шумит: какую пробкой
Такую рожу выжег?

И день вставал, оплеснясь,
В помойной жаркой яме,
В кругах пожарных лестниц,
Ушибленный дровами.
1919

* * *
Я не знаю, что тошней:
Рушащийся лист с конюшни
Или то, что все в кашне,
Всё в снегу и всё в минувшем.

Пентюх и головотяп,
Там, меж листьев, меж домов там
Машет галкою октябрь
По каракулевым кофтам.

Треск ветвей – ни дать ни взять
Сушек с запахом рогожи.
Не растряс бы вихрь – связать,
Упадут, стуча, похоже.

Упадут в морозный прах,
Ах, похоже, спозаранок

Вихрь беретса трясть впотьмах
Тминной вязкою баранок.

1919

* * *

Ну, и надо ж было, тужась,
Каркнуть и взлететь в хаос,
Чтоб сложить октябрьский ужас
Парой крыльев на киоск.

И поднять содом со спилей
Над живой рекой голов,
Где и ты, вуаль зашпилив,
Шляпку шпилькой заколов,

Где и ты, моя забота,
Котик лайкой застегнув,
Темной рысью в серых ботах
Машешь муфтой в море муфт.

1919

* * *

Между прочим, все вы, чтицы,
Лгать охотницы, а лгать –
У оконницы учиться,
Вот и вся вам недолга.

Тоже блещет, как баллада,
Дивной влагой; тоже льет
Слезы; тоже мечет взгляды
Мимо, – словом, тот же лед.

Тоже, вне правдоподобья,
Ширит, рвет ее зрачок,
Птичью церковь на сугробе,
Отдаленный конский чок.

И Чайковский на афише
Патетично, как и вас,
Может потрясти, и к крыше,
В вихорь театральных касс.
1919

8. ВЕСНА

(Пять стихотворений)

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоумению тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья.

191

8* * *

Пара форточных петелек,
Февраля отголоски.
Пить, пока не заметили,
Пить вискам и прическе!

Гул ворвался, как шомпол.
О холодный, сначала бы!
Бурный друг мой, о чем бы?
Воздух воли и – жалобы?!

Что за смысл в этом пойле?

Боже, кем это мелются,
Языком ли, душой ли,
Этот плеск, эти прелести?

Кто ты, март? – Закипал же
Даже лед, и обуглятся,
Раскатясь, экипажи
По свихнувшейся улице!

Научи, как ворочать
Языком, чтоб растрогались,
Как тобой, этой ночью
Эти дрожки и щеголи.
1919

* * *

Воздух дождиком частым сечется.
Поседев, шелудивеет лед.
Ждешь: вот-вот горизонт и очнется
И – начнется. И гул пойдет.

Как всегда, расстегнув нараспашку
Пальтецо и кашне на груди,
Пред собой он погонит неславших,
Очумелых птиц впереди.

Он зайдет к тебе и, развинчен,
Станет свечный натек колупать
И зевнет и припомнит, что нынче
Можно снять с гиацинтов колпак.

И шальной, шевелюру ероша,
В замешательстве смысл темня,
Ошарашит тебя нехорошей
Глупой сказкой своей про меня.
191

8* * *

Закрой глаза. В наиглушайшем органе
На тридцать верст забывшихся пространств
Стоят в парах и каплют храп и хорканье,
Смех, лепет, плач, беспамятство и транс.

Им, как и мне, невмочь с весною свыкнуться,
Не в первый раз стараюсь, – не привык.
Сейчас по чащам мне и этим мыканцам
Подносит чашу дыма паровик.

Давно ль под сенью орденских капитулов,
Служивших в полном облачении хвой,
Мирянин-март украдкой пропитывал
Тропинки парка терпкой синевой?

Его грехи на мне под старость скажутся,
Бродивших верб откупоривши штоф,
Он уходил с утра под прутья саженцев,
В пруды с угаром тонущих кустов.

В вечерний час переставала двигаться
Жемчужных луж и речек акварель,
И у дверей показывались выходцы
Из первых игр и первых букварей.
1921

* * *

Чирикали птицы и были искренни.
Сияло солнце на лаке карет.
С точильного камня не сыпались искры,
А сыпались – гасли, в лучах сгорев.

В раскрытые окна на их рукоделье
Садилась, как голуби, облака.
Они замечали: с воды похудели
Заборы – заметно, кресты – слегка.

Чирикали птицы. Из школы на улицу,
На тумбы ложилось, хлынув волной,
Немолчное пенье и щелканье шпулек,
Мелькали косички и цокал челнок.

Не сыпались искры, а сыпались – гасли.
Был день расточителен; над школой свежей
Неслись облака, и точильщик был счастлив,
Что столько на свете у женщин ножей.
1922

9. СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
(Пять стихотворений)

* * *

Крупный разговор. Еще не запирали,
Вдруг как: моментально вон отсюда! –
Сбитая прическа, туча препирательств
И сплошной поток шопеновских этюдов.

Вряд ли, гений, ты распределяешь кету
В белом доме против кооператива,
Что хвосты луны стоят до края света
Чередой ночных садов без перерыва.
191

8Все утро с девяти до двух
Из сада шел томящий дух
Озона, змей и розмарина,
И олеандры разморило.

Синеет белый мезонин.
На мызе – сон, кругом – безлюдье.
Седой малинник, а за ним
Лиловый грунт его прелюдий.

Кому ужонок прошипел?
Кому прощально машет розан?
Опять депешей Шопен
К балладе страждущей отозван.

Когда ее не излечить,
Все лето будет в дифтерите.
Сейчас ли, черные ключи,
Иль позже кровь нам отворить ей?
Прикосновение руки –
И полвселенной – в изоляции,
И там плантации пылятся
И душно дышат табаки.
191

8*

* *

Пианисту понятно шнырянье ветошниц
С косыми крюками обйалов в плечах.
Одно прозябанье корзины и крошни
И крышки раскрытых роялей влачат.

По стройкам таскавшись с толпою тряпичниц
И клад этот где-то на свалках сыскав,
Он вешает облако бури кирпичной,
Как робу~на вешалку на лето в шкаф.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
И тянется, как за походною флягой,
Военную карту грозы расстелив,
К роялю, обычно обильному влагой
Огромного душного лета столиц.

Когда, подоспевши совсем незаметно,
Сгорая от жажды, гроза четырьмя
Прыжками бросается к бочкам с цементом,
Дрожащими лапами ливня гремя.
1921

* * *

Я вишу на пере у Творца
Крупной каплей лилового лоска.

Под домами – загадки канав.
Шибко воздух ли соткой и коксом
По вокзалам дышал и зажегся,
Но, едва лишь зарю доконав,
Снова розова ночь, как она,
И забор поражен парадоксом.
И бормочет: прерви до утра
Этих сохлых белил колебанье.
Грунт убит и червив до нутра,
Эхо чутко, как шар в кегельбане.
Вешний ветер, шевьот и грязца,
И гвоздильных застав отголосоки,
И на утренней терке торца
От зари, как от хренной полоски,
Проступают отчетливо слезки.
Я креплюсь на пере у Творца
Терпкой каплей густого свинца.
1922

* * *

Пей и пиши, непрерывным патрулем
Ламп керосиновых подкарауленный
С улиц, гуляющих под руку в июле
С кружкою пива, тобою пригубленной.
Зеленоглазая жажда гигантов!
Тополь столы осыпает пикулями,
Шпанкой, шиповником. – Тише, не гамьте! –
Шепчут и шепчут пивца загогулины.
Бурная кружка с трехгорным Рембрандтом!
Спертость предгрозя тебя не испортила.
Ночью быть буре. Виденья, обратно!
Память, труби отступление к портерной!
Век мой безумный, когда образумлю
Темп потемнелый былого бездонного?
Глуби Мазурских озер не разуют
В сон погруженных горнистов Самсонова.
После в Москве мотоцикл тараторил,
Громкий до звезд, как второе пришествие.
Это был мор. Это был мораторий
Страшных судов, не съезжавшихся к сессии.
1922

10. ПОЭЗИЯ

Поэзия, я буду клясться
Тобой, и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласца,
Ты – лето с местом в третьем классе,
Ты – пригород, а не припев.
Ты – душная, как май, Ямская,
Шевардина ночной редут,
fте тучи стоны испускают
И врозь по роспуске идут.

И в рельсовом витье двояся, –
Предместье, а не перепев –
Ползут с вокзалов восвояси
Не с песней, а оторопев.
Отростки ливня грязнут в гроздьях
И долго, долго, до зари
Кропают с кровель свой акростих,
Пуская в рифму пузыри.
Поэзия, когда под краном
Пустой, как цинк ведра, трюизм,
То и тогда струя сохранна,
Тетрадь подставлена, – струись!
1922

И. ДВА ПИСЬМА

* * *
Любимая, безотлагательно,
Не дав заре с пути рассесться,
Ответь чем свет с его подателем
О ходе твоего процесса.

И, если это только мыслимо,
Поторопи зарю, а лень ей, –
Воспользуйся при этом высланным
Курьером умоисступленья.

Дождь, верно, первым выйдет из лесу
И выпросит, где тор, где топко.
Другой ему вдогонку вызвался
И это – под его диктовку.

Наверно, бурю безрассудств его
Сдадут деревья в руки из рук,
Моя ж рука давно отсутствует:
Под ней жилой кирпичный призрак.

я не бывал на тех урочищах,
Она ж ведет себя, как прадед,
И, знаменьем сложась пророчащим,
Тот дом по голой кровле гладит.
1921

* * *
На днях, в тот миг, как в ворох корпии
Был дом под Костромой искромсан,
Удар того же грома копию
Мне свел с каких-то незнакомцев.
Он свел ее с их губ, с их лацканов,
С их туловищ и туалетов,
В их лицах было что-то адское,
Их цвет был светло-фиолетов.

Он свел ее с их губ и лацканов,
С их блюдецек и физиономий,
Но, сделав их на миг мулатскими,
Не сделал ни на миг знакомей.

В ту ночь я жил в Москве и в частности
Не ждал известий от бесценной,
Когда порыв зарниц негаснущих
Прибил к стене мне эту сцену.
1921

12. ОСЕНЬ (Пять стихотворений)

* * *

С тех дней стал над недрами парка сдвигаться
Суровый, листву леденивший октябрь.
Зарями ковался конец навигации,
Спирало гортань и ломило в локтях.

Не стало туманов. Забыли про пасмурность.
Часами смеркалось. Сквозь все вечера
Открылся, в жару, в лихорадке и насморке,
Больной горизонт – и дворы озирали.

И стынула кровь. Но, казалось, не стынут
Пруды, и – казалось, с последних погод
Не движутся дни, и казалось – вынут
Из мира прозрачный, как звук, небосвод.
И стало видать так далеко, так трудно
Дышать, и так больно глядеть, и такой
Покой разлился, и настолько безлюдный,
Настолько беспмятно звонкий покой!

1916

* * *

Потели стекла двери на балкон.
Их заслонял заметно зимний фикус.
Сиял графин. С недопитым глотком
Вставали вы, веселая навывказ, –

Смеркалась даль, – спокойная на вид, –
И дуло в щели, – праведница ликом, –
И день сгорал, давно остановив
Часы и кровь, в мучительно великом

Просторе долго, без конца горев
На остриях скворешниц и деревьев,
В осколках тонких ледяных пластинок,
По пустырям и на ковре в гостиной.
1916

Но и им суждено было выцвести,
И на лете – налет фиолетовый,
И у туч, громогласных до этого, –
Фистула и надтреснутый присвист.

Облака над заплаканным флоксом,
Обволакивав даль, перетрафили.
Цветники как холодные кафли.
Город кашляет школой и коксом.
Редко брызжет восток бирюзью.
Парников изразцы, словно в заморозки,
Застывают, и ясен, как мрамор,
Воздух рощ и, как зов, безпризорен.

Я скажу до свиданья стихам, моя мания,
Я назначил вам встречу со мною в романе.
Как всегда, далеки от пародий,
Мы окажемся рядом в природе.

1917

* * *

Весна была просто тобой,
И лето – с грехом пополам.
Но осень, но этот позор голубой
Обоев, и войлок, и хлам!

Разбитую клячу ведут на махан,
И ноздри с коротким дыханьем
Заслушались мокрой ромашки и мха,
А то и конины в духане.

В прозрачность заплаканных дней целиком
Губами и глаз полыханьем
Впиваешься, как в помутнелый флакон
С невыдохшимися духами.

Не спорить, а спать. Не оспаривать,
А спать. Не распаивать наспех
Окна, где в беспмятных заревах
Июль, разгораясь, как яспис,
Расплавливал стекла и спаривал
Тех самых пунцовых стрекоз,
Которые нынче на брачных
Брусах – мертвей и прозрачней
Осыпавшихся папирос.

Как в сумерки сонно и зябко
Окошко! Сухой купорос.
На донышке склянки – козявка
И гильзы задохшихся ос.

Как с севера дует! Как щупло
Нахохлилась стужа! О вихрь,
Общупай все глубы и дупла,
Найди мою песню в живых!
1917
* * *

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
– Поздно, выплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом раздражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознания.
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.
191
8

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
1916–1931

СМЕШАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

БОРИСУ ПИЛЬНЯКУ

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я – урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Напрасно в дни великого совета,
Иде высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.
1931

АННЕ АХМАТОВОЙ

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первожданность.
А ошибусь, – мне это трын-трава,
Я все равно с ошибкой не расстанусь.

Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглушенные эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слоге.

Кругом весна, но за город нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.

Вдыхая дали ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.

По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер и колышет веки
ветвей, и звезд, и фонарей, и вех,
И с моста вдаль глядящей белошвейки.

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор –
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи,

Но, исходив от ваших первых книг,
Иде крепили прозы пристальной крупницы,
Он и во всех, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.
1929

М<АРИНЕ> Ц<ВЕТАЕВОЙ>

Ты вправо, вывернув карман,
Сказать: ищите, ройтесь, шарьте.
Мне все равно, чем сыр туман.
Любая быль – как утро в марте.

Деревья в мягких армяках
Стоят в грунту из гуммигута,
Хотя ветвям наверняка
Невозмогу среди закута.

Роса бросает ветки в дрожь,
Струясь, как шерсть на мериносе.
Роса бежит, трясся, как еж,
Сухой копной у переносья.

Мне все равно, чей разговор
Ловлю, плывущий ниоткуда.
Любая быль – как вешний двор,
Когда он дымкою окутан.

Мне все равно, какой фасон
Сужден при мне покрою платьев.
Любую быль сметут как сон,
Поэта в ней законопатив.

Клубясь во много рукавов,
Он двинется, подобно дыму,
Из дыр эпохи роковой
В иной тупик непроходимый.

Он вырвется, курясь, из прорв
Судеб, расплющенных в лепеху,
И внуки скажут, как про торф:
Горит такого-то эпоха.

1929

МЕЙЕРХОЛЬДАМ

Желоба коридоров иссякли.
Гул отхлынул и сплыл, и заглох.
У окна, опоздавши к спектаклю,
Вяжет вьюга из хлопьев чулок.

Рытым ходом за сценой залягте,
И, обуглясь у всех на виду,
Как дурак, я зайду к вам в антракте,
И смешаясь, и слов не найду.

Я увижу деревья и крыши.
Вихрем кинутся мушки во тьму.
По замашкам зимы-замухрышки
Я игру в кошки-мышки пойму.

Я скажу, что от этих ужимок
Еле цел я остался внизу,
Что пакет развязался и вымок
И что я вам другой привезу.

Что от чувств на земле нет отбою,
Что в руках моих – плеск из фойе,
Что из этих признаний – любое
Вам обоим, а лучшее – ей.

Я люблю ваш нескладный развалец,
Жадной проседи взбитую прядь.
Если даже вы в это выгались,
Ваша правда, так надо играть.

Так играл пред землей молодой
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тер.

И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.

Той же пьесой неповторимой,
Точно запахом краски дыша,
Вы всего себя стерли для грима.
Имя этому гриму – душа.

192

8ПРОСТРАНСТВО

Н. Я. Вил ъям-Вил ъмонту
К ногам прилипает наждак.
Долбеж понемногу стихает.
Над стежками капли дождя,
Как птицы, в ветвях отдыхают.

Чернеют сережки берез.
Лозняк отливает изнанкой.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Ненастье, дымясь, как обоз,
Задерживается по знаку,

И месит шоссейный кисель,
10 Готовое снова по взмаху
Рвануться, осев до осей
Свинцовою всей колымагой.

Недолго приходится ждать.
Движенье нахмуренной выси, –
И дождь, затяжной, как нужда,
Вывешивает свой бисер.

Как к месту тогда по таким
Подушкам колеи непроезжих
Пятнистые пятаки
20 Лиловых, как лес, сыроежек!
И заступ скрежещет в песке,
И не попадает зуб на зуб.
И знаясь не хочет ни с кем
Железнодорожная насыпь.
Уж сорок без малого лет
Она у меня на примете,
И тянется рельсовый след
В тоске о стекле и цементе.
Во вторник молебен и акт.
Но только ль о том их тревога?
Не ради того и не так
По шпалам проводят дорогу.
Зачем же водой и огнем
С откоса хлеща переезды,
Упорное, ночью и днем
Несется на север железо?
Там город, – и где перечесть
Московского съезда соблазны,
Ненастей горящую шерсть,
'Заманчивость мглы непролазной?
Там город, – и ты посмотри,
Как ночью горит он багрово.
Он былью одной изнутри,
Как плоскою, иллюминирован.
Он каменным чудом облеп
Рожденья стучащий подарок.
В него, как в картонный кремлек,
Случайности вставлен огарок.
Он с гор разбросал фонари,
'Чтоб капать, и теплить, и плавить
Историю, как стеарин
Какой-то свечи без заглавья.
1927

БАЛЬЗАК

Париж в золотых тельцах, в дельцах,
В дождях, как мщенье, долгожданных.
По улицам летит пыльца.
Разгневанно цветут каштаны.

Жара покрыла лошадей
И щелканье бичей глазурию
И, как горох на решете,
Дрожит в оконной амбразуре.

Беспечно мчатся тильбюри.
10 Своя довлеет злоба дневи.
До завтрашней ли им зари?
Разгневанно цветут деревья.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас

А их заложник и должник,
Куда он скрылся? Ах, алхимик!
Он, как над книгами, поник
Над переулками глухими.

Почти как тополь, лопух,
Он смотрит вниз, как в заповедник,
И ткет Парижу, как паук,
20 Зауспокойную обедню.

Его бессонные зенки
Устроены, как веретена.
Он вьет, как нитку из пеньки,
Историю сего притона.

Чтоб выкупиться из ярма
Ужасного заимодавца,
Он должен сгинуть задарма
И дать всей нитке размотаться.

Зачем же было брать в кредит
30 Париж с его толпой и биржей,
И поле, и в тени раки
Непринужденность сельских пиршеств?

Он грезит волей, как лакей,
Как пенсией – старик бухгалтер,
А весу в этом кулаке
Что в каменщиковой кувалде.

Когда, когда ж, утерши пот
И сушь кофейную отвеяв,
Он оградится от забот
Ашестой главою от Матфея?
1927

БАБОЧКА-БУРЯ

Бывалый гул былой мясницкой
Вращаться стал в моем кругу,
И, как вы на него ни цыцкай,
Он пальцем вам – и ни гугу.

Он снится мне за массой действий,
В рядах до крыш горящих сумм,
Он сыплет лестницы, как в детстве,
И подымает страшный шум.

Напрасно в сковороды били,
И огорчалась кочерга.
Питается пальбой и пылью
Окуклившийся ураган.

Как призрак порчи и починки,
Объевший веточки мечтам,
Асфальта алчного личинкой
Смолу котлами пьет почтампт.

Но за разгромом и ремонтом,
К испугу сомкнутых окон,
Червяк спокойно и дремотно
По закоулкам ткет кокон.

Тогда-то, сбившись с перспективы,
Мрачатся улиц выхода,
И бритве ветра тучи гриву
Подбрасывает духота.

Сейчас ты выпорхнешь, инфанта,
И, сев на телеграфный столб,
Расправишь водяные банты
Над топотом промокших толп.
1923

ОТПЛЫТИЕ

Слышен лепет соли каплющей.
Гул колес едва показан.
Тихо взявши гавань за плечи,
Мы отходим за пакгаузы.

Плеск и плеск, и плеск без отзыва.
Разбегаясь со стенаньем,
Вспыхивает бледно-розовая
Моря ширь берестяная.

Треск и хруст скелетов раковых,
И шипит, горя, берёста.
Ширь растёт, и море вздрагивает
От ее прироста.

Берега уходят ельничком, –
Он невзрачен и тщедушен.
Море, сумрачно бездельничая,
Смотрит сверху на идущих.
С моря еще по морошку
Ходит и ходит лесками,
Грохнув и борт огороша,
Ширящееся плесканье.
Виден еще, еще виден
Берег, еще не без пятен
Путь, – но уже необыден
И, как беда, необъятен.
Страшным полуоборотом,
Сразу меняясь во взоре,
Мачты въезжают в ворота
Настежь открытого моря.
Вот оно! И, в предвкушеньи
Сладко бушующих новшеств,
Камнем в пучину крушений
Падает чайка, как ковшик.
1922

ФИНСКИЙ ЗАЛИВ

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.
Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и лед.
Утром спугни с мочежины озерной.
Целься, все кончено! Бей меня влет.
За высоту ж этой звонкой разлуки,
О, пренебрегнутые мои,
Благодарю и целую вас, руки
Родины, робости, дружбы, семьи.
192

8

ПЕТУХИ

Всю ночь вода трудилась без отдышки.
Дождь до утра льняное масло жег.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
И валит пар из-под лиловой крышки,
Земля дымится, словно шей горшок.

Когда ж трава, отряхиваясь, вскочит,
Кто мой испуг изобразит росе
В тот час, как загорланит первый кочет,
За ним другой, еще за этим – все?

Перебирая годы поименно,
Поочередно окликаю тьму,
Они пророчить станут перемену
Дождю, земле, любви – всему, всему.
1923

ЛАНДЫШИ

С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.

Он рухнет в ребрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.

Укрывшись ночью навесной,
Здесь белизна сурьмится углем.
Непревзойденной новизной
Весна здесь сказочна, как Углич.

Жары нещадная резня
Сюда не сунется с опушки.
И вот ты входишь в березняк,
Вы всматриваетесь друг в дружку.

Но ты уже предупрежден.
Вас кто-то наблюдает снизу:
Сырой овраг сухим дождем
Росистых ландышей унизан.

Он отделился и привстал,
Кистями капелек повисши,
На палец, на два от листа,
На полтора – от корневища.

Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки,
Весь сумрак роши сообща
Их разбирает на перчатки.
1927

СИРЕНЬ

Положим, – гудение улья,
И сад утопает в стряпне,
И спинки соломенных стульев,
И черные зерна слепней.

И вдруг объявляется отдых,
И всюду бросают дела:
Далекая молодость в сотах,
Седая сирень расцвела!

Уж где-то телеги и лето,
И гром отмыкает кусты,

И ливень въезжает в кассеты
Отстроившейся красоты.

И чуть наполняет повозка
Раскатистым воздухом свод, –
Лиловое зданье из воска,
До облака вставши, плывет.

И тучи играют в горелки,
И слышится старшего речь,
Что надо сирени в тарелке
Путем отстояться и стечь.
1927

ЛЮБКА

В. В. Гольцеву
Недавно этой просекой лесной
Прошелся дождь, как землемер и метчик.
Лист ландыша отяжелен блесной,
Вода забила в уши царских свечек.

Взлелеяны холодным сосняком,
Они росой оттягивают мочки,
Не любят дня, растут особняком
И даже запах льют поодиночке.

Когда на дачах пьют вечерний чай,
Туман вздувает паруса комарьи,
И ночь, гитарой брякнув невзначай,
Молочной мглой стоит в иван-да-марье,

Тогда ночной фиалкой пахнет все:
Лета и лица. Мысли. Каждый случай,
Который в прошлом может быть спасен
И в будущем из рук судьбы получен.
1927

БРЮСОВУ

Я поздравляю вас, как я отца
Поздравил бы при той же обстановке.
Жаль, что в Большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, циновки.

Жаль, что на свете принято скрести
У входа в жизнь одни подошвы: жалко,
Что прошлое смеется и грустит,
А злоба дня размахивает палкой.

Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрит в ответ обяжут.

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка – улыбаться, мучась?

Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настезь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху
И мы на перья разодрали крылья?

Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?

Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?

Ломиться в двери пошлых аксиом,
Где лгут слова и красноречье храмлет?..
О! весь Шекспир, быть может, только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.

Так запросто же! Дни рожденья есть.
Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?
Так легче жить. А то почти не снести
Пережитого слышащихся жалоб.
1923

ПАМЯТИ РЕЙСНЕР

Лариса, вот когда посожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней.
Я б разузнал, чем держится без клею
Живая повесть на обрывках дней.

Как я присматривался к матерьялам!
Валились зимы кучей, шли дожди,
Запахивались вьюги одеялом
С грудными городами на груди.

Мелькали пешеходы в непогоду,
Ползли возы за первый поворот,
Года по горло погружались в воду,
Потоки новых запружали брод.

А в перегонном кубе все упрямей
Варилась жизнь, и шла постройка гнезд.
Работы оцепляли фонарями
При свете слова, разума и звезд.

Осмотришься, какой из нас не свалян
Из хлопьев и из недомолвок мглы?
Нас воспитала красота развалин,
Лишь ты превыше всякой похвалы.
Лишь ты, на славу сбитая боями,
Вся сжатым залпом прелести рвалась.
Не ведай жизнь, что значит обаянье,
Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз.

Ты точно бурей грации дымилась.
Чуть побывав в ее живом огне,
Посредственность впадала вмиг в немилость,
Несовершенство навлекало гнев.

Бреди же в глубь преданья, героиня.
Нет, этот путь не утомит ступни.
Ширяй, как высь, над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени.
1926

ПРИБЛИЖЕНЬЕ ГРОЗЫ я. 3. Черняку

Ты близко. Ты идешь пешком
Из города и тем же шагом
Займешь обрыв, взмахнешь мешком
И гром прокатишь по оврагам.

Как допетровское ядро,
Он лугом пустится вприпрыжку
И раскидает груды дров
Слетевшей на сторону крышкой.

Тогда тоска, как оккупант,
Оцепит даль. Пахнёт окопом.
Закаплет. Ласточки вскипят.
Всею купой в сумрак вступит тополь.

Слух пронесется по верхам,
Что, сколько помнят, ты – до шведа.
И холод въедет в арьергард,
Скача с передовых разведок.

Как вдруг, очистивши обрыв,
Ты с поля повернешь, раздумав,
И сгинешь, так и не открыв
Разгадки шлемов и костюмов.

А завтра я, нырнув в росу,
Ногой наткнушь на шар гранаты
И повесть в комнату внесу,
Как в оружейную палату.
1927

ЭПИЧЕСКИЕ МОТИВЫ

Жене

ГОРОД

Уже за версту,
В капиллярах ненастья и вереска
Густ и солон тобою туман.
Ты горишь, как лиман,
Обжигая пространства, как пересыпь,
Огневой солончак
Растекающихся по стеклу
Фонарей, – каланча,
Пронизавшая заревом мглу!

10 навстречу курьерскому, от города, как от моря,
По воздуху мчатся огромные рощи.
Это галки, кресты и сады, и подворья
В перелетном клину пустырей.
Все скорей и скорей вдоль вагонных дверей,
И – за поезд
Во весь карьер.

Это вещи ветки,
Божась чердаками,
Вылетают на тучу.
'Это черной божбою
Бьется пригород Тьмутараканью в падучей.
Это Люберцы или Любань. Это гам
Шпор и блюдец, и тамбурных дворец, и рам
0 чугунный перрон. Это сонный разброд
Бутербродов с цикорной бурдой и ботфорт.
Это смена бригад по утрам. Это спор
Забывать с голосами колес и рессор.
Это грохот утрат о возврат. Это звон
Перецепок у цели о весь перегон.

1 Ветер треплет ненастья наряд и вуаль.
Даль скользит со словами: навряд и едва ль –
От расспросов кустов; полустанков и птах,
И лопат, и крестьянок в лаптях на путях.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Воедино собираются дни сентября.
В эти дни они в сборе. Печальный обряд.
Обирают убранство. Дарят, обрыдав.
Это всех, обреченных земле, доброта.

Это горсть повестей, скопидомкой-судьбой
Занесенная в поздний прибой и отбой
'Подмосковных платформ. Это доски мостков
Под кленовым листом. Это шелковый скоп
Шелестящих красот и крылатых семян
Для засева прудов. Всюду рябь и туман.
Всюду скарб на возах. Всюду дождь. Всюду
скорбь.
Это – наш городской гороскоп.

Уносятся шпалы, рыдая.
Листвой оглушенную свист замутив,
Скользит, задевая парами за ивы,
Захлебывающийся локомотив.

Считайте места. Пора. Пора.
Окрестности взяты на буфера.
Окно в слезах. Огни. Глаза.
Народу! Народу! Сопят тормоза.

Где-то с шумом падает вода.
Как в платок боготворимой, где-то
Дышат ночью тучи, провода,
Дышат зданья, дышит гром и лето.

Где-то с шумом падает вода.
Где-то, где-то, раздувая ноздри,
1 Скачут случай, тайна и беда,
За собой погоню заподозрив.

Где-то ночь, весь ливень расструив,
На двоих наскакивает в чайной.
Где же третья? А из них троих
Больше всех она гналась за тайной.

Гроном дрожек, с аркады вокзала,
На краю заповедных роц,
Ты развернут, роман небывалый,
Сочиненный осенью, в дождь

'Фонарями, – и сказ свой ширишь
О страдалице бельэтажей,
О любви и о жертве, сиречь,
О рассроченном платеже.

Что сравнится с женскою силой?
Как она безумно смела!
Мир, как дом, сняла, заселила,
Корабли за собой сожгла.

я опасаясь, небеса,
Как их, ведут меня к тем самым
'Жилым и скользким корпусам,
Где стены – с тенью Мопассана.
Где за болтами жив Бальзак,
Где стали предсказаньем шкапа,
Годами в форточку вползав,
Гнилой декабрь и жуткий запад.

Как неудавшийся пасьянс,
Как выпад карты неминучей.
Nonny soit qui mal y pense:1
Нас только ангел мог измучить.

90 в углах улыбки, на щеке,
На прядях – алая прохлада.
Пушатся уши и жакет.
Перчатки – пара шоколадок.

В коленях – шелест тупиков,
Тех тупиков, где от проходок,
От ветра, метел и пинков
Боярышник вкушает отдых.

Где горизонт, как рубикон,
Где сквозь агонию громленной
100 Рябины, в дождь бегут бегом
Свистки, и тучи, и вагоны.
1916

ДВАДЦАТЬ СТРОФ С ПРЕДИСЛОВИЕМ
(Зачаток романа «Спекторский»)
1 Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает
(старофр.).
Графленная в линейку десь!
Вглядись в ту сторону, откуда
Нахлынуло все то, что есть,
Что я когда-нибудь забуду.
Отрапортуй на том смотру.
Ударь хлопушкой округи.
Будь точно роца на юру,
Ревущая под ртищем вьюги.

Как разом выросшая рысь,
Всмотришь во все, что спит в тумане,
А если рысь слаба вниманьем,
То пристальней еще всмотришь.

Одна оглядчивость пространства
Хотела от меня поэм,
Одна она ко мне пристрастна,
Я только ей не надоем.

Когда, снуя на задних лапах,
Храпел и шерсть ерошил снег,
Я вместе с далью падал на пол
И с нею ввязывался в грех.

По барабанной перепонке
Несущихся, как ты, стихов
Суди, имею ль я ребенка,
Равнина, от твоих пахов?

Я жил в те дни, когда на плоской
Земле прощали старикам,
Заря мирволила подросткам
И вечер к славе подстрекал.
По круглым корешкам старинных книг
Порхают в искрах дымовые трубы.

Когда, нацелившись на взрослых,
1 Сквозь дым крупы, как сквозь вуаль,
Уже рябили ружья в козлах
И пухла крупповская сталь.
Нежданно ветер ставит воротник,
И улица запахивает шубу.
Представьте дом, где, пятен лишена
И только шагом схожая с гепардом,
В одной из крайних комнат тишина,
Облапив шар, ложится под бильярдом.
А рядом, в шапке крапчатой, декабрь

Висит в ветвях на зависть акробату
И с дерева дивится, как дикарь,
Нарядам и дурачествам Арбата.
В часы, когда у доктора прием,
Салон безмолвен, как салоп на вате.
Мы колокольни в окнах застаем
В заботе об отнявшемся набате.
Какое-то ручное вещество
Вертит хвостом, волною хлора зыблясь.
Его в квартире держат для того,
Чтоб пациенты дверью не ошиблись.

Профессор старше галок и дерев.
Он пепельницу порет папирасой.
Что в том ему, что этот гость здоров?
Не суйся в дом без вызова и спросу.
На нем манишка и сюртук до пят,
Закашлявшись и, видимо, ослышась,
Он отвечает явно невпопад:
«Не нервничать и избегать излишеств».
А после – в вопль: «Я, право, утомлен!
Вы про свое, а я сиди и слушай?
А ежели вам имя легион?
Попробуйте гимнастику и души».

И улица меняется в лице,
И ветер машет вырванным рецептом,
И пять бульваров мечутся в кольце,
Зализывая рельсы за прицепом.
И ночь горит, как старый банный сруб,
Занявшийся от ерунды какой-то,
Насилу побежденная к утру
Из поданных бессонницей брандспойтов.
Туман на щепки колет тротуар,
Пожарные бредут за калачами,
И стужа ставит чашам самовар
Лучинами зари и каланчами.
Вся в копоти, с чугунной гирей мги
Синеет твердь и, вмиг воспламенившись,
Хватает клубья искр, как сапоги,
И втаскивает дым за голенища.

1925

УРАЛЬСКИЕ СТИХИ

1. СТАНЦИЯ
Будто всем, что видит глаз,
До крапивы подзаборной,
Перед тем за миг пилаась
Сладость радуги нагорной.
Будто оттого синель
Из буфета выгнать нечем,
Что в слезах висел туннель
И на поезде ушедшем.
В час его прохода столь
10 На песке перронном людно,
Что глядеть с площадок боль,
Как на блеск глазури блюдной.

Ад кромешный! К одному
Гибель солнц, стальных вдобавок,
Смотрит с темечек в дыму
Кружев, гребней и булавок.
Плюют семечки, топча
Мух, глотают чай, судача,
В зале, льющем сообща
С зноем неба свой в придачу.

А меж тем наперекор
Черным каплям пота в скопе,
Этой станции средь гор
Не к лицу название «Копи».
Пусть нельзя сильнее сжать
(Горы. Говор. Иностранцы),
Но и в жар она – свежа,
Будто только от колодца.
Будто всем, что видит глаз,
До крапивы подзаборной,
Перед тем за миг пилась
Сладость радуги нагорной.
Что ж вдыхает красоту
В мленье этих скул и личек? –
Мысль, что кажутся хребту
Горкой крашенных яичек.
Это шеломит до слез,
Обдаёт холодной смутой,
Веет, ударяет в нос,
'Снится, чудится кому-то.
Кто крестил леса и дал
Им удушливое имя?
Кто весь край предугадал,
Встарь пугавши финна ими?
Уголь эху завещал:
Быть Уралом диким соснам.
Уголь дал и уголь взял.
Уголь, уголь был их крестным.
Целиком пошли в отца
Реки и клыки ущелий,
Черной бурей лица,
Клиньями столетних елей.
1919

2. РУДНИК

Косою тень зари роднит
С косою тенью спин Продольный
Великокняжеский Рудник
И лес теней у входа в штольню.

Закат особенно свиреп,
Когда, с задов облив китайцев,
Он обдаёт тенями склеп,
Куда они упасть боятся.

Когда, цепляясь за края
Камнями выложенной арки,
Они волнуются, снуя,
Как знаки заклинанья, жарки.

На волосок от смерти всяк
Идущий дальше. Эти группы
Последний отделяет шаг
От царства угля – царства трупа.

Прощаясь, смотрит рудокоп
На солнце, как огнепоклонник.
В ближайший миг на этот скоп
1 Пахнет руда, дохнет покойник.

И ночь обступит. Этот лед
Ее тоски неопишем!
Так страшен, может быть, отлет
Души с последним поцелуем.
Как на разведке, чуден звук
Любой. Ночами звуки редки.
И дико вскрикивает крюк
На промелькнувшей вагонетке.

Огарки, – а светлей костров.
30 Вблизи, – а чудится, верст за пять.
Росою черных катастроф
На волоса со сводов капит.

Слепая, вещая рука
Впотьмах выщупывает стенку,
Здорово дышит ли штрека,
И нет ли хриплого оттенка.

Ведь так легко пропасть, застряв,
Когда, лизнув пистон патрона,
Прольется, грянувши, затрав
40 По недрам гулко, похоронно.

А знаете ль, каков на цвет,
Как выйдешь, день с порога копи?
Слепит, землистый, – слова нет, –
Расплавленные капли, хлопья.

В глазах бурлят луга, как медь
В отеках белого каленья.
И шутка ль! – Надобно уметь
Не разрыдаться в исступленьи.

Как будто ты воскрес, как те –
50 Из допотопных зверских капищ,
И руки поднял, и с ногтей
Текучим сердцем наземь капишь.
191

8МАТРОС В МОСКВЕ

Я увидел его, лишь только
С прудов зиме
Мигнул каток шестом флагштока
И сник во тьме.

Был чист каток, и шест был шаток,
И у перил,
У растарщенных рогаток,
Он закурил.

Был юн матрос, а ветер – юрок:
10 Напал и сгреб,
И вырвал, и задул окурок,
И ткнул в сугроб.

Как ночь, сукно на нем сидело,
Как вольный дух
Шатавшихся, как он, без дела
Ноябрьских мух.

Как право дуть из всех отверстий,
Сквозь все – колоть,
Как ночь, сидел костюм из шерсти
20 Мешком, не вплоть.

И эта шерсть, и шаг неверный,
И брюк покрой
Трактиром пахли на Галерной,
Песком, икрой.

Москва казалась сортом щебня,
Который шел
В размол, на слом, в пучину гребней,
На новый мол.
Был ветер пьян, – и обдал дрожью:

С вина– буян.
Взглянул матрос (матрос был тоже,
Как ветер, пьян).

Угольный дом напомнил чем–то
Плавающий дом:
За шапкой, вея, дыбил ленты
Морской фантом.

За ним шаталось, якорь с цепью
Ища в дыре,
Соленое великолепье
Бортов и рей.

Огромный бриг, громадой торса
Задрал бока,
Всползая и сползая, терся
Об облака.

Москва в огнях играла, мерзла,
Роился шум,
А бриг вздыхал, и штевень ерзал,
И ахал трюм.

Матрос взлетал и ник, колышим,
Смешав в одно
Морскую низость с самым высшим,
С звездами – дно.

Как зверски рявкать надо клетке
Такой грудной!
Но недоразуменья редки
У них с волной.

Со стеньг, с гирлянды поднебесий,
Почти с планет
Горланит пене, перевесясь:
60 «Сегодня нет!»

В разгоне свищущих трансмиссий,
Едва упав
За мыс, кипит опять на мысе
Седой рукав.
На этом воющем заводе
Сирен, валов,
Огней и поршней полноводья
Не тратят слов.
Но в адском лязге передачи
70 Тоски морской
Стоят, в карманы руки пряча,
Как в мастерской.
Чтоб фразе рук не оторвало
И первых слов
Ремнями хлещущего шквала
Не унесло.
1919

9-е ЯНВАРЯ
(Первоначальный вариант)
Какая дальность расстоянья!
В одной из городских квартир
В столовой – речь о Ляояне,
А в детской – тушь и транспортир.
Январь, и это год Цусимы,
И, верно, я латынь зубрю,
И время в хлопьях мчится мимо
По старому календарю.
Густеют хлопья, тают слухи,

Густеют слухи, тает снег.
Выходят книжки в новом духе,
А в старом возбуждают смех.

И вот, уроков не доделав,
Я сплю, и где-то в тот же час
Толпой стоят в дверях отделов,
И время старит, мимо мчась.

И так велик наплыв рабочих,
Что в зал впускают в два ряда.
Их предостерегают с бочек. –
Нет, им не причинят вреда.

Толпящиеся ждут Гапона.
Весь день он нынче сам не свой:
Их челобитная законна, –
Он им клянется головой.

Неужто ж он их тащит в омут?
В ту ночь, как голос их забот,
Он слышен из соседних комнат
До отдаленнейших слобод.

Крепчает ветер, крепнет стужа,
1 Пар так и валит изо рта.
Дух вырывается наружу
В столетье, в ночь, за ворота.

Когда рассвет столичный хаос
Окинул взглядом торжества,
Уже, мотая что-то на ус,
Похаживали пристава.

Невыспавшееся событие,
Как провод, в воздухе вися,
Обледенелой красной нитью
Опутывало всех и вся.

Оно рвалось от ружей в коалах,
От войск и воинских затей
В объятья любящих и взрослых
И пестовало их детей.

Еще пороли дичь проспекты,
И только-только рассвело,
Как уж оно в живую секту
Толпу с окраиной слило.

Еще голов не обнажили,
Когда предместье лесом труб
Сошлось, звеня, как сухожилье,
За головами этих групп.

Был день для них благоприятен,
И снег кругом горел и мерз
Артериями сонных пятен
И солнечным сплетеньем верст.

Когда же тронулись с заставы,
Достигши тысяч десяти,
Скрещенья улиц, как суставы,
Зашевелились по пути.

Их пенье оставляло пену
В ложбине каждого двора,
Сдвигало вывески и стены,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Перемещало номера.

И гимн гремел всего хвалебней,
И пели даже старики,
Когда передовому гребню
Открылась ширь другой реки.
Когда: «Да что там?» – рявкнул голос,
И что-то отрубил другой,
И звук упал в пустую полость,
И выси выгнулись дугой.

Когда в тиши речной таможни,
В морозной тишине земли –
Сухой, опешившей, порожней –
Лишь слышалось, как сзади шли.

Ро-та! – взвилось мечом Дамокла,
И стекла уши обрели:
Рвануло, отдало и смолкло,
И миг спустя упало: пли!

И вновь на набережной стекла,
Глотая воздух, напряглись.
Рвануло, отдало и смолкло,
И вновь насторожилась близь.

Толпу порол ружейный ужас,
Как свежесвыбеленный холст.
И выводок кровавых лужиц
У ног, не обнаружась, полз.

Рвало, и множилось, и молкло,
'И камни – их и впрямь рвало
Горячими комками свеклы –
Хлестали холодом стекло.

И в третий раз притихли выси,
И в этот раз над спячкой барж.
Взвилось мечом Дамокла: рысью!
И лишь спустя мгновенье: марш!
1925

К ОКТЯБРЬСКОЙ ГОДОВЩИНЕ

1

Редчал разговор оживленный.
Шинель становилась в черёд.
Растягивались в эшелоны
Телятники маршевых рот.

Десятого чувства верхушкой
Подхватывали ковыли,
Что этот будильник с кукушкой
Лет на сто вперед завели.

Бессрочно и тысячеверстно
10 Шли дни под бризантным дождем.
Их вырвавшееся упорство
Не ставило нас ни во что.

Всегда-то их шумную груду
Несло неизвестно куда.
Теперь неизвестно откуда
Их двигало на города.

И были престранные ночи
И род вечеров в сентябре,
Что требовали полномочий
20 Обширней еще, чем допрежь.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас

В их августовское убранство
Вошли уже корпия, креп,
Досрочный призыв новобранцев,
Неубранный беженцев хлеб.

Могло ли им вообразиться,
Что под боком, невдалеке,
Окликнутые с позиций
Жилища стоят в столбняке?

Но, правда, ни в слухах нависших,
Ни в стойке их сторожевой,
Ни в низко надвинутых крышах
Не чувствовалось ничего.

2
Под спудом пыльных садов,
На дне летнего дня –
Нева, и нефти пятном
Расплывшаяся солдатня.

Вечерние выпуска
Газет рвут нарасхват.
Асфальты. Названья судов.
Аптеки. Торцы. Якоря.

Заря, и под ней, в западне
Инженерного замка, подобный
Равномерно-несметной, как лес, топотне
Удаляющейся кавалерии, – плеск
Литейного, лентой рулетки
Раскатывающего на роликах плит
Во все запустенье проспекта
Штиблетную бурю толпы.

Остатки чугунных оград
Местами целеют под кипой
Событий и прахом попыток
'Уйти из киргизской степи.

Но тучи черней, аппарат
Ревет в типографском безумьи, –
И тонут копыта и скрипы кибиток
В сыпучем самуме бумажной стопы.

Семь месяцев мусор и плесень, как шерсть, –
На лестницах министерств.
Одинокий как перст, –
Таков Петроград,
Еще с Государственной думы
Ночами и днями кочующий в чумах
И утром по юртам бесчувственный к шуму
Гольтепы.

Он всё еще не искупил
Провинностей скипетра и ошибок
Противного стереотипа
И сослан на взморье, топить, как Сизиф,
Утопии по затонам
И, чуть погрузив, подымать эти тонны
Картона и несть на себе в неметенный
Семь месяцев сряду пыльный тупик.

И осень подходит с обычной рутинной
Крутящихся листьев и мокрых куртин.

3
Густая слякоть клейковиной

Полощет улиц колею:
К виновному прилип невинный,
И день, и дождь, и даль в клею.

Ненастье настигает скаты,
Гремит железом пласт о пласт,
Свергает власти, рвет плакаты,
Натравливает класс на класс.

Костры. Пикеты. Мгла. Поэты
Уже печатают тюки
Стихов потомкам на пакеты
И нам под кету и пайки.

Тогда, как вечная случайность,
Подкрадывается зима
Под окна прачечных и чайных
И прячет хлеб по закромам.
Коротким днем, как коркой сыра,
Играют крысы на софе
И, протаскив по всей квартире,
Укатывают за буфет.
На смену спорам оборонцев –
Как север, ровный Совнарком,
Безбрежный снег, и ночь, и солнце,
С утра глядящее сморчком.
Пониклый день, серье и быдло,
Обидных выдач жалкий цикл,
По виду – жизнь для мотоциклов
И обданных повидлой игл.
Для галок и красногвардейцев,
Под черной кожи мокрый хром.
Какой еще заре зардеться
При взгляде на такой разгром?
На самом деле ж это – небо
Намыкавшейся всласть зимы,
По всем окопам и совдепам
За хлеб восставшей и за мир.
На самом деле это где-то
Задетый ветром с моря рой
Горящих глаз Петросовета,
Вперенных в небывалый строй.
Да, это то, за что боролись.
У них в руках – метеорит.
И будь он даже пуст, как полюс,
Спасибо им, что он открыт.
Однажды мы гостили в сфере
Преданий. Нас перевели
На четверть круга против зверя.
Мы – первая любовь земли.
1927

БЕЛЫЕ СТИХИ

И в этот миг прошли в мозгу все мысли
Единственные, нужные. Прошли
И умерли...
Александр Блок
Он встал. В столовой било час. Он знал, –
Теперь конец всему. Он встал и вышел.
Шли облака. Меж строк и как-то вскользь
Стучала трость по плитам тротуара,
И где-то громыхали дрожки. – Год
Назад Бальзак был понят сединой.
Шли облака. Стучала трость. Лило.

Он мог сказать: «Я знаю, старый друг,
Как ты дошел до этого. Я знаю,
10 Каким ключом ты отпер эту дверь,

Как ту взломал, как глядывал сквозь эту
И подсмотрел все то, что увидал».

Из-под ладоней мокрых облаков,
Из-под теней, из-под сырых фасадов,
Мотаясь, вырывалась в фонарях
Захватанная мартом мостовая.

«И даже с чьим ты адресом в руках
Стирал ступени лестниц, мне известно».
– Блистали бляхи спавших сторожей,
20 и ветер гнал ботву по рельсам рынка.

«Сто Ганских с кашлем зябло по утрам
И, волосы расчесывая, драло
Гребенкою. Сто Ганских в зеркалах
Бросало в дрожь. Сто Ганских пило кофе.
А надо было Богу доказать,
Что Ганская – одна, как он задумал...» –
На том конце, где громыхали дрожки,
Запел петух. – «Что Ганская – одна,
Как говорила подпись Ганской в письмах,
'Как сон, как смерть». – Светало. В том конце,
Где громыхали дрожки, пробуждались.

Как поздно отпираются кафе
И как свежа печать сырой газеты!
Ничто не мелко, жирен всякий шрифт,
Как жир галош и шин, облитых солнцем.

Как праздни дух прошедшего без сна
Такую ночь! Как голубо пылает
Фитиль в мозгу! Как ласков огонек!
Как непоследовательно насмешлив!

'Он вспомнил всех. – Напротив, у молочной,
Рыжел навоз. Чирикал воробей.
Он стал искать той ветки, на которой
На части разрывался, вне себя
От счастья, этот щебет. Впрочем, вскоре
Он заключил, что ветка – над окном,
Ввиду того ли, что в его виду
Перед окошком не было деревьев
Иль от чего еще. – Он вспомнил всех. –
О том, что справа сад, он догадался
' По тени вяза, легшей на панель.
Она блистала, как и подстаканник.

Вдруг с непоследовательностью в мыслях,
Приличною не спавшему, ему
Подумалось на миг такое что-то,
Что трудно передать. В горящий мозг
Вошли слова: любовь, несчастье, счастье,
Судьба, событие, похождение, рок,
Случайность, фарс и фальшь. – Вошли
и вышли.
По выходе никто б их не узнал,
} Как девушек, стриженных машинкой
И пощаженных тифом. Он решил,
Что этих слов никто не понимает.
Что это не названия картин,

Не сцены, но – разряды матерьялов.
Что в них есть шум и вес сыпучих тел,
И сумрак всех букетов москательной.
Что мумией изображают кровь,
Но можно иней начертить сангиной,
И что в душе, в далекой глубине,

Сидит такой завзятый рисовальщик
и иногда рисует lune de miel
куском беды, крошащейся меж пальцев,
куском здоровья – бешеный кошмар,
обломком бреда – светлое блаженство.

В пригретом солнцем синем картузе,
Обдернувшись, он стал спиной к окошку.
Он продавал жестяных саламандр.
Он торговал осколками лазури,
и ящерицы бегали, блеща,
по яркому песку вдоль водостоков,
и щебетали птицы. Шел народ,
и дети разевали рты на диво.
Кормилица царицей проплыла.
За март, в апрель просилось ожерелье,
и жемчуг, и глаза, – кровь с молоком
лица и рук, и бус, и сарафана.

Еще по кровлям ездил снег. Еще
Весна смеялась, вспенив снегу с солнцем.
Десяток парниковых огурцов
был слишком слаб, чтоб в марте дать понятие
о зелени. Но март их понимал
и всем трубил про молодость и свежесть.
1 Медовый месяц (фр.).
250

Из всех картин, что память сберегла,
Припомнилась одна: ночное поле.
Казалось, в звезды, словно за чулок,
Мякина забивается и колет.

Глаза, казалось, Млечный Путь пылит.
Казалось, ночь встает без сил с омета
и сор со звезд сметает. – Степь неслась
рекой безбрежной к морю, и со степью
неслись стога и со стогами – ночь.
На станции дежурил крупный храп,
как пласт, лгавший на листе железа.
На станции ревели мухи. Дождь
звенел об зымзу, словно о подойник.

Из четырех громадных летних дней
Сложило сердце эту память правде.
По рельсам плыли, прорезая мглу,
столбы сигналов, ударяя в тучи,
и резали глаза. Бессонный мозг
тянуло в степь, за шпалы и сторожки.
На станции дежурил храп, и дождь
ленился и вздыхал в листве. – Мой ангел,
ты будешь спать: мне обещала ночь!
Мой друг, мой дождь, нам некуда спешить.
У нас есть время. У меня в карманах –
орехи. Есть за чем с тобой в степи
полночи скоротать. Ты видел? Понял?
Ты понял? Да? Не правда ль, это – то?
Та бесконечность? То обетованье?
и стоило расти, страдать и ждать.
и не было ошибкою родиться?

На станции дежурил крупный храп.

Зачем же так печально опаданье
безумных знаний этих? Что за грусть
роняет поцелуи, словно август,
которого ничем не оторвать
от лиственницы? Жаркими губами

Пристал он к ней, она и он в слезах,
Он совершенно мокр, мокры и иглы...

191

8ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ

Мелькает движущийся ребус,
Идет осада, идут дни,
Проходят месяцы и лета.
В один прекрасный день пикеты,
Сбиваясь с ног от беготни,
Приносят весть: сдается крепость.
Не верят, верят, жгут огни,
Взрывают своды, ищут входа,
Выходят, входят, – идут дни,
10 Проходят месяцы и годы.
Проходят годы, – всё – в тени.
Рождается троянский эпос,
Не верят, верят, жгут огни,
Нетерпеливо ждут развода,
Слабеют, слепнут, – идут дни,
И в крепости крошатся своды.

Мне стыдно и день ото дня стыдней,
Что в век таких теней
Высокая одна болезнь
20 Еще зовется песнь.
Уместно ль песнью звать содом,
Усвоенный с трудом
Землей, бросавшейся от книг
На пики и на штык.
Благими намереньями вымощен ад.
Установился взгляд,
Что, если вымостить ими стихи, –
Простятся все грехи.
Всё это режет слух тишины,
30 Вернувшейся с войны.
А как натянут этот слух, –
Узнали в дни разрух.

В те дни на всех припала страсть
К рассказам, и зима ночами
Не уставала вшами прясть,
Как лошади прядут ушами.
То шевелились тихой тьмы
Засыпанные снегом уши,
И сказками металась мы
40 На мятных пряниках подушек.

Обивкой театральных лож
Весной овладевала дрожь.
Февраль нищал и стал неряшлив.
Бывало, крякнет, кровь откашляв,
И сплюнет, и пойдет тишком
Шептать теплушкам на ушко
Про то да се, про путь, про шпалы.
Про оттепель, про что попало;
Про то, как с фронта шли пешком.
50 Уж ты и спишь, и смерти ждешь.
Рассказчику ж и горя мало:
В ковшах оттаявших калов
Припутанную к правде ложь
Глокает платяная вошь
И прясть ушами не устала.

Хотя зарей чертополох,
Стараясь выгнать тень подлиннее,
Растягивал с трудом таким же
Ее часы, как только мог;

Ахотя, как встарь, проселок влѣк
Колеса по песку в разлог,
Чтоб снова на суглинок вымчать
И вынести вдоль жердей и слег;
Хотя осенний свод, как нынче,
Был облачен, и лес далѣк,
А вечер холоден и дымчат,
Однако это был подлог,
И сон застигнутой врасплох
Земли похож был на родимчик,
70 На смерть, на тишину кладбищ,
На ту особенную тишь,
Что спит, окутав округ целый,
И, вздрагивая то и дело,
Припомнить силится: «Что, бишь,
Я только что сказать хотела?»

Хотя, как прежде, потолок,
Служа опорой новой клетки,
Тащил второй этаж на третий
И пятый на шестой волок,
Внушая сменой подоплѣк,
Что все по-прежнему на свете,
Однако это был подлог,
И по водопроводной сети
Взбирался кверху тот пустой,
Сосущий клетот лихолетья,
Тот, жженный на огне газеты,
Смрад лавра и китайских сой,
Что был нудней, чем рифмы эти,
И, стоя в воздухе верстой,
Как бы бурчал: «Что, бишь, постой,
Имел й нынче съесть в предмете?»

И полз голодную глистой
С второго этажа на третий
И крался с пятого в шестой.
Он славил твердость и застой
И мягкость объявлял в запрете.
Что было делать? Звук исчез
За гулом выросших небес.

Их шум, попавши на вокзал,
За водокачкой исчезал,
Потом их относило за лес,
Где сыпью насыпи казались,
Где между сосен, как насос,
Качался и качал занос,
Где рельсы слепли и чесались,
Едва с пургой соприкасались.
А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
1 Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто.

А сзади, в зареве легенд
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

В сермягу завернувшись, смерд
1 Смотрел назад, где север мерк,
И снег соперничал в усердьи
С сумерничающею смертью.

Там, как орган, во льдах зеркал
Вокзал загадкою сверкал,
Глаз не смыкал и горе мыкал
И спорил дикой красотой
С консерваторской пустотой
Порой ремонтов и каникул.
Невыносимо тихий тиф,
1 колени наши охватив,
Мечтал и слушал с содроганьем
Недвижно лившийся мотив
Сыпучего самосверганья.
Он знал все выемки в органе
И пылью скучивался в швах
Органных меховых рубах.
Его взыскательные уши
Еще упрашивали мглу,
И лед, и лужи на полу
'Безмолвствовать как можно суше.

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Здесь места нет стыду.
Я не рожден, чтоб три раза
Смотреть по-разному в глаза.
Еще двусмысленней, чем песнь,
Тупое слово – враг.
Гощу. – Гостит во всех мирах
Высокая болезнь.
Всю жизнь я быть хотел как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть как я.

Мы были музыкою чашек,
Ушедших кушать чай во тьму
Глухих лесов, косых замашек
И тайн, не льстящих никому.
Трещал мороз, и ведра висли.
Кружились галки, – и ворот
Стыдился застуженный год.
Мы были музыкою мысли,
Наружно сохранявшей ход,
Но в стужу превращавшей в лед
Заслякоченный черный ход.

Но я видал Девятый съезд
Советов. В сумерки сырые
Пред тем обежав двадцать мест,
'Я проклял жизнь и мостовые,
Однако сутки на вторые,
И помню, в самый день торжеств,
Пошел, взволнованный донельзя,
К театру с пропуском в оркестр.

Я трезво шел по трезвым рельсам,
Глядел кругом, и всё окрест
Смотрело полным погорельцем,
Отказываясь наотрез
Когда-нибудь подняться с рельс.
С стенных газет вопрос карельский
Глядел и вызывал вопрос
В больших глазах больных берез.
На телеграфные устои
Садился снег тесьмой густою,
И зимний день в канве ветвей
Кончался, по обыкновенью,

Не сам собою, но в ответ
На поученье. В то мгновенье
Моралью в сказочной канве
Казалась сказка про конвент.
Про то, что гения горячка
Цементу крепче и белей.
(Кто не ходил за этой тачкой,
Тот испытай и поболей.)
Про то, как вдруг в конце недели
На слепнувших глазах творца,
Родятся стены цитадели
Иль крошечная крепостца.

Чреду веков питает новость,
1 Но золотой ее пирог,
Пока преданье варит соус,
Встает нам горла поперек.
Теперь из некоторой дали
Не видишь пошлых мелочей.
Забылся трафарет речей,
И время сгладило детали,
А мелочи преобладали.

Уже мне не прописан фарс
В лекарства ото всех мытарств.
'Уж я не помню основанья
Для гладкого голосованья.
Уже я позабыл о дне,
Когда на океанском дне
В зияющей японской брешу
Сумела различить депешу
(Какой ученый водолаз)
Класс спрутов и рабочий класс.
А огнедышащие горы,
Казалось, – вне ее разбора.
Но было много дел тупей
Классификации Помпей.
Я долго помнил назубок
Кошунственную телеграмму:
Мы посылали жертвам драмы
В смягченье треска фузиямы
Агитпрофсоюзский лубок.

Проснись, поэт, и суй свой пропуск.
Здесь не в обычае зевать.
Из лож по креслам скачут в пропасть
Мета, Ладога, Шексна, Ловать.
Опять из актового зала
В дверях, распахнутых на юг,
Прошло по лампам опахало
Арктических Петровых вьюг.
Опять фрегат пошел на траверс.
Опять, хлебнув большой волны,
Дитя предательства и каверз
Не узнает своей страны.

Всё спало в ночь, как с громким порском
1 Под царский поезд до зари
По всей окраине поморской
По льду рассыпались псары.
Бряцанье шпор ходило горбясь,
Преданье прятало свой рост
За железнодорожный корпус,
Под железнодорожный мост,
Орлы двуглавые в вуали,
Вагоны Пульмана во мгле
Часами во поле стояли,
1И мартом пахло на земле.

Под Порховом в брезентах мокрых
Вздувавшихся верст за сто вод
Со сна на весь Балтийский округ
Зевал пороховой завод.

И уставал орел двуглавый,
По Псковской области кружа,
От стягивавшейся облавы
Неведомого мятежа.
Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карты не попал.
Но быстро таяли запасы
Отмеченных на картах шпал.
Они сорта перебирали
Исципанного полотна.
Везде ручьи вдоль рельс играли,
И будущность была мутна.
Сужался круг, редели сосны,
Два солнца встретились в окне.
Одно всходило из-за Тосна,
Другое заходило в Дне.

Чем мне закончить мой отрывок?
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загривок,
Как шорох молнии шаровой.
Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне,
И вырос раньше, чем вошел.
Он проскользнул неуследимо
'Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот в комнату без дыма
Грозы влетающий комок.
Тогда раздался гул оваций,
Как облегченье, как разряд
Ядра, не властного не рваться
В кольце поддержек и преград.
И он заговорил. Мы помним

И памятники павшим чтим.
Но я о мимолетном. 4гу в нем
В тот миг связалось с ним одним?

Он был как выплц на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
И эта голая картавость
1 Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.
Когда он обращался к фактам,
То знал, что, полоща им рот
Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет.
И вот, хоть и без панибратства,
Но и вольней, чем перед кем,
Всегда готовый к ней придраться,
'Лишь с ней он был накоротке.
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому – страной.

Я думал о происхожденьи
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.
1923, 192

8

ДЕВЯТЬСОТ
ПЯТЫЙ ГОД

В нашу прозу с ее безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахрома.

Еще спутан и свеж первопуток,
Еще чуток и жуток, как весть.
В неземной Новизне этих суток,
Революция, вся ты, как есть.

Жанна д'Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождях, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.

Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из груди огнив.
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.

Отвлеченная грохотом стрельбищ,
Оживающих там, вдалеке,
Ты огни в отчужденье колеблешь,
Точно улицу вертишь в руке.

И в блуждании хлопьев кутежных
Тот же гордый, уклончивый жест:

Как собой недовольный художник,
Отстраняешься ты от торжеств.
Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянья ищешь в ходьбе.
Ты бежишь не одних толстосумов:
Всё ничтожное мерзко тебе.

ОТЦЫ

Это было при нас.
Это с нами вошло в поговорку,
И уйдет.
И, однако,
За быстрюю сменю лет,
Стерся след,
Словно год
Стал нулем меж девятки с пятеркой,
Стерся след,
10 Были нет,
От нее не осталось примет.
Еще ночь под ружьем,
И заря не взялась за винтовку.
И, однако,
Вглядимся:
На деле гораздо светлей.
Этот мрак под ружьем
Погружен
В полусон
20 Забастовкой.

Эта ночь –
Наше детство
И молодость учителей.
Ей предшествует вечер
Крушений,
Кружков и героев,
Динамитчиков,
Дагерротипов,
Гореньядуши.
Ездят тройки по трактам,
Но, фабрик по трактам настроив,
Подымаются Саввы
И зреют Викулы в глуши.

Барабанную дробь
Заглушают сигналы чугунки.
Гром позорных телег –
Громыхание первых платформ.
Крепостная Россия
Выходит
1С короткой приструнки
На пустырь
И зовется
Россию после реформ.

Это – народозольцы,
Перовская,
Первое марта,
Нигилисты в поддевках,
Застенки,
Студенты в пенсне.
} Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится,
Точно во сне.

Да и ближе нельзя:
Двадцатипятилетье – в подпольи.
Клад – в земле.
На земле –
О Обездушенный калейдоскоп.
Чтобы клад откопать,
Мы глаза
Напрягаем до боли.
Покорясь его воле,
Спускаемся сами в подкоп.

Тут бывал Достоевский.
Затворницы ж эти,
Не чаяв,
Что у них,
Что ни обыск,
То вывоз реликвий в музей,
Шли на казнь
И на то,
Чтоб красу их подпольщик Нечаев
Скрыл в земле,
Утаил
От времен и врагов и друзей.
Это было вчера,
И, родись мы лет на тридцать раньше,
1 Подойди со двора,
В керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,
Что те лаборантши –

Наши матери
Или
Приятельницы матерей.

Моросит на дворе.
Во дворце улеглась суматоха.
Тухнут плошки.
Теплынь.
Город вымер и словно оглох.
Облетевшим листом
И кладбищенским чертополохом
Дышит ночь.
Ни души.
Дремлет площадь,
И сон ее плох.
Но положенным слогом
Писались и нынче доклады,
И в неведеньи бед
За Невою пролетка гремит.
А сентябрьская ночь
Задышается
Тайною клада,
И Степану Халтурину
Спать не дает динамит.

Эта ночь простоит
В забытьи
До времен Порт-Артура.
Телеграфным столбам
Будет дан в вожаки эшафот.
Шепот жертв и депеш,
Участья,
Усыпит агентуру,
И тогда-то придет
Та зима,
Когда все оживет.

Мы родимся на свет.
1 Как-нибудь
Предвечернее солнце
Подзовет нас к окну.
Мы одухотворим наугад
Непривычный закат,
И при зрелище труб
Потрясемся,
Как потрясся,
Кто б мог
Оглянуться лет на сто назад.

} Точно Лаокоон,
Будет дым
На трескучем морозе,
Оголясь,
Как атлет,
Обнимать и валить облака.
Ускользящий день
Будет плыть
На железных полозьях
Телеграфных сетей,
Открывающихся с чердака.

А немного спустя
И светя, точно блудному сыну,
Чтобы шеи себе
Этот день не сломал на шоссе,
Выйдут с лампами в ночь
И с небес

Будут бить ему в спину
Фонари корпусов
Сквозь туман,
'Полоса к полосе.

ДЕТСТВО

Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще – школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху,
Мастерская отца.
В расстоянья версты,
Где столетняя пыль на Диане
И холсты,
10 Наша дверь.
Пол из плит
И на плитах грязца.

Это – дебри зимы.
С декабря воцаряются лампы.
Порт-Артур уже сдан,
Но идут в океан крейсера,
Шлют войска,
Ждут эскадр,
И на старое зданье почтамта
Смотрят сумерки,
Краски,
Палитры
И профессора.

Сколько типов и лиц!
Вот душевнобольной.
Вот тупица.
В этом теплится что-то.
А вот совершенный щенок.
8 классах яблоку негде упасть
1и жара как в теплице.
Звон у Флора и Лавра
Сливается
С шарканьем ног.

Как-то раз,
Когда шум за стеной,
Как прибой, неослабен,
Омут комнат недвижим
И улица газом жива, –
Раздается звонок,
] Голоса приближаются: –
Скрябин.
О, куда мне бежать
От шагов моего божества!

Близость праздничных дней,
Четвертные.
Конец полугодья.
Искрясь струнным нутром,
Дни и ночи
Открыт инструмент.
9 сочиняй хоть с утра,
Дни идут.
Рождество на исходе.
Сколько отдано елкам!
Петербургская ночь.
Воздух пучится черною льдиной
От иглистых шагов.

Никому не чинится препон.
Кто в пальто, кто в тулупе.
Луна холодеет полтиной.
Это в Нарвском отделе.
Толпа раздается:
Гапон.
В зале гул.
Духота.
Тысяч пять сосчитали деревья.
Сеясь с улицы в сени,
По лестнице лепится снег.
Здесь родильный приют,
*И в некрашеном сводчатом чреве
Бьется об стены комнат
Комком неприкрашенным
Век.
Пресловутый рассвет.
Облака в куманике и клюкве.
Слышен скрип галерей,
И клубится дыханье помой.
Выбегают, идут
С галерей к воротам,
> Под хоругви,
От ворот – на мороз,
На простор,
Подожженный зимой.
Восемь громких валов
И девятый,
Как даль, величавый.
И хоть бы вот столько взамен.
Шапки смыты с голов.
Спаси, Господи, люди Твоя.
Слева – мост и канава,
Направо – погост и застава,
Сзади – лес,
Впереди –
Передаточная колея.

На Каменноостровском.
Панели стоят на ходулях.
Смотрят с тумб и киосков.
За шествием плещется хвост
Разорвавших затвор
Перекрестков
И льющихся улиц.
Демонстранты у парка.
Выходят на Троицкий мост.

Восемь залпов с Невы
И девятый.
Усталый, как слава.
Это –
(Слева и справа
Несутся уже на рысях.)
Это –
'(Дали орут:
Мы сочтемся еще за расправу.)
Это рвутся
Суставы
Династии данных
Присяг.

Тротуары в бегущих.
Смеркается.
Дню не подняться.
Перекату пальбы
1 Отвечают
Пальбой с баррикад.

Мне четырнадцать лет.
Мы играем в снежки.
Мы их мнем из валящихся с неба
Единиц,
И снежинок,
И толков, присущих поре.
Этот оползень царств,
Это пьяное паданье снега –
Гимназический двор
На углу Поварской
В январе.
Что ни день, то метель.
Те, что в партии,
Смотрят орлами.
Это в старших.
А мы:
Безнаказанно греку дерзим.
Ставим парты к стене,
На уроках играем в парламент
И витаем в мечтах
В нелегальном районе Грузин.
Снег идет третий день.
Он идет еще под вечер.
За ночь
Проясняется.
Утром –
Громовый раскат из Кремля:
Попечитель училища...
На смерть...
Сергей Александрович...
Я грозу полюбил
В эти первые дни февраля.
Через месяц мне будет пятнадцать.
Эти дни: как дневник.
В них читаешь,
Открыв наугад.
МУЖИКИ И ФАБРИЧНЫЕ
Еще в марте
Буря
Засыпает все краски на карте.
Нахлобучив башлык,
Отсыпается край,
Как сурок.
Снег лежит на ветвях,
В проводах,
В разветвлениях партий,
10 На кокардах драгун
И на шпалах железных дорог.
Но не радуется даль.
Как раздолье собой ни любуйся, –
Верст на тысячу вширь
В небеса,
Как сивушный отстой,
Ударяет нужда
Перегарами спертого буйства.
Ошибает
20 На стуже
Стоградусною нищетой.
И уж вот
У господ
Расшибают пожарные снасти,
И громадами зарев
Командует море бород.
И уродует страсть,
И орудут конные части,
И бушует:
30 Вставай,
Подымайся,

Рабочий народ.
И бегут, и бегут,
На санях,
Через глушь перелесиц,
В чем легли,
В чем из спален
Спасались,
Спаленные в пух.
И весь путь
В сосняке
Ворожит замороженный месяц.
И торчит копылом
И кривляется
Красный петух.
Нагибаясь к саням,
Дышат ели,
Дымятся и ропщут.
Вон огни.
Там уезд.
Вон исправника дружеский кров.
Еще есть поезда.
Еще толки одни о всеобщей:
Забастовка лишь шастает
Лето.
Май иль июнь.
Паровозный Везувий под Лодзью.
В воздух вогнаны гвозди.
Отеки путей запеклись.
В стороне от узла
Замирает
Грохочущий отзыв:
Это сыплются стекла
И струпя
Расстрелянных гильз.
Началось как всегда.
Столкновение с войсками
В предместьи
1 Послужило толчком.
Были жертвы с обеих сторон.
По мостовым городов.
Но рабочих зажгло
И исполнило жаждою мести
Избиенье толпы,
Повторенное в день похорон.

И тогда-то
Загрохали ставни,
И город,
Артачась,
Оголенный,
Без качеств,
И каменный, как никогда,
Стал собой без стыда.
Так у статуй,
Утративших зрячесть,
Пробуждается статность.
Он стал изваяньем труда.

Днем закрылись конторы.
С пяти прекратилось движенье.
1 По безжизненной Лодзи
Бензином
Растекся закат.
Озлобленье рабочих
Избрало разъезды мишенью.
Обезлюдивший город
Опутала сеть баррикад.

В ночь стянули войска.
Давши залп с мостовой,
Из-за надолб,
1С баррикады скрывались
И, сдав ее, жарили с крыш.
С каждым кругом колес артиллерии
Кто-нибудь падал
Из прислуги,
И с каждой
Пристяжкой
Падал престиж.

МОРСКОЙ МЯТЕЖ
Придается всё.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
10 Море,
И сводишь, и сводишь на нет.

Ты на куче сетей.
Ты курлычешь,
Как ключ, балагурия,
И, как прядь за ушком,
Чуть щекочет струя за кормой.
Ты в гостях у детей.
Но какую неслыханной бурей
Отзываешься ты,
20 Когда даль тебя кличет домой!

Допотопный простор
Свирепеет от пены и сипнет.
Расторопный прибой
Сатанеет
От прорвы работ.
Все расходится врозь
И по-своему воет и гибнет
И, свинея от тины,
По сваям по-своему бьет.

30 Пресноту парусов
Оттесняет назад
Одинакость
Помешавшихся красок,
И близится ливня стена.
И все ниже спускается небо,
И падает наось,
И летит кувырком,
И касается чайками дна.
Всё сбиралось всхрапнуть.
И карабкались крабы,
И к центру
Тяжелевшего солнца
Клонились головки репья.
И мурлыкало море,
В версте с половиной от Тендра,
Серый кряж броненосца
Оранжевым крапом
Рябя.
Солнце село.
И вдруг
Электричеством вспыхнул «Потемкин».
Со спардека на камбуз

Нахлынуло полчище мух.
Мясо было с душком...
И на море упали потемки.
Свет брюзжал до зари
и забрезжившим утром потух.

Гальванической мглой
Взбаламученных туч
Неуклюже,
Вперевалку, ползком,
Пробираются в гавань суда.
Синеногие молнии
Лягушками прыгают в лужу.
Голенастые снасти
Швыряет
Туда и сюда.
Глыбы
Утренней зыби
Скользнули,
Как ртутные бритвы,
По подножью громады,
И, глядя на них с высоты,
Стал дышать броненосец
и ожил.
Пропели молитву.
Стали скатывать палубу.
Вынесли в море щиты.

За обедом к котлу не садились
'И кушали молча
Хлеб да воду,
Как вдруг раздалось:
– Все на ют!
По местам!
На две вахты! –
И в кителе некто,
Чернея от желчи,
Гаркнул:
– Смирно! –
} с буксирного кнехта
Грозь семистам.

– Недовольство?!
Кто кушать – к котлу,
Кто не хочет – на рею.
Выходи! –
Вахты замерли, ахнув.
И вдруг, сообщая,
Устремились в смятеньи
От кнехта
'Бегом к батарее.
– Стой!
Довольно! –
Вскричал
Озверевший апостол борща.
Часть бегущих отстала.
Он стал поперек.
– Снова шашни?! –
Он скомандовал:
– Боцман,
110 Брезент!
Караул, оцепить! –
Остальные,
Забившись толпой в батарейную башню,
Ждали в ужасе казни,
Имевшей вот-вот наступить.

Шибко бились сердца.

И одно,
Не стерпевшее боли,
Взвыло:
120 – Братцы!
Да что ж это! –
И, волоса шевеля,
– Бей их, братцы, мерзавцев!
За ружья!
Да здоровствует воля! –
Лязгом стали и ног
Откатилось
К ластам корабля.

И восстанье взвилось,
130 Шелестя,
До высот за бизанью,
И раздулось,
И там
Кистенем
Описало дугу.
– Что нам взапуски бегать!
Да стой же, мерзавец!
Достану! –
Трах-тах-тах...
Вынос кисти по цели
140 И залп на бегу.
Трах-тах-тах...
И запрыгали пули по палубам,
С палуб,
Трах-тах-тах...
По воде,
По пловцам.
– Он еще на борту?! –
Залпы в воду и в воздух.
150-Ага!
Ты звереешь от жалоб?! –
Залпы, залпы.
И за ноги за борт,
И марш в Порт-Артур.

А в машинном возились,
Не зная еще хорошенько,
Как на шканцах дела,
Когда, тенью проплыв по котлам,
По машинной решетке
160 Гигантом
Прошел
Матюшенко
И, нагнувшись над адом,
Вскричал:
– Степа!
Наша взяла!

Машинист поднялся.
Обнялись.
– Попробуем без нянек.
170 Будь покоен!
Под стражей.
А прочим по пуле – и вплавь.
Я зачем к тебе, Степа, –
Каков у нас младший механик?
Есть один.
Ну и ладно,
Ты мне его наверх отправь.
День прошел.
На заре,
1 Облачась в дымовую завесу,
Крикнул в рупор матросам матрос:

– Выбирай якоря! –
Голос в облаке смолк.
Броненосец пошел на Одессу,
По суровому кряжу
Оранжевым крапом
Горя.

СТУДЕНТЫ
Бауман!
Траурным маршем
Ряды колыхавшее имя!
Шагом,
Кланяясь флагам,
Над полной голов мостовой
Волочились балконы,
По мере того
Как под ними
10 Шло без шапок:
«Вы жертвою пали
В борьбе роковой».

С высоты одного,
Обеспамятев,
Бросился сольный
Женский альт.
Подхватили.
Когда же и он отрыдал,
Смолкло все.
20 Стало слышно,
Как колет мороз колокольни.
Вихри сахарной пыли,
Свистя,
Пронеслись по рядам.
Хоры стихли вдали.
Залохматилась тьма.
Подворотни
Скрыли хлопья.
Одернув
Передники на животе,
К Моховой от Охотного
Двинулась черная сотня,
Соревнуя студенчеству
В первенстве и правоте.

Где-то долг отдавался последний,
И он уже воздан.
Молкнет карканье в парке,
И прах на Ваганькове –
Нем.
1 На погостной траве
Начинают хозяйничать
Звезды.
Небо дремлет,
Зарывшись
В серебряный лес хризантем.
Тьма.
Плутанье без плана,
И вдруг,
Как в пролете чулана,
Угол улицы – в желтом ожоге.
На площади свет!
Вьюга лошадью пляшет буланой,
И в шапке улана
Пляшут книжные лавки,
Манеж
И университет.

Ходит, бьется безлюдье,

Бросая бессонный околыш
К кровле книжной торговли.
} Но только
В тулью из огня
Входят люди, она
Оглашается залпами –
«Сволочь!»
Замешательство.
Крики:
«Засада!
Назад!»
Беготня.

' Ворота на запоре.
Ломай!
Подаются.
Пролеты,
Входы, вешалки, своды.
«Позвольте. Сойдите с пути!»
Ниши, лестницы, хоры.
Шинели, пробирки, кислоты.
«Тише, тише,
Кладите.
' Без пульса. Готов отойти».

Двери врозь.
Вздых в упор
Купороса и масляной краски.
Кольты прочь,
Польта на пол,
К шкапам, засуча рукава.
Эхом в ночь:
«Третий курс!
В реактивную, на перевязку!»
' «Снегом, снегом, коллега».
– Ну, как?
«Да куда. Чуть жива».

А на площади группа.
Завейный тьмой Ломоносов.
Лужи теплого вара.
Курящийся кровью мороз.
Трупы в позах полета.
Шуршащие складки заноса.
Снято снегом,
Проявлено
Вечностью, разом, вразброс.

Мыльный звон пузырей.
Это в колбы палатных беспамятств
Вмуровалось
Сквозь стенку
Несущейся сходки вытье:
«Протестую. Долой!»
Двери вздрагивают, упрямясь,
Млечность матовых стекол
И марля на лбах.
Забытье.

МОСКВА В ДЕКАБРЕ

Снится городу:
Всё,
Чем кишит,
Исключая шпионства,
Озаренная даль,
Как на сыплющееся пшено,

Из окрестностей Пресни
Летит
На Трехгорное солнце,
10 И купается в просе,
И просится
На полотно.

Солнце смотрит в бинокль
И прислушивается
К орудьям.
Круглый день на закате
И круглые дни на виду.
Прудовая заря
Достигает
До пояса людям,
И не выше груди
Баррикадные ramпы во льду.

Беззаботные толпы
Снуют,
Как бульварные крали.
Сутки,
Круглые сутки
Работают
Поршни гульбы.
'Ходят гибели ради
Глядеть пролетарского Граля,
Шутят жизнью,
Смеются,
Шатают и валят столбы.

Вот отдельные сцены.
«Аквариум».
Митинг.
О чем бы
Ни кричали внутри,
9 За сигарой сигару куря,
В вестибюле дуреет
Дружинник
С фитильною бомбой.
Трут во рту. Он сосет
Эту дрянь,
Как запал фонаря.

И в чаду, за стеклом
Видит он:
Тротуар обезродел.
0 И еще видит он:
Расскакавшись
На снежном кругу,
Как с летящих ветвей,
Со стремян
И прямящихся сёдел,
Спешась, градом,
Как яблоки,
Прыгают
Куртки драгун.

На десятой сигаре,
Тряхнув театральной дверью,
Побледневший курильщик
Выходит
На воздух,
Во тьму.
Хорошо б отдышаться!
Бабах...
И – как лошади прерий –
Табуном,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Врассыпную –
И сразу легчает ему.

Шашки.
Бабы платки.
Бакенбарды и морды вогулок.
Густо бредят костры.
Ну и кашу мороз заварил!
Гулко ухаает в фидлерцев
Пушкой
Машков переулок.
* Полтораستا борцов
Против тьмы без числа и мерил.

После этого
Город
Пустеет дней на десять кряду.
Исчезает полиция.
Снег неисслежен и цел.
Кривизну мостовой
Выпрямляет
Прицел с баррикады.
Вымирает ходок
И редчает, как зубр, офицер.

Всюду груды вагонов,
Завещанных конною тягой.
Электрический ток
Только с год
Протянул провода.
Но и этот, поныне
Судящийся с далью сутяга,
Для борьбы
Всю как есть
Отдает свою сеть без суда.

Десять дней, как палят
По Миусским конюшням
Бутырки.
Здесь сжились с трескотней,
И в четверг,
Как смолкает пальба,
Взоры всех
Устремляются
'Кверху,
Как к куполу цирка:
Небо в слухах,
В трапециях сети,
В трамвайных столбах.

Их – что туч.
Все черно.
Говорят о конце обороны.
Обыватель устал.
Неминуемо будет праветь.
'«Мин и Риман», –
Гремят
На заре
Переметы перрона,
И Семеновский полк
Переводят на Брестскую ветвь.
Значит, крышка?
Шабаш?
Это после боев, караулов
Ночью, стужей трескучей,
С винчестерами, вшестером?..
Перед ними бежал
И подошвы лизал

Переулоч.
Рядом сад холодел,
Шелестя ледяным серебром.

Но пора и собираться.
Смеркается.
Крепнет осада.
В обручах канонады
Сараи как кольца горят.
Как воронье гнездо,
Под деревья горящего сада
Сносит крышу со склада,
Кружась,
Бесноватый снаряд.

Понесло дураков!
Это надо ведь выдумать:
В баню!
Переждать бы смекнули.
'Добро, коли баня цела.
Сунься за дверь – содом.
Небо гонится с визгом кабаньим
За сдуревшей землей.
Топот, ад, голошенье котла.

В свете зарева
Наспех
У Прохорова на кухне
Двое бороды бреют.
Но делу бритьем не помочь.
'Точно мыло под кистью,
Пожар
Наплывает и пухнет.
Как от искры,
Пылает
От имени Минова ночь.
Всё забилося в подвалы.
Крепиться нет сил.
По заводам
Темный ропот растет.
Белый флаг набивают на жердь.
Кто ж пойдет к кровопийце?
Известно кому, – коноводам!
Топот, взвизги кабаньи, –
На улице верная смерть.
Ад дымит позади.
Пуль не слышно.
Лишь вьюги порханье
Бороздит тишину.
Даже жутко без зарев и пуль.
1 Но дымится шоссе,
И из вихря –
Казачи верхами.
Стой!
Расспросы и обыск,
И вдаль улетает патруль.
Было утро.
Простор
Открывался бежавшим героям.
Пресня стлалась пластом,
'И, как смятый грозой березняк,
Роем бабьих платков
Мыла
Выступы конного строя
И сдавала
Смирителям
Браунинги на простынях.
Июль 1925–февраль 1926

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Поля и даль распластывались эллипсом.
Шелка зонтов дышали жаждой грома.
Палящий день бездонным небом целился
В трибуны скакового ипподрома.

Народ потел, как хлебный квас на леднике,
Привороженный таяньем дистанций.
Крутясь в смерче копыт и наголенников,
Как масло били лошади пространство.

А позади размерно-бьющим веяньем
Какого-то подземного начала
Военный год взвивался за жокеями
И лошадьми и спицами качалок.

О чем бы ни шептались, что бы не пили,
Он рос кругом, и полз по переходам,
И вмешивался в разговор, и пепельной
Щепоткою примешивался к водам.

Все кончилось. Настала ночь. По Киеву
Пронесся мрак, швыряя ставень в ставень.
И хлынул дождь. И вот как дни Батыевы,
Ушедший день стал странно стародавен.

2

«Я вам писать осмеливаюсь. Надо ли
Напоминать? Я тот моряк на дерби.
Вы мне тогда одну загадку задали.
А впрочем, после, после. Время терпит.

Когда я увидел вас... Но до этого
Я как-то жил и вдруг забыл об этом,
И разом начал взглядом вас преследовать,
И потерял в толпе за турникетом.

Когда прошел столбняк моей бестактности,
Я спохватился, что не знаю, кто вы.
Дальнейшее известно. Трудно стакнуться,
Чтоб встретиться столь баснословно снова.

Вы вдумались ли только в то, какое здесь
Раздолье вере! – Оскорбиться взглядом,
Пропасть в толпе, случиться ночью в поезде,
Одернуть зонт и очутиться рядом!»

3

Над морем бурный рубчик
Рубиновой зари.
А утро так пустынно,
Что в тишине, граничащей
С утратой смысла, слышно,
Как, что-то силясь вытащить,
Гремит багром пучина
И шарит солнце по дну,
И щупает багром.

И вот в клоаке водной
Отыскан диск всевидящий.
А Севастополь спит еще,
И утро так пустынно,
Кругом такая тишь,

Что на вопрос пучины, –
Откуда этот гром,
В ответ пустые пристани:
От плеска волн по диску,
От пихт, от их неистовства,
От стука сонных лиственниц
О черепицу крыш.

Известно ли, как влюбчиво
Бездомное пространство,
Какое море ревности
К тому, кто одинок!
Как по извечной странности
Родимый дух почувствовав,
Летит в окошко пустошь,
Как гость на огонек?
'Известно ль, как навязчива
Доверчивость деревьев.
Как, в жажде настоящего,
Ночная тишина,
Порвавши с ветром с вечера,
Порывом одиночества
Влетает, как налетчица,
К не знающему сна?
За неимением лучшего
Он ей в герои прочится,
известно ли, как влюбчива
Тоска земного дна?

Заре, корягам якорным,
Волнам и расстояньям
Кого-то надо выделить,
Спасти и отстоять.
По счастью, утром ранним
В одноэтажном флигеле
Не спит за перепиской
Таинственный моряк.

} Всю ночь он пишет глупости,
Вздремнет – и скок с дивана.
Бежит в воде похлопаться
И снова на диван.
Потоки света рушатся,
Урчат ночные ванны,
Найдет волна кликушества,
Он сизнова под кран.

«Давайте посчитаемся.
Едва сюда я прибыл,
'Я все со дня приезда
Вношу для вас в реестр,
И вам всю душу выболтал
Без страха, как на таинстве,
Но в этом мало лестного,
И тут великий риск.
Опасность увеличится
С течением дней дождливых.
Моя словоохотливость
Заметно возрастет.
1 Боюсь, не отпугнет ли вас
Тогда моя болтливость,
Вы отмолчитесь, скрытчица,
Я ж выболтаюсь вдрызг.

Вы скажете – ребячество.
Но близятся события.
А ну как в их разгаре
Я скроюсь с ваших глаз,

Едва ль они насытятся
Одной живую тварью:
Ваш образ тоже спрячется,
Мне будет не до вас.
Я оглушусь их грохотом
И вряд ли уцелею.
Я прокачусь их эхом,
А эхо длится миг.
И вот я с просьбой крохотной:
Ввиду моей затеи
Нам с вами надо б съехаться
До них и ради них».

4

Октябрь. Кольцо забастовок.
О ветер! О ада исчадьё!
И моря, и грузов, и клади
Летающие пряди.
О буря брошюр и листовок!
О слякоть! О темень! О зовы
Сирен, и замки, и засовы
В начале шестого.
От тюрем – к брошюрам и бурям.
О ночи! О вольные речи!
И залпам навстречу – увечья
Отвесные свечи!
О кладбище в день погребенья!
И в лад лейтенантовой клятве
Заплаканных взглядов и платьев
Кивки и объятья!
О лестницы в крепе! О пенье!
И хором в ответ незнакомцу
Сотысячной бронзой о бронзу:
Клянись! Клянемся!
О вихрь, обрывающий фразы,
Как клены и вязы! О ветер,
Щадящий из связей на свете
Одни междометья!
Ты носишь бушующей гладью:
«Потомства и памяти ради
Ни пяди обратно! Клянись!»
«Клянемся. Ни пяди!»

5

Постойте! Куда вы? Читать? Не дотолчетесь!
Всё сперлось в беспорядке за фортами, и земля,
Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
Парит растрепой по ветру, как бог пошлет,
крыля.

Еще вчерашней ночью гуляющих заботил
Ежевечерний очерк севастопольских валов,
И воронье редутов из вереницы метел
В полете превращалось в стаю песьих голов.

Теперь на подъездах расклеен оттиск
Сырого манифеста. Ничего не боясь,
Ни о чем не заботясь, обкладывает подпись
Подклейстеренным пластырем следы
недавних язв.

Даровать населенью незыблемые основы
Гражданской свободы. Установить,
чтоб никакой...

И, зыбким киселем заслякотив засовы,
На подлинном собственной его величества
рукой.

Хотя еще октябрь, за дряблой дрожью ветел
Уже набрякли сумерки хандрою ноября.

Виной ли манифест, иль дождик разохотил, –
Саперы месяц слякоть, и гуляют егеря.
Дан в Петергофе. Дата. Куда? Свои! Не бойтесь!
В порту торговом давка. Солдаты, босяки.
Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
Висят замки в отеках картофельной муки.

6

Три градуса выше нуля.
Продрогшая земля.
Промозглое облако во сто голов
Сечет крупной подошвы стволов,
И, лоском олова берясь
На градоносном бризе,
Трепещет листьев неприязнь
К прикосновенью слизи.
И голая ненависть листьев и лоз
Краснеет до корней волос.
Не надо. Наземь. Руки врозь!
Готово. Началось.
Айва, антоновка, кизил
И море Черное вблизи:
Ращенье гор, и переворот,
И в уши и за уши, изо рта в рот.
Ушаты холода. Куски
Гребнистой, ослепленно скотской,
В волненьи глотающей волны, как клецки,
20 Сквозной, ристалищной тоски.
Агония осени. Антагонизм
Пехоты и морских дивизий
И агитаторша–девица
С жаргоном из аптек и больниц.
И каторжность миссии: переорать
(Борьба, борьбы, борьбе, борьбою,
Пролетарьят, пролетарьят)
Иронию и соль прибора,
Родящую мятеж в ушах
30 В семидесяти падежах.
И радость жертвовать собою.
И – случая слепой каприз.
Одышливость тысяч в бушлатах по–флотски,
Толпою в волненьи глотающих клецки
Немыслимых слов с окончаньем на изм,
Нерусских на слух и неслыханных в жизни,
(А разве слова на казенном карнизе
Казармы, а разве морские бои,
А признанные отчизной слои –
40 Свои?!)
И упоенье героини,
Летящей из времен над синей
Толпою, – головою вниз,
По переменной атмосфере
Доверия и недоверья
В иронию соленых брызг.
О государства истукан,
Свободы вечное преддверье!

Из клеток крадутся века,
По колизею бродят звери,
И проповедника рука
Бесстрашно крестит клеть сырую,
Пантеру верой дрессируя,
И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт.

7

Вдруг кто-то закричал: пехота!
Настал волненья апогей.
Амуниторный шорох роты
Командой грохнулся: к ноге!
В ушах шатался шаг шоссейный,
И вздрагивал, и замирал.
По строю с капитаном Штейном
Прохаживался адмирал.

«Я б ждть не стал, чтоб чирей вызрел.
'Я б гнал и шпарил по пятам.
Предлогов тьма. Случайный выстрел,
И – дело в шляпе, капитан».
«Parlez plus bas! – заметил сухо
другой. – Притом я не оглох.
Подумайте, какого слуха
Коснуться может диалог».
1 Говорите потише (фр.).
297

Шагах в восьми, вполоборота,
В струеньи лент, как в вымпелах,
Верста матросских подбородков
1 Гулявших взглядами жрала.
И вот, едва ушей отряда
Достиг шуточный разговор,
Как грянуло два данных кряду
Нежданных выстрела в упор.

Всё заслонило передрягой.
Изгладилось, как, побелев,
«Ты прав!» – вскричал матрос с «Варяга»,
Георгиевский кавалер.
Как, дважды приложась с колена, –
Шварк об землю ружье и вмиг
Привстал и, точно куртка тлея,
Стал рвать душивший воротник.
И слышал: одного смертельно,
И знал – другого наповал.
И рвал гайтан, и тискал тельник,
И ребер сдерживал обвал.

А уж перекликались с плацем
Дивизии. Уже копной
Ползли и начинали стлаться
Сигналы мачты позывной.
И вдруг зашевелилось море.
Взвились эскадры языки,
И дернулись в переговоре
Береговые маяки.

«Ведь ты – не разобрал, без злобы,
Ты стой на том и будешь цел».
– «Нет, вашество, белить не пробуй.
Я вздраве наводил прицел».
«Тогда», – и вдруг застряло слово –
1 Кругом, что мог окинуть глаз:
«Ты сам пропал и арестован», –
Восстанья присказка вилась.

8«Вообрази, чем отвратительней
Действительность, тем письма глаже.
Я это проверил на "Трех Святителях",
Гдр третий день содержишь под стражей.

Покамест мне бояться нечего,
Да и – неробкого десятка.

Прими нелепость происшедшего
Без горького осадка.

И так как держать меня ровно не за что,
То и покончим с этим делом.
Вот как спастись от мыслей, лезущих
Без отступа по суткам целым?

Припомнишь мать, и опять безоглядно
Жизнь пролетает в караване
Изголодавшихся и радужных
Надежд и разочарований.

Оглянешься, – картина целостней.
Чем больше было с нею розни,
Чем чаще думалось: что делать с ней? –
Тем и ее ответ серьезней.

И снова я в морском училище.
О, прочь отсюда, на минуту
Вдохнувши мерзости бессильящей!
Дивлюсь, как цел ушел оттуда.

Ведь это там, на дне военщины
Навек ребенку в сердце вкован
Облитый мукой облик женщины
В руках поклонников Баркова.

И вновь я болен ей, и ратую
Один, как перст, средь мракобесья,
Как мальчиком в восьмидесятые.
Ты помнишь эту глушь репрессий,

А помнишь, я приехал мичманом
К вам на лето, на перегибе
От перечитанного к личному, –
Еще мне предрекали гибель?

Тебе пришлось отца задабривать.
Ему, контр-адмиралу, чуден
Остался мой уход... на фабрику
Сельскохозяйственных орудий.

Взгляни ж теперь, порою выводов
При свете сбывшихся иллюзий
На невидаль того периода,
На брдта в выпачканной блузе».

9
Окрестности и крепость,
Затянутые репсом,
Терялись в ливне обложном,
Как под дорожным кожаном.
Отеки водянки
Грязнили горизонт,
Суда на стоянке
И гарнизон.
С утра тянулись семьями
Мещане по шоссе
Различных орьентаций,
Со странностями всеми,
В ландо, на тарантасе,
В повальном бегстве все.

У города со вторника
Утроилось лицо:
Он стал гнездом затворников,
*Вояк и беглецов.

Пред этим, в понедельник,
В обеденный гудок –
Обезголосел эллинг.
И обезлюдил док.
Развертывались порознь,
Сошлись невпроворот
За слесарно-сборочный
У выходных ворот.

Солдатки и служанки
Исчезли с мостовых
В вихрях «Варшавянки»
И мастеровых.
Влились в тупик казармы
И – вон из тупика,
Клубясь от солидарности
Брестского полка.

Тогда, и тем решительней,
Чем шире рос поток,
Встревоженные жители
Пустились наутек.
Но железнодорожники
Часам уже к пяти
Заставили порожними
Составами пути.
Дорогой, огибавшей
Военный порт, с утра
Катились экипажи,
Мелькали кучера.
Безмолвствуя, потерянно
Струями вис расцвет,
Толстый, как материя,
1 как бисерный кисет.

Деревья всех рисунков
Сгибались в три дуги
Под ранцами и сумками
Сумрака и мги.
Вуали паутиной
Топырились по ртам.
Столбы, скача под шины,
Несли ко всем чертям.
Майорши, офицерши
} Запахивали плащ.
Вдогонку им, как шершень,
Свистел шоссейный хрящ.
Вставали кипарисы;
Кивали, подходя;
Росли, чтоб испариться
В кисее дождя.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1
Вырываясь с моря, из-за почты,
Ветер прет на ощупь, как слепой,
К повороту, несмотря на то что
Тотчас же сшибается с толпой.
Он приперт к стене ацетиленом,
Втопан в грязь, и несмотря на то,
Трын-трава и – море по колено:
Дует дальше с той же прямоюй.
Вот он бьется, обваривши харю,
10 За косою рамой фонаря
И уходит, вынырнув на паре
Торопливых крыл нетопыря.

У матросов, несмотря на пору

И порывы ветра с пустыря,
На дворе казармы – шум и споры
Этой темной ночью ноября.
Их галдит за тысячу, и каждым,
Точно в бурю вешний буерак,
Разворочен, взрыт и взбудоражен
20 и буграми поднят этот мрак.

Пахнет волей, мокрою картошкой,
Пахнет почвой, норками кротов,
Пахнет штормом, несмотря на то что
Это шторм в открытом море ртов.
Тары-бары, шутки балагура,
Слухи, толки, шарканье подошв
Так и ходят вокруг одной фигуры,
Как распространившийся падёж.

Ходит слух, что он у депутатов,
30 Ходит слух, что едет в комитет,
Ходит слух – и вот как раз тогда-то
Нарастает что-то в темноте,
И, глуша раскатами догадки
И сметая со всего двора
Караулки, будки и рогатки,
Катится и катится ура.

С первого же сказанного слова
Радость покидает берега.
Он дает улечься ей, и снова
Удесятеряет ураган.
Долго с бурей борется оратор.
Обожанье рвется на простор.
Не словами, – полной их утратой
Хочет жить и дышит их восторг.
Это объяснение исполинов.
Он и двор обходятся без слов.
Если с ними флаг, то он – малинов.
Если мрак за них, то он – лилов.
Всё же раз доносится: эскадра.
'Это с тем, чтоб братья, да с умом.
И потом другое слово: завтра.
Это, верно, о себе самом.

2

Дорожных сборов кавардак.
«Твоя», твердящая упрямо
С каракулями на бортах,
Сырая сетка телеграммы.

«Мне тридцать восемь лет. Я сед,
Не обернешься, глядь – кондрашка».
И с этим об пол хлоп портплед,
Продернув ремешки сквозь пряжки.

И на карачках под диван,
1 Потом от чемодана к шкапу... –
Любовь, горячка, караван
Вещей, переселенных на пол.
Как вдруг звонок, и кабинет
В перекосившемся: о Боже!
И рядом: «Папы дома нет».
И грохотанье ног в прихожей.

Но двери настезь, и в дверях:
«Я здесь. Я враг кровопролитья».
И ужас нравственных нерях:
«Тогда какой же вы политик?»

Вы революционер? В борьбу
Не вяжутся в перчатках дамских».
– «Я собираюсь в Петербург.
Не убеждайте. Я не сдамся».

З
Подросток–реалист,
Разняв драпри, исчез
С запиской в глубине
Отцова кабинета.
Пройдя в столовую
И уши новострив,
Матрос подумал:
«Хорошо у Шмидта».

Было это в ноябре,
Часу в четвертом.
Смеркалось.
Скромность комнат
Спорила с комфортом.
Минуты три извне
Не слышалось ни звука
В уютной, как каюта,
Конуре.

Лишь по кутерьме
Пылинок в пятерне портьеры,
Несмело шмыгавших
По книгам, по кошме
И окнам запотелым,
Видно было:
Дело –
К зиме,
Минуты три извне
Не слышалось ни звука
В глухой тиши, как вдруг
За плотными драпри
Проклятья раздались
Так явственно,
Как будто тут внутри.

– Чухнин! Чухнин?!
Погромщик бесноватый!
Виновник всей брехни!
Разоружать суда?
Нет, клеветник,
Палач,
Инсинуатор,
'Я научу тебя, отродье ката, отличать
От правых виноватых!
Я Черноморский флот, холоп и раб,
Забью тебе, как кляп, как клепку, в глотку. –
И мигом ока двери комнаты вразлет.
Буфет, стаканы, скатерть...
Катер?
Лодка!
В ответ на брошенный вопрос – матрос,
И оба – вон, очаковец за Шмидтом,
'Невпопад, не в ногу из дневного понемногу
в ночь.
Наугад куда-то, вперехват заката,
По размытым рытвинам садовых гряд.
В наспех стянутых доспехах
Жарких полотняных лат,
В плотном, потном, зимнем платье
С головы до пят,
В облака, закат и эхо
По размытым, сбитым плитам

Променад.
Потом бегом. Сквозь поросли укропа,
Опрометью с оползня в песок,
И со всех ног, тропой наискосок
Кругом обрыва. Топот, топот, топот,
Топот, топот, – поворот-другой –
И вдруг, как вкопанные, стоп:
И вот он, вот он весь у ног,
Захлебывающийся Севастополь,
Весь вобранный, как воздух, грудью двух
Бездонных бухт,
И полукруг
Затопленного солнца за «Синопом».
С минуту оба переводят дух:
И кубарем с последней кручи – бух
В сырую грудь рухнувшего бута.

4
В зимней призрачной красе
Дремлет рейд в рассветной мгле,
Сонно кутаясь в туман
Путаницей мачт
И купаясь, как в росе,
Оторопью рей
В серебре и перламутре
Полумертвых фонарей.
Еле-еле лебезит
Утренняя зыбь.
Каждый еле слышный шелест,
Чем он мельче и дряблей,
Отдается дрожью в теле
Кораблей.

Он спит, притворно занедужась,
Могильным сном, вогнав почти
Трехверстную округу в ужас.
Он спит, наружно вызвав штиль.
Он скрылся, как от колотушек,
В молочно-белой мгле. Он спит
За пеленою малодушья.
Но чем он с панталыку сбит?

С утра на суше – муравейник.
В тумане тащатся войска.
Всего заметней их роенье
Толпе у Павлова мыска.
Пехотный полк из Павлограда
С тринадцатой полевой
Артиллерийскою бригадой
'И – проба потной мостовой.

Колеса, кони, пулеметы,
Зарядных ящиков разбег,
И – грохот, грохот до ломоты
Во весь Нахимовский проспект.
На Историческом бульваре,
Куда на этих днях свезен
Военный лом былых аварий, –
Донцы и Крымский дивизион.

И любопытство, любопытство:
Трехверстный берег под тупой,
Пришедшей пить или топиться,
Тридцатитысячной толпой.
Она покрыла крыши барок
Кишащей кашей черепах,
И ковш Приморского бульвара,
И спуска каменный черпак.

Он ею доверху унизан,
Как копотью несметных птиц,
Копящих силы по карнизам,
А тоб вихрем гари в ночь нестись.

Когда сбежали испаренья
И солнце, колыхнувши флот,
Всплыло на водяной арене,
Как обалдевший кашалот,
В очистившейся панораме
Обрисовался в двух шагах
От шара – крейсер под парами,
Как кочегар у очага.

5
Вдруг, как снег на голову, гул
Толпы, как залп, стегнул
Трехверстовой гранит
И откатился с плит.
Ура – ударом в борт, в штурвал,
В бушприт!
Ура навеки, наповал,
Навзрыд!
Над крейсером взвился сигнал:
10 КОМАНДУЮ ФЛОТОМ. ШМИДТ.
Он вырвался как вздох
Со дна души рядна,
И не его вина,
Что не предостерег
Своих, и их застиг врасплох,
И рвется, в поисках эпох,
В иные времена.

Он вскинут, как магнит
На нитке, и на миг
20 Щетинит целый лес вестей
В осиннике снастей.
Над крейсером взвился сигнал:
КОМАНДУЮ ФЛОТОМ. ШМИДТ.
И мачты рейда, как одна:
Он ими вынесен и смыт
И перехвачен второпях
На двух – на трех – на четырех
Военных кораблях.

Но иссякает ток подков,
И облетает лес флажков,
И по веревке, как зверек,
Спускается кумач.
А зверь, ползущий на флагшток,
Ужасен, как немой толмач,
И флаг Андреевский – томящ,
Как рок.

6
Когда с остальными увидел и Шмидт,
Что только медлительность мига хранит
Бушприт и канаты
От града и надо
Немедля насытить его аппетит,
Чтоб только на миг оттянуть канонаду,
В нем точно проснулся дремавший Орфей.
И что ж он задумал, другого первой?
Объехать эскадру,
'Усовестить ядра,
Растрогать стальные созданья верфей.

И на миноносце ушел он туда,

Где, небо и гавань лоя в невода,
В снастях, бездыханной
Семьей богдыханов,
Династией далее дымились суда.
Их строй был поистине неисчислим.
Грядой пристаней не граничился клин,
Но, весь громоздясь Пелионом на Оссу,
) Под лад броненосцам
Качался и неся
Обрывистый город в шпалерах маслин.
7

Он тихо шел от пушки к пушке,
А даль неслась.
Он шел под взглядами опухших,
Голодных глаз.
И вот, стругая воду, будто
Стальной терпуг,
Он видел не толпу над бухтой,
А Петербург.
Но что могло напомнить юность,
Неужто сброд,
Грязнивший слух, как сток гальюнный
Для нечистот?
С чужих бортов друзья по школе,
Тех лет друзья.
Ругались и встречали в колья,
Петлей грозя.
Назад! Зачем соваться под нос,
Под дождь помой?
Утратят ли боеспособность
«Синоп» с «Чесмой»?

8Снова, на миг повернувшись круто,
Город от криков задрожал:
На миноносец брали с «Прута»
Освобожденных каторжан.
Снова, приветствуем экипажем,
На броненосцы всходил и глох,
И офицеров брал под стражу,
И уводил с собой в залог.
В смене отчаянья и отваги
Вновь, озираясь, мертвел, как холст:
Всюду суда тасовали флаги.
Стяг государства за красным полз.
По возвращеньи же на «Очаков»,
Искрой надежды еще согрет,
За волоса схватясь, заплакал,
Как на ладони увидев рейд.
«Эх, – простонал, – подвели, каналы!»
Натиском зарев рдела вода.
Дружно смеркалось. Рейд удлиняли
Тучи, косматясь, как в холода.
С суши, в порыве низкопоклонства,
Шибче, чем надо, как никогда,
Падали крыши складов и консульств,
Камни и тени, скалы и солнце
В воду и вечность, как невода.
Все закружилось так, что в финале
Обморок сшиб его без труда.

9
Был выпретен, как сердце,
И тих закат, как вдруг
Метнула пушка с «Терца»
Икру.
Мгновенный взрыв котельной,
Далекий крик с байдар,

И – под воду. Смертельный
Удар!

От катера к шаландам
Пловцы, тела, балласт.
И радость: часть команды
Спаслась.
И началось. Пространства,
Клубясь, метнулись в бой,
Чтоб пасть и опростаться
Пальбой.

10

Внутри настала ночь. Снаружи
Зарделся движущийся хвост
Над войском всех родов оружия
И свойств.

Он лез, грабастая овраги,
И треском разгонял толпу,
И пламенел, и гладил флаги
По лбу.

Как сумерки, сгустились снасти.
10 в ревущей, хлещущей дряпне
Пошла валить, как снег в ненастье,
Шрапнель.

Она рвалась в лету, на жнивьях,
В расцвете лет людских, в воде,
Рождая смерть, и визг, и вывих
Везде.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

«Все отшумело. Вставши поодаль,
Чувствую всю силу чутья:
Жребий завиден. Я жил и отдал
Душу свою за други своя.

Высшего нет. Я сердцем – у цели
И по пути в пустяках не увяз.
Крут был подъем, и сегодня, в сочельник,
Ошеломляюсь, остановюсь.

Но объясни. Полюбив даже вора,
Как не рвануться к нему в каземат
В дни, когда всюду только и спору,
Нынче его или завтра казнят?

Ты ж предпочла омрачить мне остаток
Дней. Прости мне эти слова.
Спор подогнал бы таянье святок.
Лучше задержим бег Рождества.

Где он, тот день, когда, вскрыв телеграмму,
Все позабыв за твоим «навсегда»,
Жил я мечтой, как помчусь и нагрюну?
Как же, ты скажешь, попал я сюда?

В вечер ее полученья был митинг.
Я предрекал неуспех мятежа,
Но уж ничто не могло вразумить их.
Ехать в ту ночь означало бежать.

О, как рвался я к тебе! Было пыткой
Браться и знать, что народ не готов,
Жертвовать встречей и видеть в избытке
Доводы в пользу других городов.

Вера в разъезд по фабричным районам,
'В новую стачку и новый подъем,
Может, сплелась во мне с затаенным
Чувством, что ездить будем вдвоем.

Но повалила волна депутатий,
Дума, эсдеки, звонок за звонком.
Выехать было нельзя и пытаться.
Вот и кончаю бунтовщиком.

Кажется, всё. Я гораздо спокойней,
Чем ожидают. Что бишь еще?
Да, а насчет севастопольской бойни
'В старых газетах – полный отчет».

2
Послепогромной областью почтовый поезд в Ромны
Сквозь вопли вьюги доблестно прокладывает путь.
Снаружи – вихря гарканье, огарков проблеск темный,
Мигают гайки жаркие, на рельсах пляшет ртуть.
Огни и искры чиркают, и дым над изголовьем
Бежит за пассажиркою по лестницам витым.
В одиннадцать, не вынеся немолчного злословья,
Она встает, и – к выходу на вызов клеветы.

И молит, в дверь просунувшись: «Прошу вас,
не шумите...
Нельзя же до полуночи!» И разом в лязг и дым
Уносит оба голоса и выдумку о Шмидте,
И вьет и тащит по лесу, по лестницам витым.
Наверно, повод есть у ней, отворотясь к простенку,
Рыдать, сложа ответственность в сырой комок платка.
Вы догадались, кто она. – Его корреспондентка.
В купе кругом рассованы конверты моряка.

А в ту же ночь в Очакове в пурге и мыльной пене
Полощет створки раковин песчаная коса.
Постройки есть на острове, острог и укрепление.
1 Он весь из камня острого, и – чайки на часах.
И неизвестно едущей, что эта крепость–тезка
(Очаков – крестный дедушка повстанца корабля)
Таит по злой иронии звезду надежд матросских,
От взора постороннего прибором отделя.

Но что пред забастовкою почтово-телеграфной
Все тренья и неловкости во встрече двух сердец!
Теперь хоть бейся об стену в борьбе с судьбой
неравной,
Дознаться, где он, собственно, нет
ни малейших средств.
До Ромен не доехать ей. Не скрыться от мороки.
}Беглянка видит нехотя: забвенья нет в езде,
И, пешую иль бешено катящую, с дороги
Ее вернут депешею к ее дурной звезде.

Тогда начнутся поиски, и происки, и слезы,
И двери тюрем вскроются, и, вдоволь очернив,
Сойдутся посноровистой объятья пьяной прозы,
И смерть скользнет по повести, как оттиск пятерни,
И будет день посредственный, и разговор в передней,
И обморок, и шествие по лестнице витой,
И тонущий в периодах, как камень, миг последний,
И жажда что-то выудить из прорвы прожитой.

3
Как памятен ей этот переход!
Приезд в Одессу ночью новогодней.
С какою неохотой пароход
Стал подымать в ту непогоду сходни!

И утренней картины не забыть.
В ушах шумело море горькой хиной.
Снег перестал, но продолжали плыть
Обрывки туч, как кисти балдахина.
Потом вдали из кучки пирамид
10 Привстал маяк поганкою мухортой.
«Мадам, вот остров, где томится Шмидт», –
И публика шагнула вправо к борту.
Когда пороховые погреба
Зашли за строй барачных карантинных,
Какой-то образ трупного гриба
Остался гнить от виденной картины.
Понурый, хмурый, черный островок
Несло водой, как шляпку мухомора.
Кружась в водовороте, как плевков,
20 Он затонул от полного измора.
Тем часом пирамиды из химер
Слагались в город, становились тверже
И вдруг, застлав слезами глазомер,
Образовали крепостные горжи.

4

Однако, как свежо Очаков дан у Данта!
Амбары, каланча, тачанки, облака...
Все это так, но он дорогой к коменданту
В отличие от нее имел проводника.

Как ткнуться? Что сказать? Перебрала оттенки.
«Я – confidentка Шмидта? Я 1– его дневник?
Я – крик его души из номеров Ткаченки,
Вот для него цветы и связка старых книг?

Удобно ли тогда с корзиной гиацинтов,
Не значась в их глазах ни в браке,
ни в родстве?» –
Так думала она, и ветер рвал косынку
С земли, и даль неслась за крепостной бруствер.

Но это всё затмил прием у генерала.
Индюшачий кадык спирал сухой коклюш.
Желтел натертый пол, по окнам темь ныряла,
И снег махоркой жег больные глотки луж.

5

Уездная глушь захолустья.
Распев петухов по утрам
И холостящий устье
Весенний флюс Днепра.
Таким дрянным городишкой
Очаков во плоти
Встает, как смерть, притихши
У шмидтовцев на пути.

Похоже, с лент матросских
Сошедши без следа,
Он стал землей в отместку
И местом для суда.
Две крепости, два погоста
Да горсточка халуп,
Свиной и галок вдосталь
И офицерский клуб.

Без преувеличенья
Ты слышишь в эту тишь,
Как хлопаются тени
'С пригретых солнцем крыш.
И звякнет ли шпорами ротмистр,
Прослякотит ли солдат,
В следах их – соли подмесь.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Вся отмель, точно в сельдах.

О, суши воздух ковкий,
Земли горячий фарш!
«Караул, в винтовки!
Партия, шагом марш!»
И, вбок косясь на приезжих,
* Особым скоком сорок
Сторонится побережье
На их пути в острог.

О, воздух после трюма
И высадки триумф!
Но в этот час угрюмый
Ничто нейдет на ум.
И горько, как на расстанках,
Качают головой
Заборы, арестанты,
}и кони, и конвой.

Прошли, – и в двери с бранью
Костяшками бьет тишина–
Военного собранья
Фисташковая стена.
Из зал выносят мебель.
В них скоро ворвется гул.
Два писаря. Фельдфебель.
Казачий подъесаул.
6
Над Очаковым пронес
Ветер тучу слез и хмари
И свалился на базаре
Наковальнею в навоз.
И, на всех остервенясь,
Дождик, первенец творенья,
Горсть за горстью, к горсти горсть,
Хлынул шумным увереньем
В снег и грязь, в снег и грязь,
На зиму остервенясь.
А немного погода,
С треском расшатавши крючья,
Шлепнулся и всю тучей
Водяной бурдюк дождя.
Этот странный талисман,
С неба сорванный истомой,
Весь – туманного письма,
Рухнул вниз не по-пустому,
Каждым всхлипом он прилип
К разрывным побегам лип
Накладным листом пистона.
Хлопнуть вплоть, пропороть,
Выстрел, цвет, тепло и плоть.
Но зима не верит в близость,
В даль и смерть верит снег.
И седое небо, низясь,
Сыплет пригоршнями известь.
Это зимный катехизис
Шепчут хлопья в полусне.
1 И, шипя, кружит крупа
По небу и мертвой глине,
Но мгновенный вздох теплыни
Одевает черепа.
Пусть тоща, как щепя,
Вязь цветочного шипа,
Новолунью улыбаясь,
Как на шапке шалопа,
Сохнет краска голубая
На сырых концах серпа.

1 И, долбя и колуая
Льдины старого пласта,
Спит и ломом бьет по сини,
Рты колоколов разиня,
Размечтавшийся в уныньи
Звон Великого поста.

Наблюдая тяжбу льда,
В этом звяканьи спросонья
Подоконниками тонет
Зал военного суда.

1 Все живое беззаконье,
Вся душевная бурда
Из зачатий и агоний
В снеге, слякоти и звоне
Перед ним, как на ладони,
Ныне так же, как тогда.

Чем же занято собрание?
Казнь звали в те года
Переправу к Березани.
Современность просит дани:
'Высшей мере наказанья
Служат эти господа.

7
Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм.
Чтенье, чтенье, чтенье, несмотря на
Головокружение, несмотря
На пары нашатыря и пряный,
Пьяный запах слез и валерьяны,
Чтение без пенья тропаря,
Рама и жандармы-ветераны,
Шаровары и кушак царя,
И под люстрой зайчик восьмигранный.

Чтенье, несмотря на то, что рано
Или поздно, сами, будет день,
Сядут там же за грехи тирана
В грязных клочьях поседлых пасм.
Будет так же ветрен день весенний,
Будет страшно стать живой мишенью,
Будут высшие соображенья
И капли вешней дребедень.
Будут схватки астмы. Будет чтенье,
Чтенье, чтенье без конца и пауз.

Версты обвинительного акта.
Шапку в зубы, только не рыдать!
Недра шахт вдоль Нерчинского тракта.
Каторга, какая благодать!
Только что и думать о соблазне.
Шапку в зубы – да минуй озноб!
Мысль о казни – топи непролазней:
С лавки съедешь, с головой увязнешь,
Двинешься, чтоб вырваться, и – хлоп.
Тормошат, повертывают навзничь,
Отливают, волокут, как сноп.

В перерывах – таска на гауптвахту
Плотной кучей, в полузабытьи.
Ружья, лужи, вязкий шаг без такта,
Пики, гики, крики: осади!
Утки – крякать, курицы – кудахтать,
Свист нагаек, взбрызги колеи.

Это небо, пахнущее как-то
Так, как будто день, как масло, спахтан!
Эти лица, и в толпе – свои!
Эти бабы, плачущие в плахтах!
Пики, гики, крики: осади!

8Кому-то стало дурно.
Казалось, жуть минуты
Простерлась от Кинбурна
До хуторов и фольварков
За мысом Тарканхутом.
Послышалось сморканье
Жандармов и охранников,
И жилы вздулись жолвями
На лбах у караульных.
'Забывши об уставе,
Конвойные отставили
Полуживые ружья
И терли кулаками
Трясущиеся скулы.

При виде этой вольности
Кто-то безотчетно
Полез уж за револьвером,
Но так и замер в позе
Предчувствия чего-то,
1 Похожего на бурю,
С рукой на кобуре.
Волнение предгрозя
Окуталось удушьем,
Давно уже идущим
Откуда-то от Ольвии.

И вот он поднялся.
Слепой порыв безмолвия
Стянул гусиной кожей
Тазы и пояса
} И, протаскившись с дрожью,
Как зябкая оса,
По записям и папкам,
За пазухи и шапки
Заполз под волоса.

И точно шла работа
По сборке эшафота,
Стал слышен частый стук
Полутораста штук
Расколебавших сумрак
Пустых сердечных сумок.
Все были предупреждены,
Но это превзошло расчеты.
«Тише!» – крикнул кто-то,
Не вынесши тишины.

«Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим – кончать Голгофой.

Как вы, я – часть великого
1 Перемещенья сроков,
И я приму ваш приговор
Без гнева и упрека.

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Вы тоже – жертвы века.

Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю
И снисхожденья вашего
1 Не жду и не теряю.

Как непомерна разница
Меж именем и вещью!
Зачем Россия красится
Так явно и зловеще!

Едва народ по-новому
Сознал конец опеки,
Его от прав дарованных
Поволокли в аптеки.

Все было вновь отобрано.
Так вечно, пункт за пунктом,
Намереньями добрыми
Доводят нас до бунта.

В те дни, – а вы их видели,
И помните, в какие, –
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее
И о дороге пройденной
Теперь не сожалею.

Поставленный у пропасти
Слепою властью буквы,
Я не узнаю робости,
И не смутится дух мой.

Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет гранью
Двух разных эпох истории,
И радуюсь избранью».

9
Двум из осужденных, а всех их было четверо, –
Думалось еще – из четырех двоим.
Ветер гладил звезды горячо и жертвенно
Вечным чем-то, чем-то зиждущим своим.
Распростившись с ними, жизнь брела по дамбе,
Удаляясь к людям в спящий городок.
Неизвестность вздрагивала плавниками
камбалы.
Тихо, миг за мигом рос ее приток.

Близился конец, и не спалось тюремщикам.
' Быть в тот миг могло примерно два часа.
Зыбь переминалась, пожирая жемчуг.
Так, чем свет, в конюшнях дремлет хруст овса.

Остальных пьянила ширь весны и каторги.
Люки были настезь, и, точно у миног,
Округлясь, дышали рты иллюминаторов.
Транспорт колыхался, как сонный осьминог.

Вдруг по тьме мурашками пробежал прожектор.
«Прут» зевнул, втянув тысячеперстье лап.
Свет повел ноздрями, пробираясь к жертвам.
> Заскрипели петли. Упал железный трап.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Это канонерка пристала к люку угольному.
Свет всадил с шипеньем внутрь свою иглу.
Клетку ослепило, отпрянули испуганно.
Путаясь костями в цепях, забились вглубь.

Но затем, не в силах более крепиться,
Бросились к решетке, колясь о сноп лучей,
И крича: «Не мучьте! Кончайте, кровопийцы!» –
Потянулись с дрожью в руки палачей.

Счет пошел на миги. Крик: «Прощай,
товарищи!» –
9 Породил содом. Прожектор побежал,
Окунаясь в вопли, по люкам, лбам и наручням,
И пропал, потушенный рыданьем каторжан.
Март 1926 – март 1927

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ОСНОВНОМУ
СОБРАНИЮ

БЛИЗНЕЦ В ТУЧАХ
<1913>

ЭДЕМ

я. Асееву

Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево глины слижет Инд,
А вправо уйдет Евфрат.

Горит немыслимый Эдем
В янтарных днях вина,
И небывалым бытием
Точатся времена.

Минуя низменную тень,
Их ангелы взнесут.
Земля – сандалии ремень,
И вновь Адам – разут.

И солнце – мертвых губ пробел
И снег живых мощей
Того, кто всей вселенной бдел
Предсолнечных ночей.

Ты к чуду чуткость приготовь
И к тайне первых дней:
Куруется рубежом любовь
Между землей и ней.
1913
ЛЕСНОЕ

я – уст безвестных разговор,
Как слух, подхвачен городами;
Ко мне, что к стертой анаграмме,
Подносит утро луч в упор.

Но мхи пугливо попирая,
Разгадываю тайну чар:
я – речь безгласного их края,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
я – их лесного слова дар.

О, прослезивший туч раскаты,
Отважный, отроческий ствол!
Ты – перед вечностью ходатай,
Блуждающий – я твой глагол.

О, чернолесье – Голиаф,
Уединенный воин в поле!
О, певческая влага трав,
Немотствующая неволя!

Лишенных слов – стоглавый бор,
То – хор, то – одинокий некто...
Я – уст безвестных разговор,
Я – столп дремучих диалектов.
1913

Мне снилась осень в полусвете стекл,
Терялась ты в снедающей гурьбе.
Но, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Припомню ль сон, я вижу эти стекла
С кровавым плачем, плачем сентября;
В речах гостей непроходимо глохла
Гостиная ненастьем пустыря.

В ней таял день своей лавиной рыхлой
И таял кресел выцветавший шелк,
Ты раньше всех, любимая, затихла,
А за тобой и самый сон умолк.

И – пробужденье. День осенний темен,
И ветер – кормчим увозимых грез.
За сном, как след роняемых соломин,
Отсталое падение берез.

Но в даль отбытья, в даль летейской гребли,
Грустя, грустя, гляжу я, блудный сын,
И подберу, как брошенные стебли,
Пути с волнистым посвистом трясин.
1913

* * *

Я рос, меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли
И расточительные беды
Приподнимали от земли.

Я рос, и повечерий тканей
Меня фата обволокла,
Напутствуем вином в стаканах,
Игрой печальной стекла,

Я рос, и вот уж жар предплечий
Студит объятие орла.
Дни – далеко, когда предтечей,
Любовь, ты надо мной плыла.

Заждавшегося бога жерла
Грозили смертного судьбе,
Лишь вознесенье распростерло
Мое объятие к тебе.

И только оттого мы в небе

Восторженно сплетем персты,
что, как себя отпевший лебедь,
С орлом плечо к плечу, и ты.

Разметанным поморье бреда
Безбрежно машет издали.
Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.
1913

* * *

Все оденут сегодня пальто
И заденут за поросли капель,
Но из них не заметит никто,
Что я снова ненастями запил.

Засребрятся малины листья,
Запрокинувшиеся изнанкой, –
Солнце грустно сегодня, как ты,
Солнце нынче, как ты, – северянка.

О восторг, когда лиственных нег
Бушеванья – похмелья акриды,
Когда легких и мороси смех
Сберегает напутствия взрыды.

Ты оденешь сегодня манто,
И за нами зальется калитка.
Нынче нам не заменит ничто
Затуманившегося напитка.
1913

Встав из грохочущего ромба
Передрассветных площадей,
Напев мой опечатан пломбой
Неизбываемых дождей.
Под ясным небом не ищите
Меня в толпе приветных муз,
Я севером глухих наитий
Самозабвенно обоймусь.
О, всё тогда – в кольце поэмы:
Опалины опалых роз,
И тайны тех, кто – тайно немы,
И тех, что всходят всходом гроз;
О, всё тогда – одно подобье
Моих возроптавших губ,
Когда из дней, как исподлобья,
Гляжусь в бессмертия раструб.
Взглянув в окно, даю проспекту
Моей походкою играть...
Тогда, ненареченный некто,
Могу ли что я потерять?
1913

ВОКЗАЛ

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный, верный рассказчик,
Границы горюнивший люк.
Бывало, – вся жизнь моя – в шарфе,
Лишь только составлен резерв;
И сроком дымящихся гарпий
Влюбленный терзается нерв;
Бывало, посмертно задымлен
Отбытый ее горизонт,
Отсутствуют профили римлян

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
И как-то – нездешен beau monde¹.

Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал,
И, в пепле, как mortuum caput²,
Ширяет крылами вокзал.

И трубы склоняют свой факел
Пред тучами траурных месс.
О, кто же тогда, как не ангел,
Покинувший землю экспресс?

И я оставался и грелся
В горячке столицы пустой,
Когда с очевидностью рельса
Два мира делились чертой.
1913

* * *

Грусть моя, как пленная сербка,
Родной произносит свой толк.
Напевному слову так терпко
В устах, целовавших твой шелк.

И глаз мой, как загнанный флюгер,
Землей налетевшей гоним.
Твой очерк играл, словно угорь,
И око тонуло за ним.
1 Высший свет (фр.).
2 Мертвая голова (лат.).

И вздох мой – мехи у органа –
Лихой нагнетают фальцет;

Ты вышла из церкви так рано,
Твой чистый хорал недопет!

Весь мартиролог не исчислен
В моем одиноком житьи,
Но я, как репейник, бессмыслен
В степи, как журавль у бадьи.
1913

ВЕНЕЦИЯ

А. ЛГ. Ш<тиху>

Я был разбужен спозаранку
Бряцаньем мутного стекла.
Повисло-сонною стоянкой,
Безлюдье висло от весла.

Висел созвучьем Скорпиона
Трезубец вымерших гитар,
Еще морского небосклона
Чадящий не касался шар;

В краях, подвластных зодиакам,
Был громко одинок аккорд.
Трехжальем не встревожен знаком,
Вершил свои туманы порт.

Земля когда-то оторвалась,
Дворцов развернутых тесьма,
Планетой всплыли арсеналы,
Планетой понеслись дома.

И тайну бытия без корня
Постиг я в час рожденья дня:
Очам и снам моим просторней
Сновать в туманах без меня.
И пеной бешеных цветений,
И пеною взбешенных морд
Срывался в брезжущие тени
Руки не ведавший аккорд.
1913

* * *

И. В<ысоцкой>

Не подняться дню в усилиях светилен,
Не совлечь земле крещенских покрывал. –
Но, как и земля, бывалым обессилен,
Но, как и снега, я к персти дней припал.
Далеко не тот, которого вы знали,
Кто я, как не встречи краткая стрела?
А теперь – в зимовий глохнущем забрале –
Широта разлуки, пепельная мгла.
А теперь и я недрогнувшей портьерой
Тяжко погребу усопшее окно,
Спи же, спи же, мальчик, и во сне уверуй,
Что с тобой, былым, я, нынешний, – одно.
Нежится простор, как дымногрудый филин,
Дремлет круг пернатых и незрячих свеч.
Не подняться дню в усилиях светилен,
Покрывал крещенских ночи не совлечь.
1913

БЛИЗНЕЦЫ

Сердца и спутники, мы коченеем,
Мы – близнецами одиночных камер.
Чья ж косы горящим Водолеем,
Звездою ложа в высоте я замер?
Вокруг – иных влюбленных верный хаос,
Чья над уснувшей бездыханна стража,
Твоих покровов – мнущийся канаус –
Не перервут созвездные миражи.

Земля успенья твоего – не вычет
Из возносящихся над сном пилястр,
И коченеющий Близнец граничит
С твоею мукой, стерегущий Кастор.

Я оглянусь. За сном оконных фуксий
Близнец родной свой лунный стан просыпал.
Не та же ль ночь на брате, на Поллуксе,
Не та же ль ночь сторожевых манипул?

Под ним – лучи. Чеканом блещет поножь,
А он плывет, не тронув снов пятою.
Но где тот стан, что ты гнетешь и гонишь,
Гнетешь и гнешь, и стонешь высотой?
1913

БЛИЗНЕЦ НА КОРМЕ

Константину Локсу

Как топи укрывает рдест,
Так никнут над мечтою веки...
Сородичем попутных звезд
Уйду однажды и навеки.

Крутой мы обогнем уступ
Живых, заночевавших криптий,
Моим глаголом, пеплом губ,
Тогда найденыша засыпьте.

Уж пригороды – позади.
Свежо... С звездой попутной дрогну.
Иные тянутся в груди,
Иные – вырастают стогна.

Наложницы смежилась грудь,
И полночи обогнут профиль,
Колышется, коснеет ртуть
Туманных станов, кранов, кровель.

Тогда, в зловещей полутьме,
Сквозь залетейские миазмы,
Близнец мне виден на корме,
Застывший в безвременной астме.
1913

ПИРШЕСТВА

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю,
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Земли хмельной сыны, мы трезвости не терпим,
Надежде детских дней объявлена вражда.
Унылый ветер ночей – тех здравиц виночерпьем,
Которым, как и нам, – не сбывться никогда.

Не ведает молва тех необычных трапез,
Чей с жадностью ночь опустошит крющон,
И крохи яств ночных скитальческий анапест
Наутро подберет, как крошка Сандрильон.

И Золушки шаги, ее самоуправство
Не нарушают графства чопорного сна,
Покуда в хрусталях неубранные яства
Во груды тубероз не превратит она.
1913

* * *

Ал. Ш<тиху>
IлapOлvна, jiapSevна,
JION [it xuioiг

Вчера, как бога статуэтка,
Нагой ребенок был разбит.
Плачь! Этот доадь за ветхой веткой
Еще слезой твоей не сыт.

Сегодня с первым светом встанут
Детьми уснувшие вчера,
Мечом призывов новых стянут
Изгиб застывшего бедра.

Дворовый окрик свой татары
Едва ль успеют разнести, –
Они оглянутся на старый
Пробег знакомого пути.

Они узнают тот, сиротский,
Северно-сизый, сорный дождь,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Тот горизонт горнозаводский
Театров, башен, боен, почт.

Они узнают на гиганте
Следы чужих творивших рук,
Они услышат возглас: «Встаньте
Четой зиждительных услуг!»
1 Девственность, девственность, куда ты от меня уходишь?.. Сафо (греч.).

Увы, им надлежит отныне
Весь облачный его объем
И весь полет гранитных линий
Под пар избороздить вдвоем.
О, запрокинь в венце наносном
Подрезанный лобзаньем лик.
Смотри, к каким великим веснам
Несет окровавленный миг!
И рыцарем старинной Польши,
Чей в толях погребен галоп,
Усни! Тебя не бросит больше
В оружии девственных озноб.
1913

ЛИРИЧЕСКИЙ ПРОСТОР

Сергею Боброву
Что ни утро, в пленении барьера,
Непогод обезбрежив брезент,
Чердаки и кресты монгольфера
Вырываются в брезжущий тент.
Их напутствуют знаком беспалым,
Возвестившим пожар каланче,
И прощаются дали с опалом
На твоей догоревшей свече.
Утончаются взвитые скрепы,
Струнно высится стонущий альт;
Не накатом стократного склепа,
Парусиною вздулся асфальт.
Этот альт – только дек поднебесий,
Якорями напетая вервь,
Только утренних, струнных полесий
Колыханно-туманная вервь.
И когда твой блуждающий ангел
Испытает причалов напор,
Журавлями налажен, триангль
Отзвенит за тревогою хорд.
Прирученный не вытерпит беркут,
И не сдержит твердынь карантин.
Те, что с тылу, бескрыло померкнут, –
Окрыленно вспылишь ты один.
1913

Не Не Не
Ночью... со связками зрелых горелок,
Ночью... с сумою дорожной луны,
Днем ты дохнешь на полуденный щелок,
Днем на седую золу головни.

День не всегда ль порошится щепоткой
Сонных огней, угрызеньем угля?
Ночь не горела ль огнем самородка,
Жалами стульев, словами улья?

О, просыпайтесь, как лаззарони
С жарким, припавшим к панели челом!
Слышите исповедь в пьяном поклоне? –
«Был в сновидения ночью подъем».

Ночью – ниспал твой ослабнувший пояс
И расступилась смущенная чернь...
Днем он таим поцелуем пропойц,
Льнущих губами к оправе цистерн.
1913

ЗИМА

Вере Станевин

Прижимаюсь щекою к улитке
Вкруг себя перевитой зимы:
Полношумны раздумия в свитке
Котловинной, бугорчатой тьмы.

Это раковины ли сказанье,
Или слуха покорная сонь,
Замечтавшись, слагает пыланье
С камелька изразцовый огонь.

Под горячей щекой я нащупал
За подворья отброшенный шаг.
Разве нынче и полночи купол –
Не разросшийся гомон в ушах?

Подымаются вздохи отдушин,
Одиноко заклятье: «Распрячь!»
Черным храпом карет перекушен
За подвал подтекающий плач.

И невыполотые заносы
На оконный ползут парапет.
За стаканчиками купороса
Ничего не бывало и нет.

Над пучиною черного хода,
Истерзавши рубашку вконец, –
Обнаженный, в поля, на свободу
Вырывается бледный близнец.

Это – жуткие всё прибаутки
И назревшие невдалеке,
Их зима из ракушечьей будки
Нашептала горячей щеке.

И о том, веселился иль плакал
И любим пешеход иль нелюб,
Мне споет океанский оракул
Перламутровой полостью губ.
1913

За обрывками редкого сада,
За решеткой глухого жилья,
Раскатившеюся эспланадой
Перед небом – пустая земля.

Прибывают немые широты,
Убыл по миру пущенный гул,
Как отсроченный день эшафота,
Горизонт в глубину отшагнул.

Дети дня, мы сносить не привыкли
Этот запада гибнущий срок,
Мы, надолго отлившие в тигле
Обиходный и легкий восток.

Но что скажешь ты, вздох понаслышке,

На зачатый тобою прогон,
Когда, ширью грудного излишка
Нагнетаем, плывет небосклон?
1913

ХОР
Ю. Анисимову

Жду. скоро ли с лесов дитя,
Вершиной в снежном хоре,
Падет, главою очертя,
В пучину ораторий.
(Вариант темы)

Уступами восходит хор,
Хребтами канделябр:
Сначала – дол, потом – простор,
За всем – слепой октябрь.

Сперва – плетень, над ним – леса,
За всем – скрипучий блок.
Рассветно строясь, голоса
Уходят в потолок.

Сначала – рань, сначала рябь,
Сначала – сеть сорок,
Потом – в туман, понтоном в хлябь,
Возводится восток.

Сперва – жжешь вдоволь жирандоль,
Потом – сгорает зря;
За всем – на сотни стогн оттоль
Разгулы октября.

Но будут певчие молчать,
Как станет звать дитя.
Сорвется хоровая рать,
Главою очертя.

О, разве сам я не таков,
Не внятно одинок?
И разве хоры городов
Не певчими у ног?

Когда, оглядываясь вспять,
Дворцы мне стих сдадут,
Не мне ль тогда по ним ступать
Стопами самогуд?
1913

НОЧНОЕ ПАННО

Когда мечтой двояковогнутой
Витрину сумерки покроют,
Меня сведет в твое инкогнито
Мой телефонный целлулоид.

Да, это надо так, чтоб скучились
К свече преданья коридоров;
Да, надо так, чтоб вместе мучились,
Сам-третий с нами – ночи нором.

Да, надо, чтоб с отвагой юноши
Скиталось сердце фаэтоном,
Чтоб вышло из моей полуночи
Оно тяглом к твоим затонам.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас

Чтобы с затишьями шоссейными
Огни перекликались в центре,
Чтоб за оконными бассейнами
Эскадрю дремало джентри.

Чтоб, ночью вздвоенной оправданы,
Взошли кумиры тусклым фронтом,
Чтобы в моря, за аргонавтами
Рванулась площадь горизонтом.

Чтобы руна златого вы¹ски
Сбивались седины к мелям,
Чтоб над грядой океанической
Стонало сердце Ариэлем.

Когда ж костры колоссов выгорят
И покачнутся сны на рейде,
В какие бухты рухнет пригород
И где, когда вне песен – негде?
1913

СЕРДЦА И СПУТНИКИ

Е. А. В<иноград>

Итак, только ты, мой город,
С бессонницей обсерваторий,
С окраинами пропаж, –
Итак, только ты, – мой город,
Что в спорные, розные зори
Дверьми окунаешь пассаж.
Там: в сумерек сизом закале,
Где блекнет воздушная просесть,
Хладеет заброшенный вход.
Здесь: к неотгорающей дали
В бывалое выхода просит,
К полудню теснится народ.
И словно в сквозном телескопе,
Где, сглазив подлунные очи,
Узнал близнеца звездочет,
Дверь с дверью, друг друга пороча,
Златые и синие хлопья
Плутают и гибнут вразброд.
Где к зыби клонятся балконы
И в небо старинная мебель
Воздета, как вышняя снасть,
В беспамятстве гибельных гребель
Лишатся сердца обороны,
И спутников скажется власть.
Итак, лишь тебе, причудник,
Вошедший в афелий пассажем,
Зарю сочетавший с пургой,
Два голоса в песне, мы скажем:
«Нас двое: мы – Сердце и Спутник,
И надвое тот и другой».

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

<1916>

To the soul in my soul that rejoices
For the song that is over my song.
Swinburne

ПОСВЯЩЕНЬЕ

Мелко исписанный снежной крупой,
Двор, – ты как приговор к ссылке,
На недоед, недосып, недопои,
На боль с барабанным боем в затылке!

Двор! Ты, покрытый усышкой листвы,
С солью из низко нависших градирен;
Шин и полозьев чернеются швы,
Мерзлый нарыв октября расковырян

Старческим ногтем небес, октября
10 Старческим ногтем и старческим ногтем
Той, что, с утра подступив к фонарям,
Кашляет в шали и варит декокт им.

Двор, этот вихрь, что, как кучер в мороз,
Снегом порос и по брови нафабрен
Снегом закушенным, – он перерос
Черные годы окраин и фабрик.

Вихрь, что, как кучер, облеплен; как он,
Снегом по горло набит и, как кучер,
Взят, перевязан, спален, ослеплен,
20 Задран и к тучам, как кучер, прикручен.

1 Душе моей души, радующейся песне, что прекрас
ней моей. Суинберн (англ.).

Двор, этот ветер тем родственен мне,
Что со всего околотка, с налету,
Он объявленьем налипнет к стене:
Люди, там любят и ищут работы!
Люди! Там ярость сановней моей.
Люди! Там я преклоняю колени.
Люди, там, словно с полярных морей,
Дует всю ночь напролет с Откровенья.
Крепкие тьме – полыханьем огней,
1 Крепкие стуже – стрельбою поленьев!
Стужа в их песнях студеной моей,
Их откровений темнее затменьё!
С улиц взимает зима, как баскак,
Шубы и печи и комнат убранство,
Знайτε же, – зимнего ига очаг
Там, у поэтов, в их нищенском ханстве.
Огородитесь от вьюги в стихах
Шубой; от ночи в поэме – свечою.
Полным фужером – когда впопыхах
Опохмеляется дух с перепною.
И без задержек, и без полуслов,
Но от души заказной бандеролью
Вина, меха, освещенье и кров
Шлите туда, в департаменты голи.
1916

ДУРНОЙ СОН

Прислушайся к вьюге, сквозь десны
процеженной,
Прислушайся к захлесням чахлых бесснежий.
Разбиться им не обо что, – и заносы
Чугунною цепью проносятся по снегу.
Прносятся чересполосицей, поездом,
Сквозь черные десны деревьев на сносе,
Сквозь десны заборов, сквозь десны трущоб.

Сквозь тес, сквозь леса, сквозь кромешные
десны
Чудес, что приснились Небесному Постнику.
Он видит: попадали зубы из челюсти
И шамкают замки, поместия – с пришептом,
Всё вышиблено, ни единого в целости!

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
И постнику тошно от стука костей,

От зубьев пилотов, от флотских трезубцев,
От красных зазубрин Карпатских зубцов,
Он двинуться хочет – не может проснуться,
Не может, засунутый в сон на засов, –
И видит еще. Как назём огородника,
Всю землю сровняли с землею сегодня.

Не верит, чтоб месяц распаренный выплыл
За косноязычную далью в развалинах,
За челюстью дряхлой, за опочивальней,
На бешеном стебле, на стебле осиплом,
На стебле, на стебле зимы измочаленной.

Нет, бледной, отеклой, одутлою тыквой
Со стебля свалился он в ближнюю рытвину,
Он сорван был битвой и, битвой подхлестнутый,
Шаром откатился в канаву с откоса –
Сквозь десны деревьев, сквозь черные десны
Заборов, сквозь десны щербатых трущоб.

Пройдись по земле, по баштану помешанного,
Здесь распорядились бахчой ураганы.
Нет гряд, что руки игрока бы избегли.
Во гроб, на носилки ль, на небо, на снег ли
Вразброд откатились калеки, как кегли,
Как по небу звезды, по снегу разъехались.
Как в небо посмел он играть, человек?

Прислушайся к вьюге, дресвою процеженной,
Сквозь дряхлые десны древесных бесснежий,
Разбиться им не обо что, и заносы,
Как трещины черные, рыскают по снегу,
Прносятся поездом, грозно проносятся
Сквозь тес, сквозь леса, сквозь кровавые десны...

И снится, и снится Небесному Постнику –

1914

Артиллерист стоит у кормила,
И земля, зачерпывая бортом скорбь,
Несется под давлением в миллиард атмосфер,
Озверев, со всеми батареями в пучину.
Артиллерист-вольнопределяющийся,
скромный и простенький.
Он не видит опасных отрогов,
Он не слышит слов с капитанского мостика,
Хоть и верует этой ночью в Бога;
И не знает, что ночь, дрожа по всей обшивке
Лесов, озер, церковных приходов и школ,
Вот-вот срежется, спрягая в разбивку
С кафедры на ветер брошенный глагол:
Збо1
Голосом пересохшей гаубицы, –
И вот-вот провалится голос,
Что земля, терпевшая обхаживанья солнца
И ставшая солнцу обхаживать потом,
С этой ночи вращается вокруг пушки японской
И что он, вольнопределяющийся, правит
винтом.
Ажить (греч.).
347

что, не боясь попасть на гауптвахту,
20 0 разоруженьи молят облака,
И вселенная стонет от головокруженья,
Расквартированная наспех в размозженных
головах,
Она ощутила их сырость впервые,
Они ей неслышны, живые.
1914

Не * *

Осень. Отвыкли от молний.
Идут слепые дожди.
Осень. Поезда переполнены –
Дайте пройти! – Всё позади.

1914

ФАНТАЗМ

См.: Возможность. С. 77.

ПЕТЕРБУРГ

См.: Петербург. С. 80.

СОЧЕЛЬНИК

Все в крестиках белых, как в Варфоломееву
Ночь, – окна и двери. Метель-заговорщица!
Оклеивай окна и двери оклеивай,
Там детство рождественской елью топорщится.
Бушует бульваров безлиственных заговор.
Торжественно. Грозно. Беззвездно. И боязно.
На сборное место, город! За город!
И хлопья мелькают, как лампы у пояса.

Как лампы у пояса. Грозно, торжественно,
Беззвездно и боязно. Ветер разнузданный
Осветит кой-где балаганное шествие: –
«Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!»

И взмах лампона: «Вы узнаны, узники
Уюта!» – и по двери, мелом, крест-накрест
От номера к номеру. Стынущей музыкой
Визгливо: «Вы узнаны, скрипы фиакра!»

Что лагерем стали, что подняты на ноги,
Что в саванах взмыли сувои – сполагоря!
Под праздник отправятся к праотцам правнуки!
Ночь – Варфоломеева! За город! За город!
1914

«ЦЕЛЬНОЮ ЛЬДИНОЙ
ИЗ ДЫМНОСТИ ВЫНУТ...»

См.: Зимнее небо. С. 84.

РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС

* * *

Какая горячая кровь у сумерек,
Когда на лампе колпак светло-синий.
Мне весело, ласка, понятие о юморе
Есть, верь, и у висельников на осине;

Какая горячая, если растерянно,
Из дома Коровина на ветер вышед,
Запросишь у стужи высокой материи,
Что кровью горячею сумерек пышет,

Когда абажур светло-синий над лампою
И ртутью туман с тротуарами налит,
Как резервуар с колпаком светло-синим...
Какая горячая кровь у сумерек!
1914

ПОЛЯРНАЯ ШВЕЯ

1
На ней была белая обувь девочки
И ноябрь на китовом усе,
Последняя мгла из ее гардеробов,
И не во что ей запахнуться.

Ей не было дела до того, что чучело –
Чурбан мужского рода,
Разутюжив вьюги, она их выучила
На сердце без исподу.

Я любил оттого, что в платье милой
10 я милую видел без платья,
Но за эти виденья днем мне мстило
Перчатки рукопожатье.

Еще многим подросткам, верно, снится
Закройщица тех одиночеств,
Накидка подкидыша, ее ученицы,
И гербы на картонке ночи.

2
И даже в портняжной,
Где под коленкор
Канарейка об сумерки клюв свой стачивала,
И даже в портняжной – каждый спрашивает
О стенном приборе для измеренья чувств.
Исступленье разлуки на нем завело
Под седьмую подводину стрелку,
Протяжней влюбленного взвыло число,
Две жизни да ночь в уме!
И даже в портняжной,
Где чрез коридор
Рапсодия венгерца за неуплату денег,
И даже в портняжной,
Сердце, сердце,
Стенной неврастеник нас знает в лицо.
Так далеко ль зашло беспамятство,
Упрямится ль светлость твоя –
Смотри: с тобой объясняется знаками
Полярная швея.
Отводит глаза лазурью лакомой,
Облыжное льет стекло,
Смотри, с тобой объясняются знаками...
Так далеко зашло.
1915

См.: Метель. С. 86.

ИМПРОВИЗАЦИЯ

См.: Импровизация. С. 98.

Как казначей последней из планет,
В какой я книге справлюсь, горожане,
Во что душе обходится поэт,
Любви, людей и весен содержание?

Однажды я невольно заглянул
В свою еще не высохшую роспись –
И ты – больна, больна миллионом скул,
И ты – одна, одна в их черной оспе!

Счастливая, я девушке скажу.
10 Когда-нибудь, и с сотворенья мира
Впервые, тело спустят, как баржу,
На волю дней, на волю их буксира.

Несчастливая, тебе скажу, жене
Еще не позабытых походов,
Несчастливая затем, что я вдвойне
Люблю тебя за то и это рвенье!

Может быть, не поздно.
Брось, брось,
Может быть, не поздно еще,
20 Брось!

ведь будет он преследовать
Рев этих труб,
Назойливых сетований
Путру, ввечеру:

Зачем мне так тесно
В моей душе
И так безответствен
Сосед!

Быть может, оттуда сюда перейдя
30 И перетаскив гардероб,

Она забыла там снять с гвоздя –
О, если бы только салоп!

Но, без всякого если бы, лампа чадит
Над красным квадратом ковров,
И, без всякого если б, магнит, магнит –
Ее родное тавро.

Ты думаешь, я кощунствую?
О нет, о нет, поверь!
Но, как яд, я глотаю по унции
В былое ведущую дверь.

Впустите, я там уже, или сойду
Я от опозданья с ума,
Сохранна в душе, как птица на льду,
Ревнивой тоски сулема.

Ну понятно, в тумане бумаг, стихи
Проведут эту ночь во сне!
Но всю ночь мои мысли, как сосен верхи –
К заре – в твоём первом огне.

Раньше я покрывал твои колени
Поцелуями от всего безрассудства.
Но, как крылья, растут у меня оскорбленья,
Дай и крыльям моим к тебе прикоснуться!

Ты должна была б слышать, как песню в кости,
Охранительный окрик: «Постой, не торопись!»
Если б знала, как будет нам больно расти
Потом, втроем, в эту узкую высь!

Маленький, маленький зверь,
Дитя больших зверей,
Пред собой, за собой проверь
Замки у всех дверей!
Давно идут часы,
Тебя не стали ждать,
И в девственных дебрях красы
Бушует: «Опять, опять»...

Полюбуйся ж на то,
Как всевластен размер,
Орел, решето?
Ты щедра, я щедр.

1 Когда копилка наполовину пуста,
Как красноречивы ее уста!
Опилки подчас звучат звончей
Копилки и доверху полной грошей.

Но поэт, казначей человечества, рад
Душеизнурительной цифре затрат,
Затрат, пошедших, например,
На содержание трагедий, царств и химер.
1915

МЕЛЬНИЦЫ

Над свежевзрытой тишиной,
Над вечной памятью лая,
Семь тысяч звезд за упокой,
Как губы бледных свеч, пылают.

Как губы шепчут, как руки вяжут,
Как вздох невнятен, как кисти дряхлы,
И кто узнает, и кто расскажет,
Чем, в их минувшем, дело пахло?

И кто отважится, и кто осмелится,
10 Звездами связанный, хоть палец высвободить,
Ведь даже мельницы, о даже мельницы!–
Окоченели на лунной исповеди.

Им ветер был роздан,
А нового нет,
Они же, как звезды,
Заимствуют свет
У света.
И веянье крыл у надкрыльев
Жуков – и головокруженье голов,
От пыли, головокружительной пыли
И от плясовых головешек костров.

Когда же беснуются куры и стружки,
И дым коромыслом, и пыль столбом,

И падают капли медяшками в кружки
И резко, и изредка лишь – серебром, –

Тогда просыпаются мельничные тени,
Их мысли ворочаются, как жернова,
И они огромны, как мысли гениев,
И тяжеловесны, как их слова;

И, как приближённые их, они приближены
Вплотную, саженные, к саженым глазам,
Плакучими тучами досуха выжженным
Наподобие общих могильных ям.

И мозгами, усталыми от дальней пожалованных,
И валами усталых мозгов
Грозовые громады они перемалывают
И ползучие скалы кучевых облаков.

И они перемалывают царства проглоченные
И, вращая белками, пьют облака –
И в подобные ночи под небом нет вотчины,
Чтоб бездомным глазам их была велика.
1915

MATERIA PRIMA

Чужими кровями сдабривавший
Свою, оглушенный поэт, –
Окно на Софийскую набережную,
Не в этом ли весь секрет?
Окно на Софийскую набережную,
Но только о речке запой,
Твои кровавые шарики,
Кусаясь, пускаются за реку,
Как крысы на водопой.
Волнение дарит обмолвкой.
Обмолвись словом: река,
Открыл ты не форточку,
Открыл мышеловку,
К реке прошмыгнули мышинные мордочки
С пастью не одного пасюка.
Сколько жадных моих кровинок
В крови облаков, и помоев, и будней
Ползут в эти поры домой, приبلудные,
Снедь песни, снедь тайны оттаявшей вынюхав!
И когда я танцую от боли
Или пью за ваше здоровье,
Всё то же: свирепствует свист в подполье,
Свистят мокроусые крови в крови.
1914

С рассветом, взваленным за спину,
Пусть с корзиной с грязным бельем,
Выхожу я на реку заспанный –
Берега сдаются внаем.
Первоматерия (лат.).
356

Портомойные руки в туманах пухнут,
За синением стекол мерзлых горишь,
Словно детский чулочек, пасть кошки на кухне
Выжимает суконную мышь;
И из выжатой пастью тряпочки
Каплет спелая кровь черным дождиком на пол,
С горьким утром в зубах ее сцапала кошка,
И комок того утра – за шкапом;
Но ведь крошечный этот чулочек

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Из всего предрассветного узла!
Ах, я знаю, что станет сочиться из ночи,
Если выжать весь прочий облачный хлам.
1914

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Камень мыло унынье,
Всхлипывал санный ком,
Гнил был линючий иней,
Снег был с полым дуплом.
Шаркало. Оттепель, харкая,
Ощипывала фонарь,
Как куропатку кухарка,
И город был гол, как глухарь.
Если сползались сани
И расползались врозь,
Это в тумане фазаньим
Перьям его ползлось.
Да, это им хотелось
Под облака, под стать
Их разрыхленному телу,
Черное – небу постлать.
1915

НО ПОЧЕМУ

Но почему
На медленном огне предчувствия
Сплавляют зиму?
И почему
Весь, как весной захоlustье,
Уязвим я?
И почему,
Как снег у бака водогрейни,
Я рассеян?
10 И почему
Парная ночь, как испаренье
Водогреен?
И облака
Раздольем моего ночного мозга
Плывут, пока
С земли чужой их не окликнет возглас,
И волоса
Мои приподымаются над тучей.
Нет, нет! Коса
20 Твоя найдет на камень, злополучье!

Пусть сейчас
Этот мозг, как бочонок, и высмолен,
И ни паруса!
Пена и пена.
Но сейчас,
Но сейчас – дай собраться мне
с мыслями –
Постепенно –
Пусти! – Постепенно.

Нет, опять
З0тетка Оттепель крадется с краденым,
И опять
Город встал шепелявой облавой,

и опять
По глазным, ополоснутым впадинам
Тают клады и плавают
Купола с облаками и главы –

СКРИПКА ПАГАНИНИ

1

Душа, что получается?
– Повремени. Терпенье.

Он на простенок выбег,
Он почернел, кончается –
Сгустился, – целый цыбик
Был высыпан из чайницы.

Он на карнизе узком,
Он из агата выточен,
Он одуряет сгустком
Какой-то страсти плиточной.

Отчетлив, как майолика,
Из смол и молний набран,
Он дышит дрожью столика
И зноем канделябров.

1 Господа (фр.).
359

Довольно. Мгла заплакала,
Углы стекла всплакнули...
Был карликом, кривлякою –
Messieurs¹, расставьте стулья.

2

Дома из более чем антрацитных плиток,
Сады из более чем медных –мозаи'к,
И небо более паленое, чем свиток,
И воздух более надтреснутый, чем вскрик,
И в сердце, более прерывистом, чем «Слушай»
Глухих морей в ушах материка,
Врасплох застигнутая боле, чем удушьем,
Любовь и боле, чем любовная тоска!

3

Ядохну на тебя, мой замысел,
И ты станешь как кожа индейца.
Но на что тебе, песня, надеяться?
1 что с тобой я вовек не расстанусь?
Я создам, как всегда, по подобию
Своему вас, рабы и повстанцы,
И закаты за вами потянутся,
Как напутствия вам и надгробья.
Но нигде я не стану вас чествовать
Юбилеем лучей, и на свете
Вы не встретите дня, день не встретит вас,
Я вам ночь оставляю в наследье.

4

Я люблю тебя черной от сажи
'Сожиганья пассажи, в золе
Отпылавших андант и адажий,
С белым пеплом баллад на челе,
С загрубевшей от музыки коркой
На поденной душе, вдалеке
Неумелой толпы, как шахтерку,
Проводящую день в руднике.

5

Она Изборожденный тьмою бороздок,
Рябью сбежавший при виде любви,

Этот, вот этот бесснежный воздух,
50 Этот, вот этот – руками лови?
Годы льдов простерлися
Небом в отдаленьи,
Я ловлю, как горлицу,
Воздух голой жменей,
Вслед за накидкой ваточной
Всё – долой, долой!
Нынче небес недостаточно,
Как мне дышать золой!
Ах, грудь с грудью борются
60 День с уединеньем.
Я ловлю, как горлицу,
Воздух голой жменей.

6

Он я люблю, как дышу. И я знаю:
Две души стали в теле моем.
И любовь та душа иная,
Им несносно и тесно вдвоем;
От тебя моя жажда пособья,
Без тебя я не знаю пути,
Я с восторгом отдам тебе обе,
70 Лишь одну из двоих приюти.
О, не смейся, ты знаешь какую,
О, не смейся, ты знаешь к чему,
Я и старой лишиться рискую,
Если новой я рта не зажму.
1915

БАЛЛАДА

Бывает, курьером на борзом
Расскачется сердце, и, точно
Отрывистость азбуки Морзе,
Черты твои в зеркале срочны.

Поэт или просто глашатай,
Герольд или просто поэт,
В груди твоей – топот лошадный
И сжатость огней и ночных эстафет.

Кому сегодня шутится?
10 Кому кого жалеть?
С платка текла распутица,
И к ливню липла плеть.

Был ветер заперт наглухо,
И штемпеля влеплял,
Как оплеухи наглости,
Шалея, конь в поля.

Песок горел пощечиной,
Не отомщенной в срок,
Несмытой, неоплоченной
20 Заушиной дорог.

Бряцал мундштук закушенный,
Врывалась в ночь лука,
Конь оглушал заушиной
Оскрётки большака.

Не видно ни зги,
По аллее
Топчут пчел сапоги.
Ни зги.
В руке у лакея –
30 фонарь. В глазах – круги.
Как белая пена, бела балюстрада.
И факел привратника, как брадобрей.

Сбривает газоны с сада,
Сбривает людей –
Сбривает людей:
До самых дверей.
Мне надо
Видеть графа!
Затем, что ропот стволов – баллада,
Затем, что, дыханья не переводя,
Мутясь, мятется ночь измлада,
Затем, наконец, что – баллада, баллада,
Монетный двор дождя.

Мне надо его видеть – с железного ската
Стекаая гербом по каретной коре,
Из слякоти ливень чеканит дукаты
И лепит копейки на медном дворе.

Мне надо его видеть – затем, что стихийно
Над графством шафран сентября залянял
И листья осин, как из цинка цехины,
Усеяли парк, как прилавок менял.

Шуршат со смертельной фальшью.
В паденьи – шепот пшена,
А дальше – пруды, а дальше –
Змеею гниет тишина.

И так же фальшивит фашинник,
И как-то сквозь сон, не всерьез
В паденьи повисли вершины
Пастушески-пестрых берез.

Довольно,
Мне надо
Видеть
Графа.

я неся бедой в проводах телеграфа,
Вдали клочкотали клочки зарниц
В котлах, за зубцами лесных бойниц.

Стояла тишь гробовая,
Лапшу полыханий похлебывало
Из черных котлов, забываясь,
В одышке, далекое облако.

Сбегает краска с лица консьержа,
В слова посетителя вкрался пароль,
Лицо наклоняется. Гость еще сдержан,
Но очи очам прохрипели: «Открой!»

К заветным окнам припала челядь,
И сыплется рыхлая тишь с высоты.
То норы с ослепшими звездами делят
И полночь неслышно буравят кроты.

Роса затянула ознобом курганы,
За шторой внезапно замолкли шаги,
Когда в дремоносные сосны органа
Впился – весь отчаянье – вопль пустельги.

1916

«НЕ КАК ЛЮДИ, НЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО...»

См.: «Не как люди, не еженедельно...» С. 85.

ВНЕДРЕННАЯ

См.: Душа. С. 84.

364

* * *

Вслед за мной все зовут вас барышней;
Для меня ж этот зов зачастую,
Как акт наложенья наручной,
Как возглас: «Я вас арестую».

Нас отыщут легко все тюремщики
По очень простой примете:
Отныне на свете есть женщина
И у ней есть тень на свете.

Есть лица, к туману притертые
Всякий раз, как плашмя на них глянешь,
И только одною аортою
Лихорадящий выплеснут глянец.
1914

ОТРЫВОК

См.: Десятилетье Пресни. С. 78.

PRO DOMO1

Налетела тень. Затрепыхалась в тяге
Сального огарка. И метнулась вон
С побелевших губ и от листа бумаги
В меловой распах сыреющих окон.
1 в защиту самого себя (лат.).
365

В час, когда писатель – только вероятье,
Бледная догадка бледного огня,
В уши душевной ночи как не прокричать ей:
«Это – час убийства! Где-то ждут меня!»
В час, когда из сада остро тянет тенью,
Пьяной, как пространства, мировой, как скок
Степи под седлом, – я весь – на иждивенье
У огня в колонной воспаленных строк.
1914

* * *

Порою ты, опередив
Мгновенной вспышкой месяцы,
Сродни пожарам чащ и нив,
Когда края безлесья;
Дыши в грядущее, бережь
И жги его – залижется
Оно душой твоей, как степь
Пожара беглой жижицей.
И от тебя, по самый гроб
С судьбы твоей преддверия,
Дни, словно стадо антилоп,
В испуге топчут прерии.
1915

APPASSIONATA1

От жара струились стручья,
От стручьев струился жар,
И ночь пронеслась, как из тучи
С корнем вырванный шар.

1 Страстная (ши.).

366

Удушьем свело оболочку,
Как змей, трещала ладья,
Сегодня ж мне кажется точкой
Та ночь в небесах бытия.

Не помню я, был ли я первым,
Иль первую были вы –
По ней барабанили нервы,
Как сетка из бичевы.

Громадой рубцов напряжась,
От жару грязен и наг,
Был одинок, как ужас,
Ее восклицательный знак.

Проставленный жизнью по сизой
Безводной Сахаре небес,
Он плыл, оттянутый книзу,
И пел про удельный вес
1915

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ

Был вечер, как удар,
И был грудною жабой
Лесов – багровый шар,
Чадивший без послабы.

И день валился с ног,
И с ног валился тут же,
Где с людом и шинок,
Подобранный заблудшей

Трясиной, влекся. Где
Концы свели с концами
Плаучесть звезд в воде
И вод в их панораме.

Где словно спирт, взасос
Пары болот под паром
Тянули крепость рос,
Разбавленных пожаром.

И был как паралич
Тот вечер. Был как кризис
Поэм о смерти. Притч,
Решивших сбуться, близясь.

Сюда! лицом к лицу
Заката, не робея!
Сейчас придет к концу
Последний день Помпеи.
1915

* * *

За окнами давка, толпится листва,
И палое небо с дорог не подобрано.
На крик: «Запирай!» – попиралась трава,
И вот всё развенчано, смыто и попрано.

Крепчает небес разложившихся смрад,

Смрад сосен, и дерна, и теса, и тополя,
Толченые травы текут и горят,
Их жилы порвались, сплелись и полопались.

Со стекол балконных, как с бедер и плеч
Купальщиц, парами прохладными обданных,
Стекает тускнеющий блеск – и залечь
Плетется по трупам каштанов растоптанных.

И вот распластался он. Вот он залег,
На пни заглядевшись, прочно и надолго,
Но миг недалек, как кривой уголек
В кустах разожжется и высечет радугу.

1915

«НОЧАМ СОЛОВЬЕМ ОБЛАДАТЬ...»

См.: Эхо. С. 95.

«НЕТ СИЛ НИКАКИХ
У ВЕСЕННИХ СТРИЖЕЙ...»

См.: Стрижи. С. 93.

СЧАСТЬЕ

См.: Счастье. С. 94.

Разве только по канавам,
Словно в яблоках рысак,
Скачет резво, буйно, браво
Брага стоков и клоак?

Разве только птицы цедят,
В синем небе щебеча,
Ледяной лимон обеден
Сквозь соломинку луча?

Оглянись и ты увидишь:
До зари, весь день, везде,
С головой Москва, как Китеж,
В светло-голубом пруде.

Отчего прозрачны крыши
И хрустальны колера?
Как камыш, кирпич колыша,
Дни несутся в вечера.
Город черен, жидок, ТОПОК,
Струпья снега на счету,
И февраль горит, как хлопок,
Захлебнувшийся в спирту.

Белым пламенем измучив
Зоркость чердаков, в косом
Переплете птиц и сучьев –
Воздух гол и невесом.

В эти дни теряешь имя,
Толпы лиц сшибают с ног.
Знай, твоя подруга с ними,
Но и ты не одинок.

Вчера еще были и воздух, и воля,
А нынче ракиты, как мысли, растеряны,

А нынче и мысли, и воздух, и воля
Из ветра, из пыли, из серого дерева.

Вчера еще были ристанья и пренья,
И тяжбы у кровель и зарев о роскоши,
А нынче закат уподоблен сирене,
Влачащейся грудью и гривою по суши.
1914

«ВЕСНА! НЕ ОТЛУЧАЙТЕСЬ...»
См.: Весна, 2. С. 91.

«Я ПОНЯЛ ЖИЗНИ ЦЕЛЬ И ЧТУ...»
См.: «Я понял жизни цель и чту...» С. 89.
ПОЭЗИЯ ВЕСНОЙ
См.: Весна, 1.С. 90.

* * *

Это мои, это мои,
Это мои непогоды –
Пни и ручьи, блеск колеи,
Мокрые стекла и броды,

Ветер в степи, фыркай, храпи,
Наотмашь брызжи и фыркай!
Что тебе сплин, ропот крапив,
Лепет холстины по стирке.

Платья, кипя, лижут до пят,
Станы гусей и полотниц
Рвутся, летят, клонят канат,
Плещут в ладони работниц.

Ты и тоску порешь в лоскут,
Порешь, не знаешь покрою,
Вот они там, вот они тут,
Клочьями кочки покроют.
1916

ЗАРЯ НА СЕВЕРЕ
Сквозь снег чернеется кадык
Земли. Заря вздымилась грудью.
Глаза зари в глаза воды
Глядят, зимуя в изумруде.

Залив клещом впился в луга,
И с мясом только вырвешь вечер
Из десен топи. Берега,
Как уголь, точны и зловещи.

Свежо, как семга, солнце, в лед
Садясь. Как лосось, в ломти
Изрезан льдом и лоском вод
Закат на плоском горизонте.

Течение ест зарю. Прудят
Поток объединенные ветки
С кистями красных ягод. Яд
Сочат намокшие объедки.

Река отравлена. Волны
Движенья мертвы и нетрезвы,
Но льдин ножи обнажены,
И стук стоит зеленых лезвий.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
И ни души. Один лишь хрип.
Слепой, случайный хрип ножовый.
В глуши, на плахе глыб погиб
Дар песни, сердца, смеха, слова.
1916

Кокошник нахлобучила
Из низок ливня – паросль,
Футляр дымится тучею,
В ветвях горит стеклярус.

И на подушке плюшевой
Сверкает в переливах
Роскошный и обрушенный
Каскад раскатов в ивах.

О, как игрой лиловою
Он в майских мочках ярок!
Чтоб горы очаровывать,
Он вынут из футляра.
1916

«КОГДА ДО ТОНЧАЙШЕЙ МЕЛОЧИ...»
См.: Три варианта, 1. С. 95.

«САДЫ ТОШНИТ ОТ ВЕРСТ ЗАТИШЬЯ...»
См.: Три варианта, 2. С. 96.

«НА КУСТАХ РАСТУТ РАЗРЫВЫ...»
См.: Три варианта, 3. С. 96.

«ТАК ПРИБЛИЖАЕТСЯ УДАР...»
См.: Июльская гроза. С. 96.

ПРОЩАНИЕ

Небо гадливо касалось холма,
Осенью произносились проклятья,
По ветру время носилось, как с платья
Содранная бурьянами тесьма.
Тучи на горку держали. И шли
Переселеньем народов – на горку.
По ветру время носилось оборкой
Грязной, худой, затрапезной земли.
Степь, как архангел, трубила в трубу,
Ветер горланил протяжно и властно:
Степь! Я забыл в обладании гласной,
Как согласуют с губою губу.
Вон, наводя и не на воды жуть,
Как на лампаду, подул он на речку,
Он и пионы, как сальные свечи,
Силится полною грудвою задуть.

И задувает. И в мрак погружаясь,
Тускло хладеют и плещут подкладкой
Листья осин. И, упав на площадку,
Свечи с куртин зарываются в грязь.

Стало ли поздно в полях со вчера
Иль до бумажек стгорел накануне
Вянувший тысячесвечник петуний, –
Тушат. Прощай же. На месяц. Пора.
1915

НА ПАРОХОДЕ

См.: На пароходе. С. 105.

УРАЛ ВПЕРВЫЕ

См.: Урал впервые. С. 88.

МУЗА ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТОГО

Слышавшая младшею дочерью
Гроз, из фамилии ливней,
Ты, опыленная дочерна
Громом, как крылья крапивниц!

Молния былей пролившихся,
Мглистость молившихся мыслей,
Давность, ты взрыта излишеством,
Ржавчиной блеск твой окислен!
Башни, сшибаясь, набатили,
Вены вздымались в галопе.
Небо купалось в кратере,
Полдень стоял на подкопе.

Луч оловел на посудинах.
И, как пески на самуме,
Клубы догадок полуденных
Рот задыхали безумьем.

Твой же глагол их осиливал,
Но от всемирных песчинок
Хруст на зубах, как от пылева,
Напоминал поединок.
1916

МАРБУРГ

День был резкий, и тон был резкий,
Резки были день и тон –
Ну, так извиняюсь. Были занавески
Желты. Пеньюар был тонок, как хитон.

Ласка июля плескалась в тюле,
Тюль, подымаясь, бил в потолок,
Над головой были руки и стулья,
Под головой подушка для ног.

Вы поздно вставали. Носили лишь модное,
10 и к вам постучавшись, входил я в танцкласс,
Где страсть, словно балку, кидала мне под ноги
Линолеум в клетку, пустившийся в пляс.

Что сделали вы? Или это по-дружески,
Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг в матинэ?
К чему же дивитесь вѐн, если по-мужески –
мне больно, довольно, есть мера длине,
тяни, но не слишком, не рваться ж струне,
мне больно, довольно –
стенает во мне
Назревшее сердце, мой друг в матинэ?

Вчера я родился. Себя я не чту
Никем, и еще непривычна мне поступь,
Сейчас, вспоминаю, стоял на мосту
И видел, что видят немногие с мосту.

Инстинкт сохранения, старик подхалим,
Шел рядом, шел следом, бок о бок, особо,
И думал: «Он стоит того, чтоб за ним
Во дни эти злые присматривать в оба».

Шагни, и еще раз, – твердил мне инстинкт
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез путаный, древний, сырой лабиринт
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

Плитняк раскалялся. И улицы лоб
Был смугл. И на небо глядел исподлобья
Булыжник. И ветер, как лодочник, греб
По липам. И сыпало пылью и дробью.

Лиловою медью блистала плита,
А в зарослях парковых очи хоть выколи,
И лишь насекомые к солнцу с куста
Слетают, как часики спящего тикая.

О, в день тот, как демон, глядела земля,
Грозу пожирая, из трав и кустарника,
И небо, как кровь, затворялось, спалась
О взгляд тот, тяжелый и желтый, как арника.
В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Достаточно тягостно солнце мне днем,
Что стынет, как сало в тарелке из олова,
Но ночь занимает весь дом соловьем
И дом превращается в арфу Эолову.

По стенам испуганно мечется бой
Часов и несется оседланный маятник,
В саду – ты глядишь с побелевшей губой –
С земли отделяется каменный памятник.

Тот памятник – тополь. И каменный гость
Тот тополь: луна повсеместна и целостна.
И в комнате будут и белая кость
Березы, и прочие окаменелости.

Повсюду портпледы разложит туман,
И в каждую комнату всунут по месяцу.
Приезжие мне предоставят чулан,
Версту коридора да черную лестницу.

По лестнице черной легко босиком
Свершить замечательнейшую экскурсию.
Лишь ужасом белым оплавится дом
Да ужасом черным – трава и настурции.

В экскурсию эту с свечою идут,
Чтоб видели очи фиалок и крокусов,
Как сомкнуты веки бредущего. Тут
Вся соль – в освещеньи безокого фокуса.

Чего мне бояться? я тверже грамматики
Бессонницу знаю. И мне не брести

По голой плите босоногим лунатиком
Средь лип и берез из слоновой кости.

Ведь ночи играть садятся в шахматы

Со мной на лунном паркетном полу.
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь – король. Королева – бессонница.
И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
я белое утро в лицо узнаю.
1916

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ
И ВАРИАНТЫ

* * *

Февраль! Достать чернил и плакать,
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит!
Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес
Меня б везли туда, где ливень
Сличил чернила с горем слез,
Где, как обугленные груши
На ветках – тысячи грачей,
Где грусть за грустию обрушит
Февраль в бессонницу очей.
Крики весны водой чернеют
И город – криками изрыт,
Доколе песнь не засинеет
Там, над чернилами – навзрыд.
<1912>

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

И, как в неслыханную веру,
Я в этот мир перехожу,
Где тополь, обветшало-серый
Завесил лунную межу,
Где тихо шествующей тайны
Меж яблонь пепельный прибой;
Где ты над всем, как помост свайный
И даже небо – под тобой.
<1912>

Сегодня мы исполним грусть его –
Так верно встречи обо мне сказали,
Таков был лавок сумрак, таково
Окно с мечтой смятенною азалий.

Таков подъезд был. Таковы друзья,
Что сняли номер дома рокового.
Окном застигнутая даль моя
Была вождем похода такового.

Даль в поисках, пугливый авангард,
Даль высадки на горизонт вечерний,
А во дворе – песнь пахотных губерний,
Весна со взломом, и повальный март.

О, пой земля, как поданные сходни;
Под брызги птиц готов отчалить я.

О, город мой, весь день, весь день сегодня
Не сходит с уст твоих печаль моя!

1911

НОЧНОЕ ПАННО

С. Б<оброву>

В предшествии
стройного призрака...

СБ.

Лишь закатится гул за кольями
Запропастившуюся гривной,
Начнет предсердие подпольями
Скучать присказкою призывной.

Окно своей двояковыгнутой
Мечтою сумерки покроют,
И уведет в твое инкогнито
Мой телефонный целлулоид.

Да, это надо так, чтоб скучились
К свече преданья коридоров.
Да, надо так, чтоб вместе мучились
Сам-третьим с нами – ночи норов.

Да, надо, чтоб стезею солнечной
Поплыло сердце фаэтоном,
Чтобы взошло в несомой полночи
Оно тяглом к твоим затонам.

Чтобы пожарами кисейными
Фасады снов прослыли в центре,
Чтоб за отвесными бассейнами
Эскадру дремало джентри.

Чтоб ночью вздвоенной оправданы
Взошли кумиры тусклым фронтом,
Чтобы в моря, за аргонавтами
Рванулась площадь горизонтом.

Чтобы руна золотого вычески
Сбивались сединами к мелям
И над грядой океанической
Стонало сердце Ариэлем.

Когда ж костры колоссов выгорят
И покачнутся сны на рейде,
В какие бухты рухнет пригород
И где, когда вне песен негде.

И царствуя своей разверсткою
С бессонницей обсерваторий,
Над кем уснет семья поморская
Богосмеркающихся взморий?
<1913>

Весна! Не отлучайтесь
К реке на прорубь. В городе
Обломки льда, как чайки,
Плывут и врут с три короба.

Земля, земля волнуется,
Из-под мостов пролеты
Затопленные улицы
Сливают нечистоты.

По ним плывут, как спички,
Сквозь холод ледохода
Сады и электрички
И не находят броду.

От кружки синевы со льдом,
От пены буревестников
Вам дурно станет. Впрочем, дом
Кругом затоплен песнью.
И бросьте размышлять о тех,
Кто выехал рыбачить.
По городу гуляет грех
И ходят слезы падших.
1914, 1956

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ

Был вечер, как удар.
Лесов грудною жабой
Горел багровый шар,
Чадивший неослабно.
И день валился с ног,
Растягиваясь тут же,
Где с людом и шинок,
Подобранный заблудшей
Трясиной влекся. Где
Туман над озерцами,
Как нитку в воду вдел
Вечерних звезд мерцанье.
Где словно спирт, взасос
Пары болот под паром
Тянули крепость рос,
Разбавленных пожаром.
Как вздох, как паралич,
Был вечер тот. Как кризис
Поэм о смерти, притч,
Что исполнялись, близясь.
Сюда! лицом к лицу
Заката, не робея!
Сейчас придет к концу
Последний день Помпеи.
1915–192

8

МЕЛЬНИЦЫ
(Из старой тетради)
Маяковскому

Хрустальна ночь и ветер терпок.
Рыдает пес, обезголосев,
И месяц протирает серп
Хрустящею струей колосьев.

Село в серебряном плену
Горит белками хат потухших,
И брешет пес, и бьет в луну
Цепной, кудлатой колотушкой.
Лишь затемна свели волю
Последние снопы со жнивьев,
И кукурузные стволы
Спросонок ищутся, завшивев.

В тугом, как сок, сукне естеств
Синея, гнутся сучья сливы.
Над ними мельницы крестец,
Как крепость, высится ворчливо.

Плакучий Харьковский уезд,

Русалочьи начесы лени,
И ветел, и плетней, и звезд,
Как сизых свечек шевеленье.

Как губы, – шепчут, как руки, – вяжут;
Как вздох, невнятен, как кисти, – дряхлы,
И кто узнает, и кто расскажет,
Чем тут когда-то дело пахло?

И кто отважится и кто осмелится
Из сонной одури хоть палец высвободить,
Когда и ветряные мельницы
Окоченели на лунной исповеди?
Им ветер был роздан, как звездам – свет.
Он выпущен в воздух, а нового нет.
А только как судна, земле вопреки,
Воздушною ссудой живут ветряки.

Ключицы сутуля, крыла разбросав,
Парят на ходулях степей паруса.
И сохнут на срубах, висят на горбах
Рубахи их луба, порты-короба.

Когда же беснуются куры и стружки,
И дым коромыслом, и пыль столбом,
И падают капли медяшками в кружки,
И буря вбегает в белье голубом,

И ласточки порют оборки настурций.
И можно увидеть полет панталон.
И тополь и птицы, от счастья зажмурясь,
Нашествием снега слепят небосклон,

Тогда просыпаются мельничные тени.
Их мысли ворочаются, как жернова.
И они огромны, как мысли гениев,
И несоразмерны, как их права.

Теперь перед ними всей жизни умолот.
Все помыслы степи и все слова,
Какие жара в горах придумала,
Охалками падают в их постова.

Теперь весь юг, в тарабарских выкликах,
Вся степь, как сусличий подкоп,
Лежит перед ними и муслим им щиколки
Крутой похлебкой из подков.

Они ж, уставая от далей, пожалованных
Валам несчастной шестерни,
Меловые обвалы пространств обмалывают
И судьбы, и сердца, и дни.
И они перемалывают царства проглоченные,
И, катая белками, пылят облака,
И все небо – в муке и кругом нет вотчины,
Чтоб бездонным глазам их была велика.

Но они не жалуются на каторгу.
Возвышаясь в грядущем и рея в былом,
Неизвестные зарева, как элеваторы,
Преисполняют их теплом.

192

8ГОРОД

(Отрывки целого)

Уже за версту
В капиллярах ненастья и вереска
Густ и солон тобою туман.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас

Ты горишь, как лиман,
Обжигая пространства, как пересыпь,
Огневой солончак
Растекающихся по стеклу
Фонарей, каланча,
Пронизавшая заревом мглу.

Навстречу, по зареву, от города, как от моря,
По воздуху мчатся огромные рощи,
Это – галки; это – крыши, кресты и сады
и подворья.
Это – галки,
О ближе и ближе; выше и выше.
Мимо, мимо проносятся, каркая, мощно,
как мачты за поезд, к Подольску.
Бушуют и ропщут.

Это вещи, голые ветки, божась чердаками,
Вылетают на тучу.
Это – черной божбою
Над тобой бьется пригород Тмутараканью
В падучей.
Это – «Бесы», «Подросток» и «Бедные люди»,
Это – Крымские бани, татары, слободки,
Сибирь и бессудье,
Это – стаи ворон. – И скворешницы в лапах
суков
Подымают модели предместий с издельями
Гробовщиков.

Уносятся шпалы, рыдая.
Листвой вострепенувшейся свист замутив,
Скользит, задевая краями за ивы,
Захлебывающийся локомотив.
Считайте места! – Пора, пора.
Окрестности взяты на буфера.
Стекло в слезах. Огни. Глаза,
Народу, народу! – Сопят тормоза.

Где-то с шумом падает вода.
Как в платок боготворимой, где-то
Дышат ночью тучи, провода,
Дышат зданья, дышит гром и лето.

Где-то с ливнем борется трамвай.
Где-то снится каменным метопам
Лошадьми срываемый со свай
Громовержец, правящий потопом.

Где-то с шумом падает вода.
Где-то театр музеем заподозрен.
Где-то реют молний повода.
Где-то рвутся каменные ноздри.

Где-то ночь, весь ливень расструив,
Носится с уже погибшим планом:
Что ни вспышка, – в тучах, меж руин
Пред галлюцинанткой – Геркуланум.
Гроном дрожек, с аркады вокзала
На границе безграмотных роц
Ты развернут, Роман Небывалый,
Сочиненный осенью, в дождь,
Фонарями бульваров, книга
О страдающей в бельэтажах
Сандрильоне всех зол, с интригой
Бессословной слуги в господах.
Бовари! Без нее б бакалее
Не пылать за стеклом зеленой.

Не вминался б в суглинок аллеи
Холод мокрых вечерен весной.
Не вперялись бы от ожиданья
Темноты, в пустоте rendez-vous
Оловянные птицы и зданья,
Без нее не знобило б траву.
Колокольня лекарствами с ложки
По Посту не поила бы верб,
И Страстную, по лужам дорожки
Не дрожал гимназический герб.
Я опасаюсь, небеса,
Как их, ведут меня к тем самым
Жилым и скользким корпусам,
Где стены – с тенью Мопассана,
Где за болтами жив Бальзак,
Где стали предсказаньем шкапа,
Годами в форточку вползав,
Гнилой декабрь и жуткий запад,
1 см. перевод на с. 231.
Как неудавшийся пасьянс,
Как выпад карты неминучей.
Nonny soit qui mal y pense!
Нас только ангел мог измучить.

В углах улыбки, на щеке,
На прядях – алая прохлада,
Пушатся уши и жакет,
Перчатки – пара шоколадок.

В коленях – шелест тупиков,
Тех тупиков, где от проходов,
От ветра, метел и пинков
Шуршащий лист вкушает отдых.

Где горизонт как рубикон,
Где сквозь агонию громленной
Рябины, в дождь, бегут бегом
Свистки, и тучи, и вагоны.
1916. Тихие Горы

* # *

Лодка колотится в озерной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины – о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь, песня, тешатся все.
Это ведь значит шорох сиреневый,
Роскошь крошенных черемух в росе,
Губы и пряди на звезды выменивать!

Это ведь значит – обнять небосвод,
Руки сплести вокруг Геракла громадного,
Это ведь значит – века напролет
Ночи на звезды, как царства проматывать!
1917

СЛОЖА ВЕСЛА

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины – о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!
Это ведь так... Это ведь пустяки...
Это ведь значит – рукою несмелою
Белой ромашки пушить лепестки,
Трогать губами сирень помертвелую.
Это ведь значит – обнять небосвод,
Руки сплести вокруг Геракла громадного,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Это ведь значит – века напролет
На соловьев состоянья проматывать.
1956

УЛИЧНАЯ

Метлы бастуют. Брезгуя
Мусором пыльным и тусклым,
Ночи сигают до брезгу
Через заборы на мускулах.
Возьются в вязах, падают,
Наземь, сверзясь с деревьев,
Вскакивают: за оградю
Север злодейств сереет.
С паперти в дворик реденький.
Тишь. А самум печати
С шорохом прет в передники
Зыбких берез зачатья.
Улица дремлет призраком.
Господи! Рвани-то, рвани!
Ветер подымет изредка,
Не разберет названья.
Пустошь и тишь. У булочных
Не становились в черед.
Час, когда скучно жульничать
И отпираться: – верят.

Будешь без споров выпущен.
В каждом босяк. Боятся.
Час, когда общий тип еще:
Помесь зари с паяцем.

Как вдруг – из садов, где твой
Лишь глаз ночевал, из милого
Душе твоей мрака, плотвой
Свисток расплескавшийся выловлен.

Милиционером зажат
В кулак, как он дергает жабрами,
И глазом и горлом, назад
Крючком усыхающим задранный!

Трепещущего серебра
Пронзительная горошина,
Как утро рыбачье, мокра
С лесы за забор переброшена.

И там, где тускнеет восток
Чухоткою летнего Тиволи,
Валяется дохлый свисток,
В Сокольничьем мусоре вывалян.
Май 1917

СТЕПЬ

Как были те выходы в тишь хороши!
Пустынна степная равнина.
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариный.
Стога с облаками построились в цепь,
В гряде потухающих сопок.
Раскинулась морем безбрежная степь,
Привольем без меж и без тропок.

Неловко нетронутой степью брести,
Как против морского теченья.
Релье пробирает сквозь ткань до кости,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Хватает ковыль за колени.

Тенистая полночь стоит у пути.
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя не топча мирозданья.

Когда еще звезды так низко росли,
И полночь в бурьян окунало,
Пылал и пугался намокший муслин,
Льнул, жался и жаждал финала?

Закрой их, любимая! Запорошит!
Вся степь как до грехопаденья:
Вся – миром объята,
Вся – как парашют,
Вся – дыбящееся виденье!
1956

* * *

Второе июля. Три часа утра.
Вы спите.
Накрапывает. Водит веткой
Украдкой, в кустах!
Тетрадь мокра,
Пометка:
Четвертый час утра.
Вы спите.
Звучит как: «Ипсвич» [Бриг Бристоль]
Великий или Тихий океан,
Четвертый час утра
По Рождестве Христовом.
[Отель Бристоль]
Вы спите.
1917

Дом показался чужим.
[Комната]
Как легендарна жара,
Как похощенья мудрены.
Изнемогает от дремы
[Лавка...
В городе тучи мембран]
Изнемогает от дремы.
Как усыпительна жизнь,
Как откровенья бессонны!
Связкой (жгутов и пружин)
1917

* * *

Грязный, гремучий, в постель
Падает город с дороги.
Нынче за долгую степь
Веет впервые здоровьем.

Как усыпительна жизнь,
Как откровенья бессонны!
[Ночи и дни дребезжат]
Позже ли, раньше ль – мозжить
Стенки бездонных кессонов.
1917
ГРОЗА МОМЕНТАЛЬНАЯ НАВЕКИ

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий

Ночью снял на память гром.
Меркла кисть сирени. В это
Время он, нарвав охапку
Молний, с поля ими трафил
Озарить управский дом.

И когда по кровле зданья
Разлилась волна злорадства
И, как уголь по рисунку,
Грянул ливень всем плетнем,
Стал мигать обвал сознанья:
Вот, казалось озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло как днем.

Как фантом в фата-моргане,
Тьму пропаж во тьме находок,
Море – в море эпилепсии
Утопив, тонул циклон.
Молнии комкало морганье.
Так глотает жадный кодак
Солнце – так трясется штепсель,
Так теряет глаз циклоп.
Бурным бромо-желатином,
Как с плетенки рыболова,
Пласт к пласту, с ближайшей ветки
Листья приняло стекло.
К фиолетовым куртинам
Приставал песок лиловый,
Как налет на той кюветке,
Где теперь как днем светло.
1917

Когда-нибудь поймут,
Чей голос слышен в неге,
Как предана ему
Религия элегий.
Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист раки
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?
Ты спросишь, кто велит?
– Всесильный Бог деталей.
1917

Извоищий двор и встающий из вод
В уступах, преступный и пасмурный Тауэр,
И звонкость подков, и простуженный звон
Вестминстера с Темзой, закутанных в траур.

И тесные улицы. Стены, как хмель,
Копящие сырость в разросшихся бревнах,
Тяжелых, как копоть, и шумных, как эль,
Как Лондон холодных, как поступь, неровных.

Спиральями, мешкотно падает снег,
Уже запирали, когда он, обрюзгший,
Не спавший, ноябрьский, пошел в полусне
Валить и ползти, как ослабший набрюшник.

Оконце и зерна лиловой слюды
В свинцовых ободьях. – «Смотря по погоде.
А впрочем – а впрочем, соснем на свободе».

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
– «А впрочем – на бочку! Цырюльник, воды!»

И, бреясь, гогочет, держась за бока,
Словам остряка, не уставшего с пира
Смешить и цедить сквозь губу чубука
Убийственный вздор. А меж тем у Шекспира

Остричь пропадает охота: сонет,
Написанный ночью в присест, без помарок,
8 углу, на столе, где в чернилах – ранет,
Под нижней из балок, за крайней из арок,

Сонет говорит ему: «Я признаю
Способности Ваши, но, гений и мастэр¹
Скажите, доказано ль тем, на краю
Бочонка, с обмыленной мордой, что мастью
Я – в молнию, в мать, и что я обдаю
Огнем, как отец мой, – зловоньем –
Ваш кнастер.

Простите, отец мой, за мой скептицизм
И грубость речей, но милорд, – мы в трактире!
Я жажду признанья. Что – Ваши птенцы
Друзья – извините – пред плещущей ширью?

Прочтите вот этому. Сэр, – почему ж?
Во имя всех гильдий и биллей – пять ярдов –
И Вы с ним в бильярдной, и там – не пойму,
Чем Вам не акустика балки бильярдной?»
«Сонет, ты взбесился?!» – и кличет слугу.
«Мой сын помешался». – Читайте:

за четверть,
Оленина, пиво, французский рагу,
«Идиот» – и играет малаговой ветвью.
1 Master – sir. (Прим. Б. Пастернака.)

397

9 января 1919

* * *

Мне в сумерки ты все – пансионеркою,
Все – школьницей. Зима. Заря – лесничим
В лесу часов. Брожу и жду, чтобы смерклось.
Любимый лед, в тугом шелку ресниц!

А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!
Проведай ты, тебя б сюда пригнало!
Она – твой брак, она – твое замужество
И шум машин в подвалах трибуналов!

Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаей
горлинок
Летели хлопья грудью против гула.
Их Кремль крутил, кутя, валясь прожорливо
Со стен под снег, сармат в пиру Лукулла.

Перебегала ты! Ведь он подсовывал
Ковром под нас салазки и кристаллы!
Ведь жизнь, как кровь, до облака свинцового
Пунцовой вьюгой, раскроясь, хлестала!

Движенье помнишь? Помнишь время?
Лавочниц?
Палатки? Давку? За разменом денег
Холодных, медных, с воли – помнишь,
давешних
Колоколов предпраздничных гуденье?

Ах, да, тоска! Да, это надо высказать.

Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
Как конский глаз, с подушек, потный, искоса
Дышу, страшась бессонницы огромной.

191

8

ТОЧИЛЬЩИК, или вздох,
ОКАЗАВШИЙСЯ БОЛЬШЕВИКОМ

Чирикали птицы и были искренни.
Сияло солнце на мокрой коре.
С точильного камня не сыпались искры,
А сыпались – гасли, как спицы карет.

Сквозь форточки школы к ним на рукоделье
Садилась, как голуби, облака.
Они замечали: с воды похудели
Заборы – заметно, кресты – слегка.

Точило бежало. Из школы на улицу,
На тумбы садилось, хлынув волной,
Немолчное пенье и шелканье шпулек,
Мелькали косички и цокал челнок.

Не сыпались искры, а сыпались – гасли.
Лезгин дождался. Кинжал, свища,
Светлел, пробуждался – тусклый, замасленный,
Св<етлел>, прояснялся. Он был с леща.

Тот толстый кинжал, – но мутней и безмозглей,
Прожорливей рыбы был сонный клинок.
Не сыпались искры, а сыпались – возле
Был желоб и – гасли. И цокал челнок.

[Шел дворник. Ручаюсь, он всяких чуждался
Таких сантиментов. Но дворник вздохнул:
«Когда ж это кончится!» – Горец дождался,
Дал мальчику рубль и леща пристегнул.]

В то время лещи были красноречивы,
Они в мемуары просились твои.
Сверкал тротуар, воробьи горячились,
Горели кусты и побеги хвои.

1922

ГОРОДСКАЯ НОЧЬ

Я вишу на пере у Творца
Каплей темно-лилового лоска.
Истекают ли сроки канав,
Шибко воздух ли соткой и коксом
По вокзалам дышал и зажегся,
Но за миг лишь зарю доконав,
Ночь румяна опять, как она,
И забор поражен парадоксом.
И бормочет: прерви до утра
Этих сохлых белил колебанье.
Грунт убит и червив до нутра,
Эхо пробует шар в кегельбане.

Шевелится шевьот и грязца,
Вешний ветер,
Колес отголоски,
И горбатую терку торца
От зари, как от хренной полоски,
Покрывают холодные слезки.
Скоро день. На пере у Творца
Терпну каплей густого свинца.

1922

БАБОЧКА–БУРЯ

Из десяти житейских действий
Показывают в драмах пять,
Но всё доигрывают в детстве,
Отсюда наша тяга вспять.

Кто помнит гусениц Мясницкой
Умрет, уснув на их лугу,
Как кузнецы на них ни цыцкай,
Их горны служат вслух врагу.
Напрасно б в сковороды били
И огорчалась кочерга.
Питается пальбой и пылью
Окуклившийся ураган.

Как призрак порчи и починки,
Точащий чашечки мечтам,
Асфальта алчною личинкой
Смолу котлами пьет почтайт.

Но за разгромом и ремонтом,
К испугу сомкнутых окон,
Червяк спокойно и дремотно
По закоулкам ткет кокон.

Тогда-то сбившись с перспективы,
Мрачатся улиц выхода,
И бритве ветра тучи гриву
Подбрасывает духота.

Сейчас ты выпорхнешь, инфанта,
И, сев на телеграфный столб,
Расправишь водяные банты
Захлебывающихся толп.

Тогда прохладой лихоимной
Не позабудь с удушья взять,
И утомленным махаоном
На тихий омут кровель сядь.
1923

ОСЕНЬ

Всю ночь вода трудилась без отдышки,
Всю ночь шел дождь. И вот заря в вершок
Мясным несет из-под ненастной крышки,
Земля дымится, словно шей горшок.
Когда же ночь, отряхиваясь, вскочит,
Кто мой испуг изобразит росе
В тот час, как песнь затянет первый кочет,
За ним другой, еще за этим – все?
Перебирая вещи поименно,
Поочередно тыкаясь во тьму,
Они пророчить станут перемену
Дождю, зиме, любви – всему, всему.
1923

ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ

Ахейцы проявляют цепкость.
Идет осада, идут дни,
Проходят месяцы и лета.
В один прекрасный день пикеты,
Не чуя ног от беготни,

Приносят весть: сдается крепость.

Не верят, верят, жгут огни,
Взрывают своды, ищут входа,
Выходят, входят, – идут дни.

10 Проходят месяцы и годы.
В один прекрасный день они
Приносят весть: родился эпос.
Не верят, верят, жгут огни,
Нетерпеливо ждут развода,
Слабеют, слепнут, – идут дни,
И крепость разрушают годы.

Мне стыдно и день ото дня стыдней,
Что в век таких теней
Высокая одна болезнь
20 Еще зовется песнь.

Уместно ли песнью звать сущий содом,
Усвоенный с трудом

Землей, бросавшейся от книг
На пики и на штык?

Благими намереньями вымощен ад.
Установился взгляд,
Что, если вымостить ими стихи, –
Простятся все грехи.

Все это режет слух тишины,
' Вернувшейся с войны.
А как натянут этот слух,
Узнали в дни разрух.

В те дни на всех припала страсть
К рассказам, и зима ночами
Не уставала вшами прясть,
Как лошади прядут ушами.

То шевелились тихой тьмы
Засыпанные снегом уши.
И сказками метались мы
1 На мятных пряниках подушек.

Обивкой театральных лож
Весной овладевала дрожь.
Февраль нищал и стал неряшлив.
Бывало, крякнет, кровь откашляв,
И сплунет, и пойдет тишком
Шептать теплушкам на ушко
Про то да се, про путь, про шпалы,
Про оттепель, про что попало,
Про то, как с фронта шли пешком,
>Уж ты и спишь и видишь рожь, –
Рассказчику ж и горя мало:
В ковшах оттаявших калаш
Припутанную к правде ложь
Глокает платяная вошь
И прясть ушами не устала.
В ушные раковины сна
Из раковин водопровода
Перекачала тишина
Все шепоты золы и соды.
Их шум, попавши на вокзал,
За водокачкой исчезал,
Потом их относило за лес,
Где сыпью насыпи казались,
Где между сосен, как насос,
Качался и качал занос,

Где рельсы слепли и чесались,
Едва с пургой соприкасались,
Где слышалось: вчерась, ночью,
И в керенку ценилась честь...
Поздней на те березки, зорьки
Взглянул прямолинейно Горький.

А сзади в зареве легенд
Идиот, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его, зазнавшись, поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто.

'А сзади, в зареве легенд
Идиот, герой, интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.
Над драмой реял красный флаг.
Он выступал во всех ролях
Как друг и недруг деревенек,
Как их слуга и как изменник.

А позади, а в стороне
Рождался эпос в тишине.

Обваливайся, мир, и сыпья,
Тебя подслушивает пыль.
Историк после сложит быль
О жизни, извести и гипсе.
Ведут свой собственный архив
Пылинки, забиваясь в уши
Органных труб и завитушек.
Лепные хоры и верхи
Оштукатурены це-дуром;
Для них – пустая процедура
1 Произношенье звуков вслух.
К такой щекотке мусор глух.
Но вдохновенья, чей объем
Одушевляет даже бревна,
Улавливает он любовно
Всепожирающим чутьем.

В край мукосеев шел максим,
Метелью мелкою косим.
Мелькали баки и квадраты,
Крича – до срочного возврата!
) В сермягу завернувшись, смерд
Смотрел назад, где север мерк,
И снег соперничал в усердьи
С сумерничающею смертью.
Там, как орган, во льдах зеркал
Вокзал загадкою сверкал,
Глаз не смыкал, и горе мыкал,
И спорил дикой красотой
С консерваторской пустотой
Порой ремонтов и каникул.
} Невыносимо тихий тиф,
Колени наши охватив,
Мечтал и слушал с содроганьем
Недвижно дышащий мотив
Сыпучего самосверганья.
Он знал все выемки в органе
И пылью скучивался в швах
Органных меховых рубах.
Его взыскательные уши

Еще упрашивали мглу
И капли сырости в углу
И лед и лужи на полу
Безмолвствовать как можно суше!

А за Москвой-рекой хорьки,
Хоралу горло перегрызши,
Бесплотно пили из реки
Тепло и боль болезни высшей.

Мы были сумеркам с руки:

Терзались той же страстью крысы.
Ведь и у них талант открылся
И тиф у кассы с ними грызся
О контрамарке на концерт.

И тут сумерничала смерть.

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.

Здесь места нет стыду.

Я не рожден, чтоб три раза
Смотреть по-разному в глаза.
}Еще бессмысленней, чем песнь,
Тупое слово «враг». –
Гощу. – Гостит во всех мирах
Высокая болезнь.

Всю жизнь я быть хотел как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нитья
И хочет быть как я.
Мы были музыкой объятий
С сопровождением обид.

Бывало, в том конце слободки,
Со снегом реденьким в щепотке,
Мелькнет с мужчиной, как сквозь хмель,
Смущающаяся метель.
И тут же резвую хвостунью
Возьмет на воздухе раздумье:
Чем эту пропасть крыш завьять?
Там вьюшки. Вязью их не взять.
Дрова, деревья, дровни, рынок, –
А в воздухе пять-шесть снежинок.
А душ, а крыш – в глазах рябит!
Робеет снег, – казаться стыд.
Но скоро открывает иней,
Что нет под крыльшками стрех
Ни вьюшек, ни души в помине,
И снегу жаловаться грех.

И, осмелевши, крепнет снег,
Скользя с притворным интересом
По подворотням и по рельсам,
И хлопья врут Бог знает что,
Облапив теплое пальто,
Плетут и распускают петли...
Вы скажете: как снег приветлив!
Дай Бог ему за то – но вдруг
Откуда-то, как в бочку бондарь,
Ударит буря и, помедлив,
Ударит пуще, и на стук

Бурану отопрет испуг,
И в дверь ворвется ипохондрик
И вырвет дверь у вас из рук.

Вы вскрикнете – как привередлив!
Да знаете ли вы! – но вдруг
На помертвелом горизонте –
Оглядываясь на бегу...
Попробуйте-ка, урезоньте
В такую непроглядь, в пургу
В вас втюрившуюся каргу!
Тогда стремительно и метко
Зачерчивая вечер в клетку,
Взвивалось в воздухе лассо
Сухих строительных лесов.
Рождалось зданье за лесами
С распущенными волосами,
И страсть народу волоклось
В седых сетях ее волос.

И – в капоре пурги тогдашней,
Сквозь мглу распахивались нам
Объятыя Сухаревой башни
Простертые, как Нотр-Дам.
О раздираемый страстями
'Стан, сумасшедший, как обвал,
В те ночи кто с тобой не спал,
Разыскиваемый властями?
Кто хохот плеч твоих отверг?
Всею необузданностью муки
Твои заломленные руки
Кричали вьюге: руки вверх!

Ты становилась все капризней,
И ненасытности стропил,
Ослабеваая, уступил
1 Последний жалкий признак жизни.
В ту ночь в понятиях небес
Все стало звуком: звук исчез.

Мы были музыкою чашек,
Ушедших кушать чай во тьму
Глухих лесов, косых замашек
И тайн, не льстящих никому.

Трещал мороз, и ведра висли.
Кружились галки, – и ворот
Стыдился застуженный год.
Плечо нуждалось в коромысле.
Мы были музыкою мысли,
Наружно сохранявшей ход,
Но в стужу превращавшей в лед
Заслякоченный черный ход.
Потом двенадцать полных лун
На нем безмолвствовал колун.
С исчезновенья фонарей
Воображенью пустырей
Все стало представляться звуком,
И даже сумрак у дверей,
С исчезновеньем фонарей
Притворства ради пахший луком.
Но я видал девятый съезд
Советов. В сумерки сырые,
Пред тем обегав двадцать мест,
Я проклял мир и мостовые,
Однако сутки на вторые,
И, помню, в самый день торжеств
Пошел, взволнованный донельзя,

) К театру, с пропуском в оркестр.
Я трезво шел по трезвым рельсам,
Глядел кругом, и все окрест
Смотрело полным погорельцем,
Отказываясь наотрез
Когда-нибудь подняться с рельс.
С стенных газет вопрос Карельский
Глядел, и вызывал вопрос
В больших глазах больных берез.
Задень пред тем сломался Цельсий,
3 Все наземь побросав с нуля:
Стал падать снег, зашлась земля,
Упало сердце, флигеля,
И голой ростепели тельце
Исчезло, став еще тощей
В осколках рухнувших вещей.
На телеграфные устои
Сел иней сеткою густою,
И зимний день в канве ветвей
По давнему обыкновенью
Потух не вдруг, как бы в ответ
Развитью сказки. В то мгновенье
Такою сказкою в канве
Ветвей казаться мог конвент.
И день потух. – Ах, эпос, крепость,
Зачем вы задаете ребус?
При чем вы, рифмы? Где вас нет?
Мы тут при том, что не впервые
Сменяют вьюгу часовые
И в эпос выслали пикет.

1 Мы тут при том, что в театре террор
Поет партеру ту же песнь,
Что прежде с партитуры тенор
Пел про высокую болезнь.
Про то, что белая горячка
Цемент крепче и белей,
Кто не возил подобной тачки,
Тот испытай и побелей.

Про то, как вдруг, в конце недели
На слепнувших глазах творца,
'Родятся стены цитадели
Иль крошечная крепостца.

Тяжелый строй, ты стоишь Трои,
Что будет, то давно в былом.
Но тут и там идут герои
По партитуре, напролом.
Однажды Гегель ненароком
И, вероятно, наугад
Назвал историка пророком,
Предсказывающим назад.
'Теперь сквозь строй его рапсодий
Идут герои напролом.
Я сам немножко в этом роде
И создан под таким углом.
Чем больше лет иной картине,
Чем наша роль на ней бледней,
Тем ревностнее и партийней
Мы память бережем о ней.

Из этой умудренной дали
Не видишь пошлых мелочей.
Забылся трафарет речей,
И время сгладило детали.
А мелочи преобладали.
Уже мне не прописан фарс

В лекарство ото всех мытарств.
Уж я не помню основанья
Для гладкого голосованья.

Уже я позабыл о дне,
Когда на океанском дне
В зияющей японской брешу
1 Сумела различить депеша
(Какой незванный водолаз!)
Класс спрутов и рабочий класс.
А я пред тем готов был клясться,
Что Геркуланум факт вне класса.

Но было много дел тупей
Классификации Помпей.
Я долго помнил назубок
Кошунственную телеграмму:
Мы посылали жертвам драмы
В смягченье треска фузиямы
Агитпрофсожевский лубок.
Проснись, поэт, и суй свой пропуск,
Здесь не в обычае зевать.
Из лож по креслам скачут в пропасть
Мета, ладога, Шексна, Ловать.
Опять из актового зала
В дверях, распахнутых на юг,
Прошлось по лампам опало
Арктических Петровых вьюг.

Опять, куда ни глянешь, сыро.
По всей стране холодный пот
Струится, заливая дыры
С юродством сросшихся слобод.

Опять фрегат пошел на траверс,
Опять, хлебнув большой волны,
Дитя предательства и каверз
Не узнает своей страны.

Все спало в ночь, как с громким порском
Под царский поезд до зари
'По всей окраине приморской
По льду рассыпались псари.

Бряцанье шпор ходило горбясь,
Преданье прятало свой рост
За железнодорожный корпус
Под железнодорожный мост.

Орлы двуглавые в вуали,
Вагоны Пульмана во мгле
Часами во поле стояли
И мартом пахло на земле.

}Под Порховом в брезентах мокрых
Вздувавшихся верст за сто вод
Со сна на весь Балтийский округ
Зевал пороховой завод.

И уставал орел двуглавый,
По Псковской области кружа,
От тихой плавности облавы
Неведомого мятежа.

Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карты не попал!
Но быстро таяли запасы
Отмеченных на картах шпал.

Они сорта перебирали
Исщипанного полотна.
Везде ручьи вдоль рельс играли,
И будущность была мутна.

Сужался круг, редели сосны,
Два солнца встретились в окне.
Одно всходило из-за Тосно,
Другое заходило в Дне.

И спящий Петербург огромен,
И в каждой из его ячей
Скрывается живой феномен:
Безмолвный говор мелочей.

Пыхтят пары, грохочут тени,
Стучит и дышит машинизм.
Земля – планета совпадений,
Стечение фактов любит жизнь.

В ту ночь, нагрянув не по делу,
Кому-то кто-то что-то бурк –
И юрк во тьму, и вскоре Белый
Задумывает «Петербург».

В ту ночь, типичный петербуржец,
Ей посвящает слух и слог
Кругам артисток и натурщиц
Еще малоизвестный Блок.
Ни с кем не знаясь, не знакомясь,
Дыша в ту ночь одним чутьем,
Они в ней открывают помесь
Обетованья с забытьём.
1925

* * *

...Но как я сожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней,
Тогда б я знал, чем держится без клея
Людская повесть на обрывках дней.
Как я присматривался к матерьялам.
Валили зимы в мушку, шли дожди,
Запахивались вьюги одеялом
С грудными городами на груди.
Все падало, все торопилось в воду,
За поворотом превращалось в лед,
Разгорячась, влюблялось на полгода,
Я даже раз влюблен был целый год.

Смешаться всем, что есть во мне Бориса,
Годами отходящего от сна,
С твоей глухой позицией, Ларисса,
Как звук рифмует наши имена.
Вмешать тебя в случайности творенья.
Зарифмовать сначала до конца
С растерянностью тени и растенья
Растущую растерянность творца.
11 апреля 1926

ИЗ ПОЭМЫ «ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ»
ПОСВЯЩЕНИЕ
Мельканье рук и ног, и вслед ему
«Ату его сквозь тьму времен! Резвей
Ревя рога! Ату! А то возьму

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
И брошу гон и ринусь в сон ветвей».
Но рог крушит сырую красоту
Естественных, как листья леса, лет.
Царит покой, и что ни пень – Сатурн:
Вращающийся возраст, круглый след.
Ему б уплыть стихом во тьму времен:
Такие клады в дуплах и во рту.
А тут носи из лога в лог, ату,
Естественный, как листья леса, стон.
Век, отчего травить охоты нет?
Ответь листвою, пнями, сном ветвей
И ветром и травой мне и ей.
1926

ПИСЬМО О ДРЯЗГАХ

Ваш отклик посвящен делам.
Я тем же вам отвечу
И кстати опишу бедлам,
Предшествовавший встрече.
Я ездил в Керчь. До той поры
Стоял я в Измаиле.
Вдруг – телеграмма от сестры –
И... силы изменили.
Четыре дня схожу с ума,
В бессильи чувств коснею.
На пятый, к вечеру – сама.
Я объясняюсь с нею.
Сестра описывает смерч
Семейных сцен и криков
И предлагает ехать в Керчь
Распутывать интригу.

Что делать! Подавив протест,
Таю сестре в угоду,
Что, обнаружись мой отъезд,
Мне крепости три года.

Помешали. Продолжаю. Решено:
Едем вместе. Это мне должно зачесться.
В гонке сборов и пока сдаю судно,
Закрывают отделенье казначейства.

Ночь пропитана, как сыростью, судьбой.
Где б я был теперь, тогда же в путь не бросься?
Для сохранности решаюсь взять с собой
Тысячные деньги миноносца.

В Керчь водой, но по Дунаю все свои.
Разгласят, а я побег держу в секрете.
Выход ясен: трое суток толчеи
Колеями железнодорожной сети.

В лозовой освобождается диван.
Сплю как мертвый от рассвета до рассвета.
Просыпаюсь и спросонок за карман.
Так и есть! Какое свинство! Нет пакета.

Остановка! Я – жандарма. Тут же мысль:
А инкогнито? – спасаюсь в волны спячки.
По приезде в Киев – номер. Пью кумыс
И под душ и на извозчике на скачки.

Странно, скажете. К чему такой отчет?
Эти мелочи относятся ли к теме?
Крупно только то, что мелко. Так течет,
Растопясь бессонной летней ночью, время.

МУЖСКОЕ ПИСЬМО

Здравствуй, моя подруга!

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Здравствуйте, моя опора!
Сделано большое дело,
Это дело сделал я.

Только б не сорваться с круга!
В эти дни я сдвинул гору,
И теперь, признаюсь смело,
Я люблю вас, жизнь моя!
В этом нет для вас позора.
Всем любовь мою откройте.
Я теперь в чести и славе,
Ваш поклонник знаменит.

Можете сказать, и вправде,
Вас боготворит не пройда,
Но предмет статей и споров
И поборник правды – Шмидт.
В этот холод, в эту застыдь,
В эти дни торжеств и паник
Где, как не у вас, дружочек,
Где, о где набраться сил?
И, о, как же мне не хвастать!
Я – пожизненный избранник
Севастопольских рабочих
После речи у могил.
Речь известна по газетам
И вошла в анналы края.
Пробудил ли вид заглавья
Что-нибудь у вас в груди?

Ах, я в вас души не чаю
И живу заемным светом!..
Мы добьем самодержавье –
Что еще-то впереди?

ИЗ «ПИСЬМА К СЕСТРЕ»
Прервал и жалею. Усилилась качка. На то ли я
Ловлю ее плеск, чтоб болеть тем полней? Неужели
Недели пройдут в этой пытке? Острог – санатория
Пред этой плавучей покойницкою на качелях.
Добро бы хоть каторга! Можно б от диспутов выспаться.
Добро бы гробница! Хеопс утопает в удобствах.
Но обе в подобьи! Весь день электричество. Исподволь
Мне помпою воздух качают, чтоб я не задохся.
Нет сил моих, Ася! Всей шлепающейся громадою
Гиганта судна бескуражен с бухты-барахты!
Едва чебурахнет, – и падаю духом, и паданью –
Ни дна, ни скончанья, как дням и качанью гауптвахты.
И еканье сердца сливается с дерганьем якорным,
И чудится за громыханием волн временами,
Что не броненосец, лягаясь, становится на корму,
А дыбится жизнь и пугается воспоминаний.
Чего я страшусь? Обещаются в пятницу выпустить.
За речь – оказалось. Но на сердце точно ободья,
И трудно дышать мне, и чувствую, нет во мне гибкости.
Какой я политик и что меня ждет на свободе?
А вдруг я герой обреченный? Еще обстоятельство:
Я вижу, ты машешь рукой, отгадала, мол, – влюбчив.
Оставь, не до шуток. Положим, и попусту тратился,
А эта – грядущего детище, Ася, голубчик!
Я века предвестье люблю в ней. Ее не ослабили
Ни тягости брака, ни бездна изведенной боли.
Нежданная радость! Велят собираться – и на берег.
Поздравь меня, Ася! Я, кажется, снова на воле.
1926

ЛЮБКА
Недавно этой просекой лесной

Прошелся дождь, как землемер и метчик.
Лист ландыша со сплющенной блесной.
Тугие капли в сонных рыльцах свечек.
О них и речь, холодным сосняком
Задоренных до солнца в каждой мочке.
Они живут, селясь особняком,
И даже запах льют поодиночке.
Когда на дачах пьют вечерний чай
И день захлопывает свой гербарий,
Пытаются они озорничать
В порядочном кругу иван-да-марьи.
Цветов ничтожных мира, может быть,
Они всего ничтожнее, пока в них
Не сходит ночь, которой полюбить
Ни девственник не в силах, ни похабник.
Дыша внушеньем диких орхидей,
Кто пряностью не поперхнется? Разве
Один поэт, ловя в их духоте
Неведение о чистоте и грязи.
Зовут их любкой. Александр Блок,
Сестра, жена и сын – ночной фиалкой,
Совет и город, да и я далек
От истины – и мне ее не жалко.
13 июня 1927. Мутовки

* # #

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность,
И если не означу существа,
Я все равно с ошибкой не расстанусь.
Я слышу мокрых кровель говорок,
Колоколов безмолвные эклоги,
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и узнается в каждом слоге.
Волнует даль, но за город нельзя.
Пока внизу гуляют краснобаи,
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.
С недавних пор в стекле оконных рам
Тоскует воздух в складах предрассветных.
С недавних пор по долгим вечерам
Его кроют по выкройкам газетным.
В воде каналов, как пустой орех,
Нырять ветер и колышет веки
Заполуночничавшейся за всех
И счет часам забывшей белошвейки.
Мерцают, заостряясь, острова,
Метя песок, клубится малокровье,
И хмурит брови странная Нева,
Срываясь за мост в роды и здоровье.
Всех градусов грунты рождает взор:
Что чьи глаза накурят, все равно чьи.
Но самой сильной крепости раствор –
Ночная даль под взглядом белой ночи.
Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы, пдть лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи,
Но исходив от ваших первых книг,
Где крепи прозы пристальной крупцы,
Он и сейчас, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.

КОММЕНТАРИИ

Основное собрание стихотворений и поэм Бориса Пастернака состав-ляют девять поэтических книг, каждая из которых строилась автором как единое композиционное

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
целое. Отдельные издания и переиздания сохраняли целостность состава и
композиции. Тексты некоторых сти-хотворений перерабатывались автором от издания
к изданию. Опреде-лению канонической редакции была посвящена большая работа,
кото-рая нашла отражение в посмертных изданиях 1965, 1985, 1989 и 1990 гг. Были
привлечены архивные материалы, раскрывающие творческую историю произведений и
обстоятельства их публикации.

Для произведений, написанных до 1932 г., итоговым было под-готовленное автором
как первый том собрания сочинений издание «Стихотворения в одном томе» (Л.,
1933), повторенное с некоторыми изменениями в 1935 и 1936 гг. (М., ГИХЛ).
Стихотворения, написанные во вторую половину жизни, автором не были собраны в
отдельную кни-гу полного состава. Последним прижизненным изданием стал
малень-кий томик «Избранных стихотворений и поэм» 1945 г. В 1956 г. для
го-товившегося в Гослитиздате собрания автор отредактировал ранее написанные им
стихотворения, но на этих редакциях и составе сборни-ка сказалось его
критическое отношение к своим ранним вещам, силь-но усложнившее текстологическую
работу составителей посмертных изданий. Эта работа была частично учтена в
изданиях 1965 и 1985 гг. и почти полностью отвергнута в последующих, где
редакции 1956 г. были вынесены в комментарии и варианты. В настоящем издании мы
при-держиваемся результатов, достигнутых нами в Собрании сочинений в пяти томах
1989–1993 гг. (М., «Художественная литература») и втором издании Большой серии
«Библиотеки поэта» 1990 г. (Л., «Советский пи-сатель»).

Сделанные нами исправления датировки и добавления по от-ношению к этим изданиям
оговариваются в соответствующих ком-ментариях. Угловыми скобками обозначаются
конъектуры и лакуны в
авторском тексте (< >). В квадратных скобках ([]) даются вычеркнутые автором
строки.

В составлявшихся при нашем участии посмертных изданиях Пас-тернака (1965, 1985 и
1989, 1990) мы придерживались последователь-ности книг, предложенной автором при
составлении неизданного сборника «Стихотворения и поэмы» 1956 г.

Собрание стихотворений и поэм, издававшихся автором при жиз-ни или
подготовленных им для печати, дополняется разделом наиболее значительных
вариантов и первоначальных редакций стихотворений или глав поэм «Другие редакции
и варианты». В этом разделе стихотворе-ния располагаются по времени написания.
Комментарии к каждой сти-хотворной книге или поэме предваряются рассказом об
истории ее со-здания и печатания. Комментарии к стихотворению начинаются
биб-лиографическими сведениями о первой публикации и той, по которой текст
печтается в нашем издании; перечисляются прижизненные из-дания, в которых текст
приобретал разночтения; приводятся варианты измененных строк (синтаксические
разночтения не указываются). Крат-ко описываются сохранившиеся автографы и их
местонахождение, по возможности дается краткий биографический комментарий,
послужив-ший поводом к написанию стихотворения, вводятся некоторые элемен-ты
интерпретации особенно трудных для чтения стихотворений и объ-яснения отдельных
слов. Библиографические ссылки для цитат, взятых из писем и прозы Пастернака,
чтобы помочь пониманию содержания или образов стихотворения, полный текст
которых публикуется в сле-дующих томах настоящего собрания сочинений, не
указываются. Вы-борочно даются цитаты из исследовательских работ, помогающие
рас-крыть конкретный смысл стихотворения.

В этой работе использован опыт предыдущих комментированных изданий Пастернака,
делавшихся нами в сотрудничестве с К. М. По-ливановым (1989) и В. С. Баевским
(1990), кроме того, приносим благодарность за помощь в настоящей работе В. Г.
Смолицкому, М. А. Рашковской, К. М. Поливанову и Е. М. Жуковой, сотрудникам
государственных архивов, предоставивших необходимые материалы: И. А. Антоновой,
Н. Б. Волковой, С. В. Житомирской, Е. Б. Коркиной, Е. Ю. Литвин, Л. А.
Мандрыкиной, а также замечательному редактору этого издания Т. Н. Бедняковой.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

Барьеры-17 – Два экземпляра книги «Поверх барьеров» 1917, на стра-ницах которых
были записаны первые наброски работы по пере-делке стихотворений для переиздания
в 1928 г.

Воспоминания -- Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., «Слово/ Slovo», 1993.

ГЛМ – Рукописный отдел Государственного Литературного музея.

ГНБ – Отдел рукописей Государственной национальнрй библиотеки им. М. Е.

Салтыкова-Щедрина.

Ивинская. В плену времени. – Ольга Ивинская. В плену времени. Годы с Борисом
Пастернаком. Париж, 1978.

Избр.-1933 – Борис Пастернак. Избранные стихи. М., «Федерация», 1933.

Избр.-1945 – Борис Пастернак. Избранные стихи и поэмы. М., Гослит-издат, 1945.

Избр.-1948 – Борис Пастернак. Избранное. М., «Советский писатель», 1948 (тираж
книги уничтожен).

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
ИМЛИ – Рукописный отдел Института мировой литературы им. А. М. Горького
Российской Академии наук, Москва.
Каталог Кристи – Poetical manuscripts and autograph letters by Boris Leonidovich
Pasternak from the archive of Ol'ga Vsevolodovna Ivinskaja. London, Wednesday,
November 27th, 1996 at 10.30 a. m. Christie's.
«Минувшее» № 15 – Константин Локс. Повесть об одном десятилетии. Исторический
сборник «Минувшее» № 15. М.–СПб., 1994.
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства.
РГБ – Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки.
Сб. 1956 – Готовившийся в Гослитиздате в 1956 г. сборник: Б. Пастернак.
«Стихотворения и поэмы», набор которого был рассыпан в 1957 г.
«Семиотика» – Труды по знаковым системам. Семиотика. Вып. 4. Тарту, 1969.
Уитни – Неизвестный Борис Пастернак в собрании Томаса П. Уитни // Новый журнал
(Нью-Йорк). 1984, JSfe 156.
НАЧАЛЬНАЯ ПОРА. 1912–1913 (с. 61)
Самые ранние дошедшие до нас стихотворения Пастернака относятся к зиме
1909–1910 г. Первое его выступление в печати состоялось в маленьком альманахе
«Лирика», изданном в апреле 1913 г. (М., изд-во «Лирика»).

* К новому 1914 г. в том же издательстве «Лирика» вышла его первая книга
«Близнец в тучах». Вспоминая о лете 1913 г., Пастернак подчеркивал, что именно
тогда он «впервые в жизни писал стихи не в виде редкого исключения, а часто и
постоянно, как занимаются живописью или пишут музыку» («Люди и положения»,
1956). В обзорной статье «Год русской поэзии» В. Брюсов отметил «самобытность»
первых выступлений Пастернака в печати, «его странные и порой нелепые образы не
кажутся надуманными: поэт в самом деле чувствовал и видел так;
"футуристичность" стихов Б. Пастернака – не подчинение теории, а своеобразный
склад души» («Русская мысль», 1914, кн. VI).

Готовя в 1928 г. переиздание своих ранних стихов для сб. «Поверх барьеров. Стихи
разных лет» (М., ГИЗ, 1929), Пастернак выбрал и переработал 14 стихотворений
1912–1914 гг., объединив их в раздел «Начальная пора» с посвящением Николаю
Асееву, как соучастнику своих первых литературных выступлений и автору
предисловия к «Близнецу в тучах». В последующих изданиях посвящение было снято.
Первоначальная работа над переработкой стихов была проведена на страницах книги,
подаренной А. Л. Штиху (1890–1962) с надписью: «Истинному, незамеченному другу,
любимому Шуре до скорой встречи с ним на подобной странице, от всего сердца Б.
Пастернак. 21.XII.913» (РГАЛИ, ф. 3123). Последовательное описание вариантов
этого автографа см.: Е. В. Пастернак. Работа Б. Пастернака над циклом
«Начальная пора» // «Русское и зарубежное языкознание». Вып. 4. Алма-Ата. 1970.
В комментариях мы приводим наиболее значительные примеры из этой работы (далее:
Экз. Штиха). Оправдание этой переработки Пастернак видел в избавлении «от
символистского хлама <...>, от архаизма и гороскопии тех времен как и излишней
порывистости футуристического нахрапа» (письмо к М. Цветаевой, июнь 1928).
«Переиздавать в прежнем виде нет никакой возможности, так это все безусловно,
так рассчитано на общий поток времени (тех лет), на его симпатический подхват,
на его подгон и призыв!» (письмо О. Мандельштаму 24 сент. 1928).

Необходимость переработки ранних книг Пастернак объяснял также теми
изменениями, которые претерпело общество. Он писал об этом в заметке «Моя первая
вещь» в ответ на анкету «Вечерней Москвы»: «Я не верю в жизнь книги в наши дни.
Я не верю в творческое участие средь в дальнейшей судьбе произведений <...>
Когда-то книга, начиная свое общественное восхождение, шла от ближайшего автору
узкого круга ко все более обширному. <...> Там, где кончался человек, некогда
начинались люди, сейчас же непосредственно за ним открываются миллионы».

Чисто-художественными основаниями переработки книги в 1928 г. Л. Л. Горелик
считает снятие романтической оппозиции неба и земли, то есть творчества и жизни,
которая характеризовала «Близнеца в тучах», и спуске с неба на землю
«пространства творчества» (Эволюция темы творчества в лирике Пастернака // Известия АН. Серия лит. и яз. 1998. Т. 57, № 4).

Первоначальный вид и состав книги «Близнец в тучах» см. в Приложении к
основному собранию.

«Февраль. Достать чернил и плакать!..» – «Лирика» с посвящ. Константину Локсу
(1890–1955), университетскому товарищу, участнику группы «Лирика», литературному
критику («Другие редакции и варианты». С. 380). По воспоминаниям Локса, стих,
было написано у него на глазах в Safe Grec. Он сохранил подаренные ему тогда же
автографы двух стадий работы над стих. (собр. Е. В. Суховаловой). Первый из них
начинается со строфы, аналогичной записанной еще в 1910 г. среди первых
стихотворных набросков («Семиотика»):
Сады, где вынуты снега,
Зияют, как пустые перстни.

Проваливается нога

В заголосившее отверстие. Варианты 1910 г.:

ст. 2: Чернеют, как пустые перстни,

ст. 4: В дымящие землей отверстия,

ст. 5–8: Оконницы – следы сердец Зияют в этот час капризный

Так тонет в них своею жизнью, ст. 5–8: Жизнь – сотни налитых сердец

Поддерживают мир капризный А я <...> гордец,

Обманутый своею жизнью. – Черновой автограф из собр. Локса; варианты: ст. 1:

Весна! Пролить чернил и плакать,

ст. 5: Достать пролетку! За пять гривен

ст. 7–12: Меня б везли, везли под ливень

Пролить чернил! Чернил и слез.

Там, как обугленные груши,

На ветках тысячи грачей.

За грустью грусть февраль обрушит

В бессонный зов твоих очей. Последней строфы нет.

– Другой автограф из цикла «Живые»; вариант ст. 16: Я над чернилами – навзрыд!

По поводу изменения последней строки, предложенного С. Н. Ду-рылиным, Пастернак писал ему в начале февраля 1913 г.: «"Февраль" тоже близок мне, "там над чернилами, навзрыд" – поправка, которую я охотно принимаю; в таком случае не надо точки после "изрыт":

доколе песнь не засинеет

там, над чернилами, навзрыд».

– «Поверх барьеров» 1929. – Избр.-1945; варианты: ст. 9–14: fte, как

обугленные груши,

На ветках тысячи грачей, Неистовствуя, как кликуши, Галдят торговок горячей.

Кругом проталины чернеют, И город карканьем изрыт.

– Машин, сб. 1956; варианты:

ст. 11–13: Всеи стаей оглушая уши

Сорвутся с карканьем в ручей. Кругом проталины чернеют

Весною черною горит. – Образ восходит к назв. стих. И. Анненско-го «Черная

весна» (1906); употреблен Пастернаком также в письме К. Г. Локсу (23 дек. 1912),

который, как писал Пастернак в очерке «Люди и положения» (1956), «впервые показал мне стихотворения Анненского по признакам родства, которое он установил между моими писаниями и блужданиями и замечательным поэтом, мне тогда еще неведомым».

Позднее Пастернак отмечал конец февраля как «время впервые замечаемой городской весны, когда дня прибавляется настолько, что это вдруг обнаруживаешь» (письмо О. Г. Петровской-Силловой 22 февр. 1935). Стих, оставалось дорого автору в течение всей его жизни, в чем он признавался в письме Шаламову 9 июля 1952 г., называя его в числе «лучшего из раннего».

«Как бронзовой золой жаровень...» – «Лирика» 1913 («Другие редак-ции и

варианты». С. 380). – «Поверх барьеров» 1929. – Беловой авто-граф, подаренный Локсу (собр. Б. А. Ахмадулиной). – В «Семиотике» варианты:

ст. 1: Жужжащую золой жаровень:

ст. 3: Со мной, с подсвечниками вровень,

ст. 9–12: Где яблони – седой прибой

Немой надвинувшейся тайны,

Иде небо словно под тобой,

Как звезды под причалом свайным, ст. 13–16: О ты, немая беззащитность

Пред нашим натиском имен,

Что моей песни ненасытность Направила на твой Эон. ст. 14: Пред

покушеньями имен,

Эон – эпоха мирового развития, исторический промежуток време-ни. Ю. Лотман

отмечает в стих, «зрительный образ мира, возникающий перед наблюдателем, смотрящим в воду с мостков пруда, отраженное в воде звездное небо оказывается

расположенным под ним». В послед-ней, впоследствии снятой строфе он видит «защиту жизни, то есть на-чала объективного от слов <...> То, что беззащитность природы немая, – не случайно: агрессия совершается в форме называния»

(Стихотворе-ния раннего Пастернака и некоторые вопросы структурного изучения

текста // «Семиотика». С. 227, 231). Именно эта «форма называния», натиск или

покушение имен вскрывает существенную для Пастернака мысль о назначении поэзии как называния неназванного, процесса на-реkania, создания новых слов для впервые

увиденного. Отражение неба и сада в зеркале пруда стало устойчивым образом

поэтики Пастернака, символом отношения жизни и искусства. Зарисованная в стих,

картина цветущего сада очень близка описанию весенней ночи в неоконченной

«Истории одной контроктавы» (1916): «А на холщовые скатерти ночь швыряла целые

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак распригоршни жуков, ночных мушек и мотылей и пригоршнями жирного кофейного семени, с сухим стуком, как об раскаленные стенки жаровни, разбивались рои жесткокрылых о стенки фонарей. Как в казане жаровни, богатой, полновесною гущей сыпались, крушась, речи в садах, где словно кто мешал и поворачивал их железным совком». «Сегодня мы исполним грусть его...» – «Лирика» 1913 («Другие редакции и варианты». С. 381). – «Поверх барьеров» 1929. – Автограф из альбома С. Н. Дурылина датирован: март 1911 (РГАЛИ, ф. 2989). Стих, входило в цикл «Живые» (собр. Е. В. Суховаловой).

Образовался странный авангард. / В тылу шла жизнь. – О зарождении поэзии из «перебоев» разных рядов существования, «из разности их хода, из отставания более косных и их нагромождения позади», которые вызывали желание «примкнуть (их. – Е. Л.) к живому воздуху, успевшему зайти тем временем далеко вперед», – писал Пастернак в «Охранной грамоте» (1931).

«Когда за лиры лабиринт...» – «Близнец в тучах», под назв. «Эдем» и с посвящ. Н. Асееву. – «Поверх барьеров» 1929. – Экз. Штиха, дополнительная строфа между 3-й и 4-й:

Нас было множество миров.

Последыш бытия,

За жизнь, за лиственный покров

Был прозван раем я.

Варианты:

ст. 13–16: Узнай же, как я знаменит.

Я сам бросаю тень,

Меня ничто не затемнит,

Я вечно первый день. При переделке стих, усилены моменты, передающие восприятие

первичности мира, «чуткость к чуду» и «к тайне первых дней». Образ райского сада, как начального дня творения и чувства ежесекундной первичности жизни стал одним из центральных моментов поэтики Пастернака. «Природе – возвращается то бездонное значение, какое она имела в Раю, в этой ботанической части истории, в этой главе о порожденном, о выросшем мире», – писал Пастернак М. Цветаевой (12 нояб. 1922). Разбирая эту тему, О. А. Седакова отмечает, что в отличие от традиционного «назначения поэта» задачей творческой философии Пастернака не становится «космическое устройство хаоса», – «первичная интуиция Пастернака связывает поэта не с хаосом до творения, но с начальными днями Творения. С Прологом, определившим историю, но расположенным за ее пределами» («Вакансия поэта»: к поэто-логии Пастернака // Быть знаменитым некрасиво. Пастернаковские чтения. Вып. 1. М., 1992. С. 26). Способность видеть «все в первоначальной свежести, по-новому и как бы впервые» Пастернак считал отличительной чертой созерцания Л. Толстого («Люди и положения», 1956), это же качество было в высшей степени свойственно ему самому. Сам Эдем при переделке 1928 г. получает признаки первобытного леса, что позволяет сопоставить его «историческое лицо» с характерным для Пастернака уподоблением истории и растительного царства в стих. «История» (1927). Кроме того, возможно, лесные характеристики были взяты из следующего стих. «Близнеца», называвшегося «Лесное» и не включенного в «Начальную пору».

Сон. – «Близнец в тучах», без назв. – «Звезда», 1928, № 8, в подборке «Из старой тетради. 1913–1928». – Экз. Штиха; варианты:

ст. 2: Терялась ты в приятельской гурьбе.

ст. 9: Но время шло иглохнуло, ирыхлый,

ст. 15–16: как стебли в слякоть вдавненных соломин, Побегив небо втоптаных берез.

Пастернак повторяет ритмическую форму и назв. стих. М. Лермонтова «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...», 1841). Обращено к Иде Высоцкой, начало влюбленности в которую автор относил к рождественскому вечеру 1907 г. Паволока – серебряные нити (В. Даль), покрывало.

«Ярос. Меня, как Ганимеда...» – «Близнец в тучах». – «Поверх барьеров» 1929. – Автограф 1913 г. (собр. И. Охлопкова). – Экз. Штиха; варианты:

ст. 3–4: Сменялись радости и беды И отделяли от земли.

Миф о Ганимеде, похищенном Зевсом и выросшем на Олимпе среди бессмертных богов, был для Пастернака свидетельством того, насколько высоко было в Греции понимание детства как «заглавного интегративного ядра» всей последующей жизни. Детству приписывалась вся доля необычного, заключающегося в мире. «Какая-то доля риска и трагизма», собранная «достаточно рано в наглядную, мгновенно обозримую горсть. Какие-то части зданья, и среди них основная арка фатальности <...> И, наконец, в каком-то запоминающемся подобии, быть может, должна быть пережита и смерть» («Охранная грамота», 1931).

«Все наденут сегодня пальто...» – «Близнец в тучах». – «Поверх барьеров» 1929. – Экз. Штиха; варианты:

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас

ст. 12 а): Прокипевшего липой напитка.
ст. 12 б): Откипевшего в пихтах напитка.

Характерно исправление в ст. 1 и 9 южной диалектной формы гла-гола «одевать» (кого?) на правильную форму «надевать» (что?), свойст-венную московской литературной языковой норме.

«Сегодня с первым светом встанут...» – «Близнец в тучах» с по-свящ. Ал. Ш<тиху> и эпиграфом. – «Поверх барьеров» 1929. – Экз. Штиха, под назв. «Преимство», эпиграф, посвящ. и первая строфа вы-черкнуты; варианты:
ст. 10: Сквозной, как просо, сорный дождь,
ст. 20: Пройти, как полосу вдвоем.

Дворовый окрик свой татары... – обозначение раннего утра, когда по дворам проходили старьевщики-татары, выкрикивая: «Старье берем, покупаем!».

Эпиграф из Сафо, предваряющий стих, в «Близнец в тучах», рас-крывал тему стих., посвящение Штиху определяло соотносительность его с юношеским романом своего друга и Елены Виноград. Пастернака всег-да волновали душевные потери, которые несет человеку раннее позна-ние мира физической любви. Переработка стих. 1928 г. сняла определен-ность биографического эпизода, «кровоточащего и болезнетворного», подним «частный случай до общности всем знакомого», подобно тому, как Пастернак описывал в «Докторе Живаго» работу Юрия Живаго над стихами об уехавшей Ларе.

Вокзал. – «Близнец в тучах». – «Звезда», 1928, № 8, в подборке «Из старой тетради. 1913–1928». – Экз. Штиха; варианты: ст. 7–8: И злые намордники гарпий дымятся, глаза нам застлав, ст. 13: И вот раздвигается запад ст. 20: Приземистой черной пургой, ст. 21: И Парку Петровскому невтерпь ст. 23–24: И рельсы, и стрелки, и ветер Разлучнику честь отдают. – Машин, сб. 1956, ст. 22–24 исправлены:
За змеем в дыму и в огне
В погоню срывается ветер.
Погнаться б за ними и мне. Посвящено проводам И. Высоцкой, уезжавшей за границу. Вспо-миная о работе над стих. «Вокзал», Пастернак писал в очерке «Люди и положения» (1956), что у него перед глазами «вдали, в конце путей и перронов, возвышался, весь в облаках и дымах, железнодорожный про-щальный горизонт, за которым скрывались поезда и который заключал целую историю отношений, встречи и проводы и события до них и по-сле них. Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от теории ис-кусства. Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтий-ский вокзал». Это первое из сохранившихся стих. Пастернака, которое развивает тему железной дороги. Из писем к Штиху известно, что были и более ранние. В стих, сказала любовь к путешествиям, но при этом железная дорога всегда у Пастернака – чуждая воля, вмешивающаяся в жизнь, рушащая привязанности и судьбы. Таков и «Вокзал», хотя он – «друг и указчик», но главным образом, – виновник не столько встреч, сколько разлук, делящих «два мира» чертой. Ида Высоцкая часто ездил-а за границу, и, провожая ее, Пастернак подсаживался в поезд и вы-скакивал из него на ходу: «Яспрыгну сейчас, проводник». Подобная ситу-ация описана в «Охранной грамоте», когда он доехал с ней из Марбурга до Берлина или в «Письмах из Тулы» (1918). И пынут намордники гар-пий... – для предохранения от раскаленных угольков, летящих из трубы паровоза, на нее надевался сетчатый колпак, как «намордник» на пы-шущую огнем пасть дракона-гарпии.

Венеция. – «Близнец в тучах» с посвящ. А. Л. Ш<тиху>. – «Звезд-а», 1928, № 8, в подборке «Из старой тетради. 1913–1928». – «Поверх барьеров» 1929; варианты:
ст. 4: Венеция в воде плыла.
ст. 8: Теперь тревожил небосклон.
ст. 21: За лодочную их стоянкой
– ст. 21 изменена в верстке сб. 1956. – Экз. Штиха; варианты: ст. 2–4:
Ударом дали в муть стекла.
Разбухшею в воде баранкой Венеция во тьме плыла, ст. 9–12: Он черной вилкой Скорпиона По черенок торчал вдали.
Он женщиною оскорбленной
Взывал из <> мандолин, ст. 10: Был воткнут в эту тишину, ст. 12:
Звал, замирал и шел ко дну.

Написано под впечатлением поездки в Венецию, где Пастер-нак пробыл с 6 по 10 августа 1912 г. Посвящ. Штиху объясняется тем, что Штих побывал там весной 1911г., проходя лечение в Италии у сво-его дяди доктора Д. Залманова. В «Охранной грамоте» (1931) Пастер-нак вспоминал: «Ночью перед отъездом я проснулся в гостинице от гитарного арпеджио, оборвавшегося в момент пробуждения. Я по-спешил к окну, под которым плескалась вода, и стал вглядываться в даль ночного неба так внимательно, точно там мог быть след мгновенно смолкшего звука.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что я спросонья исследую, не взойшло ли над Венецией какое-нибудь новое созвездие, со смутно готовым представлением о нем как о Созвездии Гитары». Он добавлял при этом, что «дважды (1913 и 1928. – Е. П.) пробовал выразить это ощущение, навсегда связавшееся <...> с Венецией». В письме родителям 15–16 мая 1914 г. он признавался, что хотел передать живой образ города, «где чуткость достигает того предела напряжения, когда все готово стать осязаемым и даже отзвучавшее, отчетливо взятое арпеджио на канале перед рассветом повисает каким-то членистотелым знаком одиноких в утреннем безлюдье звуков». Далее в письме изображен нотный знак трезвучия, похожий на перевернутый вниз трезубец. Размокшей каменной баранкой... – «Город на воде стоял передо мной, и круги и восьмерки его отражений плыли и множились, разбухая, как сухарь в чаю» («Люди и положения», 1956). Он вис трезубцем Скорпиона... – созвездие Скорпиона обозначается в виде трезубца.

Зима. – «Близнец в тучах» с посвящ. Вере Станевич (1890–1967), поэтессе и переводчице. – «Звезда», 1928, № 8, в подборке «Из старой тетради. 1913–1928»; варианты:

ст. 1: Прижимаюсь щекой как к воронке

ст. 3–4: Недомолвки, загадки, обронки Винтовой и воркующей тьмы.

ст. 14–16: Но откинув заслонку, огонь Улетает китайскою тенью Мимо рдеющих комнат-тихонь.

Фигура человека, слушающего шум морской раковины-оракула, встречается также в ранней прозе Пастернака «Воздух морозной ночи...»: «Перед окном сидел человек, склонив голову к плечу; он не выпускал из своих рук большой океанской раковины, которую он поднес растремом к уху, – и, казалось, очоленел, погруженный в слух. На черной подставке трюмо лежали две других, подобных ей. Они отличались только тем, что были бугорчатые и в бурых крапинках по песочному полю». Загадывание судьбы, которым занят герой, соотносится со святочным гаданием, которое стало содержанием стих, в редакции 1928 г. и первой разработкой излюбленной темы Пастернака – зимних праздников. «Море волнуется» – детская игра, при которой ведущий рассказывает повесть, / Завивающуюся жгутом..., включающую прозвучающую участия-ков. За стаканчиками купороса... – стаканчики с купоросным маслом (серной кислотой) ставились на зиму между рамами, чтобы не запотевали стекла. В отличие от характерного для Пастернака образа окна как связи миров, здесь темные окна служат границей замкнутого праздничного мира дома и неизвестности будущего.

Пир. – «Близнец в тучах», под назв. «Пиршества». – «Поверх барьеров» 1929. – Машин, сб. 1956; вариант

ст. 16: А в остальные дни – и на своих двоих.

Ответом Н. Асеева на это стих, стали «Терцины другу» («Мы пьем скорбей и горести вино...») с посвящ. Пастернаку в книге «Ночная флейта» (1913). В стих, отразилась атмосфера собраний художественной группы «Сердарда», куда входил Пастернак, а позже и Асеев, собиравшейся у художника и поэта Юлиана Анисимова. «Читали, музицировали, рисовали, рассуждали, закусывали и пили чай с ромом», – вспоминал Пастернак в очерке «Люди и положения» (1956). В редакции 1928 г. усилены черты богемы, что сближает ее со стих. «Двор» (1916). Стих, продолжает поэтическую традицию «Пиров» пушкинского времени, в которых слышались отголоски платоновских «симпозиумов», а «опьянение» понималось как поэтическое вдохновение.

«Встав из грохочущего ромба...» – «Близнец в тучах». – «Поверх барьеров» 1929. – Экз. Штиха; варианты: ст. 7–8: На севере глухих наитий Расположился на

ночлег, ст. 9: Он весь сполна одно подобье

ст. 11–12: Он юг встречает исподлобья,

И на слова, как гордость, скуп, ст. 16: Навеки взятый напрокат – Машин,

сб. 1956; варианты: ст. 5–8: Под ясным небом не ищите Меня погожею порой. Я смок до нитки от наитий и север – облик мой второй. Примеч., обращенное к официальному составителю сборника Н. В. Банникову, относится к строке 8, предложенной составителем, не одобренным предыдущий авт. вариант: «Если не нравится голос, то: и север – облик мой второй, но не: мой отец второй».

ст. 13–16: Но незаметно жизнь мужала,

И никогда я не пойму,

Что нас влекло, что нас сближало,

Зачем я нужен был ему. В заметках «Г. фон Клейст» (1911) Пастернак отстаивает

свою приверженность северной городской «аскетике культуры», отмечая ее отсутствие у «южных свидетелей южной природы и жизни». В этом стих, также определяется страдательная сущность поэта, который, по мнению Пастернака, «навсегда взят напрокат» окружающей жизнью, покоряется ей и «ведет себя как предметы вокруг. Это называют наблюдательностью и письмом с природы» (Тезисы

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
доклада «Символизм и бессмертие», 1913). Утверждая страдательную пассивность
поэта перед городской действительностью, Пастернак вводит понятие подобия
внутреннего внешнему, то, что в других случаях определял термином «мимикрия».
Зимняя ночь. – «Близнец в тучах», без назв. и с посвящ. И. В<ысоц-кой>. – «Новый
мир», 1928, №11. – Экз. Штиха; варианты:

ст. 1-14: Не поправить дня усилиям светилен,
Не сорвать дворам крещенских покрывал. На земле зима, и рой огней бессилен
Приподнять дома, полегшие в по вал.

Трубы, пышки крыш, каленый снег, и черным По белу – на них косяк особняка: Это
барский дом, и я в нем – гувернером, Спит питомец, дай подумаю пока.

Был таким и я, но наглухо портьеру. Где ты, детство, где ты? Кем отмечено?
Первая любовь, взглядишь в меня, уверуй в то, что с тем, былым, я нынешний одно.
Сядь-ка здесь. Свежо. Но я не тем взволнован. Как ты догадалась? Кто тебе
шепнул? – Машин, сб. 1956; вариант

ст. 20: Потонувший в перьях сизый дым один.

Стих, было вызвано ожиданием приезда Иды Высоцкой в Москву зимой 1913 г. Снятие
посвящения повлекло возникновение автобио-графических подробностей, сделавших
стих, как бы эпилогом к неудач-ному объяснению в любви летом 1912 г. Это –
барский дом, и я в нем гувернером. – Воспоминания о жизни в доме коммерсанта М.
Филиппа учителем его сына в 1914–1915 гг. Тот удар – исток всего. – Речь идет об
отказе И. Высоцкой на предложение Пастернака.

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ. 1914–1916 (с. 73)

Книга «Поверх барьеров» вышла в канун 1917 г. Название было взято из стих.
«Петербург» и означало силу таланта, побеждающего пре-грады. Для переиздания
многие из стихов этой книги были перерабо-таны в 1928 г. для сб. «Поверх
барьеров. Стихи разных лет» 1929 г. Опре-делилась более четкая структура,
отдельные вещи были объединены в небольшие циклы из двух-трех стихотворений,
тематически, по време-нам года, биографическим обстоятельствам и месту
написания. Сни-мались повторяющиеся мотивы, выявлялись детали, уточняющие смысл
и географическую соотнесенность, добавлены названия стихотворений. Были включены
три стихотворения, одно 1915 г. (видимо, из отброшен-ных в 1916 г. при
составлении книги) и два отрывка из поэмы, которая была начата в феврале 1917 г.
Раздел был посвящен Владимиру Маяков-скому. Первоначальная стадия переработки
стихотворений книги 1917 г. отразилась на страницах нескольких экземпляров
(Барьеры-17).

«Все, что обращено в Близнеце и Барьерах к тогдашним литера-турным соседям и
могло нравиться им – отвратительно, и мне трудно будет отобрать себя самого
среди этих невольных приспособлений и еще труднее – дать отобранному тот ход,
который (о как я это помню!) я сам тогда скрепя сердце пресекал, из боязни
наивности и литературно-го одиночества. Отсюда и Центрифуги и футуризм» (письмо
к Е. В. Па-стернак 19 июня 1928).

Об ощущении удачи и подъема, которая сопровождала эту работу, Пастернак писал
также М. А. Фроману 26 июня 1928 г.: «Временами я переживаю нечто схожее с тем,
что бывало в годы "Сестры" и "Люверс". Я говорю о проблесках дареной
объективности, перерастающей личные усилия». С другой стороны, к переделке книги
толкала неуверенность в ответной реакции со стороны читателя с «его пустыми
руками, годными лишь для аплодисментов и свистков в три пальца» (письмо В.
Познеру осени 1929). «Общество изменилось в иной и несравненно сложнейшей
степени, нежели принято думать, – писал он в заметке "Моя первая вещь" в ответ
на анкету "Вечерней Москвы". – У него нет реальной структуры. Если бы оно
устоялось в своей новизне, времени была бы возвращена та незаметность, которую
оно утратило 15 лет тому назад. <...> Лучшие из ранних своих вещей я остановил в
их поэтическом те-ченьи, в их соревнующемся сотрудничестве с воображеньем, к
которо-му они обращались в их полете и расчете на подхват <...> Веянье личного
стало прямой биографической справкой. Растворенная в образе мысль усту-пила
место мысли, доведенной до ясности высказанного убеждения».

При этом важно понимать, как замечает В. Н. Альфонсов, что но-вые редакции –
никак не новые стихи Пастернака конца 1920-х годов, – желание вернуться к
первоначальному замыслу присутствует в каждом их них, делая их «документом»
поэтики 1910-х гг. (Поэзия Бориса Пас-тернака. Л., 1990). В «Охранной грамоте»
Пастернак писал: «Самое яс-ное, заполоминающееся и важное в искусстве есть его
возникнове-нье, и лучшие произведе-нья мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом
деле рассказывают о своем рожде-нии». И в переделках старых стихов он вновь
возвращался к своему первоначальному желанию «назвать» то состояние
действительности, которое вызвало к жизни стихотворение, рассказать о его
«рожде-нии».

В композиции раздела «Поверх барьеров» важно отметить достиг-нутое в ней
единство настроения, выравнивание и подтягивание общей одухотворенности

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
разновременных замыслов. Отмеченный еще в 1917 г. Локсом «дифирамбизм»

«Барьеров» стал уровнем, по которому выстроено целое цикла 1929 г.
При анализе отношения Пастернака к изданию ранних редакций переделанных им
стихотворений мы руководствовались его собственным отношением к аналогичному
опыту Андрея Белого, записанным А. Тарасенковым. В 1934 г. при обсуждении
издания полного собрания стихов А. Белого, Тарасенков настаивал на том, чтобы за
основу были приняты тексты первых изданий, а последующие даны в примечаниях. На
вопрос, обращенный им к Пастернаку по поводу разных вариантов «Поверх барьеров»
1917 и 1929 гг., и о том, какой вариант он считал бы достойным для своего
будущего собрания, – «Б. Л. страшно заволновался, сказал, что очень трудно
решить этот вопрос, что в конечном счете обе редакции имеют право на
существование...» (Воспоминания. С. 151). Первоначальный вид и состав книги
«Поверх барьеров» 1917 г. (за исключением 20 стихотворений, оставшихся без
изменений) см. в Приложении к основному собранию.
Двор. – «Поверх барьеров» 1917, под назв. «Посвящение». – «Поверх барьеров»
1929.

Общее посвящение цикла Маяковскому сделало излишним старое название стих.,
обращенного к любимым поэтам, перед которыми автор преклоняет колени и в книгах
которых ярость сановнеймой, а стужа студеней. Черновые варианты (Барьеры-17)
помогают понять природу ветра (строфы 4 и 5) или озноба вдохновения, который
охватывает человека, взволнованного прочитанным (Двор, этот ветер всему
коновод...). Чувство долга перед поэтом ассоциируется с татарским игом. Крепкие
тэме полыханьем огней! – В машин. «Дополнительных замечаний» к сб. 1956
Пастернак писал: «Крепкий кому-либо чем-либо (помещику, князю, хану, султану,
данью, податю, оброком) значит обязаный, подвластный».

Градирия – устройство для выпаривания соли. Баскак – сборщик подати во времена
монгольского ига. Ханский указ на вощеных брусках... – указ, написанный на
вощеных табличках. Трехгорное – сорт пива.

Дурной сон. – «Поверх барьеров» 1917. – «Поверх барьеров» 1929, дата: 1914.
Стихотворение рисует начало Первой мировой войны. Тянущиеся на запад воинские
эшелоны были основным впечатлением первых месяцев войны, «в вагонах этих дни и
ночи спешно с песнями вывозили крупные партии свежего коренного населения в
обмен на порченное, возвращавшееся санитарными поездами» («Охранная грамота»,
1931). Название стихотворения отсылает к народному поверью, по которому видеть
во сне выпадающие зубы предвещает смерть (Попадали зубы из челюсти). В стих,
использованы антропоморфные образы неба и месяца, восходящие к мифологическим
представлениям язычества. В словосочетании Небесный Постник во всех изданиях
(начиная с 1929 г.) сняты большие буквы, которые были в издании 1917 г. В нашем
издании восстановлены.

Назём огородника – навоз для удобрения огорода. Всю землю сровняли с землей на
Стоходе. – Имеются в виду поражения русской армии на реке Стоходе, бывшей в
мае-июне 1916 г. линией Юго-Западного фронта перед началом Брусиловского прорыва
и ставшей местом тяжелых потерь в конце мая 1917 г. Тарель – точный обод на
пушках. Ксеро-форм – дезинфицирующая мазь, употреблявшаяся при перевязке ран.
Возможность. – «Поверх барьеров» 1917, под назв. «Фантазм»; варианты:

ст. 7–8: Спит, как убитая Тверская, только кончиком
Сна высвобождаясь, точно сонной ручкой, ст. 12: Поцелуй посылает ей
лайковой метелью. – «Поверх барьеров» 1929.

Отклик на стих. Н. Асеева «Фантазмагория» («Ночная флейта», 1914), которое было
посвящено художнице Наталии Сергеевне Гончаровой, их общей знакомой. Осенью
1913 г. в Московском Литературно-художественном кружке в доме Вострякова на Б.
Дмитровке проходила выставка работ Гончаровой. Сукончики, С. то есть сыновья
суконщиков... – на вывесках (= щитах) после фамилии владельца буквы С-я значили
сокращение: сыновья. В описании ночного города отразился живописный стиль Н. С.
Гончаровой, на который оказали влияние городские вывески. Спит, как убитая,
Тверская <...> Она из Гончаровых... – Тверская предстает в стих,
олицетворением городских пейзажей Гончаровой. ...какой-то из новых... – имеется
в виду Н. Асеев и его стих. «Фантазмагория» (воздушный/ Поцелуй ей шлет...).
Десятилетье Пресни. (Отрывок). – «Поверх барьеров» 1917, под назв. «Отрывок»;
варианты:

ст. 6: С придверных пьедесталов,
ст. 16: Брала начало ночь портних
ст. 47–48: Хотел исчезнуть от масштаба
Застав бастующих небес. – «Поверх барьеров» 1929.

Посвящено десятой годовщине Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. и
совмещает в себе впечатления 1915 г. и воспоминания детства. По цензурным
соображениям в издании 1917 г. оно не имело названия; ст. 22–24, 60–61 были
заменены точками. Вооруженное восстание на Пресне описано Пастернаком также в

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
 поэме «Девятьсот пя-тый год» (гл. «Москва в декабре») и в «Записках Патрика»
 (гл. «Ночь в декабре»). Но медных макбетовых ведьм в дыму... – ведьмы в трагедии
 Шекспира «Макбет» занимаются предсказанием судьбы. Когда – с Канатчиковой
 дачи/Декабрь веревки вил... – Канатчикова дача – психиа-трическая лечебница.
 Речь идет о репрессиях «сумасшедшего» (с Канат-чиковой дачи) декабря 1905 г.,
 последовавших за разгромом восстания. ...посул / Свобод прошел... – после
 Манифеста 17 октября 1905 г. нача-лась всеобщая политическая стачка и ее
 подавление с последующими карательными мерами. Мулицы обыкновенно/Невинны были,
 как мольба,/ Как святость – неприкосновенны. – Сохраненное в памяти впечатление
 девственно чистого снега тех дней и казачьих патрулей, разъезжающих по пустым
 улицам. Ср. в поэме «Девятьсот пятый год»: «После этого / Город / Пустеет дней
 на десять кряду. / Исчезает полиция. / Снег неис-слежен и цел». В очерке «Люди и
 положения»: «Стояли морозные ночи. Москва, погруженная во мрак, освещалась
 кострами. По ней, повизги-вая, летали шальные пули, и бешено носились конные
 казачьи патрули по бесшумному, пешеходами не топтанному, девственному снегу».
 Петербург. – «Поверх барьеров» 1917; варианты: ст. 1-3: Как в пулю сажают
 повторную пулю Или жарят по пламени свечи, Так это мираж побережий и улиц ст.
 17-19: Был тучами царь, как делами, завален; В распоротый пасмурный парус
 Ненастья – щетиной ста готовален ст. 21: В дверях над Невой, на часах,
 как гайдуки ст. 23: В горячешной мгле отдаленные стуки ст. 27:
 Пока у царя на чертежный подрамоч ст. 56: Поверх всех барьеров, ст. 71:
 Он город по Марту ст. 73: И тучи, как волосы, встали дыбом ст. 75:
 Кто ты? Кто ты? Кто бы ты ни был – ст. 79: Нет, и в могиле, и в
 склепе и в саване – Барьеры-17; варианты: ст. 3-4: Так эта ширь берегов и
 улиц Разряжена без осечки.
 ст. 18-20: Распутицы пасмурный парус
 Порола щетиною ста готовален Предвиденья свежая ярость.
 – «Поверх барьеров» 1929. При переиздании в 1929 г. вместо од-ной отбивки после
 строфы 7 появилось деление дополнительными от-бивками на четыре отрывка. В
 «Избранных» печатались или один пер-вый отрывок, или первый и четвертый. –
 Машин, сб. 1956; варианты:
 ст. 1: Как в пулю сажают повторную пулю
 ст. 17: Был тучами Петр, как делами завален, ст. 20: Врезалась
 строителя ярость.
 – Ст. 18-19 печатаются по верстке сб. 1956.
 Написано под впечатлением поездки в конце октября 1915 г. в Пе-тербург и встречи
 с Маяковским. Строка 56 – Поверх барьеров – стала названием книги, определением
 таланта, преодолевающего все преграды, и выражением восхищения творческой
 смелостью Маяковского. Мысль о единстве города, как воплощения творческого
 замысла, и его создателя была развитием впечатления, вынесенного от слушания
 «Трагедии» в чтении Маяковского, «что поэт не автор, но – предмет лирики, от
 пер-вого лица обращающийся к миру» («Охранная грамота», 1931). Имя твор-ца
 города и самого города (в назв. стих.) сливаются в одно. В стих, отра-зилась
 пушкинская концепция личности Петра. Местоимение он (ст. 11) выступает в роли
 неназываемого божества, как у Пушкина во Вступлении к «Медному всаднику». Далее
 Петр сам называется Медным всадником, откуда Пастернак заимствовал «дифирамбизм»
 тона. Авт. характерис-тика стих, просматривается в письме М. Цветаевой:
 «Серость, север, город, проза, предчувствуемые предпосылки революции (глухо
 бунту-ющее предназначенье, взрывающееся каждым движеньем труда, бессоз-нательно
 мятежничающее в работе, как в пантомиме)» (7 июня 1926).
 Гайдук – лакей для выезда. Кнастер – сорт трубочного табака. Нарвская (застава)
 и Охта – окраины Петербурга. Прапор – знамя.
 «Оттепелями из магазинов...» – «Новый мир», 1928, № 12, в под-борке: «Из книги
 "Поверх барьеров". Переделка. 1915-1928». Перво-начальная редакция стихотворения
 не сохранилась. Фирн – зернистый снег в горах.
 Зимнее небо. – «Поверх барьеров» 1917, без назв.; вариант ст. 11: Что,
 как орбиты какой-то очковой –
 – «Поверх барьеров» 1929. – Верстка сб. 1956; варианты: ст. 9: Воздух окован
 мерзлым железом
 ст. 11: Что, как глаза со змеиным разрезом, Характерная для Пастернака
 тема отражения неба в пруду, здесь – в зеркале замерзшего пруда, катка, есть по
 существу тема искусства и жиз-ни, иными словами, существования двух миров, что
 подтверждается на-речием: «там» (О конькобежцы! Там – все равно...). В небо
 Норвегии скре-жет конька. – По ассоциации с фирмой «норвежских» беговых коньков.
 Скоба – дверная ручка. ...рты, / Как у фальшивомонетчиков, – лавой... налиты. –
 По закону «Русской правды» существовала страшная казнь заливать в глотку
 фальшивомонетчиком расплавленное олово или свинец.
 Душа. – «Поверх барьеров» 1917, под назв. «Внедренная»; вариант ст. 9: Что

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
делать, я слышу, крича об амнистии.

– Барьеры–17; вариант

ст. 3: По мненью египтян, душа и паломница,
Изменение строки 9 связано с заменой названия, определение души – внедренная
перенесено в текст стихотворения. Вольноотпущен–ница – рабыня, отпущенная на
волю. Пленница лет. – Ср. позднейшую формулировку того же образа: «у времени в
плону» («Ночь», 1956). ...как билась княжна Тараканова... – имеется в виду
картина К. Д. Флавицко–го (1830–1866) «Княжна Тараканова», на которой изображена
претен–дентка на русский престол Елизавета Тараканова в равелине
Петропав–ловской крепости во время наводнения 1775 г.

«Не как люди, не еженедельно...» – «Поверх барьеров» 1917. – «По–верх барьеров»
1929; вариант

ст. 5: И тебе невыносимы смеси.

– В «Стихотворениях в одном томе». М., 1935 – печаталось через отбивку как
продолжение стих. «Душа».

С чем бы стал Ты есть земную соль?– «Вы – соль земли», – слова Христа,
обращенные к апостолам. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую?
Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на поприще людям» (Мф.
5,13).

Раскованный голос. – «Поверх барьеров» 1917; варианты: ст. 5: Столкнуть в
сбеленённую полночь

ст. 7: Целующих хлопьев: – На помощь –

– «Поверх барьеров» 1929.

В письме С. Боброву с перечислением предлагаемых названий кни–ги (16–18сент.
1916) Пастернак более всего склонялся к тому, чтобы назвать ее «Раскованный
голос». К. Локс в «Истории одного десяти–летия» пишет о том, что первоначальным
названием книги было «Рас–кованный голос». Зарисованная с натуры уличная сценка
вырастает в символ призвания и творческой силы слова. Н. Н. Асеев перелагает
со–держание этого стихотворения Пастернака в своей поэме «Маяковский начинается»
(1939).

Метель. – Как цикл – «Поверх барьеров» 1929, посвящен знаком–ству с сестрами
Синяковыми зимой 1914–1915 г.

1. «В посаде, куда ни одна нога...» – альм. «Весеннее контрагентство муз», 1915,
без назв. – «Поверх барьеров» 1917, назв. «Метель»; вариант

ст. 16: Без голоса, вьюга, бледней полотна.

– Избр.–1945; вариант

ст. 16: Без жизни, о вьюга, бледней полотна.

– Строка исправлена по верстке сб. 1956.

..лишь ворожеи да вьюги... – ассоциация снежного вихря с нечистой силой –
устойчивый мотив народно–религиозного сознания (ср. «Бесы» Пушкина). Шляя –
часть сбруи, ремень, протянутый по бокам вдоль лошади. К. Л оке вспоминал, что
рассказ Пастернака о своем знакомстве с Синяковыми, жившими в ту зиму в
Замоскворечьи, можно было «пере–дать» следующими строками из стих. «Метель»: В
посаде, куда ни одна но–га/не ступала, лишь ворожеи да вьюги/ Ступала нога...
(«Повесть об од–ном десятилетии» //Воспоминания. С. 48). Замостье – район
Варшавы.

2. «Все в крестиках двери, как в Варфоломееву...» – «Поверх барье–ров» 1917, под
назв. «Сочельник». – «Поверх барьеров» 1929. – Барье–ры–17; варианты:

ст. 6: Как люто в безлюдьи. Какая торжественность,

ст. 8–11: И хлопья снуют фонарями карманными В руках и на поясе. Грозно,
торжественно, Беззвездно и боязно. Ветер разнузданно Мечась освещает участников
шествия, ст. 9: Пороша непрощенно валится на руки,

ст. 11: И хлопья снуют, как ручные фонарики, ст. 13–16: Вокруг полыньи
погребальной музыкой И вот, Колиньи, мы узнали твой адрес И в визге метели: Вы
узнаны узники И на двери снегом, как мелом, крест–накрест, ст. 18:

Бульвары и площади вьюге сполагоря. Первоначальное назв. «Сочельник» – канун
Рождества, день, ког–да, по народным поверьям, активизируются бесовские силы,
отсюда хождение ряженных участников шествия (см. «Ночь перед Рождеством» Гоголя).
По ассоциации с Варфоломеевой ночью, то есть ночью перед днем Св. Варфоломея 24
августа 1572 года, отмеченной в Париже резней гу–генотов, когда двери жертв
католики отмечали знаком креста, – вьюга у Пастернака отождествляется с
беснующейся уличной стихией, опол–чившейся против мира детства, дома и семьи –
узников уюта (Там дет–ство рождественской елью топорщится). Гаспар де Шатийон
Колиньи (1519–1572) – адмирал Франции, глава гугенотов и первая жертва
за–говорщиков. Сполагоря – легко, беззаботно.

Урал впервые. – «Поверх барьеров» 1917; варианты:

ст. 11: фабричным, печным, злаязычным Горынычем ст. 14–16: К лесам
подползал океан коронаций,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
Лизал им подошвы и соснам подсовывал Короны и звал их на царство венчаться.
ст. 19–20: На усталанный гневным оранжевым бархатом Покров из снегов и сусали.
– «Поверх барьеров» 1929. – Барьеры–17; варианты: ст. 14: К лесистым предгорьям
ползли азиатцы, ст. 18–20: Мохнатых династов, вступали
На высланный наста оранжевым бархатом Ковер из камчатной сусали.
Пастернак приехал впервые на Урал в январе 1916 г.; уральский пейзаж в
стихотворении зарисован из окна поезда, и лучи восходящего солнца, появляющиеся
из-за гор, из Азии, названы азиатцами (На лыжах спускались к лесам азиатцы).
Граница между Европой и Азией проходит по хребту. ...соснам подсовывали /
Короны... – солнце сперва освещает макушки самых высоких деревьев (храня
иерархию). Камка – старинная шелковая ткань с узорами.
Те же впечатления Урала из окна поезда переданы в повести «Детство Люверс»
(1918) глазами девочки. Вяч. Вс. Иванов в «образе горы как рож-дающей женщины»
отмечает переключку с древнейшими литературами третьего и второго тысячелетий до
н. э., делая вывод о том, что Пастернак из своего детства «вынес и детство всех
мифологий мира, их корни, уходя-щие в наше общее младенчество» (О теме женщины у
Пастернака // Быть знаменитым некрасиво... Пастернаковские чтения. Вып. 1. М.,
1992. С. 47).
Ледоход. – «Поверх барьеров» 1917, под назв. «Заря на Севере». – «Поверх
барьеров» 1929. – Сб. «Московские мастера». М., 1930; варианты: ст. 8: Закат на
севере зловещем,
ст. 17: И ни души. Один лишь хрип, ст. 19: Да сталкивающихся глыб
– Избр.–1945, без строфы 3; варианты:
ст. 6–8: Рыбачий стан под старым Спасом
И крест и кузова расшив,
И вечер вырвешь только с мясом. (Расшива – большая парусная лодка.)
– Верстка сб. 1956; варианты:
ст. 13–17: Капель до половины дня,
Потом, морозом землю скомкав, Гремит плавучих льдин резня И поножовщина
обломков. И ни души. Один лишь хрип, И с мясом только вырвешь вечер... – образ
уральских кровавых закатов повторен в «Детстве Люверс» (1918): «Вечеру только с
кровью удавалось отодрать приставший день».
«Японял жизни цель и чту...» – «Поверх барьеров» 1917, с допол-нительной строфой
между 3-й и 4-й:
Что самородком рдеет глушь, В зловонной груди красных туш, И эти туши – бревна
хат, И фартук мясника – закат.
– «Поверх барьеров» 1929. – Барьеры–17; вариант ст. 14: В мясистой груди
красных туш.
Сокращение строфы объясняется тем, что аналогичное «кровавое» описание заката
сделано в предыдущем стих. «Ледоход».
Я понял жизни цель... – парафраза строки из стих. Пушкина: «К вельможе» (1830):
«Ты понял жизни цель: счастливый человек, / Для жизни ты живешь». ...в берковец
церковный зык... – берковец – мера веса в 10 пудов. Ср. описание великопостного
звона в «Охранной грамоте»: «Сонной дорогой в туман погружались великие языки
колоколен. На каждой по разу ухал одинокий колокол. Остальные дружно
безмолвст-вовали всем воздержаньем говевшей меди».
Весна. – Как цикл – «Поверх барьеров» 1929.
1. «Что почек, что клейких заплывших огарков...» – «Поверх барье-ров» 1917, под
назв. «Поэзия весной» (опечатка «Поэзия весны» исправ-лена автором во многих
экземплярах книги); вариант
ст. 16: Ставь кляксы и плачь на бумаге!
– «Поверх барьеров» 1929. – Барьеры–17; вариант ст. 16: Над серой
осьмушкой бумаги.
Поэзия! Греческой губкой в присосках/Будь ты... – О поэзии, про-питаваемой, как
губка, «всем, что вблизи ее находилось: приключе-ниями ближайшими, событиями,
местом, где я тогда жил, и местами, где бывал, погодой тех дней», – писал
Пастернак родителям 7 февр. 1917 г. Сравнение перешло также в статью «Несколько
положений»: «Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда как
оно – губка. Они решили, что искусство должно бить, тогда как оно должно
всасывать и насыщаться». Тот же образ появляется и в стих. 1935 г. «Мне по душе
строптивый норв...» как определение поэта.
2. «Весна! Не отлучайтесь...» – «Поверх барьеров» 1917, дата: 1914; вариант
ст. 8 и 12: Им ветрено, им холодно.
– «Поверх барьеров» 1929. – Барьеры–17; вариант ст. 8 и 12: Как ветренным, им
холодно.
– Машин, сб. 1956, новая редакция («Другие редакции и вариан-ты». С. 383).
Электрички – первоначальное назв. трамваев.
3. «Разве только грязь видна вам...» – «Поверх барьеров» 1917. – «Поверх

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас барьеров» 1929.

Ледяной лимон обеден... – в письме 17 авг. 1956 г. итальянскому пе-реводчику А.-М. Рипеллино Пастернак объяснял, что в этом образе он объединил впечатления «церковной службы и созывающего к обедням благовеста (колокольного звона) и высящихся в небе колоколен и золо-тящихся на них крестов». Стих, передает удивительную яркость красок весны 1914 г., последней весны перед началом Первой мировой войны. См. в «Охранной грамоте»: «Это был май четырнадцатого года. <...> Блестела лаковая зелень тополей. Краски были в последний раз той ядо-витой травянистости, с которой они вскоре навсегда расстались». В начальных словах стих. «Разве только грязь видна вам...» и красоч-ных картинах весны американская исследовательница Р. Салис увидела ответ Пастернака «на пушкинскую нелюбовь к весне» («...я не люблю весны; / Скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я болен» – «Осень», 1833) («Измерительная единица русской жизни»: Pushkin in the work of Boris Pasternak//Russian Literature XIX. 1986. С. 352–353).

Ивана. – «Поверх барьеров» 1917, без назв. – «Поверх барьеров» 1929. – Барьеры-17; варианты:

ст. 8: Деревьев говорливых,

ст. 12: Из черных недр не вырыв, ст. 13–14 а): Они горят, лиловые, В зеленых мочках яра ст. 13–16 б): Чтоб речку очаровывать В зеленых мочках яра, Их взяли из багрового Уральского футляра. Название относит содержание стих, к деловым поездкам Пастер-нака на соседний Ивакинский завод, отстоящий в 20 верстах от Всево-лодо-Вильвы, где он жил. В цитированном выше письме Рипеллино Пастернак объяснял: «Ивака – географическое назв. лесного владения на Северном Урале». Паросль – молодой лес на вырубках.

Стрижи. – «Поверх барьеров» 1917, без назв.; вариант ст. 8: Глядите, земля убежала!

– «Поверх барьеров» 1929. – в машин, сб. 1956 варианты: ст. 9–12: Смотрите, пространство ушло из-под ног,

И вечер, и город, и стены

Как перекипел на плите кипятки,

Уходит бурливую пеной. Смотрите, земля убежала! – Этот образ повторен в «Детстве Лю-верс» (1918): «"А где же земля?" – охнуло у ней в душе. То, что она уви-дела, не поддается описанию. Шумный орешник, в который вливался, змеясь, их поезд, стал морем, миром, чем угодно, всем. <...> Это – Урал? – спросила она у всего купе, перевесясь».

Счастье. – «Поверх барьеров» 1917; вариант ст. 16: Стряслися в одно решето.

– «Поверх барьеров» 1929, дата: 1915. – Барьеры-17, вычеркнута строфа 4; вариант ст. 16: Смешались в одно решето.

...как Каин <...> заштемпелеван... – здесь: клейменный преступник.

Эхо. – «Поверх барьеров» 1917, без назв.; вариант ст. 6: Тем ночь его песни просторней,

– «Поверх барьеров» 1929. – Барьеры-17; вариант ст. 6: Чем ночь в его песне просторней,

Три варианта. – Как цикл – «Поверх барьеров» 1929.

1. «Когда до тончайшей мелочи...» – «Поверх барьеров» 1917; вари-анты:

ст. 7–8: Отчетливо крупными каплями Роняя веснушчатый пот.

– «Поверх барьеров» 1929. – Верстка сб. 1956; вариант ст. 8: Роняет струящийся пот.

2. «Сады тошнит от верст затишья...» – «Поверх барьеров» 1917; варианты:

ст. 2–4: От верст удушья. Верст глуши, Но что палящей пыли лише? Что лише поле всполошит?

– «Поверх барьеров» 1929. – Барьеры-17; варианты: ст. 1–3: Стада тошнит от верст затишья.

И обморок лесных лошин Прорвавшегося ветра лише, ст. 2–4: От верст удушья. Но в глуши что придорожной пыли лише Поляну в силах всполошить?

3. «На кустах растут разрывы...» – «Поверх барьеров» 1917. ...пбходь / Голенастых... – журавлиная походка.

Июльская гроза. – «Поверх барьеров» 1917, без назв.; варианты: ст. 26:

Миг от мига хорошее, ст. 28: Гремя, взбегае к галерее. Дополнительная строфа между 2-й и 3-й:

Мне страшен штиль. И мне страшна, Как близкий взвизг летучей мыши, Таких затиший тишина, Такая тишина затишья.

– «Поверх барьеров» 1929. Сокращение строфы обусловлено пред-шествующим циклом, посвященным предгрозовому затишью и исполь-зующим аналогичную лексику.

За сладким, из-за ширмы лени... – летняя гроза среди дня связыва-ется с концом обеда и со сладким блюдом также и в стих. «Мефисто-фель» (1919): «Велось у всех,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
чтоб за обедом / Хотя б на третье дождь был подан...». ...в лагере грозы... –
образ грозы, как военной атаки, по-дробно разработан также в стих. «Приближение
грозы» (1927).
После дождя. – «Поверх барьеров» 1917, без назв. – «Поверх барье-ров» 1929,
дата: 1915. – альм. «Московские мастера», 1930, № 1; вари-анты:
ст. 12: Рвет пробку игристой горечью тополя.
ст. 14: Иззябших купальщиц, – ручьями испарина.
– Барьеры-17; варианты:
ст. 3–4: Все кинулось опрометью, а трава
Попала под это и вот она поправа, ст. 5–6 а): Крепчает деревьев горячий настой
Тут вам и сосна < > ст. 5–6 б): И <в> воздух садовый вливается смрад
Он < > от горького тополя ст. 7–8: Деревья развенчанные горят.
Их жилки <> от соков полопались, ст. 10–11: Купальщиц струями – туман и
испарина.
И градинки в грядках мелькают как < > Описание дождя, как поправление природы и
разложение небес (С. 368), при переделке 1928 г. неожиданно приобрело черты
свойственного Па-стернаку восприятия дождя как живительной силы. Сняты слова:
смрад разложившихся небес, трупы каштанов растоптанных, распластаться, –
настроение выровнено по последней строфе, где появляется радуга и рождается
надежда на перемену погоды. Новый смысл задается переос-мыслением старых
образов: полопавшиеся жилы у тополя теперь игра-ют шипучкой, вместо крепчающего
смрада – густая крепь садового воз-духа, град, прежде попиравший траву и
развенчивающий природу, теперь кристаллами соли поваренной заставляет сверкать
грядки с клубникой.
Импровизация. – альм. «Весеннее контрагентство муз». М., 1915, без назв.
– Избр.-1945, дата: 1915; вариант
ст. 12: И грызлись птицы у локтя.
– Избр.-1948 (тираж был уничтожен), под назв. «Импровизация на рояле». – Три
автографа редакции 1946 г.: один из них в собр. М. К. Ба-ранович с
подзаголовком: «Переделка старых стихов 1915 г.»; варианты:
ст. 11: Казалось взметало опять до высот ст. 14–15: И птицы, и волны,
с такую же самой Неведомой долей, как небо и дно,
– Автограф (Уитни), текст Избр.-1948; вычеркнут вариант ст. 12: Обратными
взлетами весел и крыльев.
– Автограф с правкой; варианты:
ст. 8 а): Вдали отзывавшиеся переливы, ст. 8 б): Дробившиеся вдалеке
переливы, ст. 11–12 а): Казалось доплескивалось до высот
Ответными взлетами весел и крыльев, ст. 11–12 б): Казалось доплескивали до высот
Удары ответные весел и крыльев, ст. 14–15: И даль отзывалась с такую же самой
Расстроенной гаммой, как небо и дно, ст. 15: Тревогой, как пристань и
небо и дно, в этой редакции стих, читалось на вечере в Политехническом му-зее 4
апр. 1946 г.
Пастернак прошел консерваторский курс композиторского отде-ления, сохранилось
несколько его музыкальных сочинений. В компо-зиции его Сонаты для фортепиано
(1909) определяющую роль играют триоли, передающие тихий плеск воды. И было
темно. И это был пруд... – о Пастернаке-композиторе писал Кристофер Барнс,
отмечая, что «мно-гие его ранние стихи используют импровизационную и
импрессионис-тическую технику и носят такие музыкальные названия, как
"Импро-визация", "Темы и вариации", "Фантазия" и "Appassionata"». (Pasternak as
composer and Scriabin-disciple // «Тетро». № 121. 1977 June. P. 14). Альм.
«Весеннее контрагентство муз» вышел в апреле 1915 г., ко време-ни скоропостижной
кончины композитора А. Н. Скрябина, и открывал-ся его портретом. Стих.
«Импровизация» передает воспоминания Пас-тернака о его «композиторской
биографии» и встрече со Скрябиным в апреле 1909 г., когда тот говорил ему о
«вреде импровизации, о том, ког-да, зачем и как надо писать» («Охранная
грамота», 1931).
Баллада. –«Поверх барьеров» 1917. –«Новый мир», 1929, № 1. От-рывок новой редакции
(ст. 52–95), под назв. «Из баллады», дата: 1915– 1928; вариант
ст. 71: Шатнуться, выскальзывая из рук.
– «Поверх барьеров» 1929, дата: 1916. – Барьеры-17, в один из экземпляров книги
вклеен автограф новых строф (ст. 56–71), вычерк-нуто назв. «Баллада Шопена». –
Автограф отрывка (ст. 56–71), пода-ренный «Иннокентию Басалаеву на память о
знакомстве и встрече в
Москве, с пожеланием счастья и удачи. 26.XI.28», подтекстом в скоб-ках примеч.:
«О музыке, из "Баллады"», вариант ст. 71 – тот же, что в «Новом мире» («Вопросы
литературы», 1981, № 6. С. 310).
Название стихотворения -- обозначает не литературный жанр, а баллады Шопена,
часто исполнявшиеся матерью Пастернака (О нем есть баллады <...> Я помню, как

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
плакала мать, играв их). После приезда на Урал в январе 1916 г. Пастернак
возобновил систематические занятия музыкой.
Отрывистость азбуки Морзе... – язык телеграфа, – повторяющийся у Пастернака
образ символической записи содержания. Ср. также: Он уши зарниц/Крюками прибил к
проводам телеграфа (ст. 32–33). Точки и черточки азбуки Морзе составляют
аналогию нотной записи. Черты твои в зеркале срочны. – Ср. стих. 1912 г: «Там, в
зеркале, они бессрочны, / Мои черты, судьбы черты...». «Спотыкание конской
иноходи в одной из баллад Шопена», о котором вспоминал Пастернак в «Докторе
Живаго», сопоставляется в стих, с падением с лошади летом 1903 г., которое
Пастернак считал началом своей «композиторской биографии». Про-носившиеся тогда
через его бред «трехдольные, синкопированные ритмы галопа и падения» («Сейчас я
сидел у раскрытого окна...», 1913) вы-звали трехстопные амфибрахии первых строф
стихотворения. С платка текла распутица <... > И штемпеля влеплял, /Как оплеухи
наглости, /Ша-ля конь в поля. – Поездка верхом ранней весной на Урале
отразилась также в стих. «Весенняя распутица» из «Доктора живаго» (1953) и в
самом тексте романа: «Звучным шлепкам ладони по потному телу удивитель-но
отвечали остальные звуки верховой езды: скрип седельных ремней, тяжеловесные
удары копыт наотлет, вразмышку, по чмокающей грязи...» ...мне надо видеть графа.
– Романтическая окраска немецкой баллады, отраженная в лексике: герольд, лакей,
граф, – и сюжете – скачка всад-ника с донесением к своему пожизненному
собеседнику, главе графства или некоего мира, скрывает религиозный смысл стих.,
в котором безответ-ность «графа», Отца и мастера тоски, находится в прямой связи
с не-преодолимой стеной религий, безбожием и ханжеством. Это соотносится также с
непробудностью Небесного Постника из «Дурного сна». В изда-нии 1917 г.
односторонний разговор продолжен молитвой: «Не каклюди, не еженедельно...»,
следующей непосредственно за «Балладой». Кроме того, слово граф омонимично
греческому глаголу урафсо – пишу. Стих, представляет собой исповедь поэта. Вы
спросите, кто я? Здесь жил орга-нист. – Ссылка на неоконченную повесть 1916 г.
«История одной контр-октавы», где одержимый органист во время вдохновенной игры
нечаянно убивает своего сына механикой органа. Редакция «Баллады» 1916 г.
окан-чивалась открытой отсылкой к эпизоду смерти мальчика (Когда в дремо-носные
сосны органа/ Впился – весь отчаянье – вопль пустельги). Кайяфа (Каиафа) –
иудейский первосвященник, обвинитель Христа. Открылась мне сила такого
сцепленья... – имеется в виду ночное пробуждение
24 нояб. 1894 г. во время домашнего концерта, когда, по словам Пастер-нака,
«проснувшись однажды на третьем году ночью, застал весь круго-зор залитым ею
(музыкой. – Е. П.) более чем на пятнадцать лет вперед» («Охранная грамота»,
1931). Среди приглашенных на этот концерт был Л. Н. Толстой, что объясняет
использование толстовского выражения о силе сцепленья мысли (из письма Толстого
Н. Н. Страхову 23–26 апр. 1876). В колодец ее обалделого взгляда / Бадьей
погружалась печаль... – сравнение музыки с колодцем, «в который падало столько
творчества», с воспоминаниями об оставленной профессии композитора см. в пись-ме
Пастернака родителям (26 мая 1912). Рыдван – большая дорожная карета. Цехин –
старинная венецианская монета. Земские ярыги – с XVI в. наименование низших
служителей местных властей, исполнявших по-лицейские обязанности.
Мельницы. – «Поверх барьеров» 1917. – «Новый мир», 1928, № 12; варианты:
ст. 7: И брешет пес и бьет луну
ст. 10: Слезятся щетки первых жнивьев.
ст. 12: Сопят и ищутся завшивев.
ст. 31: А только как судна, всему вопреки
ст. 70: Светясь в грядущем и в былом,
– «Поверх барьеров» 1929. – Ст. 10,12 исправлены по избр.-1945 и верстке сб.
1956. – Автограф, посланный Н. И. Замошкину в середине августа 1928 г. для
публикации в «Новом мире», где Замошкин был сек-ретарем редакции, с
подзаголовком «Из старой тетради» и посвящ. Вл. Маяковскому (ГЛМ, о. ф. 5978. –
«Другие редакции и варианты». С. 385). Вслед за ним 25 авг. 1928 г. (ГЛМ, о. ф.
5481) были исправлены
ст. 5–8: Он рвется под колеса дрог,
Из-под навесов хат потухших,
Его остервенелый брех,
Как стук разбитой колотушки.
Стихотворение отражает впечатления от поездки Пастернака в Красную Поляну
Харьковского уезда в июле 1915 г.
На пароходе. – «Поверх барьеров» 1917; варианты: ст. 25–32: Сквозь грани
баккара, вы суженным
Зрачком могли следить за тем,
Как дефилируют за ужином
фаланги наболевших тем,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас- и были темы те – эмульсией из сохранных сердцем дней, А вы – последнюю ковульсией Последней капли были в ней. – «Поверх барьеров» 1929. – Авт. машин, с посвящ. г-же Ф. Збар-ской, дата: 17 мая 1916 г. Всеволодо-Вильва (собр. И. Б. Збарского). Две строфы (между 6-й и 7-й):

Что он подслушивал? – подслушивал,
Дыша на запотелый люк?

Тонула речь в обивке плюшевой.

Он понимал движенье рук?

И этих рук движенье проняло

Его? И по движенью рук

Он понял: так на физгармонии

Берут в басах забытый звук. На месте этих строф в издании 1917 г. стоит черта. Фанни Николаевна Збарская – жена инженера Б. И. Збарского, в доме которого Пастернак жил во Всеволодо-Вильве и с которым сблизился в это время. Из письма Збарского известно, что по делам завода Пастернак ездил в Пермь 11 мая в сопровождении Ф. Збарской. Перед ее возвращением обратно 12 мая, они вместе ужинали на пароходе.

В одном экз. книги Барьеры–17 сделаны первые попытки убрать иностранную лексику (вместо баккара – стакан, вместо дефилируют <... > фаланги – рассказ, вместо эмульсией и ковульсией – отцединкой или выжимкой). В другом экземпляре на месте этих строф записан их окончательный вариант. – В «Избранных стихах» («Узел», М., 1926) вместо них отточие.

В отличие от других стих, того времени, – это оставалось дорого автору до конца жизни, в письме В. Шаламову 9 июля 1952 г. он называл его в числе «лучшего из раннего». Он вспоминал, что оно особенно нравилось его отцу (З. Масленникова. «Портрет Б. Пастернака». 1990. С. 190–191). О его чтении на авторских вечерах в 1940-х гг. вспоминал В. Берестов (Воспоминания. С. 513–514).

Из поэмы (Два отрывка) – как цикл – «Поверх барьеров» 1929.

Отрывки связаны с поэмой, писавшейся в феврале 1917 г. От нее сохранились также «Наброски к фантазии "Поэма о ближнем"», посланные из Тихих Гор С. Боброву 10 февр. 1917 г.

1. «Я тоже любил, и дыханье...» – «Новый мир», 1929, № 1, под назв. «Из неоконченной поэмы», дата: 1916–1928; варианты:

ст. 37: Мгновенья. Все так же темна эта грань

ст. 44: Любовь – изумленья мгновенная дань?

Этот отрывок развивает заданную в «Набросках к фантазии "Поэма о ближнем"» 1917 г. тему воспоминания о первой любви, некото-рые места и выражения могли быть первоначальной редакцией «Отрывка»: «Я тоже любил. И за архипелаг / Жасминовых брызг, на брезгу, меж другими, / В поля, где впотьмах еще перепела / Пылали, как горла в ан-гине». Здесь слышатся также образы стих. «Я слышал жалобу бруска...» (1912), посвященного тому же рассвету после бессонной ночи в Мар-бурге. (Интересно сравнить его также с «Бессонницей», 1953.)

Первые слова я тоже любил... становятся рефреном стих.: Я тоже любил, и она пока еще/жива, может статься. Наречие «тоже» соотно-сит их с началом стих. Пушкина: «Я Вас любил. Любовь еще, быть мо-жет, / В душе моей угасла не совсем...» Из сопоставления становится ясно, что она, которая жива еще, – это сама любовь, а не ее объект. Раз-говор с Пушкиным слышен также в стих. А. Блока: «И я любил. И я из-ведал...» (1908). С лицом пучеглазого свечегаса... – свечегас – служитель в театре, который зажигал и гасил фонарики со свечами, освещавшими сцену по переднему краю. Известен рисунок Л. Пастернака, сделанный для журнала «Артист» в 1890 г., на котором изображен свечегас, с харак-терными тенями чрезмерно выпуклых глаз, освещенный снизу огнями рампы, которую он тушит гасильником на длинной ручке (Саратовский художественный музей им. Радищева).

2. «Яспал. В ту ночь мой дух дежурил...» – «Новый мир», 1928, № 12, под назв. «Отрывок из неизданной поэмы», дата: 1916.

Содержание отрывка соотносится со словами из письма К. Г. Лок-су 13 февр. 1917 г., в котором Пастернак писал о вдохновенном начале работы над поэмой:

«...взялся за продолжение начатых "проз", потом вдруг налетело что-то такое, в чем я и сейчас себе ясного отчета дать не могу, и под гонением этого последнего я стал без передышки писать ка-кую-то крупную вещь в стихах. Говорю какую-то, так как и сам не пре-движу, как в целом сложится у меня эта "Поэма о ближнем". Часть ее отослана вчера Сергею. <...> я эту вещь буду продолжать, уже и сейчас она в черновике вдвое против посланного Сергею больше».

Марбург. – «Поверх барьеров» 1917. – сб. «Весенний салон поэтов». М, 1918, сокращенный вариант, ст. 1–47 и 72–83. – «Избранные сти-хи» 1926, без строф 1–7 и 13–17; варианты:

ст. 37: А в зарослях парка глаз хоть выколи ст. 81:

И конь –

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
соловей. Я тянусь к соловью.

– «Звезда», 1928, № 9; вариант

ст. 76: И страсть, как свидетель, стоит в углу.

– «Поверх барьеров» 1929. – Избр.-1945, без строк 14–15; варианты: ст. 63:

Вокзальная суতোлка не про нас,

ст. 69–72: Чего же я трушу? Ведь я, как грамматiku, Бессонницу знаю. У нас с
ней союз. Зачем же я, словно прихода лунатика, Явления мыслей привычных боюсь.

– Машин, сб. 1956; варианты:

ст. 70–72: Бессонницу знаю. – Я так к ней привык.

Дорожкой в четыре оконных квадратика Расстелет заря световой половик.

– Барьеры–17; варианты:

ст. 24–25: Самосохраненья инстинкт подхалим Шел следом за мною бок о бок,
особо

ст. 29–32: Шагни, и еще раз, – твердил поводырь И вел меня мудро, как старый
схоластик, Чрез Дантом описанный древний пустырь Нагретых деревьев, сирени и
страсти.

ст. 74: Из лип и берез в слоновой кости.

– Авт. машин, с назв. «Из Марбургских воспоминаний черновой фрагмент» с
дарственной надписью «Фанни Николаевне в память Эне-ева вечера возникновения сих
воспоминаний Борис Пастернак. 10.V.1916» (собр. И. Б. Збарского).

Марбург – город в Германии, где Пастернак занимался в универ-ситете в течение
трех летних месяцев 1912 г. Там в гостинице «Старый рыцарь», в которой
останавливались сестры Высоцкие, приехавшие 18 июня, состоялось его объяснение
со старшей, Идой. Пребыванию в Марбурге посвящена вторая часть «Охранной
граммоты» (1931). Напи-санные там стихотворения Пастернак считал началом своей
литератур-ной биографии. В письме отцу 10–11 мая 1916 г. он писал: «Мне хочет-ся
рассказать тебе, как однажды в Марбурге со всею целостностью и властной
простотой первого чувства пробудилось оно во мне, как ска-залось оно до того
подкупающе ясно, что вся природа этому сочувство-вала и на это благословляла –
здесь не было пошлых слов и признаний, и это было безотчетно, скоропостижно и
лаконично, как здоровье и бо-лезнь, как рождение и смерть».

При переработке стихотворения в 1928 г. был усилен момент под-держки, которую
оказывает герою твердая непреложность окружающе-го мира и история города, того
«белого утра», которое «знало меня в лицо и явилось точно затем, чтобы быть при
мне и меня никогда не оста-вить», – как писал Пастернак в «Охранной грамоте»,
(ср.: Я белое утро в лицо узнаю). «Свежий лаконизм жизни открылся мне, – пишет
он даль-ше, – перешел дорогу, взял за руку и повел по тротуару». Я мог быть
сочтен / Вторично родившимся. – В концепции «второго рожденья» по-нятие
«подобий» (Ивсе это были подобья), которого не было в редакции 1917 г.,
приобретает значение «новой категории» действительности, сме-щаемой чувством.
«Меня окружали изменившиеся вещи. В существо действительности закралось нечто
неиспытанное», – писал Пастернак в «Охранной грамоте», рассказывая об утре после
объяснения с Высоц-кой. Эти «изменившиеся вещи» были теперь лишь подобьями тех,
что были вчера, и несли в себе новое значение – прощания с жизнью (Каж-дая
малость <... > в прощальном значеньи своем подымалась).

СЕСТРА МОЯ – ЖИЗНЬ. Лето 1917 года (С. 113)

Книга как лирическое целое возникла летом 1917 г., хотя некото-рые стихотворения
были написаны позже. Но именно в то лето, как Па-стернак вспоминал впоследствии,
он пережил «чудо становления кни-ги». Одно стихотворение следовало за другим,
слагаясь в циклы или гла-вы, как они первоначально назывались. Поэтические
образы и мотивы переливались из одного стихотворения в другое. Стихов было
написано гораздо больше, чем вошло в книгу; они подвергались строгому отбору.
«Принципом отбора (и ведь очень скупого), – вспоминал Пастернак, – была не
обработка и совершенствование набросков, но именно сила, с которой некоторое из
этого сразу выпаливалось и с разбега ложилось именно в свежести и естественности
случайности и счастья» (письмо к С. Чиковани 6 окт. 1957). Композиция и основной
состав определились к весне 1919 г. (книга тогда называлась «Нескучный сад»,
первоначаль-ное название было – «Всесильный бог деталей»).

В книге отразились отношения Пастернака с Еленой Александ-ровной Виноград
(1899–1987), их встречи и прогулки по Москве вес-ной 1917 г., ее отъезд, две
поездки Пастернака к ней в Романовку и Балашов, где она занималась подготовкой
реформы земского само-управления. «Сестра моя жизнь, – объяснял Пастернак М.
Цветае-вой, – была посвящена женщине. Стихия объективности неслась к ней
нездоровой, бессонной, умопомрачительной любовью. Она вышла за другого» (письмо
25 марта 1926). В стихах книги нашла выражение «за-разительная всеобщность»
общественного подъема, которая, как пи-сал Пастернак, – «стирала границу между
человеком и природой. В это знаменитое лето 1917 года, в промежутке между двумя
революцион-ными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторство-вали

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
дороги, деревья и звезды. <...> Это ощущение повседневности, на каждом шагу
наблюдаемой и в то же время становящейся историей, это чувство вечности,
сошедшей на землю и всюду попадающей на глаза, это сказочное настроение
попытался я передать в тогда напи-санной по личному поводу книге лирики "Сестра
моя – жизнь"» (до-полнительная глава к очерку «Люди и положения» «Сестра моя,
жизнь», 1956). Обе стороны содержания книги, личная и общая, объединены в
эпиграфе, взятом из стихотворения «Das Bild» («Картина») авст-рийского поэта Н.
Ленау (1802–1850), который изображает книгу, как портрет любимой, написанный на
фоне бури. Названием книги стало начало одного из стихотворений «Сестра моя –
жизнь, и сегодня в разливе...», использующее форму обращения к явлениям природы
Святого Франциска Ассизского. Пастернак любил стих. Поля Верле-на «Va ton chemin
sans plus t'inquieter...» («Иди своим путем, ничем не беспокоясь...») из книги
«Sagesse» («Мудрость»), где возникает образ жизни-сестры: «La vie est laide mais
elle est ta soeur» («Жизнь безобраз-на, но она твоя сестра»).

Пастернак писал В. Брюсову, что дух книги, «характер ее содер-жания, темп и
последовательность частей» отражают «наиболее близ-кую сердцу и поэзии» стадию
революции, ее утро и взрыв, «когда она возвращает человека к природе человека и
смотрит на государство гла-зами естественного права» (15 авг. 1922). летом 1917
г. сбывалась его мечта о книге, «свежей, что твой летний дождь, .каждая страница
(кото-рой. – Е. П.) должна грозить читателю простудой», – о чем он писал еще три
года назад (письмо родителям 10–12 мая 1914).

Книга посвящена Лермонтову, смысл посвящения Пастернак объ-яснял своему
американскому переводчику Ю.-М. Кайдену: «Я посвя-тил "Сестру мою жизнь" не
памяти Лермонтова, а самому поэту, как если бы он еще жил среди нас, его духу,
все еще действенному в нашей литературе. Вы спрашиваете, чем он был для меня
летом 17 года? – Оли-цветворением творческой смелости и открытий, началом
повседневного свободного поэтического утверждения жизни» (22 авг. 1958).
Добавим, что в 1917 п Пастернаку было 27 лет, то есть столько, сколько было
Лер-монтову, когда он погиб.

Сохранились первоначальные наброски пяти стихотворений (уит-ни) и 13 автографов,
посланных в 1921 г. В. Брюсову для собираемой им, но не изданной антологии (РГБ,
ф. 386). Первоначальная рукопись на вклеенных страницах книги «Поверх барьеров»
была подарена Е. А. Ви-ноград и погибла во время бомбежки Москвы в 1941 г.
Автограф книги 1919 г. предназначался для издательства «ИМО» («Искусство
молодых»), возглавляемого В. Маяковским, другой, более полный по составу, был
переписан для ГИза в 1920 г. (РГАЛИ, ф. 237). В автографе 1919 г. даны четыре
эпиграфа. Один – из стих. «Елене» Эдгара По: Helen, thy beauty is to me Like
those nicean barks of yore. («Для меня твоя красота, Елена, подобна красоте
древних Никейских кораблей». – Никейская империя – Византийское государство XIII
в. на берегах Малой Азии.)

Другой – из стих. Н. Асеева «Если ночь все тревоги вывездит...» (1916):
Ты горишь красотой писаной на строке, прикушенной до крови. Третий – из поэмы В.
Маяковского «Облако в штанах» (1915): Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое
слово? Четвертый – из Ленау – остался единственным эпиграфом при издании книги.
В машин. 1921 г., сделанной для издательства З. И. Грже-бина, были добавлены еще
два стих. (собр. Е. С. Левитина). В том же издательстве Гржебина в Москве весной
1922 г. вышло первое издание книги, второе – у того же издателя в 1923 г. в
Берлине. Ранее в раз-ных сборниках и альманахах было опубликовано 19 стих. Книга
цели-ком вместе с «Темами и вариациями» составила «Две книги» 1927 и 1930 гг. в
«Стихотворениях в одном томе» 1935 г. – без двух стихотво-рений.

«Сестра моя жизнь» сразу выдвинула Пастернака в число первых имен современной
поэзии. На нее откликнулись поэты и критики са-мых разных направлений.
Маяковский был первым, кому Пастернак прочел ее и, как он писал, «услышал от
него вдесятеро больше, чем рас-считывал когда-либо от кого-нибудь услышать»
(«Охранная грамота», 1931). На ее выход восторженной статьей «Световой ливень.
Поэзия веч-ной мужественности» откликнулась М. Цветаева, отметив «чудо» ее
всеохватности: «От Лермонтовской лавины до Лебедянского лопуха – все налицо, без
пропуску, без промаху» («Эпопея», 1922, № 3). «У Пас-тернака нет отдельных
стихотворений о революции, но его стихи, мо-жет быть, без ведома автора
пропитаны духом современности», – пи-сал В. Брюсов (Вчера, сегодня и завтра
русской поэзии // «Печать и ре-волюция», 1922, JSfe 7). О. Мандельштам отмечал,
что «полнота жизни, половодье образов и чувств с неслыханной силой воспрянули в
поэзии Пастернака» (Борис Пастернак. Заметки о поэзии // «Россия», 1923, JSfe
6). Н. Асеев характеризовал «органическую цельность» книги. «Ее главное
назначение в новом, сделанном поэзией шаге от замыганного, разъятого на части
версификаторами, размера метрического к живому языку речи» («Красная новь»,
1922, JSfe 3). «Сестре моей жизни» посвя-тили свои разборы Д. П.
Святополк-Мирский, Я. З. Черняк, И. Н. Ро-занов, А. З. Лежнев.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
В первых изданиях «Сестры моей жизни» 1922, 1923 гг. и «Двух книгах» 1927 и 1930
гг. автор не ставил тире в названии своей книги, оно появилось только в
«Стихотворениях в одном томе» 1933 г.: «Сестра моя – жизнь». В комментарии не
указывается первая публикация тех стихотворений, которые впервые появились в
печати в книге «Сестра моя жизнь», М., изд-во Гржебина, 1922.
Памяти Демона. – сб. «Поэзия революционной Москвы». Берлин, 1922. – Автограф
(ИМЛИ, ф. 120); варианты:
ст. 12: О княжне чуть дыша не справлялась
ст. 15– 16: До корней ли волос,
За секучей седую печалью.
– В автографе книги 1919 г. помещено вторым в составе первого цикла.
Стихотворение связано с посвящением книги Лермонтову, но если посвящение
обращено к «самому поэту, как если бы он еще жил среди нас», то само
стихотворение представляет воспоминание о Демоне и прощание с ним. Оно развивает
мотивы поэмы Лермонтова «Демон» и соотносится с иллюстрациями М. А. Врубеля.
«Лермонтов именно в Прянишниковском иллюстрированном издании <...> оказал на
меня почти такое же влияние, как Евангелие – и пророки», – писал Пастернак (И.
С. Буркову 23 июня 1945). Речь идет о юбилейном издании Лермонтова 1891 г. Для
этого, как и для многих стихотворений книги, характерно отсутствие явного
обозначения субъекта, заданного в заглавии.
Тамара – грузинская княжна, героиня поэмы Лермонтова (о княжне не справлялась).
Не рыдал, не сплетал / Оголенных, исхлестанных, в шрамах. – См. иллюстрацию
Врубеля «Демон у стен монастыря» (1891). Образ Демона у Пастернака близок также
«падшему Ангелу-Демону», – «первому лирику» из статьи А. Блока 1907 г. «О
лирике», залегшему среди «горных кряжей» и «заломившему руки». См. также в
стих. Блока «Демон» (1910): «И плети заломленных рук». Уцелела плита/За оградой
грузинского храма. – Имеются в виду строки из поэмы Лермонтова: «По-ныне возле
кельи той / Насквозь прожженный виден камень, / Слезою жаркою, как пламень, /
Нечеловеческой слезой». Зурна – музыкальный инструмент, упоминается в поэме
Лермонтова: «Звучит зурна» и дважды в стих. Блока. Клялся льдами вершин... –
см. клятву Демона у Лермонтова: «Клянусь я первым днем творенья...»
НЕ ВРЕМЯ ЛЬ ПТИЦАМ ПЕТЬ (С. 115)
В рукописи книги 1919 г. вводная глава не имела специального названия, –
открываясь стих. «Про эти стихи» как заглавным, она имела характер экспозиции.
Единство цикла подчеркивалось эпиграфами из стих. Пастернака «Из тысячи и одной
ночи» (1917), неизвестного в полном виде. В цикл входили также стих.: «Памяти
Демона», «Душистой веткою машучи...», «Слова весла» и «Определение творчества»,
– таким образом здесь были представлены основные «участники»: «Демон» как
олицетворение творческого духа, «Зеркало» («Я сам») – герой, «Девочка» –
героиня; рисовались характер их отношений и место действия: сад как мир,
воспринятый поэтом и ставший его вторым «я».
Про эти стихи. – «Художественное слово». М., 1920, кн. 1, без назв. и с посвящ.
Е. А. Дородновой (Виноград), строфы 3-я и 4-я в обратном порядке. – Тот же
порядок строф – в автографах 1919 и 1920 гг. – «Сестра моя жизнь» 1922. – В
верстке сб. 1956 вариант
ст. 15: Откроет много из того,
Обрисованный с иронией классический образ поэта-отшельника, проводящего время в
обществе великих романтиков прошлого Байрона, Эдгара По и Лермонтова,
заслоняющегося кашне и ладонью от свежего воздуха истории, стал главным поводом
для пожизненно преследовавшего Пастернака обвинения в отрыве от действительной
жизни, – без цитаты о форточке (Сквозь фортку кликну детворе...) не обходилась
ни одна критическая статья с 1920-х по 1950-е гг. Дарьял – горное ущелье на
Кавказе, упоминаемое в стихах Лермонтова. Цейхгауз, арсенал – склады
обмундирования и оружия.
Тоска. – Автограф (ИМЛИ, ф. 120) с эпиграфом из Библии: «...и поставил на
востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять
путь к дереву жизни. Бытие III, 24». Варианты:
ст. 8: Дрожащей шерстью.
ст. 10: Не в срок вне ранга,
– Автограф книги 1919 г.; варианты: ст. 13: И подколодную ехидной
ст. 15: Рассвет, и сырость панихиды,
В стихотворении охарактеризована доисторическая, «ботаническая», по словам
автора, сущность революционного лета, возвратившего человеку близость с природой
и родство с окружающим. Имя Редьярда Киплинга соотносит эту книгу Пастернака с
«Книгой джунглей». «Дух естественного права, – писал Пастернак М. Цветаевой, –
сметая условности и отвлечения <...> превращает ненадолго мир в какой-то рай
<...> Природе – возвращается то бездонное значение, какое она имела в Раю, в
этой ботанической части истории, в этой главе о порожденном, о выросшем мире»

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас (12нояб. 1922). См. также стих. «Когда за лиры лаби-ринт...» (1913) и комментарий к нему.

«Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе...» – «Красная новь», 1922, № 2. – «Сестра моя жизнь» 1922. – Автограф книги 1919 г., зачеркнутое назв. «1000 и 1» и эпиграф из стих. «Из тысячи и одной ночи»:

То есть сон, понимаешь, совсем одурел,
Стоя в сене, как в море по пояс,
Как завидел за садом в заборной дыре
На Камышин пронесшийся поезд.

Варианты:

ст. 12: И спальных от пыли и бурь канапе, ст. 22: И в фата-морганах любимая спит

– Тетрадь, посланная Брюсову в 1919 г.; варианты: ст. 12: На черных от пыли и бурь канапе.

ст. 21: Мигая, мерцая, но спят где-то сладко,

– Верстка сб. 1956; варианты:

ст. 9–16: Что в мае, когда поездов расписание Камышинской веткой читаешь в пути, Оно грандиозней святого писанья, Хотя его сызнова все перечти.

Что только закат озарит хуторянок, Толпою теснящихся на полотне, Я слышу, что это не мой полустанок, И солнце, садясь, соболезнет мне. Авт. примеч. к этим вариантам: «Принять новые исправления sine qua pop» <без них не включать стихотворение в сборник. – лат.>. Из-менения были вызваны непониманием, высказанным итальянским пе-реводчиком А.-М. Рипеллино, на вопрос которого Пастернак отвечал: «С матрацев глядят, не моя ли платформа. С матрацев, то есть с диванов глядят соседи по купе, едущие, не мне ли сходить с поезда, не моя ли станция и т. д.» (17 авг. 1956). Камышинская ветка – железнодорожная ветка от Тамбова до Камышина. В стих, отразилась поездка в начале июля 1917 г. в деревню Романовка Саратовской губернии к Е. Виноград.

Плачущий сад. – Вестник Воронежского округа путей сообщения, 1919, № 4–5, под назв. «Дождливая ночь»; вариант ст. 8: В полях тишина созревает.

– «Сестра моя жизнь» 1922. – верстка сб. 1956; вариант ст. 6: Отеков земля ноздреватая.

– Сверка – ст. 6: Отеков – земли ноздреватость.

Зеркало. – сб. «Мы», под назв. «Я сам», без строф 7–11-й; варианты ст. 15:

Казалось бы, все коллодиум залил, ст. 20: Смятенья залить не могла.

– «Сестра моя жизнь» 1922. – «Избранные стихи» 1926, 1934 гг. без строф 4–6-й. –

Автограф книги 1919 г., под назв. «Я сам» и с примеч. в конце страницы: «Без передышки» и стрелкой к следующему стих. «Де-вочка». – Автограф 1920 г.;

варианты:

ст. 16: С комода до теми в стволах.

ст. 31: Так после дождей проползают слизи

– Верстка сб. 1956, без строф 4–6-й; варианты: ст. 29–30: И вот, в усыпительной этой отчизне

Мне зоркости глаз не задуть.

– Машин, сб. 1956, строфы 4–6-я вычеркнуты и дано примеч.: «Только с сокращениями, или никак».

В этом стихотворении, как и в предыдущем «Плачущий сад», сад уподобляется поэту и отражающемуся в нем как в зеркале миру (см. пер-воначальное назв. «Я сам»). Восприятие мира и воспринимающий его поэт приравняются друг другу, впечатления окружающего становятся составной частью его души, жизнь – сестрой.

Повторяющийся ре-френ: и не бьет стекла говорит о том, что искусство, в котором отража-ется жизнь, не разбивает поверхности зеркала, залитой коллодием или льдом, который лишает изображенное вкуса и запаха (чтобсук не горчи и сирень не пахла), но сохраняет силу ее воздействия на поэта и читате-ля, – гипноз или месмеризм. Месмеризм – система в медицине, предло-женная австрийским ученым Ф. Месмером во второй половине XVIII в., в основе которой лежит понятие «животного магнетизма», то есть энер-гия психического воздействия. ...проползают слизи / Глазами ста-туй... – классический образец характерного для Пастернака творитель-ного падежа сравнения: слизи не проползают по глазам, – как обыч-но трактуют эту строку, – но слизи, подобны глазам статуй (см. также в стих. «Ты в ветре, веткой пробуешь...»: «Намокшая воробышком» – от дожда ставшая похожей на воробышка). Салить – в детской игре «салки» догонять убегающего, касаясь его рукой.

Девочка. – Верстка сб. 1956 – без эпиграфа. Эпиграф взят из стих. Лермонтова «Утес» (1941) и относит содержание стихотворения к вос-поминаниям автора о его знакомстве с Еленой Виноград – девочкой, какой он видел ее, приезжая в 1910–1911 гг. в гости к своему другу А. Штиху на дачу в Спасское.

Смарагд – другое назв. изумруда (см. также «капля смарагда» в стих. «Достатком,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
а там и пирами...», 1917). Рюмить – плакать, застилать сле-зами (просторен.).
*Ты в ветре, веткой пробуешь...» – альм. «Трилистник», 1. М., 1922. – Сб.
«Поэзия революционной Москвы». Берлин, 1922 – «Сест-ра моя жизнь» 1922. –
Избр.–1945 и верстка сб. 1956, под назв. «Света-ет». – Автограф книги 1919г.,
под назв. «Не время ль птицам петь», от-несенным позже ко всему циклу в целом;
вариант
ст. 8: Биллионом синих слез.
– Тетрадь, посланная Брюсову, и автограф 1920 г.; варианты: ст. 7–8:
Забрызганный, закапанный
Биллионом синих слез, ст. 16: От поля набежал.
Дождь. – сб. «Поэзия революционной Москвы». Берлин, 1922 – Автограф книги 1919
г.; варианты:
ст. 8: Еще не встель темно.
ст. 12: На грудь, в глаза, в жасмин.
ст. 17: Теперь бежим ощипывать
Всклянь – полностью до краев, совсем (обл.). Осанна – Спаси, Гос-поди
(др.-еер.), ставшее выражением радости. Тьма египетская – одна из десяти казней,
посланных Богом на Египет (исх., 10,21-23). ...садо-вый Сен-Готард. – Имеется в
виду тоннель в садовых зарослях. Сен-Го-тард – альпийский перевал, прорытый
тоннелями.
КНИГА СТЕПИ (с. 121)
Это название цикл получил в «Двух книгах» 1927 г., до этого оно объединяло все,
кроме вводной, 8 глав книги, к ним же всем относился и эпиграф из стих. Верлена
«O triste, triste btait mon ame...» («Грустно, грустно моей душе...»), входящего
в его книгу «Песни без слов» (1874). В автографе 1919 г. цикл не имел
самостоятельного назв., открываясь стих. «До всего этого была зима...», которое
имело расширительное зна-чение. В 1920 г. была проведена сквозная нумерация глав
«Книги Сте-пи», и этот цикл стал называться «Первой главой».
До всего этого была зима. – газ. «Дальневосточный телеграф», Чита,
7 янв. 1922. – Сб. «Поэзия революционной Москвы». Берлин, 1922 – Журн.
«Маковец», № 1. М., 1922. – «Сестра моя жизнь» 1922. – Тет-радь, посланная
Брюсову; вариант
ст. 13–16: Ветер, за руки схватив Деревя,
Гонит лестницей с квартир По дрова.
– Ст. 17 исправлена по верстке сб. 1956, до этого она читалась: Снег валится, –
и с колен,
Название стих, расходится с его содержанием – картиной октябрь-ского ожидания
зимы и страха перед ее наступлением. Вероятно, отно-сьясь по первоначальному
замыслу ко всей первой главе, оно несло сим-волический смысл, распространяющийся
на всю жизнь, предшествую-щую весенней встрече с Еленой Виноград. Первый
снегопад, как всегда у Пастернака, обрывает нарастающий ужас стужи и выводит
боль, как пятна с башлыков. Ср. концовку в стих. «Январь 1919 года»: «На свете
нет тоски такой, / Которой снег бы не вылечивал».
Изуеверья.– сб. «Поэзия революционной Москвы». Берлин, 1922. В письмах к
родителям Пастернак признавался, что считает 1913 г. своим самым лучшим временем
в творческом отношении (3 янв. 1917).
8 тот год он снимал маленькую комнату (каморку) в Лебяьем переулке. Коробка с
красным померанцем... – спичечный коробок с померанцем, из породы цитрусовых, на
этикетке. «Я жил тогда в Лебяьем переул-ке, – писал Пастернак 19 марта 1926 г.
М. Цветаевой, – в канареечной клетке, с окном, выходившим на Кремль». Я
поселился здесь вторично... – вернувшись в Москву весной 1917 г., Пастернак
снова снял ту же ком-нату. Е. А. Виноград-Дороднова вспоминала, как она
приходила к нему в Лебяжий весной 1917 г. Из рук не выпускал защелки, / Ты
вырывалась... – «Я подошла к двери, – писала она, – собираясь выйти, но он
держал дверь и улыбался, так сблизилась чуб и челка. А "ты вырывалась" ска-зано
слишком сильно, ведь Борис Леонидович по сути своей был не спо-собен на малейшее
насилие, даже на такое, чтобы обнять девушку, если она этого не хотела. Я просто
сказала с укоризной: "Боря", дверь тут же открылась». Наряд щебечет, как
подснежник... – Елена Александровна писала также, что хорошо помнит то платье, в
котором была тогда (Е. Б. Пастернак. Борис Пастернак: Биография. М., 1997. С.
270).
Не трогать. – журн. «Вещь» (Берлин), 1922, JSfe 1–2, без назв. – «Сестра моя
жизнь» 1922. – В автографах в качестве названия выделена шрифтом и
подчеркиванием первая строка стихотворения, как текст объявления. – Автограф
1919 г.; вариант
ст. 7: Что пожелтый Божий свет
«7ь# так играла эту роль!..» – Автограф, посланный Брюсову; ва-риант
ст. 3: Что будешь жить и во второй,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
я забывал, что сам – суфлер!.. – Ср.: «Первая влюбившаяся в тебя женщина научит
тебя всему тому, чему ты сам – по дьявольской фанта-зии природы – будешь, шаг за
шагом, учить ее» (письмо А. Л. Штиху бфевр. 1915).
Балашов. – Тетрадь, посланная Брюсову; варианты: ст. 4: В огонь, томпак куя,
ст. 5: И без того щемило грудь,
ст. 24: В природе пыли было жечь. (Томпак – сплав меди с цинком, вид
латуни.)
– Автограф книги 1919 г.; вариант
ст. 21: Любовь, вам странно, кто велит,
Балашов – уездный город в Саратовской губ., куда Пастернак ез-дил в сентябре
1917 г. к Е. А. Виноград. Молокане – христианская рели-гиозная секта,
отвергающая церковь и священников.
Подражатели. – сб. «Поэзия революционной Москвы». Берлин, 1922. – Автограф
(ИМЛИ, ф. 120), под назв. «Обрыв», помечен «19 ян-варя 1919 г. Москва»;
варианты:
ст. 3: Гадюкой мокрою – в песок,
ст. 8: Не врозь, так в речку, как хотите.
ст. 10–12: В траве терзается образчик.
На дне одном, быть может, там – Там только ищущий обрящет.
– Тетрадь, посланная Брюсову, – с назв. «Подражателям», повто-ряющим заглавие
знаменитого стих. Е. Боратынского (1829). Эти два стихотворения роднит
противопоставление подлинного чувства поэта прописному, подражательному
поведению обывателя. В письме к роди-телям от первых чисел июля 1914 г.
Пастернак описывал, как «два вече-ра кряду до самой полночи по Оке на лодке»
катался вдвоем с кузиной М. И. Балтрушайтис (жены поэта), «падкой до катанья, а
через это и на что-то другое». При этом он увидел, что не только «роли имеют
значе-ние», но и исполнители тоже и «раз навсегда заведенное правило увле-чений
при таких-то и таких-то обстоятельствах» в высшей степени на-ивно и пошло (ср.
стих. «Ты так играла эту роль!..»)
Образец. – сб. «Поэзия революционной Москвы». Берлин, 1922. – Автограф книги
1919 г., стих, разбито на три части отбивками, первые 3 строфы, 4–10–я и
последняя строфа – заключение. – Тетрадь, послан-ная Брюсову, последняя строфа
опущена; варианты:
ст. 20: Хоть годы позади.
ст. 35: Плясали в дымных конусах
Авт. примеч. к ст. 19: «Ночная красавица – название крепко пахну-щих ночных
цветов».
Стихотворение связано с предыдущим и передает обстоятельства жизни и надежды
героя книги, «образчика» из предыдущего стихотво-рения. Автор определяет его
латинским биологическим назв. человека: *homo sapiens* (человек разумный).
РАЗВЛЕЧЕНЬЯ ЛЮБИМОЙ (С. 127)
В автографе книги 1919 г. цикл делился на три части: «В городе», «Занятья
философией» и «Заместительница». В 1920 г. он получил назв. «Развлеченья любимой»
и окончательную композицию; в сб. «Две книги» 1927 г. «Занятья философией»
выделились в самостоятельный цикл.
«Душистою веткою машучи...» – сб. «Мы». М., 1920, под назв. «По-целуй»; варианты:
ст. 1: Душистою таволгой машучи,
ст. 8: Повисла, дрожит и робеет.
ст. 16: И не распрямиться, хоть режьте!
– «Сестра моя жизнь» 1922.
Таволга – многолетнее растение семейства розоцветных.
Сложа весла. – сб. «Весенний салон поэтов». М., 1918, без загла-вия («Другие
редакции и варианты». С. 390). – «Сестра моя жизнь» 1922. – Автограф книги 1919
г., стихотворение предваряется эпиграфом из стих. «Из тысячи и одной ночи»:
Пить, как пьют соловьи: до потери сознания, Звезды долго горлом текут в пищевод.
Птицы ж ждут и заводят глаза с содроганьем, Осушая по капле ночной небосвод.
Ср. 3-ю строфу стихотворения «Здесь прошелся загадки таинствен-ный ноготь...»
(1918).
– Верстка сб. 1956, новая редакция («Другие редакции и вариан-ты». С. 391).
– в машин, сб. 1956 пометка составителя сборника Н. В. Банни-кова, не
одобрившего вариант ст. 5: «Улучшить, насытить строчку: "Это не то...". Ей-богу.
Правка не перенесена».
Славки – порода певчих птиц. О ночных катаниях на лодке Пас-тернак писал
родителям в первых числах июля 1914 г. См. коммент. к стих. «Ты так играла эту
роль!..» и «Подражатели».
Весенний дождь. – «Путь освобождения». М., 1917, № 4, без раз-бивки на строфы;
варианты:
ст. 3: Под луною навыват, гуськом, скрипачи

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
ст. 16: Розы и взоры ждали в пучок, ст. 21–22: Это не шарканье толп и
не ропот Толп, это здесь, у театра – прибор
– «Сестра моя жизнь» 1922. – Автограф книги 1919 г., под назв. «Перед театром»
открывал цикл «В городе»; варианты:
ст. 2: Лак экипажей, древесный трепет,
ст. 3 – как в первой публикации.
Посвящено одному из тех собраний, «днем и ночью совещавшихся на летних площадях
под открытым небом, как на древнем вече», о кото-рых Пастернак вспоминал в 1956
г. (дополнительная глава к очерку «Люди и положения» «Сестра моя, жизнь»). Это
было 26 мая 1917 г. на Театральной площади по случаю приезда в Москву военного
министра Временного правительства А. Ф. Керенского и устроенного в его честь
общественного приема в Большом театре. Толпа на площади встретила его
восторженными приветствиями, его на руках вынесли из театра, посадили в открытый
автомобиль и засыпали розами. В стихотворении отразилось не восхищение
Керенским, но увиденное этой ночью живое биение истории, «ощущение
повседневности, на каждом шагу наблюдаемой и в то же время становящейся
историей»: Это не ночь, не дождь и не хором / Рвущееся: «Керенский, ура!», / Это
слепящий выход на форум / Из катакомб, безысходных вчера. Пастернак шутил по
поводу того, что его книга была сочтена критикой «революционнейшей», и писал,
что в этой «аполитической книге» только «при известной натяжке можно выудить
политическое слово, да и то это оказывается – керенский» (письмо Ю. И. Юркуну
14 июня 1922). Стихотворение передает надеж-ды автора на грядущие преобразования
России как государства евро-пейской демократии.
Свистки милиционеров. – сб. «Явь». М., 1919, под назв. «Уличная», дата: май 1917
г. («Другие редакции и варианты». С. 391) – «Сестра моя жизнь» 1922. – Автограф
1919 г.; вариант
ст. 1: Метлы бастуют. Брезгуя
– В «Стихотворения в одном томе» 1935 и 1936 не включалось.
Дворня бастует. – С 19 по 26 мая 1917 г. в Москве проходили де-монстрации и
забастовка дворников, 23 мая в Сокольнической роще недавно созданной народной
милицией и полуротой солдат были про-изведены обыски в чайных палатках (искали
спиртное, в России дейст-вовал сухой закон), милиционеры требовали документы,
задержанных отправляли в комиссариат (см.: К. М. Поливанов. «Свистки
милицио-неров»: реальный комментарий к одному стихотворению // Быть зна-менитым
некрасиво. Пастернаковские чтения. Вып. 1. М., 1992. С. 30). ...сигают до
брезгу... – прыгают до рассвета. Стихотворение, как и пре-дыдущее, рисует ночную
прогулку Пастернака и Е. Виноград в соколь-ническом парке, излюбленном месте их
загородных поездок. Но на этот раз тишина и милый душе твоей мрак были нарушены
облавой мили-ции, ловившей убегающих. Тиволи – знаменитый летний ресторан в
Со-кольниках.
Звезды летом. – Автограф (и мл и, ф. 120), под назв. «Июль», без 1-й строфы, с
эпиграфом из стих. «Незнакомка» (1906): «Чуть золотит-ся крендель булочной / И
раздается детский плач. Блок»; варианты:
ст. 11: Мало ль в небе поводов,
ст. 17: Ветер розы пробует
– Автограф книги 1919 г., эпиграфом взята первая строчка того же стих.: «По
вечерам над ресторанами. Блок».
Как уже указывалось, действующее лицо, заданное в заглавии, не повторяется в
тексте стихотворения, так что субъектом первой строфы являются Звезды летом,
именно они рассказали страшное, /Дали тон-ный адрес и т. д. Тишина, ты – лучшее
/ Из всего, что слышал. – Пара-докс «слушания тишины» соотносится с эпизодом из
пьесы Г. Ибсена «Когда мы, мертвецы, пробуждаемся», где герои соглашались с тем,
что «тишину можно слышать» (в русском переводе 1909 г. – безмолвие). См. «Письма
из Тулы» (1918): «...настанет полная физическая тишина. Не ибсеновская, но
акустическая».
Пастернак объяснял итальянскому переводчику А.-М. Рипеллино последнюю строфу:
«Газовые, жаркие – розы в цветнике на бульваре из предшествующей строфы: Ветер
розу пробует /Приподнять по просьбе и пр., – то есть нашаркали и наиграли розам
(люди, гуляющие и пр.)» (17 авг. 1956). Вариант ст. 17: Ветер розы пробует,
представленный в ран-нем автографе (ИМЛИ), восстанавливает потерянное в
окончательном тексте согласование ед. числа: розу и мн. числа: газовые.
Отсутствие существительного при прилагательном объясняется также ссылкой на
Блока, данной в эпиграфе, – «взбудораженность» и «отрывистость» стиля которого,
как писал Пастернак, подходили «духу времени, таив-шесю, сокровенному,
подпольному» («Люди и положения», 1956).
Уроки английского. – Автограф книги 1919 г.; вариант ст. 14: А горечь
слез осточертела,
«Напоминание о том, что есть жизнь, так своевременно в миг прощания с нею», –

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак писал Пастернак в «Докторе Живаго». Подобное состояние стало содержанием этого стих., которое передает благословение жизни от лица героинь трагедий Шекспира Офелии и Дездемоны незадолго до их гибели. Когда случилось петь Дездемоне... – Пастернак восстанавливает английское ударение в имени героини. По иве, иве раз-рыдалась. – В статье «Новый перевод "Отелло" Шекспира» (1944) Пастернак писал: «Несмотря на дурные предчувствия, Дездемона не подозревает, что жить ей осталось минуты, и мурлычет "Ивушку", мотив из старинной баллады, томивший ее весь вечер и вдруг припомнившийся. Сцена с песнью написана для того, чтобы дать понятие о мере неведенья героини на пороге ее жертвенного закланья». Ср. начало песни Дездемоны в переводе Пастернака трагедии «Отелло»: «Ох ива, зеленая ива...». Обе шекспировские героини объединены также в стих. А. Фета «Я болен, Офелия, милый мой друг...» (1847): «Про иву, про иву зеленую спой, / Про иву сестры Дездемоны». С какими канула трофеями?.. – В своем переводе «Гамлета» (1940) Пастернак употребил то же слово «трофеи» – буквально с английского trophies – «подарки на память»: «И как была с копной цветных трофеев, / Она в поток обрушилась».

ЗАНЯТЬЕ ФИЛОСОФИЕЙ (С. 131)

До «Двух книг» 1927 г. цикл входил в главу «Развлеченья любимой» и назывался «Занятье философией», в «Стихотворениях в одном томе» 1933 г. название цикла приобрело окончательный вид. Оно несет в себе достаточную долю иронии, потому что поэтические определения поэзии, души и творчества, данные в этом цикле, решительно противопоставлены философским логическим построениям, как поэзия – философии.

Определение поэзии. – Автограф книги 1919 г., под назв. «Поэзия»; варианты:

ст. 5: Это сластью глушимый горох,

ст. 16: Но вселенная – место глухое.

Ст. 7 исправлена по верстке сб. 1956. – В машин, сб. против этой строчки дано авт. примеч.: «По-моему, лучше по-русски»; в предыдущих изданиях назв. оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» давалось во французском написании «Figaro».

Предполагая изменить вызывавшую непонимание критики строку 6, Пастернак писал в «Дополнительных замечаниях» к машин, сб. 1956: «В стихотворении "Определение поэзии" была строка: "Это слезы вселенной в лопатках". Лопатками в дореволюционной Москве назывались стручки зеленого гороха. Горох покупали в лопатках и лущили. Под слезами вселенной в лопатках разумелся образ звезд, как бы державшихся на внутренней стороне ночного неба, как горошины на внутренней стенке лопнувшего стручка. Во избежание постоянной надобности в толковании, я ввел объяснительные слова в строчку, звучащую теперь так: "Это звезды в стручках и лопатках"». Новый вариант не вошел в верстку, но под строчкой давалось авт. примеч.: «В данном случае слово "лопатки" означает стручки гороха».

Предполагавшееся изменение строки и объяснения вызваны статьей А. Суркова «О поэзии Б. Пастернака», в которой он цитировал эти слова как пример отрешенности Пастернака от «общественных человеческих эмоций» («Культура и жизнь» 21 марта 1947). Пастернак отозвался на претензии Суркова в письме к О. Фрейденберг: «"В лопатках" когда-то говорили вместо "в стручках". В зеленых, когда мы были детьми, продавали горох в лопатках, иначе не говорили. А теперь все думают, что это спинные кости» (26 марта 1947). Донья – то же, что далее: доски в воде – залитые водой мостки купален.

Определение души. – Автограф книги 1919 г.; вариант ст. 13: Не дрожи, о приросшая песнь!

– Автограф (Уитни), без назв.; варианты: ст. 2: Об одном нераздельном листе, ст. 13 – как в автографе 1919 г.

Метафоры груши и листа в стих, передают отношения тела (груши) и души (безраздельный лист, приросшая песнь). Меня не затреплет! – бра-вирующие слова листа-души-поэзии. Оглянись: отгремела в красе... – предупредительные слова груши, обращенные к листу.

Болезни земли. – журн. «Пути творчества». Харьков, 1919, № 5, под назв. «Из цикла "Свежесть вещей"», без 4-й строфы; варианты: ст. 8: И медянку запылит столбняк,

ст. 9: Серный хохот, блеск водобоязни

ст. 11: Это с тучи и с ослепшей Клязьмы Между 2-й и 3-й строфами

дополнительная:

Тишина. Как шар в укат крокета,

Катит хворост капельки жуков.

Вот когда со скоростью ракеты

Чайки ввысь, под черный душ Шарко. (Душ Шарко – сильно бьющая струя душа, изобретенная французским врачом Ж.-М. Шарко для лечения нервных болезней.)

– «Сестра моя жизнь» 1922.

Иматра – водоскат длиной в полтора километра в Финляндии (ср. «За Иматрою лет»

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас из стих. И. Анненского «Не надо твоих превращений...»).

Определение творчества. – В автографе книги 1919 г., под назв. «Творчество» стих, входило в первый вводный цикл «Про эти стихи»; вариант ст. 15: Мирозданье – как страсти разряды,
– «Сестра моя жизнь» 1922.

Разметав отвороты рубашки... – ср. в стих. «Зима» («Близнец в ту-чах» 1914):
«Над пучиною черного хода / Истерзавши рубашку вконец
<...> Вырывается бледный близнец». ...черную дбведь <...Жонноборцем над пешками пешими. – Авт. объяснение под строкой к слову дбведь поз-воляет сопоставить эту строфу с рассуждениями о литературных течениях 1910-х гг. из «Охранной грамоты» (1931): «Судьбой движенья было остаться навеки движеньем, то есть любопытным случаем механического перемещения шансов, с того часа, как какая-нибудь из бумажек, выйдя из лотерейного колеса, вспыхнула бы у выхода пожаром выигры-ша, победы, лица и именного значенья». Соловьем над лозою Изольды / Захлебнулась Тристанова захладь. – Вероятно, имеется в виду опера Р. Вагнера «Тристан и Изольда».

Наша гроза. – «Сборник нового искусства». Харьков, 1919, под назв. «Из цикла "Свежесть вещей"», без последних 5 строф; варианты:

ст. 3: Сырые тучи. Расправляя
ст. 7: В канаве бьются сто сердец,
ст. 9: Эмалирован луг. Лазурь
ст. 16: Бордовый колер маляров
ст. 20: Где роскошь смуты розовой!
ст. 21: В рассаду заронить нарыв
– «Сестра моя жизнь» 1922.

...хобот малярный, ...стрекало озорства – передают русское значение немецкого слова Stich – укол, колкость. Стихотворение вызвано скрытой ревностью к А. Штиху, в раннем романе которого с Е. Виноград Пастернак видел причину душевного надлома своей любимой. Вторая половина стихотворения говорит о попытке Пастернака утешить свою героиню, поправить непоправимое, поднять с земли, вселить радость и веру в себя.

В автографах и первых изданиях книги вслед за этим стих., завершавшим цикл «Занятая философией» (первоначально он входил в главу «Развлеченья любимой»), следует примеч.: «Эти развлечения прекратились, когда, уезжая, она сдала свою миссию заместительнице». Е. Виноград уезжала из Москвы в начале июня 1917 г. Заместительница, – сб. «Лирень». М., 1920, дата: 1917. – сб. «Революционная Москва». Берлин, 1922. – «Сестра моя жизнь» 1922. – В «Двух книгах» 1927 г. включено последним в цикл «Занятая философией». – Автограф книги 1919 г., под назв. «Ее заместительница». – Тетрадь, посланная Брюсову; варианты:

ст. 13: Чтобы комкая корку рукой, мандарины
ст. 15: В опоясанный люстрою, позади, за гардиной
ст. 31–32: Смерчу несущийся носок влечут, шумя в мечтах.

Среди фотографий Елены Виноград не сохранилась та, смеющаяся-ся, которую она оставила Пастернаку. Сюжет с вальсом и мандарином взят из ранних воспоминаний Пастернака о Рождестве 1908 г. Среди ранних прозаических набросков («Первые опыты») имеются два, посвященные этому вечеру. См. «Мышь» (1910) и «Однажды жил один человек...» (1912). Та же ассоциация запаха мандарина и танцев вновь появляется в главе «Елка у Свентицких» романа «Доктор Живаго». Бравата Ракочи – «Ракоци-марш» Ф. Листа. Мюрид – аскет-мусульманин, но-сящий власяницу; мюриды составляли национальное движение, упо-минаемое в «Хаджи-Мурате» Л. Толстого. ПЕСНИ В ПИСЬМАХ, ЧТОБЫ НЕ СКУЧАЛА (С. 136) Реальные письма Пастернака к Е. Виноград не сохранились. Известны только ее ответы с пометками на них адресата, но и их достаточно, чтобы понять, что стихи этой главы связаны с основными темами их переписки.

Воробьевы горы. – «Красная новь», 1922, № 2. – «Сестра моя жизнь» 1922. – Тетрадь, посланная Брюсову; вариант

ст. 4: Подымаем с полу, топчем и влечем.

Mein Liebchen, was willstdu noch mehr? – «Весенний салон поэтов». М., 1918, без назв. и без строф 3–5-й; варианты:

ст. 7: Счастью в свете нет пощады.

ст. 23: Вон, с зарею серб-синей,

ст. 32: Грусть заглохшую утишить?

ст. 38–40: Счастье жарче и бурливей, чем задохшийся подсолнух, Солнцем ринувшийся в ливень.

– «Сестра моя жизнь» 1922. – Избр.-1945, под назв. «Размолв-ка». – Верстка сб. 1956; варианты:

ст. 6: Может и не то случиться.

ст. 29: Чем утешить эту ветошь?

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас

ст. 32: Грусть заглохшую утишить?

ст. 40: Гаснут – солнца – в пыль и ливень?

Название – несколько измененный рефрен стих. Г. Гейне «Du hast Diamanten und Perlen...» («У тебя алмазы и жемчуг, / Мой друг, чего ж больше желать») из книги «Buch der Lieder» («Книга песен»). В письмах Е. Виноград Пастернаку четко звучит душевный разлад и неудовлетворенность жизнью. Пастернак хотел развеять ее убежденность в том, «что чересчур хорошего в жизни не бывает», как она писала, – научить ее верить в достижимость счастья.

Распад. – сб. «Явь». М., 1919, без назв. и эпиграфа; варианты: ст. 9–11: По элеваторам, в дали

Пакгаузов, очумив крысят,

Пылают душевные кули,

ст. 14: Дойдут ли? Скоро ль Балашов?

ст. 20: Встает, скользит, ложится ниц.

ст. 21–22: Там гул. Ни лечь, ни прикурнуть, Смеяться свету стало в труд.

– «Сестра моя жизнь» 1922. – В автографах 1919 и 1920 гг. тоже без назв. В «Стихотворения в одном томе» 1935 и 1936 гг. не включалось. Эпиграф взят из повести Н. В. Гоголя «Страшная месть», он помогает понять содержание стихотворения, рисуя картину развала и анархии в стране на четвертый год войны, сотрясаемой повсеместно возни-кающими солдатскими и крестьянскими восстаниями. В автографах и первых изданиях книги после этого стихотворения, завершающего главу «Песни в письмах», шло примеч.: «В то лето туда уезжали с Павелецкого вокзала», то есть по Рязано-Уральской железной дороге до Тамбова, а оттуда по Камышинской ветке до Романовки, соседней станции с Балашовым. РОМАНОВКА (С. 140)

В автографе книги 1919 г. к названию цикла дано авт. примеч.: «Ме-стечко в Балашовском уезде Саратовской губернии».

Степь. – «Сирена»: Иллюстрированный двухнедельник. Воронеж, 30 дек. 1918, № 2–3; варианты:

ст. 3: Вздыхает солома, шуршат мураши,

ст. 6: И гаснут вулкан по вулкане.

ст. 25: Столетняя полночь стоит у пути,

ст. 31: Когда так терялся намокший муслин

ст. 33: Пусть степь нас рассудит и полночь решит,

ст. 38: Вся степь завертелась в гуденье.

– «Сестра моя жизнь» 1922. – Автограф (Уитни), без назв. – В автографе книги 1919 г. назв. «Святая степь», вариант ст. 6 – как в «Сирене». – В машин, сб. 1956 новая редакция («Другие редакции и варианты». С. 392).

Образная система стих, ориентирована на библейский сюжет сотворения мира. Вначале/Плыл Плач... – «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною...». Волчцы по Чулкам Торчали... – в наказание за послушание Адама Господь Бог проклинает землю: «Терние и волчцы произрастят она тебе» (Быт. 1,1; 3,18). Описание той же ночной прогулки в степи см. в «Белых стихах» (1918): «Казалось, в звезды, словно за чулок, / Мякина забивается и ко-лет. / Глаза, казалось, Млечный Путь пылит». Значение стих, в композиции и содержании книги сказало на названии «Книга Степи», первоначально объединявшем все, кроме вводной, главы «Сестры моей жизни».

Душная ночь. – Черновой автограф (Уитни), без назв.; варианты:

ст. 12: К косой и мчащейся мечте.

ст. 13: За ними [капли] слепли следом

ст. 15: [И я услышал]

ст. 16: Шел громкий говор про меня.

ст. 17–20: И тополями не замечен,

Я вспоминал: шесть лет назад Светало рано, брезг был вечен, Как этот говорящий сад. – До Избр.-1945 ст. 8 была: И в роже пух и бредил Бог. – В «Стихотворениях в одном томе» к этой строчке было сделано примеч.: «Не все догадываются, что рожа тут в значении болезни, а не уродливого лица». – Верстка сб. 1956 повторяет редакцию 1945 г. Брезг – ранний утренний свет, рассвет (урал. диалект).

Еще более душный рассвет. – Два черновых наброска (Уитни), оба без назв.

Наиболее ранний – «Второе июля. Три часа утра...» («Другие редакции и варианты». С. 393). Другой набросок, близкий к окончательному тексту, отличается иным разделением на строфы; варианты: вместо ст. 30–41:

Я их просил.

Но моросило. И топчась,

Шли тучи – и не шли,

Как пленные австрийцы,

Как хрип в кустах:

«Испить,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас Сестрица».

ПОПЫТКА ДУШУ РАЗЛУЧИТЬ (С. 143)

В автографе книги 1919 г. в цикл входили только три стихотворения; «Дик прием был, дик приход...» было включено в книгу только в 1920 г. Это характеризует принцип отбора стих., – Пастернак первоначально старался ограничить свою книгу только светлыми, радостно окрашенными стихами, исключая вещи, отмеченные настроением разлада и взаимного непонимания. Некоторое их количество" постепенно пополняло состав книги, но самые болезненные остались за ее пределами и вошли в книгу «Темы и вариации» (1923).

Мучкап. – В автографе книги 1919 г. имеется примеч.: «Мучкап, как и следующая далее Ржакса – назв. станций Камышинской ветки Юго-Восточной железной дороги».

Варианты:

ст. 7–8: Жилищ и гряд, с присохшей тиной Картошки в мокром рыбьем иле!

– Автограф (Уитни), без назв.; варианты: ст. 5–7: Чего там ждут паря картиною

Корыт, клешней и лишних крыльев,

И лишних слез, и стиснув тиной ст. 9: А, там и час идет, как камешек

ст. 11: Гляди, не тонет, нет, он там еще, ст. 14: [Ведь поезд]

– Машин. 1921 г. объясняет: «Мучкап – село Балашовского уезда Саратовской губернии» (в действительности Тамбовской); вариант ст. 9 – как в автографе Уитни.

– Верстка сб. 1956; варианты:

ст. 5–8: Крылатою стоянкой парусной Застыли мельницы в селеньи, И все полно тоскою яростной Отчаянья и нетерпенья.

Мухимучкапской чайной. – Автограф книги 1919 г.; варианты:

ст. 30: Мухи с дюжин, с пар и порций

ст. 43–44: Знаю: в сушь, в разлуку, в гром Пред грозой, в июле, знаю.

Метафора «мухи – мысли» см. в стих. Апухтина «Мухи» (1873), ставшем популярным романсом: «Черные мысли, как мухи, / всю ночь не дают мне покою...». У

Пастернака: ...текут и по ночам/Мухи <... >/ Смутной книжки стихотворца... бред с пера... – вероятно, имеются в виду стихи Апухтина.

«Дик прием был, дик приход...» – отсутствует в автографе книги 1919 г.

Не вводи души в обман... – по письмам Е. Виноград лета 1917 г. и пометкам

адресата видно, что Пастернак упрекал ее в подмене чувства предвзятыми представлениями о том, «что всегда все знаешь наперед».

«Попытка душу разлучить...» – Ржакса и Мучкап – первые станции на обратном пути из Романовки. См. авт. примеч. к стих. «Мучкап».

ВОЗВРАЩЕНИЕ (С. 147)

В автографе книги 1919 г. цикл называется «Путевые заметки» и включает шесть стихотворений, взятых также из циклов «Елене» и «По-слесловье».

«Как усыпительна жизнь!..» – В первых изданиях «Сестры моей жизни», до «Двух книг» 1927 г.; вариант ст. 64: Совсем не много надо,

– «Две книги» 1927; вариант

ст. 65: Достанет мух в окне.

– «Стихотворения в одном томе» 1935; вариант ст. 80: По зову квисисан.

– Автограф книги 1919 г., под назв. «Возвращение»; варианты: ст. 20:

Полевой огонь бегонии

ст. 34: Пылающих по классам,

ст. 99: И снизясь, тень без косточек

Последняя строфа в рукописи заклеена: Нас обручили бондари В бочарнях Балашова С широкой ипохондрией И часто недешевой.

Стихотворение рисует многодневное, кружным путем возвращение домой. Летом 1917 г. сложность железнодорожных перемещений усугублялась с каждым днем, поезд шел

через Воронеж, Курск, Конотоп: Под Киевом – пески... Кессоны – углубления между пересечениями балок потолка или мостов. Характер описания отразил боль

последних свиданий, «близость случившегося и уродливость того, как плачет взрослый человек» («Охранная грамота», 1931). В этом состоянии сменяющиеся

картины предстают лишены смысла: ...внезапно зонд вонзил/ В лица вспыхнувший бензин... – прикуривание от зажигалки. Эспри – светлые перья на женской

прическе; здесь: яркий свет витрин и окон (ср.: «По вечерам, как перья дрофе / Городу шли озаренья кафе» – «Наброски к фантазии "Поэма о ближнем"», 1917).

Спирея – кустарниковое растение с душистыми цветами. «Мой сорт» – назв.

папирос. Менадо – сорт кофе. Квисисана (Квисисана) – столовые самообслуживания.

У себя дома. – Черновые наброски (Уитни) показывают единый замысел этого и

предыдущего стихотворений, объединенных общим рефреном: «Как усыпительна жизнь!

// Как откровенья бессонны!» («Другие редакции и варианты»: «Дом показался

чужим...» и «Грязный, гремучий, в постель...». С.394). – В первых изданиях после этого стих, имеется примеч.: «С Павелецкого же уезжали и в ту осень»,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
относящееся к второй поездке Пастернака к Е. Виноград в сентябре 1917 г.
Жар на семи холмах... – то есть в Москве, построенной на семи холмах.

ЕЛЕНЕ (С. 151)

В автографе книги 1919 г. цикл входил в «Путевые заметки» и вы-делился в
самостоятельный в 1920 г. Название цикла, как и его началь-ного стихотворения
совпадает со стих. Эдгара По «To Helen», из кото-рого в автографе 1919 г. был
взят эпиграф ко всей книге («Helen, thy beauty is to me / Like those nicean
barks of yore». – «Для меня твоя красо-та, Елена, подобна красоте древних
Никейских кораблей»).

Елене. – «Автографы» [М., 1920], факсимильно воспроизведены 2– 3-я и 6–8-я
строфы. (Автограф для этого издания – РГАЛИ, ф. 379) – «Художественное слово»,
1921, № 2; вариант

ст. 21: Утром бредил хутор:

– «Сестра моя жизнь» 1922. – Машин, сб. 1956, пометка состави-теля: «Трудное
стихотворение» и далее ответ Пастернака: «В этих ста-рых стихах останавливает
часто речевая двусмысленность, потому что они писались неосторожно, спустя
рукава. Например, тут – "Пусть судь-ба положит "сказано в смысле пусть судьба
рассудит, решит, в качестве кого – матери или мачехи, а понять можно в соседстве
с другими стро-ками – положит в смысле "класть"». Слово судьба употреблено в
зна-чении приговора.

Елена – имя главной героини Е. Виноград обыгрывается по ассо-циации с царицей
Спарты Еленой Прекрасной и героиней «Фауста» Гете. Я и непечатным / Словом не
побрезговал бы... – из писем Е. Виноград из-вестно, что, не имея долго известий
от нее, Пастернак написал ей «злое письмо», которое «ошеломило, захлестнуло,
уничтожило» ее: «Оно так грубо, Боря, в нем столько презренья...» (Е. Пастернак.
Борис Пастер-нак: Биография. М., 1997. С. 278). Арум – болотное растение. ...с
того утра виднеться... – имеется в виду утро, описанное в стих. «Еще более
душный рассвет».

Как у них. – В автографе книги 1919 г. первоначальное назв. «Без-донный день»
стерто и заменено другим «Онеге». – Тетрадь, посланная Брюсову, содержит только
шесть последних строк.

Лицо лазури пышет над лицом / Недышащей любимицы реки. – Ср. в письме к Е. В.
Пастернак: «...широко, замедленно долго, беззаветно и безотчетно, как глубокую
большую реку, держу тебя в руках и дышу то-бою» (27–28 мая 1924,). Шелонь– река
в Псковской области, впадает в озеро Ильмень.

Лето. – Тетрадь, посланная Брюсову, без назв. и 6-й строфы; ва-рианты:

ст. 1–2: Томило жаждой в хоботках

По зайчикум и пятнам ст. 7–8:

Молился вслух на солнцепек,

Приворожив погоду, ст. 15:

И тихо ночь меж них текла ст. 26–27: Но и

сверх них, не так ли!

Дни висли кислицей блестя

– В автографы книги 1919–1920 гг. это стих, не вошло. «Майный – маетный, мающий,
томящий, от слова маята, маять», –

объяснял Пастернак это слово А.–М. Рипеллино 17 авг. 1956 г. ...пропи-си
дворян/О равенстве и братстве. – «Свобода, равенство и братство» – лозунг

Великой французской революции. Вводили земство в волостях, / С другими – вы... –

Е. А. Виноград со своим братом и приехавшими из Москвы молодыми людьми
занималась созданием выборных органов местного самоуправления в волостях, то
есть низших административ-но-территориальных единицах уездов. В романе «Доктор
Живаго» Ла-риса Антипова помогала своей подруге в этих нововведениях.

Вернув-шись из поездки, она объясняла: «С земством долго будет мука. Инст-рукции
неприложимы, в волости не с кем работать. Крестьян в данную минуту интересуе
только вопрос о земле».

Гроза, моментальная навек. – Автограф книги 1919 г., назв. «Про-щальная гроза»

стерто и вписано: «Гроза моментальная навеки», допол-нительные две
восьмистрочные строфы («Другие редакции и вариан-ты». С. 395). Название
повторяет рекламное клише уличного фотогра-фа. Это объясняет не только
сопоставление грозовых вспышек с магни-евыми, что особенно отчетливо видно по
второй, снятой в изданиях половине стих., но и то, с какой фотографической
точностью воспро-изведена в романе «Доктор Живаго» эта «прощальная гроза» с
бурей и ливнем, разразившаяся перед отъездом Ларисы Антиповой из Мелюзе-ева,
приобретающая символические черты прощания и разлуки.

ПОСЛЕСЛОВЬЕ (С. 155)

В автографе книги 1919 г. отсутствуют стихи этого цикла, после «Грозы
моментальной навеки» идет стих. «Конец», выделенное в отдель-ный раздел.

«Любимая – жуть! Когда любит поэт...» – Машин. 1921 г.; вариант ст. 28: И

зарослей хаосом обрызнется.
– Машин, сб. 1956; варианты:

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
ст. 12: Зовут, узаконивши, паюсной.
ст. 13–20: Как женщин не ставят кругом ни во что, И душу и тело коверкая,
Считают их жизнь безделушкой Ватто, Цветной расписной табакеркою.
Но там, где шумит самодурство повес, И барство цветет и купечество, Он вашу
сестру вознесет до небес, Превыше всего человечества, ст. 28: Росую
душистую брызнется.
Ж.-А. Ватто (1684–1721) – французский художник, создатель жанра *fetes galantes*
(галантных сцен). Он вашу сестру... – в книге «Сес-тра моя жизнь» автор
использовал весь спектр значений слова «сестра». В первую очередь, – в названии
книги и соответствующего стихотворения – это понятие кровного родства, в стих.
«Девочка» – душевное родство: «Сестра! Второе трюмо!», в просьбе пленного
австрийца: «Ис-пить, сестрица!» («Еще более душный рассвет») – обращение к
девушке; и здесь – как обобщенное наименование женщины: ваша сестра. Но
основной подтекст этого стих. – мысль о том, что Елена Виноград – двоюродная
сестра К. Штиха.
«Давай ронять слова...» – Эпиграф взят из стих. «Балашов». Черновой набросок
(Уитни – «Другие редакции и варианты»: «Когда-ни-будь поймут...». С. 396).
– Машин, сб. 1956, без эпиграфа; вариант ст. 37: Загадка мглы загробной,
– Верстка сб. 1956; вариант
ст. 37: Загадка тьмы загробной,
Марена – красная краска, названная по растению, из корней которого она
изготовлена. Экклезиаст – одна из книг Библии, приписываемая царю Соломону.
«Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек
не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца» (Еккл. 3,11).
Всесильный Бог деталей... – по словам Пастернака из письма М. Цветаевой,
выделившей в своем разборе книги эту строку, «первоначально таково было заглавье
всей книги» (12 нояб. 1922). Ягайло, великий князь Литовский, и Ядвига,
ко-ролева Польши, своим браком объединили эти два государства (1386) и дали
начало династии Ягеллонов.
Имелось. – альм. «Трилистник», 1. М., 1922; вариант ст. 19: То к нашему
окну, с дерев
– «Сестра моя жизнь» 1922. – Автограф книги 1920 г.; варианты: ст. 12:
Опережал ненастье.
ст. 31: Уж скоро век плывет моллюск, Дополнительная строфа между 8-й и
9-й:
Не поцелуй – морской прилив,
Казалось, с губ медузы
Смывает соль, и лиф, как всхлип,
И без сирени блуза. И еще одна – после 9-й:
Снаружи голосил разгул
Дождя. Стекло имелось.
Дождь плющил эту мелюзгу,
Ответственный за смелость.
– Тетрадь, посланная Брюсову; варианты: ст. Г. При всем имелся сеновал
ст. 11–12: Предупреждая по чутью
Несчастья и ненастье, ст. 20: Охпкой слез пристанув, ст. 24: А
рислинг – старый термин, ст. 30–31: И не целуюсь – мимо
Щемя губу – плывет моллюск, Дополнительная строфа между 8-й и 9-й:
Не поцелуй, морской отлив,
Казалось, с губ медузы
Смывает соль, смывает всхлип
Сирень и лиф и блузу. И еще одна – после 9-й:
Имелся двор. Имелся гул
Листвы. Стекло имелось.
Дождь плющил эту мелюзгу
Ответственный за целость.
– В машин. 1921 г. последняя, 10-я строфа вычеркнута:
Рассыпав хаток мелюзгу И редких звезд неспелость, Безмолвно крепла милость губ,
Как песнь, что всеми пелась.
«Любить, – идти, – несмолкнул гром...» – Автограф книги 1920 г., две
дополнительные строфы между 4-й и 5-й: Знать, комкая клочок письма, что в
прошлом, как и в настоящем Все испытанья на «весьма» Сданы по всем ветвям и
чащам.
Соскакивать в овраг, плечом Прорвав ковровых хвой отеки, Отдав задаром, нипочем,
На милость жимолости щеки. Маргарита, корчмарша, валькирии – персонажи из опер:
«Фауст» Ш. Гуно, «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Валькирия» Р. Вагнера.
Послесловье. – сб. «Киноварь». Рязань, 1921, под назв. «Осеннее» в цикле из
шести стих. «Наброски», без первых двух строф; варианты: ст. 10: Целовал

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
вас, задохнувшись в охре пылью, ст. 14: Полумраком, землю и маком
залитых, ст. 16: По прудам, как багаж, солнпеком заляпанных, ст. 24:

Осыпая багрянец с малины и с бархатцев.

– «Сестра моя жизнь» 1922 и 1923 гг. – те же варианты строк 10 и 16. – В «Двух
книгах» 1927 и 1930 гг. – та же строка 16. – В автографах 1919 и 1920 гг. стих,
отсутствует. В машин. 1921 г. вслед за последней стро-
фой стих, после отточия –
1-я и 3-я строфы стих. «Но и им суждено было выцвести...» из книги «Темы и
вариации».

Конец. – Автограф книги 1919 г., под назв. «В тысячу первую» с эпиграфом из
стих. «Из тысячи и одной ночи»:

Ничтожество! В его температуре ведь И в состояньи не найти тех данных, чтобы с
расстояний сон его окуривать Бессонницей, начавшей надоедать,
чтоб вдохновлять и дерево, допытываясь У клавишей, чем ангел наш несчастен,
Тогда как данных нет, чтоб аппетит его На собственном, мешаясь, вымещать.

Варианты:

ст. 19: Ночь! Не вовремя ты кадишь маневрами ст. 23: Рвется с

петель двор, целовав Дополнительная строфа между 4-й и 5-й:

Месяц на поле шляпу мял, и за полы

Цапал. Сбоку плыл стук сабо.

Силуэт был бос. И еще две – между 5-й и 6-й:

Были до свету подняты их поступью

Хаты: – ветлы шли из гостей

Той стезей, что в бор.

С ветром выступив, воротились из степи, С сизых бус росы пали в сад, Завалились
спать. Еще две строфы между 2-й и 3-й и между 8-й и 9-й плотно заклеены и не
читаются.

ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ. 1916–1922 (с. 163)

Четвертая книга стихов была написана к весне 1921 г. Ее основное композиционное
ядро составили тематически оформленные циклы сти-хов 1918 и 1919 гг. Свое
название она получила по одному из них, по-священному Пушкину: «Тема с
вариациями». В книгу вошли стихотво-рения, оставшиеся не включенными в
предыдущую, из них состави-лись малые циклы, для завершения которых были
написаны тематиче-ски близкие стихи. Стихотворные циклы «Болезнь» и «Разрыв»
служили как бы завершением или эпилогом романа «Сестры моей жизни».

Рекомендуя книгу для издания в ГИЗе, В. П. Полонский писал: «Пастернак, молодой
поэт, недавно еще был одной из ярких звезд плея-ды футуристов. Нынче он от
футуристов отошел, развился, усвоил все достижения словесного мастерства и по
справедливости может считаться одним из самых многообещающих и талантливых
представителей мо-лодой поэзии» («Борис Пастернак. 4-я книга стихов» // Из
истории со-ветской литературы 1920–1930-х годов. М., 1983. С. 687). Договор на
издание двух книг под общим назв. «Жажда в жар» был заключен вес-ной 1921 г., но
оно не было осуществлено. Книга «Темы и варьяции» появилась в начале января 1923
г. в Берлине в издательстве «Геликон» через полгода после «Сестры». «Вышла моя
четвертая книжка, – писал Пастернак Боброву 9 янв. 1923 г. – <...> Называется
она "Темы и варь-яции". Лично я книжки не люблю, ее, кажется, доехало стремление
к понятности».

В книге нашли отражение приметы страшного времени разрухи. Вдохновение «утра
революции», выраженное в стихах лета 1917 г., сме-нилось тягостными мыслями о
судьбе России, поражении в Первой мировой войне, жестокостях военного
коммунизма, душевным мраком и тяжело переживаемым концом любви. Первоначально
Пастернак хотел назвать книгу «Оборотная сторона медали», иными словами, –
подо-плека, изнанка «Сестры моей жизни». Взятое из теории музыки назва-ние книги
Пастернак объяснял тем, «что книга построилась как некое музыкальное
произведение, где основные мелодии разветвляются и, не теряя связи с основной
темой, вступают в самостоятельную жизнь». Эти слова записал Вадим Андреев,
присутствовавший на авторском вечере Пастернака в Берлине (История одного
путешествия. М., 1974. С. 316). Основной темой книги, вокруг которой
группировались вариации отдель-ных циклов, стали вопросы существования
творчества в эпоху револю-ции и его оправдания. Последними написанными для книги
в 1922 г. стали стих. «Поэзия», «Я вишу на пере у Творца...», «Пей и пиши,
непре-рывным патрулем...», пополнившие циклы соответствующего содержания.
После исповедально-личной книги лирики «Сестра моя жизнь» рождались стихи как бы
не о себе, а о других: о Пушкине, Шекспире,
Мефистофеле и Маргарите. При этом реальный биографический под-текст каждого
стихотворения спрятан гораздо глубже, чем это делает откровенная, не связанная
тематизмом чистая лирика в классическом смысле слова. Ни на шаг не отходя от
понимания своей жизни как «ору-дия познания всякой жизни на свете» («Шопен»,
1945), Пастернак по-прежнему пишет исключительно о собственных, кровно пережитых

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
страданий и счастье. Но некоторая произвольность, которую автор чув-ствовал в
композиции книги, и душевная подавленность, выразившаяся в основных циклах, тем
не менее настраивали его неприязненно по отношению к ней, в чем он признавался
сразу же по ее выходе, и в дар-ственной надписи М. Цветаевой характеризовал ее
как «высевки и опил-ки», каюсь в том, что ее издал. Цветаева кинулась его
разубеждать. «Ваша книга – ожог. Та ливень, а эта – ожог: мне больно было, и я
не дула <...> В этой книге несколько вечных стихов, она на глазах выписывает-ся,
как змея выпрастывается из всех семи кож» (11 февр. 1923).

Н. Асеев отозвался на выход книги статьей «Организация речи»: «Крепыш,
закаливший ум и мускулы в разумных схватках с кантиан-ским "итогом" бытия,
прошедший Марбургскую школу здоровенных немецких идеалистических оплеух,
смазчиком лазивший под "экстрен-ный экспресс" потерпевшей крушение великой
европейской культу-ры, – он годен к роли словесного инженера главной магистрали
рус-ской поэзии» («Печать и революция», 1923, № 6).

Рукопись книги не сохранилась, имеются автографы циклов «Тема с вариациями»
(РГАЛИ, ф. 379), «Разрыв» (Уитни) и отдельных стихо-творений.

Пастернак готовил книгу к переизданию, надеясь осуществить это в Москве или
Петербурге и существенно дополнив ее новыми вещами, но это не удалось. В «Две
книги» 1927 г. эти дополнения не вошли, на-против, из сборника было исключено
стих. «Голос души», в «Стихотво-рения в одном томе» 1935 и 1936 гг. не вошло
также «Вдохновение». В первом издании 1923 г. и «Двух книгах» автор писал слово
«Варьяции» через мягкий знак, окончательная форма названия: «Темы и вариации»
появилась только в «Стихотворениях в одном томе» 1933 г. Так как композиция и
состав книги оставались без изменений, в коммент. не указывается первая
публикация тех стихотворений, которые впервые появились в печати в книге «Темы и
варьяции», Берлин, изд-во «Гели-кон», 1923.

ПЯТЬ ПОВЕСТЕЙ (с. 164)

В «Стихотворениях в одном томе» 1935 г. цикл, утративший первое стихотворение,
назывался «Четыре повести».

Вдохновение. – альм. «Эпоха». М., [1923]. – Автограф вместе со стих. «Встреча»
(РГАЛИ, ф. 379); назв.: «Вдохнове-ние» также с мягким знаком печаталось в первом
издании 1923 г., в «Двух книгах» – оконча-тельная форма: «Вдохновение».

Стихотворение рисует картину бессонного ночного писания в об-становке
революционного террора. Подробности современного быта: амбразуры, фура (позорная
телега с арестантами), конвоир, часовой – передают атмосферу времени.

Официальное стихотворчество, заполняв-шее страницы газет, противопоставлено
подлинному вдохновению: В то же утро, ушам не по веря, / Протереть не успевши
очей, / Сколько бедных, истерзанных перьев / Рвется к окнам из рук рифмачей! –
Ср.: «Поэты / Уже печатают тюки / Стихов потомкам на пакеты...» («К Октябрьской
годовщине», 3, 1927).

Встреча, – альм. «Эпоха». М., [1923]; варианты: ст. 24: Вела за шиворот
со сборища, ст. 26: Шли рядом, вглядываясь изредка ст. 33–34: Оно
багет несло, как ramoшник, Сады и здания, и храмы
– «Избранные стихи» 1934, без двух последних строф; варианты: ст. 27–28: В
мелькавшее как бы взаправду
Явленье вызванного призрака.

– Автограф (РГАЛИ, ф. 379); варианты:
ст. 22: Шли шибко, и обоих спорящих ст. 24, 26 – как в «Эпохе».

После отбивки в конце стихотворения – зачеркнутый набросок двух с половиной
строф «Стихотворенье! Малыши...» (т. 2, «Стихотво-рения, не включенные в
основное собрание»).

Маргарита, – сб. «Булань». М., 1920, вместе со стих. «Мефисто-фель», под назв.
«Два стихотворения из "фаустова цикла"»; вариант ст. 4: Бился, щелкал, царил и
царил соловей.

– «Темы и варьяции» 1923.

Другие стихотворения «фаустова цикла» не известны, – можно предположить, что в
него могли входить «Любовь Фауста» или «Жизнь» (т. 2, «Стихотворения, не
включенные в основное собрание»), напи-санные в тот период, но не
публиковавшиеся. Образ поверженной ама-зонки в стих. «Маргарита», восходящий к
самым ранним поэтическим опытам Пастернака, стал символом обреченности женской
судьбы, за-ключенной в сети общественных установлений. В стихотворении
отра-зилось впечатление от недавнего замужества Е. А. Виноград, вышедшей за
наследника Ярославской мануфактуры А. Н. Дороднова.

... когда изумленной рукой проводя / По глазам, Маргарита влеклась к серебру... –
момент соблазнения Гретхен в «Фаусте» становится ме-тафорой падения амазонки,
победы мужской страсти над женской природной естественностью.

Мефистофель. – сб. «Булань». М., 1920, как одно из «Двух стихо-творений из
"фаустова цикла"»; вариант

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
ст, 8: Кружил по комнатным обоям.

– «Темы и варьяции» 1923. – «Избранные стихи» 1926 г.; вариант ст. 10:
Взлетали шелковые сторы.

– Автограф в альбоме Л. В. Горнунга (Музей Ахматовой в Петер-бурге); тот же
вариант ст. 10.

Глубокий символизм классических образов Гете, которым посвя-щены эти два стих.:
«Маргарита» и «Мефистофель», нашел воплощение в романе Пастернака «Доктор
Живаго», одним из предполагаемых на-званий которого было «Опыт русского Фауста».
Шекспир. – «Театр и студия», 1922, № 2; варианты: ст. 23: На том вон
столе, где шафранный ранет ст. 29: Весь в молнию я, и что выше по касте

ст. 39: И вы с ним в бильярдной, а там не пойму
– «Темы и варьяции» 1923. – Верстка сб. 1956; вариант ст. 23: За дальним
столом, где подкисший ранет Рукописное исправление
ст. 43: И – в дверь, запустив в привиденье салфеткой.

– Автограф ранней редакции, без назв., дата: «Москва. 9 января 1919 г.» (РГАЛИ,
ф. 379. – «Другие редакции и варианты». С. 396. Ор-фография и пунктуация
авторские.) – Тетрадь, посланная Брюсову, под назв. «К Шекспиру: Из эскизов», с
эпиграфом: «Ты царь, живи один...» (из стих. Пушкина «Поэту», 1830); варианты:
ст. 11: Как спавший набрюшник, пошел в полусне ст. 23–24: За этим

столом, у окна, где ранет

Лиловей, чем киноварь вин и омаров, ст. 29–33: Весь в молнию я, как сужу я по
части наброска, – короче, что я обдаю огнем, как, к примеру, зловоньем ваш
кнастер? Простите, отец мой, за мой скептицизм и грубость манер, но, милорд, мы
– в трактире, ст. 39: Чем вас оскорбляет соседство биллиарда ст. 42–43:
«Считайте! Полпинты, французский рагу –»

И – в дверь, запустив в привиденье салфеткой. Картины Лондона, нарисованные в
стихотворении, сложились в представлении Пастернака в начале 1910-х гг. под
впечатлением чтения английской поэзии, – тогда же писались стихи о Лондоне.
Весной 1926 г. Пастернак, узнав от М. Цветаевой, что та уезжает в Лондон, сразу
вспом-нил тот образ мистического города-привиденья, «спирита», как он назы-вает
его, окутанного дымкой снежной крупы и мраком средневековой истории: «Лет 13 или
более назад я бредил Англией и, служа воспитателем, гувернером, подумай, в
богатой купеческой семье, откладывал деньги для поездки в Лондон. <...> Стихов
этих я не помню, как и дру-гих той поры» (19 марта 1926).

...пасмурный Тауэр... – крепость в Лондоне, превращенная в тюрь-му.

...простуженныйзвон/ Вестминстера... – Вестминстерское аббатст-во, усыпальница
английских королей. В образе Шекспира узнаются не-которые черты Маяковского,
манера его поведения, детали внешнего облика: Цедить сквозь приросший мундштук
чубука/Убийственный вздор. В упреках сонета своему автору звучит укор
Маяковскому, который в 1918–1919 гг. выступал в разных кафе, удовлетворяясь
успехом в биль-ярдной (известно, что он был страстным игроком в бильярд). «Есть
у обоих поэтов (Шекспира и Маяковского. – Е. П.) и природное, так ска-зать,
врожденное сходство, – записал А. Гладков слова Пастернака, – например, в типе
их остроумия» (Встречи с Пастернаком. М., 2002. С. 110). Ранет – сорт яблок.
Кнастер – трубочный табак. ...играямала-говой веткой... – малага – вид
винограда, здесь: изюм на веточке.

ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ (С. 170)

Публикация цикла в альманахе артели писателей «Круг», 1923, кн. 1,2,
сопровождается примеч.: «1918, Очаковская платформа Киево-Воронежской железной
дороги». Сюда, в бывшее имение Карзинкино, Пастернак приезжал по воскресеньям к
родителям, жившим у друзей на даче. – Эпиграф из стих. Ап. Григорьева «Героям
нашего времени» (1845) появился только в Избр.-1945, где цикл назывался «Стихи о
Пуш-кине» и был сокращен до 4 стих. («Тема», 3,5 и 6-я вариации) и отнесен в
раздел «Поверх барьеров». Сохранились автограф цикла (РГАЛИ, ф. 379) и наборная
машин. «Круга» (ИМЛИ).

Тема с вариациями – название музыкального произведения, в ко-тором мелодии и
построения, заданные темой, разрабатываются в ва-риациях в различной форме и
тональности. Стихотворный цикл Пас-тернака построен по тем же музыкальным
канонам, что выражается не только в названии, – образы, намеченные в одном
стихотворении, по-лучают свое развитие в другом, мелькают в третьем. В рукописи
и пер-вой публикации вариации имели названия, определяющие тональность и
характер исполнения: драматическая, патетическая, макрокосмиче-ская,
пасторальная.

Цикл посвящен переломному моменту пушкинской биографии, времени его прощания с
романтизмом 1823–1824 гг. Летом 1918 г. пример Пушкина стал для Пастернака
нравственной опорой для ново-го шага в творческом развитии. «В своей работе я
чувствую влияние Пушкина, – писал Пастернак в 1927 г. – Пушкинская эстетика так
широка и эластична, что допускает разные толкования в разном возра-сте.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
Порывистая изобразительность Пушкина позволяет понимать его и
импрессионистически, как я и понимал его лет пятнадцать назад, в соответствии с
собственными вкусами и царившими тогда течениями в литературе. Сейчас это
понимание у меня расширилось, и в него во-шли элементы нравственного характера»
(«Наши современные писате-ли о классиках»).

Распадаясь на две части, цикл ориентирован на стих. Пушкина «К морю» и поэму
«Цыганы». Причем, если для Пушкина море в этом стих. – воплощение романтических
идеалов юности и мечты о свободе, а поэма «Цыганы» – знак критического отношения
к каноническому типу героя романтизма, то и для Пастернака лето 1918 г. было
сходным моментом жизни, душевной опустошенности после разрыва с Еленой Виноград
и прощания с молодостью и романтизмом. В «Сестре моей жизни», посвященной
Лермонтову, образом лермонтовского творче-ского духа был демон, – в «Теме с
вариациями» олицетворением «загад-ки гениальности» Пушкина стал сфинкс. Основой
этой аналогии яви-лось генетическое родство «Египта древнего живущих изваяний» и
аф-риканского происхождения Пушкина.

Цикл был высоко оценен В. Брюсовым, который в примеч. к соб-ственным «Вариациям
на тему "Медного памятника"» писал: «Мысль "Вариаций" подсказана прекрасными
вариациями Б. Пастернака, ко-торому автор почтительно посвящает эти стихи»
(«Меа». М., 1924. С. 102).

Тема. – альм. «Круп», кн. 1; вариант ст. 21: Небесных звезд. Песок кругом
заляпан По ошибке редакция (автор был в Берлине и не мог проверить кор-ректуры)
в конце стих, как единый текст следовали последние 10 строк четвертой вариации
(«Облако. Звезды. И сбоку...»). – «Темы и варья-ции» 1923. – Ст. 15 печатается
по верстке сб. 1956, до этого во всех из-даниях она читалась:

Светло, как днем. Их освещает пена. Скала и шторм, / Скала и плащ и шляпа. –
Здесь нашла отражение картина И. Е. Репина и И. К. Айвазовского «Пушкин у моря.
"Прощай, свободная стихия"» (1887). Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе...
пред-ка: плоскогубого хамита... – Хамиты – группа народностей Северной Африки. В
книге Д. Н. Анучина (1843–1923) «А. С. Пушкин (Антропо-логический эскиз)» (1899)
высказана мысль о выделении абиссинцев в особую антропологическую расу хамитов,
воспринявшую некоторую семитическую примесь. Сфинкс в стих. Пастернака – не
мифическое полуживотное-получеловек, а характеристика и обозначение самого
Пушкина, мысли которого о своем африканском происхождении отчет-ливо пробудились
именно в Одессе: «Пора покинуть скучный брег / Мне неприязненной стихии / И
среди полуденных зыбей, / Под небом Аф-рики моей, / Вздохнуть о сумрачной России»
(из первой главы «Евгения Онегина», писавшейся в то время). О своем
происхождении Пастернак писал М. Горькому: «Мне, с моим местом рождения, с
обстановкою детства, с моей любовью, задатками и влечениями не следовало
рож-даться евреем. <...> Ведь не только в увлекательной, срывающей с места жизни
языка я сам, с роковой преднамеренностью вечно урезаю свою роль и долю. Ведь я
ограничиваю себя во всем. <...> Ведь и вокруг Пуш-кина даже ходили с вечно
раскрытой грамматикой и с закрытым слу-хом и сердцем. А что прибавишь к такому
примеру?» (7 янв. 1928). ...не жалеет свеч... – в переносном смысле: не жалеет
расходов. Эпоха Псам-метиха – начало царствования XXVI династии египетских
фараонов (VII в. до н. э.).

Вариации (с. 171)

1. Оригинальная, – сб. «Абраккас», кн.1. Пг., 1922, под назв. «Пуш-кин», строфы
3-я и 4-я в обратной последовательности; варианты:

ст. 7–8: Мосткам забивается в уши
Как взрыв оглушительный дым; ст. 13–14: Где скользкое бешенство петель,
Как грохот расползшихся гроз, ст. 19–20: Два моря прощались до завтра,
Два бога менялись в лице.

– альм. «Круг», кн. 2, 1923, под назв. «Варьяция 1-ая, оригиналь-ная», строфы
3-я и 4-я в обратной последовательности; вариант

ст. 8: Глушительный пильзенский дым,

– «Темы и варьяции» 1923.

Трапезундские штормы – то есть принесенные с берегов Турции. Пильзенский дым –
пена, похожая на пивную. Жеваный бетель – тони-зирующее средство из листьев и
семян пальмы. Что было наследием ка-фров?– Кафры – название народов Южной
Африки. Здесь вновь зву-чит тема происхождения Пушкина; в следующей вариации
Пушкин просто называется кафром: «Еще не бывших дней жара / Воображалась в
мыслях кафру...».

Имя Пушкина появляется только в «Теме», – вариации именуют его местоимением 3-го
лица, подобно тому, как Пушкин во Вступлении к «Медному всаднику» не называл
Петра. «Кафр» и «сфинкс» становятся обозначением неназываемого божества. Два
бога прощались до завт-ра... – прощание двух стихий, двух богов, моря и поэзии,
прошлого и будущего знаменует собственно переломный момент биографии и для
Пушкина, и для Пастернака.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
2. Подражательная. – альм. «Круг», кн. 2, 1923, под назв. «Варьяция 2-ая, подражательная»; варианты:
ст. 16: Всплывал из мглы, которой климат ст. 71: И замер на губах полипа

– «Темы и варьяции» 1923.

На настроении этой вариации отразилась работа Л.О.Пастернака «Пушкин в Одессе», написанная со скал Большого Фонтана (Музей Пушкина в Петербурге). В стих, зарисованы знакомые с детства места Одесского взморья, последний раз виденные летом 1911 г. «Подражательная вариация» четко воспроизводит ритмический рисунок Вступления к «Медному всаднику» с его забегающими друг за друга анжамбе-манами (переносами). Первые две строки: На берегу пустынных волн / Стоял он, дум великих полн – отсылают к пушкинской поэме. Его роман / Вставал из мглы... – еще один момент сходства биографических ситуаций автора и героя. Замысел романа о Жене Люверс, над продолжением которого Пастернак предполагал работать в близком будущем, сопоставлен в стих, с мечтой Пушкина о «Евгении Онегине», начало писания которого было положено в Одессе. Самолов – леска с крючком и грузиком для рыбной ловли, наматывающаяся на палец. Внимательная сосредоточенность, с которой герой вариации изучает Евангельеморского дна во время отлива, вызывает воспоминания недавней любви, Того счастливейшего всхлипа, / Что хлынул вон и создал риф, / Кораллам губы обагрив, / И замер на устах полипа. – Здесь отсылка к аналогичным образам в стих. «Имелось» из «Сестры моей жизни»: «Не поцелуй, морской отлив, / Казалось с губ медузы / Смывает соль, смывает всхлип...» (из тетради, посланной В. Брюсову; строфа, выпущенная в окончательном тексте).

3. «Мчались звезды. В море мылись мысы...» – альм. «Корабль». Калуга, 1923. JSfe 1–2 (7–8, январь), под назв. «Вариации на тему пушкинских "Цыган", 3-я вариация», которое в действительности, по авт. замыслу, относится к следующим трем вариациям; вариант ст. 9: Море тронул ветерок Марокко.

– альм. «Круг», кн. 2, с опечаткой в назв.: «Варьяция 3-я, Сакрокосмическая» вместо: «Макрокосмическая», как в автографе (РГАЛИ); вариант ст. 9 тот же, что в альм. «Корабль». – «Темы и варьяции» 1923.

Вдохновенная ночь создания «Пророка» знаменует собой конец кризисного периода и рождение нового миропонимания. Заданное «Темой» уподобление Пушкина сфинксу здесь становится равенством. Поэт, он же сфинкс, прислушивается к Сахаре, – той «пустыне мрачной и скупой», где на перепутье он повстречал шестикрылого серафима, – и набрасывает черновик «Пророка». Просветленность в такие минуты, традиционно называемая откровением, – есть непосредственная причастность к жизни всего мира, которая позволяет услышать «неба содроганье и гад морских подводный ход», ощутить ветерок с Марокко и увидеть восход солнца на Ганге. Мчющиеся мысли рвут пополам строку, одна часть которой – комната Пушкина, – другая – сфинкс в пустыне. Плыли свечи. – Свечи, освещающие фигуру творца «Пророка», перекликаются с теми брызгами, которыми шторм окатывает стоящего на скале Пушкина (сфинкса): «Прибой на сфинкса не жалеет свеч...» («Тема»). ...Голубой улыбкою пустыни. – Ср.: «...самый странный, самый тихий, / Играющий с эпохи Псамметиха / Углами скул пустыни детский смех...» («Тема»).

4. «Облако. Звезды. И сбоку...» – альм. «Круг», кн. 1, 1923, ст. 15–24 по ошибке как продолжение стих. «Тема». – «Темы и варьяции» 1923. – Автограф (РГАЛИ), под назв. «Четвертая. Драматическая»; вариант ст. 18:

Табор прикрыло плечо.
– В наборной машин. «Круга» (ИМЛИ), отсутствует лист с началом стихотворения, чем вызвана ошибка публикации.

Алеко, Земфира – герои поэмы Пушкина «Цыганы». Халдея – древняя страна в Месопотамии (1-е тысячелетие до н. э.). Три последних стихотворения цикла представляют собой «Варьяции на темы пушкинских "Цыган"» (см. ошибочно помещенное название при публикации в альм. «Корабль»). Они были непосредственным откликом на замужество Е. Виноград и решительным отказом от типичных для романтизма ситуаций: ревность, мщенье, самоубийство отменяются и не принимаются в расчет. «Мы наверное разойдемся с тобой, – писал Пастернак

А. Штиху, – в понятиях о благородстве и мужественности, в которых я всегда расхожусь с теми, кто в них замешивает романтизм. С последнего для человека начинается слабость и туман. Я не люблю ни того, ни другого» (21 дек. 1917).

5. «Цыганских красок достигал...» – альм. «Круг», кн. 1, 1923, под назв. «Варьяция 5-я. Патетическая», ст. 5–6 в обратной последовательности; вариант ст. 9: Но шорох гроздьев перебив,

– «Темы и варьяции» 1923. – Верстка сб. 1956, рукописный вариант ст. 9, тот же, что в «Круге».

Шйбо – во времена Пушкина – деревня в трех верстах от Аккермана. Кагул и Очаков – крепости, которые осматривал Пушкин в своих поездках по местам военной славы

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
русско-турецких войн (R. Gaigalas.

V. Pasternak's «Тешу i variacii»: a commentary. Ph. D. Diss. Harvard University. 1978). Очаковская чайка в последней строке соотносит события столетней давности с писанием стихотворного цикла о Пушкине на подмосковной Очаковской платформе Киевской железной дороги.

6. «В степи охладевал закат...» – альм. «Круг», кн. 1, 1923, под назв. «Варьяция 6-я. Пасторальная»; варианты:

ст. 2: И вслушивался в дрязг уздечек,

ст. 12: И засиял уже безмерный,

– «Темы и варьяции» 1923. – Избр.-1945; вариант

ст. 1: В степи околевал закат,

Спрохвала – исподволь, потихоньку. Охладевающий закат и истле-вающая пестрота цыганских тряпок – не предмет элегической тоски. Миг окончания дня дает возможность перевести дух перед новыми событиями невесть каких ночей и новыми свершениями.

БОЛЕЗЬ (С. 176)

Основные стих, цикла написаны страшной зимой 1918–1919 г. В книге «Темы и варьяции» 1923 в цикл входило стих. «Голос души», исключенное из переизданий (т. 2, «Стихотворения, не включенные в основное собрание»). Картины города, занесенного снегом, перемежаются видениями горячечного сознания больного.

«Настала зима, какую именно предсказывали, – писал Пастернак в «Докторе Живаго».

– Она еще не так пугала, как две наступившие вслед за нею, но была уже из их породы, темная, голодная и холодная, вся в ломке привычного и пере-стройке всех основ существования, вся в нечеловеческих усилиях уце-питься за ускользающую жизнь».

1. «Большой следит. Шесть дней подряд...» – Здесь отразилась тя-желая форма инфлуэнцы, охватившей Москву, которой болел и Пас-тернак. ...в Кремле гудит Иван... – звон колокольни Ивана Великого.

2. «С полу, звездами облитого...» – Кассиопея – созвездие, распо-ложенное в Млечном Пути. ...Лавры ли Киева... – Киево-Печерский монастырь. Эдда – сборник песен и сказаний древней Исландии. Соха-тый – то же, что лось.

3. «Может стать так, может иначе...» – Второй сб. стихов «Все-российского союза поэтов». М., 1922, дата: 1920, без строф 6-й и 8-й; варианты:

ст. 12: До зари грешившей пурги, ст. 16: Смутно звезды пьют

частокол, ст. 18–19: Будто воском ночь оплыла,

Лапой лампы на елке слепнет снег, ст. 27–28: И сверканье в пути на укатах, –

ответ

На его вековое ау. ст. 35: Что догадок родит в биографе

– «Темы и варьяции» 1922; вариант ст. 28: На взывавшее чье-то ау.

– «Две книги» 1927, 1930 – тот же вариант. – «Стихотворения в одном томе» 1933.

– Автограф, подаренный Е. А. Дородновой, вариант ст. 18 – как в предыдущей публикации, вместо строф 6-й и 7-й:

Тишина. И есть дровкольное что-то в ней, будто из-за угла

Ночь рассекла лес колокольнею Пополам, средь сверканья села. После строфы 8-й, выделенное кавычками, как прямая речь, дает-ся стих. «Голос души» и заканчивается рефреном строфы 8-й.

Тень кочерги – «У кого совесть нечиста, тому и тень кочерги – ви-селица» (русская пословица).

4. Фуфайка бального. – Избр.-1945, под назв. «Болезнь» в разделе «Поверх барьеров». Ей помнятся лыжи... – воспоминания о Рождестве 1916 г. в Тихих Горах на Каме и катании на лыжах. На рисунке Л. О. Па-стернака выздоравливающего сына 18 дек. 1918 г. Борис Пастернак изо-бражен в том же свитере, в котором катался на лыжах и снят на ураль-ских фотографиях.

5. Кремль в буран конца 1918 года. – сб. «Помощь» № 1, Симфери-поль, 1922, без назв., дата: 1917, без строфы 8-й; варианты:

ст. 8: Когда ее пути застелются,

ст. 18: Ни с чем, какой-то страшный, пенный весь

ст. 35–36: Ненаступивший новый год

Берется вновь перевоспитывать. – «Темы и варьяции» 1923. – журн. «Лэф», 1923, № 1; вариант ст. 8: Как тьмой последней все застелется.

Избр.-1933, под назв. «Кремль в буран».

Изображение зимы 1918 г. резко контрастирует с картинами послед-ней мирной весны, зарисованными Н. Асеевым в стих. «Кремль 1914 г.», которое Пастернак особо выделял в своей рецензии на книгу Асеева «Оксана» (1917). Здоровоющуюся в наручнях... – надевание наручников – характерная подробность быта времени революционного террора. Как пригнанный канатом накороть... – уподобление государства кораблю – классическая метафора мировой поэзии, берущая свое начало в Элегии Феогнида (VI в. до н. э.). Срывающийся чудом с якоря... – ср. название

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
стих. Асеева, посвященного Пастернаку: «Сорвавшийся с цепей» (на-писано 18 июля
1915 г., когда они оба были в Красной Поляне у Синя-ковых). Как визионера
дивинация... – божественные предвидения мис-тика, предсказателя.

6. январь 1919 года. – Характерная для Пастернака смена настроений ужаса и
надежды дана в противопоставлении двух стих., следующих одно за другим, этого и
предыдущего. Рождественскою сказкой Диккенса. – Цикл рождественских повестей,
проникнутых чувством семейного тепла и доброты; одна из самых известных –
«Сверчок на печи». Ведь он пришел <... > с снеговой повинности. – Знак времени –
мобилизация «нетрудового населения» на расчистку занесенных снегом улиц и
железнодорожных путей становится в стих, и образом выздоровления:

На свете нет тоски такой, / Которой снег бы не вылечивал. – Свое участие в
снеговой повинности, которая для старых и не приспособленных к физическому труду
людей часто бывала губительной, Пастернак опи-сал в «Докторе Живаго» в сцене
расчистки железной дороги.

1. «Мне в сумерки ты все – пансионеркою...» – Второй сб. стихов «Всероссийского
союза поэтов». М., 1922, дата: 1920; варианты:

ст. 11: Кутежный вихрь их гнул, валясь прожорливо

ст. 19: Холодных, звонких, с воли – помнишь давешних

ст. 21: Да, да, любовь! Да, это надо высказать!

– «Темы и варьяции» 1923. – Избр.-1945, под назв. «Воспоми-нание» в разделе
«Поверх барьеров». – Автограф ранней редакции (ИМЛИ; «Другие редакции и
варианты». С. 398).

Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаей горлинок... – По воспоми-наниям Е. А.
Виноград, в стих, отразились их разговоры с Пастернаком, когда она,
расстроенная, приходила к нему зимой 1917–1918 г., а он уте-шал ее, вселяя веру
в благотворные силы жизни, говорил, что скоро все наладится и «в Охотном ряду
снова будут зайцы висеть». Первоначальный вариант ст. 8: Шум машин в подвалах
трибунала... – страшная реальность времени: звуки расстрелов, производившихся в
подвалах, заглушались ревом автомобильных моторов («Другие редакции и варианты».
С. 398).

РАЗРЫВ (С. 182)

Стихотворный цикл полностью опубликован в журнале «Современ-ник», 1922, № 1,
дата: 1918. Сохранился автограф под назв. «Приступ»; дата: «Март 1919» (Уитни).
Название взято из строки: «Этот приступ пе-чали, гремящий сегодня, как ртуть в
пустоте Торричелли...», ближе к содержанию цикла, поскольку здесь нет речи о
решительных поступках и изменении поведения, которое принято называть
«разрывом».

2. «О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем...» – «Со-временник»;
вариант

ст. 5: Тогда б по свисту строф, по крику снов, по знаку,

– «Темы и варьяции» 1923.

4. «Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить...» – Авто-граф (Уитни), в
ст. 5 поставлено ударение в слове «Горячее» и сделано примеч.: «Ударение
обязательно». – «Темы и варьяции» 1923.

Пустота Торричелли – безвоздушное пространство над поверхно-стью жидкости
(ртути) в закрытом сосуде.

5. «Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей...» – ...эхом охот в
Калидоне... – согласно греческим мифам, в Калидонской охоте на огромного вепря
участвовала амазонка Аталанта, мифологический аналог богини охоты Артемиды.
Известен сюжет преследования Арте-миды охотником Актеем (Актеоном) и его
наказания. Контаминация эпизодов в стих, не нарушает верности их основного
значения.

6. «Разочаровалась? Ты думала – в мире нам...» – ...игрой на губах Себастьяна. –
Органная музыка И.-С.Баха. Что самоубийство ей недля чего... – решительный отказ
от самоубийства, как проявления слабос-ти, повторяет сказанное в «Четвертой
вариации»: «Но по кодексу гнев-ных / Самоубийство не в счет!».

7. «Мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь, как ночью...» – Автограф (Уитни);
вариант

ст. 5: Когда как труп затертого меж льдов до труб норвежца,

– «Темы и варьяции» 1923.

Берген – порт на севере Норвегии. ...затертого до самых труб нор-вежца... –
полярные экспедиции Ф. Нансена в 1893–1896 гг. на кораб-ле «Фрам», дрейфовавшем
во льдах. Экспедиции «фрама» были пред-метом детской игры братьев Пастернаков
(А. Л. Пастернак. Воспоми-нания. Мюнхен, 1983). В стих, нагнетаемый от строфы к
строфе холод и оледенение чувств сочетаются с нежностью, подобной сносимому с
ног гагар... жаркому пуху во время их перелета с Бергена на полюс.

8. «Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею...» – Автограф (Уит-ни); вариант
ст. 5: (Сейчас там ночь). За душный твой затылок.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас – «Темы и варьяции» 1923.

9. «Рояль дрожащий пену с губ оближет...» – «Современник»; ва-риант

ст. 11: В наш год и вешний воздух пахнет смертью:

– Автограф (Уитни), тот же вариант ст. 11, что и в «Современни-ке». – «Темы и варьяции» 1923.

...в полутьме, аккорды, как дневник... – о музыкальных импровиза-циях в темноте для Елены Виноград вспоминал М. Л. Штих. Уже напи-сан Вертер... – герой романа Гёте «Страдания юного Вертера» кончает жизнь самоубийством. Об отказе от самоубийства см. также в стих. «Ра-зочаровалась? Ты думала – в мире нам...». А в наши дни и воздух пахнет смертью... –открытая отсылка к революционному террору 1918–1919 гг. ...жили отворить... – вскрыть вены.

Я ИХ МОГ ПОЗАБЫТЬ (С. 186)

Цикл совмещает стихи лета 1917 г., не включенные в книгу «Сест-ра моя жизнь», и написанные в 1921–1922 гг., объединенные общей те-мой поэтического призвания и жертв, которых оно требует от поэта.

1. Клеветникам. – Абориген – коренной житель. Регент – времен-ный правитель государства. Хиромант – гадающий по руке. Дункан се-дых догадок... – легендарный шотландский король, олицетворение ис-конных нравственных установлений, персонаж трагедии Шекспира «Макбет». ...смута сонмищ в отпусках... – стих, отражает впечатления революционного лета 1917 г. «Множества встрепенувшихся и насторо-жившихся душ останавливали друг друга, стекались, толпились и, как в старину сказали бы, «соборне», думали вслух. Люди из народа отводили душу и беседовали о самом важном, о том, как и для чего жить и какими способами устроить единственное мыслимое и достойное существова-ние» (дополнительная глава к очерку «Люди и положения» «Сестра моя, жизнь», 1956).

2. «Я их мог позабыть? Про родню...» – «Темы и варьяции» 1923 и «Две книги» 1927, дата: 1917. «Две книги» 1930 и позже, дата: 1921. Ор-далия – средневековая пытка огнем или раскаленным железом, приме-няемая для испытания невинности обвиняемого. По когтям узнаю тебя, львица. – Латинская пословица: льва узнают по когтям (Ex ungue leonem).

3. «Так начинают. Года в два...» – альм. «Жизнь», 1922, № 1, с по-свящ. С. Ф.

Буданцеву, поэту и прозаику (1896–1940); варианты:

ст. 10: Подсевшей у скамьи сирени, ст. 24: Так начинают ссору с солнцем.

– «Темы и варьяции» 1923.

– Автограф ст. 8–16 в альбоме В. С. Познера (Париж); дата: 6 окт.

1922. – журн. «Опыты», 1994, № 1.

Мерещится, что мать – не мать. – Ср.: «Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы.<...> То на заре жизни, когда только и мыслимы такие нелепости, <...> я воображал, что я не сын своих роди-телей, а найденный и усыновленный ими приемыш» («Люди иложе-ния», 1956).

4. «Нас мало. Нас, может быть, трое...» – «Темы и варьяции»

1923. – Автограф (РГАЛИ), под назв. «Поэты». – До машин, сб. 1956 вариант

ст. 16: Ветр вечен затем в разговорах

Нас мало... – соотносится с определением истинного поэта из тра-гедии Пушкина «Моцарт и Сальери»: «Нас мало избранных, счастли-цев праздных <...> Единого прекрасного жрецов». Как и у Пушкина, эта формула восходит к евангельской притче о званых на пир «Много зва-ных, мало избранных» (Лк. 14,24). Нас, может быть, трое... – имелась в виду Маяковский и Асеев. (Ср.: «...но нас, футуристов, нас всего – быть может – семь» («С товарищеским приветом Маяковский», 1918).

После знакомства с поэзией М. Цветаевой Пастернак включил и ее в это число, надписав ей «Темы и вариации»: «Несравненному поэту Мари-не Цветаевой, "донецкой, горючей и адской"» (собр. Е. С. Левитина).

5. «Косых картин, летящих лйвмя...» – альм. «Эпоха». М., [1923, кн. 21] с

посвящ. А. М. Кожебаткину. Александр Мелентьевич Кожебат-кин (1884–1942) –

владелец близкого символизму книгоиздательства «Альциона».

НЕСКУЧНЫЙ САД (С. 190)

В названии цикла отразились прогулки с Еленой Виноград весной 1917 г. по московским паркам. В анкете 1919 г. Пастернак так называл свою третью книгу стихов, вскоре получившую назв. «Сестра моя жизнь». В цикл вошли некоторые стихи 1917 г., «высевки и опилки», связанные с книгой «Сестра моя жизнь» общей образной структурой.

1. Нескучный. – журн. «Маковец», 1922, № 2, под назв. «Нескуч-ный сад души» и с дополнительной последней строфой:

Как тут и там немало мест есть, Где вечер дождался нас. И был прохладен и развесист, Как разрешенный диссонанс. (Разрешенный диссонанс – муз. – снятое напряжение не сливаю-щихся друг с другом тонов.)

– Автограф (ИМЛИ), текст журнальной публикации, на обратной стороне листа рукою

- е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
Пастернака начало стих. Н. Асеева «Жар-птица в городе» (1922) с разночтениями:
«Ветка в стакане горячим следом / Пря-мо из комнат наружу вела...».
– «Темы и варьяции» 1923.
- Если основным образом книги «Сестра моя жизнь» был цветущий сад, подлинный «сад души», то здесь образ оборачивается своей изнан-кой: публичным садом, вакханалией изнанки и тенью гитары, с которой, тешась, струны рвут. Нескучный сад – теперь часть Центрального пар-ка им. Горького.
2. «Достатком, а там и пирами...» – Опасение того, как губитель-но сказывается на человеке соблазн обеспеченности, в которой, следуя общепринятым понятиям, Е.Виноград стремилась найти душевный по-кой, в 1918 г. в связи с ее замужеством приобрело трагические черты ги-бели не только темперамента, но и обреченности судьбы. См. стих. «Маргарита» (1919) и коммент. к нему. ...мебелью стиля жакоб... – фран-цузская дорогая мебель красного дерева с бронзой. ...капля смарагда... – ср.: «Огромная, близкая, с каплей смарагда / На кончике кисти пря-мой» («Девочка», 1917). Смарагд – изумруд.
3. Орешник. – альм. «Эпоха». М., [1923]; вариант ст. 7: Они уж безбрежны: ряды кругляка,
– «Темы и варьяции» 1923; ст. 7 – как в «Эпохе».
- «Две книги» 1927. – Автограф (РГАЛИ); вариант ст. 12: Следя с облаков за унесшейся шляпкой.
- Машин, сб. 1956, «Дополнительные замечания»: «Слова "Тореш-кой на плотное тленье пня, то мутно-зеленым орлом на лягушку "в стихо-творении "Орешник" означают орел и решку (лицо и изнанку монеты) в игре в орлянку».
4. В лесу. – альм. «Пересечет». М., 1922, кн. 2; варианты: ст. 9–10: Текли лучи. Текли жучки с отливом,
Тоска цикад сновала по щекам, ст. 14–16: Меж тем как выше, сгинув в янтаре, Идут часы, их бой, как крик в эфире,
Их завели, поставив по жару, ст. 20: В истому дня, как в синий циферблат.
- Автограф (РГАЛИ, ф. 2118), текстжурн. публикации. – «Темы и варьяции» 1923. Летом 1926 г. после проведенного в гостях на даче воскресенья Пас-тернак писал жене о преследовавшем его с детства «своей неуловимой силой "чувстве природы"» и том «отчаянье», которым оно всегда сопро-вождалось, от невозможности его выразить, «проявить наружу темной волны, к которой оно постоянно взывает»: «Вдруг мне вспомнились строки: Луга мутило жаром лиловатым, В лесу клубился кафедральный мрак. В первый раз в жизни я понял, что что-то в этом отношении сделано, что какие-то хоть полслова этому тридцатилетнему волнению отдали точную дань» (письмо к Е. В. Пастернак 27 июля 1926). Счаст-ливые часов не наблюдают... – цитата из комедии А. Грибоедова «Горе от ума».
5. Спасское. – альм. «Пересвет». М., 1922, кн. 2, под назв. «Ее дет-ство», с посвящ. Е. А. Дородновой; вариант ст. 24: Видит, галлюцинируя, чья-то тоска.
- Автограф (РГАЛИ, ф. 2118), текст журн. публикации. – «Темы и варьяции» 1923. Спасское – дачное место под Москвой, теперь станция Зеленоград-ская Ярославской железной дороги, где летом 1909 и 1910 гг. Пастернак на даче у Штихов встречал Е.Виноград (Дороднову).
6. Да будет. – газ. «Московский понедельник: Новости» 26 июня 1922, без названия, без строфы 5-й; вариант ст. 11: Он жалок, – дождь, и он продрог,
– «Темы и варьяции» 1923.
7. Зимнее утро. (Пять стихотворений). «Воздух седенькими складками падает...» – «Южный альманах», кн. 1, Симферополь, 1922, под назв. «Снег идет», без разбивки на стро-фы; варианты: ст. 11: Дровни у сарая: vareжки и спицы,
ст. 15: Дуло и мело? Не синей арифметикой ли
ст. 22–23: Дома и в домовом комитете
За оконный брус на мостовую выкинулась
ст. 25: Ватная и гарусная, байковая, фортковая,
ст. 27: Не допивши чаю, на рассвете свертывает,
– «Темы и варьяции» 1923.
- «Как не в своем рассудке...» – альм. «Киноварь». Рязань, 1921, в со-ставе цикла «Наброски» с тремя следующими стих, под общим назв. «Зимнее».
- «Я не знаю, что тошней...» – альм. «Киноварь», в составе цикла «Наброски»: «Зимнее». – Ст. 5 исправлена по верстке сб. 1956, до этого она читалась: Что пентюх, головотяп,
«Ну, и надо ж было, тужась...» – альм. «Киноварь», в составе цик-ла «Наброски»: «Зимнее»; вариант ст. 8: Шляпу ловко заколов,
– «Темы и варьяции» 1923. – «Стихотворения в одном томе» 1935; вариант

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
ст. 3: Чтоб сложить декабрьский ужас
«Между прочим, все вы, чтицы...» – альм. «Киноварь», в составе цикла «Наброски»: «Зимнее»; вариант ст. 2: Мастерицы лгать, а лгать
– «Темы и варьяции» 1923.

8. Весна. (Пять стихотворений).
«Весна, я с улицы, где тополь удивлен...» – журн. «Россия», 1922, № 3, со стих. «Воздух дождиком частым сечется...» под назв. «Весна»; вариант ст. 8: Бессонных и лишенных выраженья.
– «Темы и варьяции» 1923.
...как узелок с бельем/ У выписавшегося из больницы. – Стих, стало первым откликом на замужество Е. А. Виноград-Дородновой, – мета-фора выздоровления от болезни (см. цикл «Болезнь») была использована впервые в дарственной надписи К. Г. Локсу: «Дорогому Косте в палату самоненавистничества от выписавшегося. <...> С советом по его примеру признать себя здоровым, связать белье в узелок, выйти, вдохнуть полной грудью облако, другое, – Боря» (14 февр. 1917 // «Минувшее», № п. м.-СПб, 1993. С. 168).
«Пара форточных петелек...» – альм. «Киноварь». Рязань, 1921, под назв. «Весеннее» в цикле «Наброски». – «Темы и варьяции» 1923.
«Воздух дождиком частым сечется...» – журн. «Россия», 1922, № 3, со стих. «Весна, я с улицы, где тополь удивлен...» под назв. «Весна». – «Темы и варьяции» 1923. – Ст. 7 исправлена по верстке сб. 1956, до этого она читалась:
Пред собою погонит неславших,
«Закрой глаза. В наиглушайшем органе...». – Орденский капитул – в католических церквях совет духовных лиц при епископе, участвующий в управлении епархией.
«Чирикали птицы и были искренни...» – «Московский альманах», кн. 1. М., 1922 (на обложке: 1923), под назв. «Весна в Москве» и с по-свящ. Н. Асееву; варианты:
ст. 2: Сияло солнце на мокрой коре,
ст. 4: А сыпались – гасли, в вихре карет.
ст. 14: Был город, был двор, – из-за школы свежей
ст. 16: Что столько у женщин на свете ножей.
– «Темы и варьяции» 1923. – Автограф (Уитни) под назв. «Точильщик, или Вздох, оказавшийся большевиком» («Другие редакции и варианты». С. 399).

9. Сон в летнюю ночь. (Пять стихотворений). Цикл назван по известной комедии Шекспира и объединен темой бессонных ночных бдений.
«Крупный разговор. Еще не запирали...» – Распределяешь кету, <...> против кооператива, <...> хвосты луны... – реальные признаки голодного времени: распределители и ночные очереди, ожидающие открытия магазинов и привоза продуктов.
«Все утро с девяти до двух...» – В «Стихотворениях в одном томе» 1935; вариант ст. 1: Все утро с десяти до двух
Розмарин – декоративный кустарник с сильным запахом. Сады, белый мезонин, мыза – образы, связанные у Пастернака с музыкой Шопена. См. стих. «Опять Шопен не ищет выгод...» (1931) и «Во всем мне хочется дойти...» (1956). Лиловый грунт его прелюдий. – Прелюдии Шопена, имя которого возникает только в конце следующей строфы: Опять депешей Шопен/К балладе страждущей отозван. Депеша – спешное донесение, телеграмма; этот образ сближает стихотворение с «Балладой» (1916) и ее мотивами срочности, телеграфа, «азбуки Морзе» и скачки герольда.
«Пианисту понятно шнырянье ветошниц...» – Ветошницы, тряпичницы – торговки старым платьем, старьевщицы, роющиеся по помойкам и свалкам в поисках тряпья. Крошны – большие плетеные корзины. В стихотворении дан характерный для Пастернака образ искусства, собирающего все то, что находится вокруг: события, места, погоду и свои мысли по этому поводу, и перекладывающего это в творчество (см. пись-мо родителям 7 февр. 1917).
«Явишунанперу Творца...» – журн. «Эпоха». М., [1923, кн. 21], под назв. «Летняя ночь»; вариант ст. 17: Выступают отчетливо слезки. – Автограф (ст. 13–19):
Шевелились шевьот и грязца,
Замирали колес отголоски,
И от зорьки на терке торца,
Как от острого хрена в полоску,
Проступали и таяли слезки.
Я вишу на пере у творца
Полной каплей густого свинца. – Автограф (РГАЛИ, ф. 2566), под назв. «Городская ночь», – «Май-ская ночь» – вычеркнуто («Другие редакции и варианты». С. 400). – Автограф (РГАЛИ, ф. 379), под назв. «Летняя ночь»; варианты: ст. 2: Крупной каплей лилового лоску
ст. 17: Выступают отчетливо слезки

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Сотка – здесь: столбик, устанавливаемый через каждые сто метров вдоль полотна
железной дороги.

«Пей и пиши, непрерывным патрулем...» – ...кружка с трехгорным Рембрандтом! – На
этикетках Трехгорного пива воспроизводился авто-портрет Рембрандта с Саскией на
коленях. Глуби Мазурских озер... – Пастернак обращается памятью к жертвам
уничтоженной в августе-сентябре 1914 г. армии генерала А. В. Самсонова в районе
Мазурских озер в Восточной Пруссии. ...мотоцикл тараторил... – шумом включенных
моторов заглушали звуки расстрелов. – Это был мор. Это был морато-рий/Страшных
судов... – неприятие насилия и крови вызвало мысли о конце света и Страшном
суде. См. слова Стрельникова из романа «Док-тор Живаго»: «Сейчас Страшный суд на
земле, милостивый государь, существа из Апокалипсиса с мечами и крылатые
звери...».

10. Поэзия. – газ. «Московский понедельник: Новости» 10 июля 1922; варианты:
ст. 9: И с перевязки врозь идут.

ст. 16–17: Кропая с кровель свой акrostих, Пускают в рифму пузыри.
– «Темы и варьяции» 1923. – Автограф (РГАЛИ, ф. 379), текст пер-вой публикации.
– Автограф ст. 1–5 в альбоме Д. К. Богомилевского (РГБ, ф. 516).

Ты не осанка сладкогласца... – не романтическая «поза поэта» («Ох-ранная
грамота», 1931) создает поэзию, но реальная жизнь, не гнушаю-щаяся ни
общеизвестными истинами (Пустой, как цинк ведра, трю-изм...), ни уличным
просторечием. ...местом в третьем классе... – об-щий вагон, вагон третьего
класса. Ямская – Район Тверских-Ямских улиц в Москве, где родился Пастернак,
представлял собой ямскую сло-боду, пригород, предместье. Определениями поэзии
стали основные мо-тивы и образы поэтического мира Пастернака: душное лето в
городе, заставы, предместья, поезда. Шевардина ночной редут... – имеется в виду
гибель передового редута русской армии у деревни Шевардино, приняв-шего на себя
первый удар французов за два дня до Бородинской битвы.

11. Два письма. Оба стихотворения написаны весной 1921 г. под впечатлением
сообщения в газете о пожаре в Костромской губернии и беспокойства о Е. А.
Дородновой, жившей тогда в селе Яковлевском той же губернии.

«Любимая, безотлагательно...» – Автограф на форзаце книги «Сестра моя жизнь»,
подаренной Е. А. Дородновой; варианты:

ст. 2–3: Не дав росе с пути рассесться, ответь чуть свет с его
Подателем

Стихотворение записано без разделения на строчки, как письмо; дата: весна 1921.
Большая буква в слове Податель подчеркивает его бо-жественную сущность: не
податель письма, – как можно было бы пред-полагать, но Податель света. – «Темы и
варьяции» 1923.

Она ж ведет себя, как прадед, / И, знаменьем сложась пророча-щим... – рука
делает знак священнического благословения.

«На днях, в тот миг, как в ворох корпии...». – Корпия – нащипан-ные из тряпок
нитки для перевязки ран.

12. Осень. (Пять стихотворений).

«Стех дней стал над недрами парка сдвигаться...» – журн. «Жизнь», 1922, № 1,
вместе со следующим стихотворением под общим назв. «Над Камой»; варианты:

ст. 7: Открылся в жару, в лихорадке и насморке

ст. 16: Настолько беспамятно звонко сквозной.

– «Темы и варьяции» 1922. – в машин, сб. 1956 это стих, вместе с другим «Здесь
прошелся загадки таинственный ноготь...» объединены в цикл «Перед зимой».

Стихи написаны вскоре после приезда в Тихие Горы на Каме. «Пока что погоды здесь
на редкость теплые, солнечные, мягкие. Даже ненор-мально. Настолько, что тихим
помешательством отдает тишина и ту-пым полоумьем – тепло», – сообщал он 1 окт.
1916 г. М. И. Бобровой и 13 окт. – родителям: «Здесь так спокойно и ясно, что
страшно просто! Со дня приезда в Казань до нынешнего – ясные солнечные погоды,
ровная, теплая безоблачность».

«Потели стекла двери на балкон...» – журн. «Жизнь», 1922, № 1, в цикле «Над
Камой». Стихотворение обращено к Ф. Н. Збарской, жене инженера химического
завода.

«Но и им суждено было выцвести...» – «Темы и варьяции» 1922; ва-риант

ст. 16: Мы парадом пройдем по природе и рядом

– «Две книги» 1927; вариант

ст. 16: Мы пройдем по природе и рядом.

– «Две книги» 1930. – Машин, книги «Сестра моя жизнь» 1921, строфы 1-я и 3-я как
продолжение стих. «Послесловье» (1917).

«Весна была просто тобой...» – журн. «Россия», 1922, № 2, под назв. «Поздняя
осень»; варианты:

ст. 4: Обоев, но войлок и хлам!

ст. 11: Впиваешься, как в помутневший флакон

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас – «Темы и вариации» 1923.

Здесь передана история отношений с Е. Виноград в 1917 г., определившая счастливую тональность весенних стихотворений книги «Сестра моя жизнь» и тревожную – летних, – осенние перешли в «Темы и вариации». Разбитую клячу ведут намахан... – на убой. Яспис – другое название яшмы. Сухой купорос – на зиму между окнами ставили стаканчики с купоросным маслом, чтобы не запотевали стекла. См.: «За стаканчиками купороса / Ничего не бывало и нет» («Зима», 1913). «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...» – Автограф книги «Сестра моя жизнь» 1919 г., ранняя редакция 3-й строфы, под назв. «Из тысячи и одной ночи», как эпиграф к стих. «Сложив весла»; варианты:

ст. 9: Пить, как пьют соловьи: до потери сознания,

ст. 11: Птицы ж ждут и заводят глаза с содроганьем,

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ. 1916–1931 (С. 211)

Раздел был составлен для сборника «Поверх барьеров. Стихи разных лет» 1929 г. и включал два цикла: «Смешанные стихотворения» и «Эпические мотивы», далее следовали «Белые стихи» и «Высокая болезнь». Составляя композиционное целое книги, Пастернак разные разделы или творческие периоды связал посвящениями биографически значительным для него лицам. «Я думаю, эта книга будет не хуже "Сестры"». Отделы будут посвящены: Асееву, Маяковскому, Жене (Е. В. Пастернак. – Е. Я.), Андрею Белому, может быть другим. При переиздании "1905" я выставлю посвящение М. Цветаевой <...> Вдруг вспоминаю Ахматову. Что посвятить ей? <...> Но спокойных, широких, длительных посвящений будет три: тебе, Коле и Володе», – писал Пастернак жене 23 июня 1928 г. Раздел «Начальная пора» был посвящен Н. Асееву, «Поверх барьеров» – В. Маяковскому, «Эпические мотивы» – Е. В. Пастернак, – Ахматовой и Цветаевой были написаны стихотворные послания, вошедшие в «Смешанные стихотворения». Особым разделом шли «Белые стихи» 1918 г. с посвящ. Е. А. Дородновой. Последним разделом – поэма «Высокая болезнь», посвященная Анастасии Цветаевой.

Во втором издании сборника 1931 г. «Высокая болезнь» отсутствовала, но цикл «Смешанных стихотворений» был пополнен новыми вещами. Окончательный вид раздел приобрел в «Стихотворениях в одном томе» 1933 г. Название «Стихотворения разных лет» впервые появилось в Избр.–1933, было повторено в «Избранных стихотворениях» 1934 г. и сб. 1956.

Много позже Пастернак так объяснял основной принцип отбора стихотворений и построения книги 1929 г.: «С течением лет самое, так сказать, понятие "Поверх барьеров" у меня изменилось. Из названия книги оно стало названием периода или манеры, и под этим заголовком я впоследствии объединял вещи, позднее написанные, если они подходили по характеру к этой первой книге, то есть если в них преобладали объективный тематизм и мгновенная, рисующая движение живописность» (собр. Е. С. Левитина).

СМЕШАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ (С. 212)

Цикл включает стихотворения 1922–1931 гг. Название впервые появилось в тетради, посланной Брюсову в 1919 г. с подзаголовком «Из IV-ой книги» (РГБ, ф. 386). Оно объединяло стихотворения: «Шекспир», «Мефистофель», «Имелось» и «Лето», вошедшие в «Сестру мою жизнь», «Темы и вариации» и «Эпические мотивы» книги «Поверх барьеров» 1929. В окончательном виде цикл «Смешанных стихотворений» был составлен из вещей, написанных в 1923 и 1927 гг. Перечисляя в цитированном выше письме к жене имена предполагаемых посвящений,

Пастернак называл тех, кому в это время требовалась его поддержка, – это были подвергавшиеся критическим нападкам в печати Анна Ахматова и Андрей Белый, Марина Цветаева и даже Федор Гладков. Потом к ним присоединился Мейерхольд. Посылая Анне Ахматовой 6 марта 1929 г. первую запись обращенного к ней стихотворения, Пастернак писал об этом цикле: «Очень много работаю сейчас, но над прозой, и для того чтобы ее дальше писать, пришлось прибегнуть к помощи стихов. Но последний остаток лирического чувства живет и догорает во мне только еще в форме живого (и конечно, неоплатного) долга перед несколькими большими людьми и большими друзьями. Я написал Вам, Мейерхольдам и Маяковскому». В следующем письме, 6 апр. 1929 г., повторяющем содержание первого, которое он считал недошедшим, он дополнял список адресатов именами Цветаевой, Е. В. Пастернак и «заграничной приятельницы» Р. Н. Ло-моновой. Цикл стихотворных посланий был расширен при переиздании сб. в 1931 г., где отдел «Смешанных стихотворений» включал также первые стихи из будущей книги «Второе рождение». Борису Пильняку – «Новый мир», 1931, № 4, под назв. «Другу»; так же во всех последующих изданиях. – Назв. восстанавливается по белому автографу (ГЛМ, о. ф. 5980). – В машин, с правкой назв. «Борису Пильняку» вычеркнуто и заменено: «Другу», которое тоже вычеркнуто и затем восстановлено (ИМЛИ, ф. 120). – Автограф без назв. с примеч.: «Другу – Пильняку. Смысл строчки "Она опасна, если не пуста" – она опасна, когда не пустует (когда занята). 21 мая 1931. Б. П.»

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
(РГАЛИ, ф. 379); варианты:
ст. 8: И с тем, что всякой кости честней.
ст. 10: Где дельной страсти отданы места,
– Автограф последней строфы (РГАЛИ, ф. 1334); вариант строки 10 тот же, что в
предыдущем автографе.
Дружба с Б. А. Пильняком (1894–1938) началась в 1921 г., наиболее близкими
отношения стали к 1928 г. Весной 1931 г. Пастернак, уйдя от семьи, некоторое
время жил у Пильняка. И разве я не мерюсь пяти-летней... – см. письмо к П. Н.
Медведеву: «Если здоровейшей пяти-летке служит человек со сломанной ногой,
нельзя во имя ее здоровья требовать от него, чтобы он скрывал, что нога его
укорочена и что ему бывает больно в ненастье» (6 нояб. 1929). Напрасно <...>
Оставлена вакансия поэта:/ Она опасна... – намек на недавнее самоубийство
Маяковского.
Анне Ахматовой. – «Красная новь», 1929, № 5, в подборке «четыре стихотворения»,
вместе с «М. Ц.», «Мгновенный снег, когда булыжник узрен...» (т. 2,
«Стихотворения, не включенные в основное собрание») и «Мейерхольдам»; варианты:
ст. 7–8: Их шорох настигает с первых строк, И слышится при каждом новом
слоге.
ст. 9: На них весна, но за город нельзя.
ст. 11: Глаза за кройкой в сумерках слезя,
ст. 20: И с мосту вдаль глядящей беловейки.
ст. 32: События болью заставляют биться.
– «Поверх барьеров» 1931. – Автограф ранней редакции в письме Ахматовой 6 марта
1929 г. («Другие редакции и варианты». С. 419). – Ма-шин, сб. 1956; вариант
ст. 29: Но исходив из ваших первых книг,
Посылая стихотворение, Пастернак писал Ахматовой 6 марта 1929 г.: «Вы знаете, с
какой силой живете во мне, как и во всяком, и на-сколько это лишь естественно,
не более того. К этому знанию стихотворенье ничего не прибавляет. Затем ясно
ли, что речь об особом складе электрической силы, которая выражена не только в
"Лотовой жене", и не в образе соляного столба только, а исходит от Вас всегда и
никогда не перестанет исходить». Он мне внушен не тем столбом из соли... –
име-ется в виду стих. Ахматовой «И праведник шел за посланником Бога...» (1924),
которое было опубликовано пять лет тому назад в журнале «Рус-ский современник»,
1924, № 1. Позднее оно получило назв. «Лотова жена». Библейский образ женщины,
обратившейся в соляной столб, будучи не в силах расстаться со своим прошлым,
выражал тоску Ахма-товой, которая была не в состоянии принять новые условия
жизни. Не соглашаясь с безысходностью этой позиции, Пастернак хотел уселить в
нее уверенность в своих силах. Где крепи прозы пристальной крупы... – высшим
достижением поэзии Ахматовой Пастернак считал «повество-вательную свежесть
прозы», «красноречие частных», о чем писал в рецензии на ее книгу: Избранное.
Ташкент, 1943.
М<арине>Ц<ветаевой>. – «Красная новь», 1929, № 5, в подборке «четыре
стихотворения», без назв., строфы 3-я и 4-я в обратной после-довательности, две
дополнительные строфы между 1-й и 2-й:
Вода бежит со щек тущоб,
Из труб выталкивает втулки
И размышляет, что еще б
Пробулькать в уши переулка.
Мне все равно, какой покров Сурово льнет к моим покровам, Но быть есть быть,
когда дерев Не разглядеть в пару дворовом. Еще одна строфа перед 5-й:
Мне все равно, чьи голоса Толкутся сзади в час рассвета.
По фонарям скользнет роса, И век поэта льнет к поэту.
Варианты:
ст. 5: Стволы в обмякших армяках
ст. 15–16: Любая быть – мощный двор,
Когда он дымкою окутан, ст. 22: Попрет он вон, подобно дыму ст. 25:
Он будет плыть, курясь из прорв – «Поверх барьеров» 1931.
Гуммигут – желто-зеленая краска. И внуки скажут, как про торф: /Горит такого-то
эпоха. – Образ бессмертия поэта, поэтический мир которого становится почвой и
основанием духовной жизни будущих поколений. «Важно то, что ты строишь мир,
венчающийся загадкой гени-альности. <...> В другие времена по этому покрытию
будут ходить люди и будет земля других эпох. Почва городов подперта загаданной
гени-альностью других столетий», – писал Пастернак Цветаевой 27 марта 1926 г.
Знакомство Пастернака с поэзией М. Цветаевой началось в 1922 г., завязавшаяся
переписка продолжилась до 1935 г. Письма Пастернака полны восхищения ее стихами
и поэмами. Это стих, четвертое по счету из посвященных ей. Первым было «Не
оперные поселене...» (1926), при жизни Пастернака не издававшееся. Вторым –
акrostих, опубликован-ный как «Посвященье» к поэме «Лейтенант Шмидт» (1927).

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас

Появление его в «Новом мире» вызвало необходимость объясняться в редакции по поводу якобы прикрытого сложностью формы обращения к белоэми-грантке. Третье и четвертое, включенные в подборку в «Красной нови», не имели названия (одно из них – акrostих «Мгновенный снег, когда булыжник узрен...» должно было открыть внимательному читателю имя адресата послания). В прижизненных книжных изданиях Пастернака стихотворение печаталось под инициалами М. Ц. О своем отношении к Цветаевой Пастернак писал в очерке «Люди и положения» (1956), – это стало главной претензией со стороны редакции к написанному в каче-стве предисловия к сб. 1956 очерку. Главу потребовали снять, сборник был вскоре запрещен к печати. Отсроченным ответом на послание Па-стернака стало стих. Цветаевой «Тоска по родине! Давно / Разоблачен-ная морока! Мне совершенно все равно / – fte совершенно одинокой / Быть...» (1934).

Мейерхольдам. – «Красная новь», 1929, JVfe 5, в подборке «четыре стихотворения», без стрóf 7–8-й, вместо стрóфы 4-й: Обмирающе замарашкою Триумфальная сядет за стол, И взглянувши на сверток размокий, Я припомню, зачем я зашел. (Триумфальная – Мейерхольд ставил свои спектакли в помещении театра на Триумфальной площади.) Варианты:

ст. 17: я скажу, что от чувств нет отбою, ст. 21: Что люблю ваш нескладный развалец, ст. 33–34: Что, как пьесю неповторимой, Жизни жухлоу краской дыша,
– «Поверх барьеров» 1931.

Обращено к режиссеру В. Э. Мейерхольду (1874–1940) и его жене актрисе З. Н. Райх (1894–1939), подвергавшимся резкой критике после премьеры спектакля по пьесе А. С. Грибоедова «Горе уму». Как дурак, я зайду к вам в антракте... – «Жалею, что заходил к Вам вчера в антрак-тах. Ничего путного я Вам не сказал, да иначе было бы и неестественно. <...> Я преклоняюсь перед вами обоими и пишу вам обоим, и завидую Вам, что Вы работаете с человеком, которого любите» (письмо В. Э. Мейерхольду 26 марта 1928). Так играл пред землей молодой / Ода-ренный один режиссер, / Что носился как дух над водою / И ребро сокру-шенное тер. – Образы восходят к книге Бытия: «Земля же была безвид-на и пуста, и тьма над бездною; и дух Божий носился над водою» (1,2). «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену» (2, 22).

Пространство. – альм. «Земля и фабрика», кн. 1. М., 1928, с по-священием Н. Вильяму; варианты:

ст. 19–20: Цветные, как лес, пятаки
Пропитанных мглой сыроежек, ст. 28: В тоске по стекле и цементе, ст. 39–42: Домов освещенную шерсть,
Романтику мглы непролазной!
Раздавшись на обе зари,
Не ломом числа племенного, –
– «Поверх барьеров» 1929; вариант
ст. 42: Не ростом числа племенного, –
– Ст. 41–42 выправлены по верстке сб. 56. – Автограф, послан-ный М. Цветаевой 18 сент. 1927 г. (РГАЛИ, ф. 1190), без посвящ., текст первой публикации.

Н. Н. Вильям-вильмонт (1901–1986) – историк литературы, герма-нист, автор воспоминаний о Пастернаке. ...сорок без малого лет... – воз-раст автора ко времени написания стихотворения. Молебн и акт отме-чали начало учебного года в гимназии.

Бальзак. – «Звезда», 1928, № 4; варианты: ст. 29: Зачем он взял тогда в кредит ст. 31: И поле, и в дыму раки ст. 38: И вышвырнув в окно кофейник,
– «Поверх барьеров» 1929.

Тильбюри – легкий двухколесный экипаж. ...их заложник и долж-ник... – тема заложничества поэта у города задана была стих. «Встав из грохочущего ромба...» (1913): «Зачем ненареченный некто, – /Я где-то взят им напрокат». «Своя довлеет злоба дневи» (церк.-слав.) – цитата из шестой главы Евангелия от Матфея (ст. 34): «Довольно для каждогодня своей заботы».

Бабочка-буря. – сб. «Московские поэты». Великий Устюг, 1924, стрóфы 3–4-я в обратной последовательности; варианты: ст. 6: В столбцах до крыш горящих сумм, ст. 28: Рубаху бури рвущих толп. Дополнительная стрóфа после 7-й: Теперь возьми удуще с лихвой И воздух ливнем – опьяня, Бей крыльями листвы пониклой, – Большой Павлин большого дня.
– Журн. «Россия», 1925, № 4; вариант ст. 28 – как в первой публи-кации.
– «Поверх барьеров» 1929. – Автограф 1923 г. (собр. В. В. Катаня-на. – «Другие редакции и варианты». С. 400). – Автограф 1924 г. (РГБ, ф. 589), карандашом написан эпиграф из стих. А. Фета «Превращения» (1859): «Постой, постой, порвется пелена. – фет». Варианты ст. 9,14–15 и 28 – как в автографе 1923 г. Стрóфа из «Превращений» Фета: «По-стой, постой, порвется пелена, / На Божий свет с улыбкою

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
проглянешь, / И, весела и днем упоена, / Ты яркою нам бабочкой предстанешь»
от-разилась на концовке стих. Пастернака, исклченной из окончател-ного текста.
Былая Мясницкая. – Здесь, в доме Училища живописи против поч-тамта с 1893 по
1911 г. жила семья Пастернаков. Стих, посвящено вос-поминаниям детства,
вызванным поездкой в Берлин и свиданием с ро-дителями. В рядах до крыш горящих
сумм... – в 1922 г. Германия пережи-вала страшную инфляцию, и на крышах высоких
зданий в Берлине го-рели световые табло ежедневно растущего денежного курса.
...в сковороды били, /И огорчалась кочерга. – Обычай бить в сковороды и
выбрасывать за порог кочергу для отвращения приближающейся грозы упоминает А. Н.
Афанасьев («Поэтические воззрения славян на природу». Т. 3. М., 1899. С. 458).
Окуклившийся ураган... личинка... червяк... кокон. – Ком-позиция стих. фета,
передающая постепенные стадии развития девочки, отразилась в картине нарастания
грозы, превращающейся из личинки в бабочку-бурю. Возможно, в стихотворении
сказались также впечатления страшного урагана, пронесшегося над Москвой 16 июня
1904 г. и уви-денного из окон дома на Мясницкой. Как призрак порчи и починки...
– в 1910 г. шел капитальный ремонт и строительство нового здания почтамта на
Мясницкой 'инфанта – сопоставление девочки-бури с инфантой Маргаритой Терезой на
портретах Веласкеса сделал Вяч. Вс. Иванов в работе «Вечное детство» Б.
Пастернака (Избранные труды. Т. 1. М., 1998). Маленькая копия с картины
Веласкеса, сделанная Л. О. Пастернаком в Мюнхенской Пинакотеке, висела в
столовой квартиры на Мясницкой.
Отплытие. – сб. «Московские поэты». Великий Устюг, 1924; ва-рианты:
ст. 9– 10: Треск и хруст суставов раковых И треща горит берёста;
ст. 20: Дремлющее плесканье.
ст. 30–32: Пеннобушующих новшеств, Падает чайка, как ковшик, Камнем в пучину
крушений.
– «Русский современник», 1924, № 2, в подборке со стих.: «Пету-хи», «Осень» и
«Перелет» (т. 2, «Не включенное в основное собрание». С. 293). В конце
стихотворения примеч.: «Финский залив». В журн. от-тиске, посланном М. Цветаевой
в 1926 г., рукою автора приписано: «О переезде в 1922 г. Петербург – Штеттин.
1923». – В экз. книги «Поверх барьеров» 1929, подаренной Н. Н.
Вильяму-Вильмунту, в ст. 15: Море, сумрачно бездельничая... – слово море
неизвестной рукою красным ка-рандашом исправлено на небо. По поводу этого
исправления Н. Н. Виль-монт пишет: «Я сразу заметил, что в этом стихотворении
логическая связь целого неожиданно окрепла» («О Борисе Пастернаке. Воспоми-нания
и мысли». М., 1989. С. 112). Эта замена нигде в переизданиях не отмечена, – в
поэтке Пастернака небо и земля (в данном случае: море) постоянно меняются
местами. – В письме брату Александру Пастернак писал: «И еще это все под
Питером, и еще вот миновать Гутуевский ос-тров, Морской канал, море, Кронштадт.
И потом вскоре – слева вдали Эстония, справа изредка – Финляндия, и пока еще
видны берега, – сплошное наслажденье – читай, играй в шахматы и в карты, бегай
по палубам, переходи на нос, где на гигантских качелях, вверх вниз, гроз-но
газированный гейзер, при таянии замывающий дурную черноту вне-запно обнажающей
зубы зеленью. <...> А потом – открыто море» (16сент. 1922). Хореический размер
первых четырех строф отражает метрический и образный рисунок стих. Н. Гумилева
«У берега» из цик-ла «Возвращение Одиссея» («Жемчуга» 1909): «В корабле
раскрылись трещины, / Море взрыто ураганами, / Берега, что мне обещаны, /
ис-чезают за туманами».
«Рослый стрелок, осторожный охотник...» – «Поверх барьеров»
1929.
Конец 1920-х гг. был исторически тяжелым, жестким временем рез-кой
идеологической критики. В «Охранной грамоте» 1929 год назван
«последним годом поэта», в письмах того времени Пастернак писал о «возобновлении
террора» (О. М. Фрейденберг 10–20 мая 1928) и «не ос-тавляющем» его чувстве
«близкого конца, либо полного, физического, либо частичного и естественного,
либо же, наконец, невольного-услов-ного» (Л. Л. Пастернак 26 февр. 1930). В
стихотворении дан образ на-сильственной смерти и прощания с жизнью.
Петухи. – «Русский современник», 1924, № 2. – Автограф 1923 г. под назв. «Осень»
(собр. В. В. Катаняна. – «Другие редакции и вариан-ты». С. 401). – Автограф 1924
(ГНБ); вариант ст. 7: [Как на селе про-снется первый чочет].
Ландыши. – альм. «Земля и фабрика», кн. 1. М., 1927. – Автограф, посланный 18
сент. 1927 г. М. Цветаевой (РГАЛИ, ф. 1190); варианты: ст. 7: Как на пол с
потного плеча
с. 9: Накрывшись ночью навесной,
Сирень. – альм. «Земля и фабрика», кн. 2. М., 1928. – Автограф, подаренный Я. З.
Черняку (РГАЛИ); варианты: ст. 13–14: И чуть наполняют повозки
Грохочущим воздухом свод, – ст. 16: До облака бросаюсь, плывет.
– Автограф, посланный 18 сент. 1927 г. М. Цветаевой (РГАЛИ, ф. 1190); варианты:

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
ст. 14 – как в предыдущем автографе, ст. 16: На облако бросаюсь, плывет.

– Избр.–1945; варианты:

ст. 9: И входит старуха с клюкою

ст. 11: И ливень въезжает в покои

Любка, – журн. «30 дней», 1928, № 3, без посвящ., три первые стро-фы ранней редакции. – «Поверх барьеров» 1929. – Корректирный лист журн. «Звезда» (собр. В. Н. Орлова. Музей А. Блока в Петербурге. – «Другие редакции и варианты». С. 418) – Автограф, посланный Ж. Л. Па-стернак 13 июня 1927 г., 1–3-я и 6-я строфы ранней редакции. Стих, пред-варялось словами: «Если прилагаемый набросок я отделаю, то посвящу его тебе». – Черновой набросок 5–6-й строф ранней редакции. Посылая стихотворение в альм. «Земля и фабрика», Пастернак при-знавался, что вещь осталась «недоделанной, то есть вернее, недописан-ной (отброшены две строфы, слишком сырые и темные)» (письмо С. Об-радовичу 29 авг. 1927). В. В. Гольцев (1901–1955) – литературный кри-тик. Блесна – металлическая пластинка для рыбной ловли. «Любка – назв. очень пахучего цветка, растущего в сырых лесах на болотистой почве. Другое его назв. – ночная фиалка, но он не лилово-зеленого цвета как в поэзии у Блока, а беловатого с бледной празеленью. Это северное растение и его, наверное, нет в Италии – сильно пахнущие цветки ор-хидного строения, колосом расположенные на прямо торчащих кверху, как свечи, мясистых стеблях. У меня нет подходящих справочников, но ботаническое их обозначение orchis или hespers (?), как мне ка-жется», – писал Пастернак 17 авг. 1956 г. итальянскому переводчику А.–М. Рипеллино. Латинское название любки – orchis moris.

Брюсову. – «1873–1923. Валерию Брюсову: Сборник, посвященный 50-летию со дня рождения поэта». М., 1924, под назв. «Валерию Яков-левичу Брюсову» с подзаголовком: «Стихотворение, присланное с при-ветствием»; варианты:

ст. 17: Что спавшему «гражданскому» стиху

ст. 20: А мы на перья разорвали крылья?

– «Поверх барьеров» 1929. – В «Стихотворения в одном томе» 1935 и 1936 не включалось. – Два автографа под назв. «Валерию Яков-левичу Брюсову» (ГНБ, ф. 286), в одном из них перед текстом стихотво-рения – обращение: «Дорогой Валерий Яковлевич!», варианты ст. 17, 20 – как в публикации; последняя, 10-я строфа вычеркнута синим ка-рандашом:

От сердца Вам желаю дальше блюсть Ответственности и признанья горечь. Простите, если в строки вкралась грусть, Их смоем радость юбилейных сборищ.

Ваш Б. Пастернак, 15 декабря 1923 г.

Пастернак читал стихотворение на торжественном вечере в Боль-шом театре 17 дек. 1923 г., посвященном 50-летию Брюсова. ...дьяволом недетской дисциплины... – ср.: «Литературная Москва казалась царст-вом Брюсова <...>, царством "ежовой рукавицы" <...> Молодые поэты падали ниц перед "мастерством", но <...> в редакцию "Скорпиона" шли, как на казнь» (Нина Петровская. «Из воспоминаний» // «Литературное наследство». Т. 85. М., 1976. С. 787–788). Скажи мне, тень... – на вече-ре 15 дек. 1923 г. Брюсов в ответ на официальные поздравления начал свое слово цитатой из стих. А. фета «На пятидесятилетие музы» (1888): «Всяк благосклонною хвалою / Немую провожает тень». О своем отно-шении к Брюсову Пастернак писал в письме к нему 15 авг. 1922 г.

Памяти Рейснер. – «Женский журнал», 1926, № 8, под назв. «Умер-шей (Л. Рейснер)» – «Поверх барьеров» 1929. – Автограф ранней ре-дакции «...Но как я сожалею...», посланный М. Цветаевой 11 апр. 1926 г. (РГАЛИ, ф. 1190. – «Другие редакции и варианты». С. 414). «Хочу напи-сать "реквием" по Ларисе Рейснер. Она была первой и может быть един-ственной женщиной революции, вроде тех, о которых писал Мишле. Вот из набросков», – писал Пастернак Цветаевой. Л. М. Рейснер (1895–1926) – писательница, участница революционных событий. Жюль Ми-шле (1798–1874) – французский историк, автор «Истории французской революции». В 1935 г. Пастернак рассказывал австрийскому журналис-ту Ф. Брюгелю о своей встрече с Л. Рейснер зимой 1918 г. в матросской казарме: «...среди матросов была женщина. Я не разобрал ее имени, но когда она заговорила, сразу понял, что передо мной удивительная жен-щина. Это была Лариса Рейснер. Она, которой нужно было бы остаться в живых, умерла. За несколько месяцев до забываемого дня, привед-шего меня в матросскую казарму, Лариса Рейснер напечатала в одном ленинградском литературном журнале статью о Рильке» (Ф. Брюгель. Разговор с Б. Пастернаком // Воспоминания. С. 566). В. Шаламов за-писал слова Пастернака о том, что он познакомился с Л. Рейснер «на чьем-то докладе, вечере. Вижу – стоит женщина удивительной красо-ты и что ни скажет – как рублем одарит. Все умно, все к месту. Обаяния Ларисы Михайловны, я думаю, никто не избег. Когда она умерла, Радек попросил меня написать стихотворение о ней. Я написал "Бреди же в глубь преданья, героиня". <...> суть в этих строках» (Воспоминания. С. 620). Карл Радек (1883–1939) – партийный деятель, муж Л. М. Рейснер.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
Приближенье грозы. – «Звезда», 1927, № 9, с посвящ. Я. З. Черняку (1898–1955),
историку литературы и общественного движения; варианты:
ст. 15–20: Прохлада въедет в арьергард, Летя с передовых разведок.
Но ты освободишь обрыв, И с поля повернешь, раздумав, Ты сгинешь, так и не
открыв Разгадки касок и костюмов.
– «Поверх барьеров» 1929. – В «Стихотворения в одном томе» 1935 и 1936 не
включалось. – Два автографа, один, посланный М. Цветаевой 18 сент. 1927 г.,
другой подаренный Я. З. Черняку (РГАЛИ, ф. 1190); варианты:
ст. 1: Ты близко. Ты пылишь пешком
ст. 7: И расшвыряет груды дров
ст. 11–12: Закаплет. Ласточка упав
Вскипит. Всей купой дрогнет тополь.
– Автограф из письма Цветаевой; варианты:
ст. 12: Вскричит. Всей купой дрогнет тополь, ст. 17: Но вдруг
очистивши обрыв, ст. 20 – как в первой публикации, ст. 21–22: А утром я,
нырнув в росу,
Наткнушь ногой на шар гранаты
Уподобление летней грозы вооруженному наступлению отмечалось уже в стих.
«Июльская гроза» 1915. Ср.: «лагерь грозы», «гам ученья» и пр. И раскидает груды
дров/ слетевшей на сторону крышкой. – Характерный для Пастернака классический
творительный падеж сравнения: порыв ветра раскидает груды дров, верхние слои
которой слетают подобно крышке со вскипевшей кастрюли.
ЭПИЧЕСКИЕ МОТИВЫ (С. 228)
В цикл, составленный для книги «Поверх барьеров» 1929, вошли стихотворения
разного времени, некоторые из которых были существенно переработаны. Цикл был
посвящен «Жене» – первой жене Пастернака художнице Евгении Владимировне
Пастернак (1899–1965), во втором издании, 1931 г., появившемся в год их
расставания, посвящение: «Милому другу Жене».
Город («Уже за версту...»). – альм. «Лирень», под назв. «Город. Отрывки целого»,
дата: «1916 г. Тихие Горы» («Другие редакции и варианты». С. 387). – «Новый
мир», 1928, № И, ст. 22–45, под назв. «Приписка к поэме "Город". Возвращенье»;
варианты:
ст. 27: Долгих сборов в отлет с голосами рессор.
ст. 43: Для шпаклевки прудов, всюду рябь и туман.
– «Поверх барьеров» 1929; варианты:
ст. 27: Молодых голосов с голосами рессор, ст. 43: Для засевки
прудов. Всюду рябь и туман.
– «Поверх барьеров» 1931; варианты:
ст. 27: Подматрачных пружин с голосами рессор, ст. 43 та же, что в
предыдущем издании.
– Избр.-1933, под назв. «На путях», ст. 22–45 и 66–78; варианты ст. 27 и 43 те
же, что в «Поверх барьеров» 1931. – «Стихотворения в одном томе» 1933. –
Избр.-1945, ст. 1–77.
Поэма писалась осенью 1916 г., когда Пастернак работал конторщиком химических
заводов в Тихих Горах на Каме. Существенная для поэтики Пастернака тема города
дана в движении, по мере стремительного приближения к нему, при этом особое
значение имеет описание железной дороги. Ср. стих.: «Пространство» (1927),
«Город» (1940), «Поездка» (1958). Картины города объединяют в себе черты Москвы
и Петербурга. Пересыпь (пересыпь) – земляная дамба, насыпь. ...каланча, /
Пронизавшая заревом мглу! <... > городской гороскоп. – См. аналогичный образ
при описании Москвы в «Охранной грамоте»: «Объединяя их (аляповатые миры города.
– Е. П.) в какое-то поселенье, среди них мысленно высилась антенна повальной
предопределенности». ...Тьму-тараканью в падучей. – Тьмутаракань – русское
княжество X–XI вв., позже присоединенное к Византии; в переносном смысле: край
света. Это Люберцы или Любань. – Железнодорожные станции. Мопассан,
Бальзак – французские писатели, реалистически описавшие судьбу человека в
большом городе, и особенно – трагическую обреченность женщины.
Двадцать строф с предисловием. (Зачаток романа «Спекторский») – альм. «Писатели –
Крыму». М., 1928 (альманах выполнен по поручению комитета содействия борьбе с
последствиями землетрясения в Крыму), под назв. «Прощание с романтикой», дата:
1924–1927; варианты:
ст. 7: Трещи, как роща на юру,
ст. 9–10: Как вдруг возникнувшая рысь,
Вперись во все, что спит в тумане,
ст. 29: Но дуясь в сумерки на взрослых,
ст. 73: И вихрь на щепки колет тротуар,
– «Поверх барьеров» 1929. – Избр.-1933, ст. 1–33 под назв. «Посвящение».
Подзаголовок стих, связывает его с началом работы над «Спекторским», первые

сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак главы которого писались в январе–феврале 1925 г., но в сюжете романа ни Предисловие, ни двадцать строф (Эпизод с доктором) – не нашли себе применения. Десть – старая единица измерения количества писчей бумаги, русская десть – 24 листа. ...пухла крупновская сталь. – Вооружение немецкой армии во время Первой мировой войны изготовлял концерн «Крупп». К началу войны Пастернак относил свое прощание с романтикой.

Уральские стихи. – Цикл полностью, но разделенный на три стих. – «Красная новь», 1921, № 2, с эпиграфом: «Лед и уголь, вы мо-гильны. Брюсов» (из стих. «Лед и уголь» 1901 г. в книге «Urbi et Orbi»). Стихи посвящены воспоминаниям Пастернака о поездке на Кизеловские копи 27 мая 1916 г. «Бог меня привел побывать в шахтах, – писал он родителям через день после посещения Великокняжеского рудника. – Это я запомню на всю жизнь. Вот настоящий ад! Немой, черный, бесконечный, медленно вырастающий в настоящую панику!» Нечело-веческие условия труда на рудниках Урала Пастернак считал главной причиной особого ожесточения гражданской войны в этих местах. Стих, написаны вскоре после известия о гибели в июле 1918 г. в Верхне-Уральске Якова Ильича Збарского, «красногвардейца первых тех дивизий, / Что бились под Сарептой и Уфой», – как писал Пастернак о нем в «Спекторском». О впечатлениях от поездки на шахты Пастернак вспоминал, отвечая на вопросы итальянской газеты «Visto» 6 июня 1959 г.

1. Станция. – «Красная новь», 1921, JSfe 2, как два стих.: «Стан-ция» – первые десять строф и второе, без назв., строфы 11–13-я и еще две добавочных: Реки, – будто лес, как кит Снизу, с лодки миной взорван,
ст. 15: Кружившихся, как он, без дела
ст. 23: Галерной пахли и таверной,
ст. 65: В порту, на воющем заводе
ст. 69: И в адском лязге передачи
ст. 74: И первый слог
– альм. «Струги», кн. 1. Берлин, 1923, без посвящ.; варианты:
ст. 15,65,69,74 – как в первой публикации,
ст. 5: Был чист каток, а шест был шаток
ст. 9: Матрос был юн, а ветер юрок.
ст. 14: Как резвый дух
ст. 23: Таверной пахли на Галерной
ст. 25: Москва казалась родом щепня
ст. 45: Москва во мгле играла, мерзла,
ст. 53: Как зверски надо рвать клетке
И из туч и из раки
Дно, обуглясь, гонит ворвань.
Будто день сплавляет лес Ночью этих салотопен. Строй безмолвья – до небес и шеститысячестолпен. Ворвань – вытопленный жир рыб и морских животных.
– «Поверх барьеров» 1929.

Ад крошечный! – Ср. слова из письма к родителям: «Вот настоящий ад!» (29 мая 1916). Встарь пугавши финна ими (лесами. – Е. П.) – Древние финно-угорские племена, населявшие Урал, располагались по долинам рек.

2. Рудник. – газ. «Рабочий мир» 20 дек. 1918; варианты: ст. 12: Особо жизненны и жарки ст. 39: Прольется грянувший затрав
– «Красная новь», 1921, № 2; вариант ст. 12 тот же, как в первой публикации. – Автограф (ИМЛИ), дата: 19 октября 1918. Москва; ва-риант
ст. 47: И шутка? – Надобно уметь
Авт. примеч.: «Штольна – лежачая полость рудника, с наружным входом. Штрека – ход промеж двух выработок». Китайцы – главной рабочей силой на уральских рудниках были китайские каторжники. За-трав – взрывное устройство. Как будто ты воскрес... – посещение шах-ты в стих, ассоциируется с сошествием во ад и воскресением. Капище – место языческих культов.

Матрос в Москве. – «Красная новь», 1921, № 4, с посвящ. поэту Дмитрию Петровскому (1892–1955); варианты:
ст. 61: Ужасен ураган трансмиссий ст. 75: Ремнями шторма со штурвала
– «Поверх барьеров» 1929; вариант ст. 65: И вот на воющем заво-де. – Исправлено по верстке сб. 1956. – Автограф в тетради, послан-ной Брюсову в цикле «Смешанных стихотворений» (ГНБ), с посвящ.; варианты:
ст. 15, 23, 65,69,74 – как в первой публикации, ст. 37: За ним качалось, якорь с цепью ст. 45: Москва в крупе играла, мерзла, ст. 66: Сирен, свистков,
Пастернак вспоминал о посещении матросской казармы зимой 1918 г.: «Огромные сугробы лежали на улицах, люди были заняты более важными делами – тут не до уборки снега. Жизнь в Москве неистово поыхала. На нашей улице, теперь обычной оживленной магистрали большого города, в которой нет ничего особенного, – на

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас этой улице была тогда одна из казарм революционных матросов. Приятель, встре-тившийся мне на улице, попросил проводить его до того дома, который они занимали. Я пошел, чтобы взглянуть в переменчивое лицо революции» (Ф. Брюггель. Разговор с Б. Пастернаком // Воспоминания. С. 566). Галерная – улица в Петербурге. Штевень – толстый вертикальный брус, составляющий основание кормы или носа корабля. Стеньга – часть мачты. Трансмиссии – система ремней для передачи движения от дви-гателя к рабочим частям механизма. 9-еянваря. (Первоначальный вариант) – альм. «Красная новь», кн. 2. М.–Л., 1925, без назв.; варианты:
ст. 1: Какая дальность расстояний
ст. 25: Так горячо не тащат в омут, ст. 33–48 отсутствуют, ст. 63–64: Хмелели вывески и стены,
И обсыхали номера, ст. 69–70: Когда: – «Да что там?» – подал голос,
И смолк, и «Рота» – сдал другой ст. 73: И в тишине речной таможни ст. 77–80 отсутствуют. Дополнительная строфа в конце:
Минутным делом было вбиться,
Но было делом двух секунд,
Затискать в грунт портрет убийцы
И вырубить из почвы бунт.
– «Поверх барьеров» 1929. – Машин. 1925 г., без назв., состоит из трех отрывков, между первым и вторым еще один: «И спящий Петер-бург огромен...» («Другие редакции и варианты». С. 413).
Варианты:
ст. 25: Так горячо не тащат в омут, ст. 39–40: Заиндевелось красной нитью,
Опутывая всех и вся. ст. 47: Когда оно в живую секту
ст. 63–64, 69–70, 73 и дополнительная строфа – как в первой пуб-ликации. Подзаголовок стихотворения «Первоначальный вариант» связывает его с поэмой «Девятьсот пятый год» (начатой в июне 1925 г.), вторая глава которой «Детство» также строится на контрасте между картиной рас-стрела мирной демонстрации в Петербурге и беззаботностью детства московского гимназиста. Ляоян – сражение в августе 1904 г. около го-рода Ляоян стало одним из крупнейших поражений русской армии в русско-японской войне. Цусима – морское поражение при Цусиме в Ко-рейском проливе в мае 1905 г. привело к гибели русского флота и поло-жило конец войне. Толпой стоят в дверях отделов... – отделы «Собра-ния русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга», учреж-денного священником о. Георгием Гапоном (1870–1906), инициатором петиции Николаю II и шествия к Зимнему дворцу.
К Октябрьской годовщине. – «Октябрьская газета ФOSP». М., 8 но-ября 1927, отрывок (50 строк): две последних строки 2-го стих, и 3-е пол-ностью с примеч.: «Из стихов, написанных для журнала "Звезда"»; ва-рианты в 3-м стих.:
ст. 8: Нагромождают класс на класс.
ст. 13 Опять, как вечная случайность,
ст. 20 Закатывают под буфет.
ст. 22 Суровый, ровный Совнарком
ст. 25 По виду это – сволочь, быдло,
ст. 30 Под мокрой кожи черный хром
ст. 32 Увидевши такой разгром?
ст. 34 Новосвивавшейся зимы,
ст. 41 И это то, за что боролись.
ст. 44 Спасибо тем, кем он открыт.
– «Звезда», 1927, №11, весь цикл, без назв., эпиграф из стих. Ф. Тют-чева «29-ое января 1837»: «Тебя ж, как первую любовь, / России сердце не забудет!..». Две последние строфы 3-го стих, выделены как само-стоятельное стих., в 1-м – две дополнительные строфы между 4-й и 5-й:
Уже точно воду дощаник,
Война пропускала леса.
Уж далями роц в отошаньи
Просвечивали корпуса.
Передний отряд перелесков Одет был в солдатский брезент.
То был образец королевский,
Он быстро грубел, обрусев. (Дощаник – большая плоскодонная лодка.) 1-е стих.; вариант
ст. 17: Но были престранные ночи 2-е стих.; вариант
ст. 40: Семь месяцев пыльный тупик. 3-е стих.; варианты:
ст. 8: Накладывает класс на класс,
ст. 13: И вдруг, как вечная случайность, ст. 44 – как в первой

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас публикации.

– «Поверх барьеров» 1929, 1-е и 2-е стих. – как в первой публикации, в 3-м стих, вариант

ст. 40: Вперенных в неизвестный строй.

– «Стихотворения в одном томе» 1935, в 3-м стих, вариант ст. 8: Наталкивает класс на класс.

Посылая раннюю редакцию цикла в альм. «Земля и фабрика», Пастернак писал С. А. Обраловичу 29 авг. 1927 г.: «Не смотрите на октябрьский матерьял как на поэму <...> Я привык видеть в Октябре химическую особенность нашего воздуха, стихию и элемент нашего исторического дня <...> Исполнение этой темы было бы сильнее только в том случае, если бы где-нибудь, например, в большой прозе, Октябрь был бы отодвинут еще больше вглубь, и еще больше, чем в данных стихах, приравнен к горизонту и отождествлен с природой, с сырою тайной времени и его смен, во всем их горьком, неприкрашенном разнообразии <...> Стихов об Октябре к юбилею я не собираюсь вообще писать <...> конец выиграл бы, если бы у меня было время дать еще небольшую вставку (еще немного развить тему бытового преломления и три-четыре строфы посвятить 2-му Съезду Советов)». Из письма следует, что посланная рукопись содержала 135 строк, 5 из которых неизвестны. Три стихотворения цикла рисуют три разных картины времени: 1-е описывает состояние страны на третьем году войны, ставшей затянувшейся обыденностью без всякой надежды на скорый конец, во 2-м – действие переходит в Петербург начала сентября 1917 г. (Семь месяцев мусор и плесень <...> Семь месяцев сряду пыльный тупик), после Корниловского мятежа и очередного кризиса Временного правительства; наступившее осеннее ненастье в 3-м стих, переносит рассказ к октябрьским событиям в Москве, – родившейся из войны солдатской революции. Последние четыре строфы относятся ко 2-му Съезду Советов, проходившему в октябре 1917 г.

1. «Редчал разговор оживленный...». Телятники – здесь: товарные вагоны. Бризантный дождь – артиллерийский обстрел (бризантный – взрывной, поражающий осколками). Вошли уже корпия, креп... – приметы времени: наципаные из тряпок нитки для перевязки раненых и траур по умершим.

2. «Под спудом пыльных садов...» – Инженерный замок, Литейный (проспект. – Е. П.) – знаменитые приметы Петербурга. Гольтепа – голь, нищие. ...не искупил /Провинностей скипетра и ошибок/ Противного стереотипа... – имеются в виду пережитки самодержавного строя и устойчивый стереотип представлений.

3, «Густая слякоть клейковиной...». Оборонцы – социал-демократы, которые были за продолжение войны с Германией; в противоположность им большевики назывались «пораженцами». Совнарком – Совет народных комиссаров – первое советское правительство. Обидных выдач жалкий цикл... – ср.: «Туг советская власть постепенно выродилась в какую-то мещанскую атеистическую богадельню. Пенсии, пайки, субсидии, только еще не в пелеринках интеллигенция и гулять не водят парами, а то совершенный приют для сирот...» (письмо Д. В. Петровскому 6 апреля 1920). Петросовет – Совет народных депутатов Петрограда. Однажды мы гостили в сфере/Преданий. Нас перевели... – О «мире преданий» см. в «Былом и думах»: «Философия Гегеля – алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя» (А. И. Герцен. Собр. соч.: в 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 23). Мы – первая любовь зем-ли. – Горькая ирония сопоставления со словами Тютчева, помещенными эпиграфом в журнальной публикации. Стих. Тютчева написано в день гибели Пушкина и обращено к нему.

Бельестихи (С. 248). – журн. «Россия», 1924, №3, с посвящ. Д. Петровскому; вариант

ст. 88: Весна смеялась, смылив снегу с солнцем.

– «Поверх барьеров» 1929, с посвящ. Е. А. Дородновой. – «Стихотворения в одном томе» 1933. – Машин. (ИМЛИ), рукою автора вычеркнут подзаголовок «Странные мысли», дата: 1918, январь; варианты:

ст. 30: [как я], как смерть». – Светало. В том конце, ст. 76:

Обдернувшись, он встал спиной к окошку,

ст. 88 – как в первой публикации, между ст. 92 и 93:

Он вспоминал, как складывалась жизнь, ст. 99: И сор со звезд сбивает. – Степь неслась междуст. 101 и 102:

Плотом стремил омет, крутило

И увлекало вниз. – Какая власть

Могла бы оторвать их друг от друга?

Какой ланцет рассек бы пополам Тот поцелуй, как яблоко граната?

ст. 118: [Побыть покамест спит] Ты видел, понял?

ст. 125: Безумных [ласок] этих? Что за грусть

ст. 130: Он совершенно мокр и мокры иглы.

Вычеркнутый в автографе подзаголовок «Странные мысли» близок названию

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
стихотворного цикла Блока «Вольные мысли», откуда, из стих. «О смерти» (1907),
взят эпиграф. Бальзак. – М. Цветаева запомнила слова Пастернака, обращенные к
ней на вечере у М. О. Цетлина в январе 1918 г.: «Я хочу написать большой роман:
с любовью, с героиней – как Бальзак (М. И. Цветаева. Собр. соч. Т. 9. М.,
«Эллис Лак», 1995. С. 222). Бальзак интересовал Пастернака как исследователь
женской души. Эвелина Ганская (в девичестве Ржевусская; 1800–1882) –
корреспондентка Бальзака, в 1850 г. стала его женой. Сюжет стих, соотнесен со
временем поездки Бальзака в 1847–1849 гг. к ней в имение Вер-ховне Киевской
губернии. Сто Ганских с кашлем зябло по утрам... – речь идет о потере лица и
принадлежности к типу, что представлялось Пастернаку духовной смертью человека,
ограничением его судьбы рамками заданного (ср.: «И это – смерть: застыть в
судьбе» из стих. «Я в мысль глухую о себе...», 1910). Поэтому эпиграфом к «Белым
стихам» стали строки из стих. Блока «О смерти». См.: Л надо было Богу доказать,
/ что Ганская – одна, как он задумал... Мумия – здесь: красная краска. Сангина
(красная, ит.) – мелок красно-коричневого цвета. Он продавал же-стяных
саламандр <...> И ящерицы бегали, блеща... – С. Н. Дурылин вспо-минал
прозаический отрывок Пастернака начала 1910-х гг. об увиденной на тротуаре
маленькой ящерице из крашеной жести, которая сверкала гранями, и солнце
перебирало «лучами ее алмазы и изумруды» («Из автобиографических записей. В
своем углу» // Воспоминания. С. 57). Из всех картин, что память
сберегла, / Припомнилась одна: ночное поле. – Та же ночная прогулка в Романовке
стала содержанием стих. «Степь» (1917). Дождь / звенел обзымзу... – Зымза –
карниз.
Высокая болезнь (С. 252). Ранняя редакция поэмы – журн. «ЛЕФ», 1924, № 4
(«Другие редакции и варианты». С. 402). – «Новый мир», 1928, №11, под назв. «Две
вставки в поэму «Высокая болезнь»» (ст. 56–98 и 271–318); варианты:
ст. 86: Тот, жженный жостью на газете, ст. 307–311: Их связывали узы
братства, Не важничая ни пред кем, Всегда готовый к ним придраться, Лишь с ними
жил накоротке. Событий завистью завистлив, – «Поверх барьеров» 1929. –
Избр.-1933, под назв. «Из "Высокой болезни"» ст. 240–302, 311–314, с эпиграфом из
стих. «Петербург» (1915):
«Когда им / Забвенья владело; когда он знакомил / С империей царст-во, край – с
краем». – «Стихотворения в одном томе» 1935, без ст. 315–318. – Верстка сб.
1956, без ст. 109–116, 303–310; варианты: ст. 69: Земли смотрел
остолбенело ст. 88: Что был скучней, чем рифмы эти между ст. 100 и 101: В
уединенье усыпальниц, ст. 147: Нельзя три раза егозя вместо ст. 315–316:
Тогда его увидев въяве, Я думал, думал без конца Об авторстве его и праве
Держать от первого лица. Из ряда многих поколений Выходит кто-нибудь вперед.
– Автограф 1923 г. (РГАЛИ, ф. 379), ст. 1–305 ранней редакции.
– Экз. журн. «ЛЕФ» с авт. правкой.
«В начале зимы, – писал Пастернак Н. С. Тихонову, – затеял я большую отчетную
вещь, трезвую, сухую и немолодую, в представле-нии моем носились только: тон и
размер, – и всего менее я стал бы звать ее поэмой» (21 апр. 1924). В сюжете и
выборе жанра отразилось падение в обществе интереса к лирической поэзии и
необходимость перехода к повествовательным эпическим формам. Назв. поэмы
«Высокая бо-лезнь» – метафора лирики и свидетельствует о ее состоянии в век
таких теней: «Только поэзии не безразлично, сложится ли новый человек
дей-ствительно или же только в фикции журналиста. Что она в него верит, видно из
того, что она еще лтеет и теплится. Что она не довольствуется видимостью, ясно
из того, что она издыхает» («Ответ на анкету "Ленин-градской Правды"», 1926).
Что было делать? Звук исчез / за гулом вырос-ших небес. – Ср.: «В наше время
лирика почти перестала звучать» («Над чем работают писатели», 1926). «Стихи не
заражают больше воздуха, каковы бы ни были их достоинства. Разносящей средой
звучания бы-ла личность. Старая личность разрушилась, новая не сформировалась.
Без резонанса лирика невысказана» («Ответ на анкету "Ленинградской Правды"»)
«Лирика сейчас редкостнейшая редкость и она сидит в Вас, сидит и болеет, потому
что не болеть сейчас не может» (письмо С. Д. Спасскому 29 сент. 1930). Картины
голодных революционных лет и обреченности среды, от имени которой говорит поэт,
противопостав-лены провозглашенным на Девятом съезде Советов (декабрь 1921 г.)
пла-нам. В редакции 1923 г. поэма кончалась заходящим солнцем самодержавия и
встающим солнцем революции. Сцена выступления Ленина на съезде, «беглая, как
пробег шаровой молнии, зарисовка спящего мгно-вения» (Н. Тихонов. Речь на
Съезде писателей, 1934), была написа-на только в 1928 г. для включения поэмы в
книгу «Поверх барьеров» 1929. Голосовой экстракт Ленина стал звуковым лицом
событий, про-исходящих в России, и «орущей» истории. Здесь интересно вспомнить
стих. «Русская революция» (1918), где громогласные призывы Ленина к насильно
противопоставлены тишине весны 1917 г. («стал горланить, – к черту!..»). С этой
точки зрения надо читать слова о Ленине как «лице и голосе великой русской

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
бури»: «Он с горячностью гения (ср.: гения горячка), не колеблясь, взял на себя
ответственность за кровь и ломку, каких не видел мир, он не побоялся кликнуть
клич к народу, воззвать к самым затаенным и заветным его чаяньям, он позволил
морю разбуше-ваться, ураган пронесся с его благословения» (дополнительная глава
к очерку «Люди и положения» «Сестра моя, жизнь», 1956). Благими на-мереньями
вымощен ад. – Крылатое выражение, авторство которого восходит к XVII–XVIII вв. и
приписывается различным английским пи-сателям. Вопрос карельский... – имеется в
виду так называемый «бело-финский мятеж» 1921–1922 гг. В зияющей японской
бреши... – речь идет о страшном землетрясении в Японии в сентябре 1923 г.,
унесшем 300 000 человеческих жизней. Кошунственную телеграмму: / Мы посы-лали
жертвам драмы/<...>Лгитпрофсожескийлубок. – В «Известиях» 5 сент. 1923 г. было
напечатано постановление пленума губкома РКП – обратиться через компартию Японии
к пролетариату с выражением соболезнования и уверенностью, что дальневосточный
пролетариат окажет братскую помощь рабочему классу Японии (Сумела различить
депеша / <...> Класс спрутов и рабочий класс). Мета, Ладога, Шексна, Ловать... –
реки и озера, входящие в водную систему Новгородской гу-бернии. На съезде
советов Ленин излагал план электрификации России и строительства электростанций.
Вагоны Пульмана – большие четырех-осные вагоны, изготовлявшиеся в Америке, –
теперь ставшие общерас-пространенным типом пассажирских вагонов. И устал ав орел
двуглавый, / По Псковской области кружа... – узнав о революции в Петрограде,
Николай II попытался прорваться из Могилева в Царское Село, но, по-лучив
сведения, что Тосно занято восставшими, царский поезд вынуж-ден был вернуться на
станцию Дно. Два солнца встретились в окне. / Одно всходило из-за Тосна, /Другое
заходило в Дне. – Подписав во Пскове от-речение, Николай II со своим поездом
оказался окружен войсками, за-нявшими вокзалы Царского Села, Тосна и Званки,
посланные туда ко-миссары получили приказ о задержании царя и его аресте.
Предвестьем льгот приходит гений/И гнетом мстит за свой уход. – Высокая оценка,
которую получил в критике портрет Ленина, позволила не заметить не-которые,
весьма рискованные пассажи поэмы и пророческую концов-ку. Переделки, которые
Пастернак по требованию редакции вынужден был сделать для неизданного сб. 1956,
тем не менее сохранили ее в не-прикосновенности. Никто не решался понять до
конца глубокий про-видческий смысл сказанного.
ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД (С. 261)

Глубоко пережитые в детстве события революции 1905 г. неоднократно привлекали
творческое внимание Пастернака, он определял их как время «детской
возмужалости», пошедшей «на скрепы переходной эпохи» («Охранная грамота», 1931).
Первым откликом на декабрьское восстание было стих. «Десятилетие Пресни» (1915),
подробно и ярко это время описано в прозе Пастернака («Записки Патрика», 1936, и
«Док-тор Живаго», 1956). Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт»
писались к 20-летней годовщине революции. В работе над ними Пас-тернак опирался
на документы, обращался к непосредственным участ-никам, – собственные
воспоминания отразились в главах «Детство» и «Похороны Баумана».
Пастернак впервые пробовал себя в новом жанре эпических поэм и писал о
трудностях преодоления свойственного ему лирического восприятия жизни и перехода
к объективному повествованию. «Я считаю, что эпос внушен временем, и потому в
книге "1905 год" я перехожу от лирического мышления к эпике, хотя это очень
трудно» («Писатели о себе», 1927). «Приходится читать кучу матерьяла, – писал
Пастернак И. А. Груздеву 1 дек. 1925 г., – и большую часть со-вершенно зря,
потому что макулатура, общие места и пустяки. Хотя я пропускаю юбилейные сроки и
всякий раз оказываюсь позади них, но при каждой новой части вновь и вновь
пытаюсь попасть в число с ними...»

История вооруженного восстания в Севастополе, возглавленного П. П. Шмидтом,
должна была стать одной из глав поэмы «Девятьсот пятый год». Пастернак
сознательно ставил себя в условия эпического поэта, взяв героем легендарную
фигуру знаменитого лейтенанта, при которых сюжет и подробности событий были
широко известны, а зада-чей становилось воссоздание реального исторического
лица, «превра-щение человека в героя в деле, в которое он не верит, надлом и
гибель», – как писал он М. Цветаевой 7 июня 1926 г.
Как непосредственному участнику событий 1905 г., Пастернак послал поэм М.
Горькому, объясняя, что революционную тему он хотел взять «исторически, как
главу меж глав, как событие меж событий, и возвести в какую-то пластическую,
несектантскую, обще-русскую степень» (письмо 10 окт. 1927). Горький отозвался на
нее: «Книга – отличная; книга из тех, которые не сразу оценивают по достоинству,
но которым суждена долгая жизнь <...> это – голос насто-ящего поэта, и –
социального поэта, социального в лучшем и глу-бочайшем смысле понятия. Не стану
отмечать отдельных глав, как, например, похороны Баумана, «Москва в декабре» и
не отмечу мно-жество отдельных строк и слов, действующих на сердце читателя
горячими уколами» (18 окт. 1927 // Переписка Бориса Пастернака. М., 1990. С.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак (рас-419). Книга вызвала положительные отклики в печати, как советской, так и эмигрантской (И. Поступальский // Печать и революция, 1927; А. Лежнев // Литературные будни, 1929; Д. Святополк-Мирский // Версты, № 3, Париж, 1928). Но Пастернак очень строго судил свои поэмы, видел в них «добровольную идеальную сделку с временем». Он объяснял К. Федину причины своего обращения к теме: «Мне хотелось дать в неразрывно сосватанном виде то, что не только поссорено у нас, но ссора чего возведена чуть ли не в главную заслугу эпохи. Мне хотелось связать то, что ославлено и осмеяно (и прирожденно дорого мне), с тем, что мне чуждо, для того, чтобы, поклоняясь своим догматам, современник был вынужден, того не замечая, принять и мои идеалы» (6 дек. 1928). Здесь в первую очередь речь идет о неприятии практики насилия, что Пастернак сознательно сделал центральным моментом своей революционной поэмы. Главным образом эта точка зрения выражалась в образе жертвующего собой «за други своя» лейтенанта Шмидта. В окончательном виде обе поэмы вышли в книге «Девятьсот пятый год», М., 1927. Об изменениях некоторых мест в тексте поэм для Избр.-1948, тираж которого не поступил в продажу и был уничтожен в типографии, вспоминал редактор этого сборника Ф. М. Левин: «Я не добивался и не требовал, я просто отметил две неудачных, по-моему, метафоры» (из глубин памяти. М., 1973. С. 94–95). Таких «неудачных метафор» было найдено и переделано не две, а шесть, причем в них откровенно прослеживается идеологическая подоплека, некоторые строфы, показавшиеся редактору «опасными», были сняты. Пастернак обратился к работе над поэмой летом 1925 г.; зимой 1926-го, подходя к ее завершению, он так определял жанровые особенности своего нового произведения: «Я работал и работаю над поэмой о 1905 годе. Вернее сказать, – это не поэма, а просто хроника 1905 года в стихотворной форме. Работать над ней я начал с осени. Сейчас написа-ны начало Потемкинского восстания, Гапон, 9 января, декабрьское вос-стание. Эти фрагменты, пока еще лишённые внутренней связи, будут печататься в отдельных журналах, после чего я их переделаю еще раз и составлю уже к весне цельную вещь, книгу» («Над чем работают писа-тели», 1926). Работа над первой редакцией была окончена в феврале 1926 г., ее переработка велась летом 1927-го, но от мысли слить эти фрагменты воедино автор отказался, напротив, были сняты строфы, первоначально служившие для более связных переходов от одного эпизода к другому. Главы, написанные по документам, перемежаются описаниями лично пережитого, согретыми лирикой детских воспоминаний. «Внашупрозусебезобразьем...» – альм. «Половодье». М., 1926; вариант ст. 5: Еще спутан, как сон, первопуток – сб. «Пролетарий». Харьков, 1926, без разделения на строфы. – Машин, с авт. правкой (собр. Е. В. Лидиной), дата: 25 окт. 1925, перво-начальное назв. «Ода» вычеркнуто, между строфами 4-й и 5-й: [Когда ты озиралась, окрысьсь, То разруху сметал перепуг. А теперь, разве это не кризис Твой разросшийся бурно лопух!] Вариант ст. 21: [Даже в отмаши хлопьев кутежных] Дополнительная строфа в конце: О, пропасть бы за снежной решеткой! Но, увы, по пятам за тобой Ходит тупость с победной трещоткой И велит любоваться собой. Отцы. – сб. «Пролетарий». Харьков, 1926, без назв.; варианты: ст. 14–15: Приглядимся Однако: ст. 38–43: Крепостную Россию Нельзя Не узнать на рисунке, А рисунок Зовется Россией после реформ, ст. 83: Мы б открыли, ст. 116: И наступит зима, ст. 121: Подвечернее солнце – опечатка, перенесенная во все издания, исправленная в Избр.-1948, и машин, сб. 1956. ст. 143–144: Чтобы шеи дитя Не сломало себе на шоссе. Дополнительная строфа в конце: Эти марева днем, Эти зарева города ночью Будут рваться, Тянуться, Свиваться, Мотать головой. Будет ясно как день: В скользких кольцах Столетью нет мочи,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
И змее ни одной
От него не обратиться живой.
–Автограф (РГАЛИ), под назв. «Изработо 1905 годе. Пролог», дата: 29 июля 1925 и
машин. 1925 г., без назв., текст – как в первой публикации.
Подымаются Саввы/И зреют Викулы в глуши. – «Савва и Викула это братья Морозовы,
промышленники крестьянского происхождения. Это была известная фирма, показатель
развития промышленности», – писал Пастернак В. Горелому 29 мая 1958 г. Чугунка –
старое назв. же-лезной дороги. Позорные телеги – для перевозки арестантов.
Первое мар-та 1881 г. –день убийства Александра II. С. Л. Перовская (1853–1881)
– была казнена по делу «первомартовцев». Подпольщик Нечаев – С. Г. Не-чаев
(1847–1882), организатор тайного общества «Народная расправа», применял методы
мистификации и провокации. Степану Халтурину / Спать не дает динамит. – С. Н.
Халтурин (1856–1882) в 1880 г. органи-зовал взрыв в Зимнем дворце. Точно
Лаокоон/Будет дым... – сравнение дыма с троянским жрецом Лаокооном объясняется
знаменитой скульп-турной группой родосских мастеров, изображающей борьбу
Лаокоона и его детей с обвивавшими их змеями. Это сравнение отметила А.
Ах-матова в своем стих. «Борису Пастернаку» («Поэт») (1936).
Детство. – сб. «Пролетарий». Харьков, 1926, без назв.; варианты: ст. 86:
Безмолвный как слава ст. 119–121: Перекату пальбы Отвечает
Пальба с баррикад, ст. 147: Снег идет со вчера.
– «Комсомольская правда» 13 июня 1926, под назв. «Из поэмы», ст. 44–54, 119–157,
без разбивки на стихи, слитным текстом, как проза. – «Версты», Париж, 1926, № 1,
под назв. «Гапон», текст напечатан длин-ными строками пятистопного анапеста и
четверостишиями; варианты:
ст. 84–86: Восемь громких валов и девятый, усталый, как слава, ст. 124–126: Эти
дни, что дневник. В них читаешь, открыв наугад.
– Избр.-1948; варианты:
ст. 94–96: На Каменноостровском Стеченье народа повсюду Подземелья, панели.
– Автограф, посланный 1 февр. 1926 г. М. Цветаевой (РГАЛИ, ф. 1190), под назв.
«Гапон», длинные строки и четверостишия, – текст «Верст». – Автограф, посланный
Л. Л. Пастернак (Оксфорд), под назв. «Га-пон», длинные строки, четверостишия,
между 4-й и 5-й строфами еще одна:
Запираюсь на ключ. Что за стыд этот быт живописца! О жестокого детства ревнивый
и мнительный взгляд! Подойдут, зашиплю. Буду с матерью вечером
грызться...
Сколько сцен, сколько слез, валерьяновых капель
и клятв!
ст. 61: Это в Нарвском районе, ст. 83: Окруженный зимой, ст. 100:
Хлынувших улиц.
– Машин. 1925 г., ст. 54–121 (ИМЛИ), под назв. «Девятое января» с подзаголовком
«Из поэмы 1905-й год»; вариант ст. 120–121 – как в первой публикации.
Вхутемас / Еще – школа ваянья. / В том крыле, где рабфак <... > Мастерская отца.
– Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) были открыты в 1920 г.
в помещении Училища (школы) живописи, ваяния и зодчества, преподавателем которой
с 1893 по 1920 г. был Л. О. Пастернак. В левом крыле здания училища, где
находилась раньше его мастерская, располагались классы факультета для детей
про-летарского происхождения (рабфак). ...староезданье почтамта... – Учи-лище
живописи на Мясницкой находилось против здания почтамта, перестроенного в 1910
г. Звону флора и Лавра... – церковь св. флора и Лавра находилась около площади
Мясницких ворот. Композитор А. Н. Скрябин (1871–1915) был предметом поклонения
молодого Пас-тернака. В нелегальном районе Грузин находился центр декабрьского
вос-стания. Снег идет третий день. – В первом издании поэмы строка чи-талась:
«Снег идет со вчера». Т. В. Толстая записала ответ Пастернака на вопрос
собеседницы: «А что значит "Снег падал со вчера"? Это нечаян-но или нарочно? –
Ну конечно, нарочно! Я же умею говорить правиль-но. Но мне кажется, что вместо
того, чтобы сказать "со вчерашнего дня", лучше, короче и выразительнее (так. –
Е. П.) сказать» (Из тетради Т. В. Толстой // Приложение к «Литературной газете».
«Досье». февраль 1990. С. 9). Попечитель училища... /Насмерть.../Сергей
Александрыч... – Великий князь Сергей Александрович Романов был августейшим
попе-чителем Училища живописи, убит 4февр. 1905 г. эсером И. П. Каляе-вым при
выезде из Кремля.
Мужики и фабричные. – «Звезда», 1926, № 2, без назв.; вариант
ст. 47: Ели дышат,
между 4-й и 5-й строфами еще одна:
Постепенно светает,
И тащится чаща по шторе.
Поезд режется с ней,
Как пилы разъярившийся диск.

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас

И жемчужной зарей

Наши земцы,

Куря в коридоре,

Исчисляют убытки

И пишут правительству иск. И торчит копылом...– копыл – стоячий брусок в

полозьях саней для поддержки кузова; здесь: вздымается вверх, будоражит.

Паровозный

Везувий под Лодзью. – Восстание на паровозостроительных заводах Лод-зи 22–24

июня 1905 г.

Морской мятеж. – «Новый мир», 1926, № 2, под назв. «Потемкин. Из книги "1905

год"»; варианты:

ст. 16: Чуть щекочет лазурь за кормой.

ст. 19: Озираешься ты,

ст. 62: Из камбуза на спардек

ст. 93: Кто кушать – в камбуз,

ст. 98: Все пустились в смятеньи

ст. 126: Лязгом ружей и ног

ст. 131: До высот кабестанов,

между 7-й и 8-й строфами:

С мятежа в экипажах

Повеяло волей над флотом.

Смутно мысль зародилась,

Смутнее молва разнеслась:

Плоть от плоти рабочих,

Матросы им

Будут оплотом.

Знак к восстанью

Эскадре

В учении

Даст Ростислав, между 8-й и 9-й строфами:

А на деке роптали.

Приблизившись к тухнувшей стерве

И увидя,

Как кучится слизь, Извиваясь от корч, Доктор бряк наобум:

– Порчи нет никакой. Это черви,

Смыть и только, – И – кокам:

– Да перцу поболее в борщ.

– «Версты», Париж, 1926, № 1, под назв. «Потемкин», длинные строки пятистопного

анапеста, четверостишия; варианты ст. 62, 131, дополнительная строфа между 8-й и

9-й, как в «Новом мире». Текст гла-вы снабжен авт. примеч. к отдельным словам. –

Автограф, посланный 1 февр. 1926 г. М. Цветаевой (РГАЛИ, ф. 1190), под назв.

«Бунт на По-темкине», длинные строки, четверостишия, текст «Верст». – Автограф,

посланный Л. Л. Пастернак (Оксфорд), под назв. «Восстание на Потем-кине»,

длинные строки, четверостишия; варианты: ст. 16 – как в «Новом мире»,

ст. 17–20: Ты в гостях у детей. Но какую неистовой бурей

Озираешься ты, когда даль тебя кличет домой ст. 62,93 – как в «Новом мире»,

ст. 98–100: Припустились в смятеньи от кнехта бегом к батарее, ст. 126–128:

Лязгом ружей и ног раскатилось к ластам корабля, ст. 131 – как в «Новом мире»,

дополнительная строфа между 8-й и 9-й с вариантом ст.:

И увидя, как корчится гнусь, извиваясь от корч,

– Машин. 1925 г., без назв., глава объединялась с предыдущей дополнительной

строфой:

Лагеря. Рыбаки.

Облака и обвалы на блюдцах.

Что ни камень, то глыбь.

Что ни омут – бездонный судок.

Якоря,

Поплавки.

Разбежаться.

Упасть.

Окунуться.

И оглохнуть,

И всплыть

Головой в голубой ободок. Вариант ст. 62, дополнительная строфа между 8-й и 9-й,

варианты ст. 93 – как в «Новом мире», ст. 98 – как в автографе Л. Л. Пастернак.

– «Девятьсот пятый год» 1927 и Избр.–1948; вариант ст. 62 – как в «Новом мире».

Восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический» нача-лось 14 июня 1905 г.,

одним из его руководителей был матрос А. Н. Матюшенко (1879–1907). Тендра –

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
остров в Черном море. По-сылая текст главы в Париж М. Цветаевой, Пастернак
предлагал снаб-дить отдельные слова примечаниями (опубликованы в «Верстах»,
1926, № 1, в конце главы). Он писал: «Не все понимают, что в "По-темкине" слова
"За обедом к котлу не садились и кушали молча хлеб да воду..." – не случайная
описка, а сказано так умышленно. Именно это кушать – солдатское, то есть,
вернее, казарменное выражение, а не всякие там хлебать или шамать и прочие
глаголы, употребитель-ные на воле и дома. Кроме того, это выражение почерпнуто
из мате-рьялов» (8 мая 1926). В том же письме даются объяснения морских
терминов: «Шканцы – средняя часть корабля. Считается самой по-четной и даже
священной его частью. Кнехт – железный столбик для зацепки каната. Скатить
палубу значит вымыть ее, закрыв люками входы во все находящиеся внизу помещения.
Батарейная палуба с баш-ней – бронированная надстройка на середине броненосца со
входами в машинные и минные части и в арсенал. Щит – железное приспо-соблена,
служащее прицелом для орудийной стрельбы на маневрах. Камбуз – судовая кухня.
Спардек – площадка, которая образуется потоком надстройки, имеющейся в средней
части корабля. Ют – часть кормы до бизань-мачты». (Бизань – кормовая мачта.)
...марш в Порт-Артур. – Идиоматическое выражение, означающее отправить на тот
свет (после массовых потерь при сдаче Порт-Артура в русско-японской войне).
Студенты. – «Красная нива», 1926, № 20, под назв. «Похороны Баумана», 1-я
строфа:

Несся вскачь, распахнувшись, И ширилась знамени глотка, Ветер вихрил доху и
дыханье И стяга мохну.

Вдруг сорвись, сломя голову, Дворник, как зверь за пролеткой, Что-то звяк,
Замахнулся, И – ломом, Тот и не дохнул. Вариант ст. 100-101:

И схоронено вечностью, Разом, вразброс.

– Избр.–1948; варианты:

ст. 102–106: где-то сходка идет,
И в молчанье палатных беспамятств

Проникают

Сквозь стекла дверей

Отголоски ее.

– Машин. 1925 г.; варианты:

ст. 7: Плыли шали балконов,

ст. 21: Как колет лазурь колокольни, ст. 100-101: И схвачено вечностью,
Разом, вразброс.

Н. Э. Бауман (1873–1905) – революционер-большевик, был убит черносотенцем 18
октября 1905 г., на следующий день после объявле-ния Манифеста о даровании
политических свобод. Его похороны вы-лились в демонстрацию, прошедшую через весь
город на Ваганьковское кладбище и закончившуюся столкновением студентов и
охотнорядцев на Моховой. Завейный тьмой Ломоносов. – Памятник перед зданием
Университета (Моховая ул., 11).

Москва в декабре. – «Огонек», 1926, мь 29, под назв. «Пресня», начальные строфы:
«Битый год я кружусь в вертеже

Исторических чисел.

Как могла я крепилась,

Указанного держась.

Что мне делать теперь,
Когда все мои силы превысил

Этот взрыв нетерпенья,
В никем не назначенный час?»

Зашатавши стволы

И вздымая

Корсаж из железа,

Хороша, как смятенье,

Как грива пожара рыжа,

Как улыбку, гоня

С замелившихся губ

Марсельезу,

Так и бухнула штабу,

От натиска счастья дрожа:

«Час мой пробил. На зимнюю площадь Любой из окраин! Шей мне занавес, ночь!

Городи декорации, снег! Я не знаю сама, что со мной, Но пойдем, доиграем,
Отпирайте казармы, Зовите к участию всех».

Варианты:

ст. 39: Ни оралось внутри ст. 67: Удар...

ст. 76: Точно их лихорадка трясет, ст. 81: Против стольких же

тысяч и сот. ст. 158: Двое бороду бреют, между 7-й и 8-й строфами:

Ночь на Чистых Прудах,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас

Поседелых деревьев вершины.

Пять часов запустенья.

Бегущие люди в шестом.

В ту же ночь

По Новинскому

Бодро проходит дружина и снимает из маузеров Бляшников Пост за постом, между

11-й и 12-й строфами:

День тоски, день хлопот,

Надо встать и на что-то решиться.

Лезут глупости сдуру.

Надетым на саблю платком

Еще машет поручик

Дружинникам

В Среднем Тишинском.

К черту!

Прочь сентименты! Недаром торопит ревком, между 17-й и 18-й строфами: Но герои

дошли, когда их подвели, как сипаев, к дулам пушек, не вынес,

как сноп, повалился один.

Он очнулся на миг,

и услышал,

опять засыпая:

«А не выйдут,

с землю сровняю» –

покрикивал Мин.

– Избр.-1948, без строф 3-й и 7-й; вариант ст. 58–59: Скачут

фигуры драгун.

– Верстка сб. 1956; вариант ст. 58–59 – как в Избр.-1948, авт. прав-ка по

верстке: Прыгают

тени драгун.

Вариант

ст. 74: Полицейские у караулок.

Ходят гибели ради/Глядеть пролетарского Траля. – По преданию, величайшая святыня

Грааля – чаша с жертвенной кровью распятого Христа; здесь с некоторой долей

иронии имеется в виду Пресня, как место кровавого подавления восстания.

«Аквариум» – сад около Три-умфальной площади, где проводились митинги. ...морды

вогулок. – Пастернак объяснял итальянскому переводчику А.-М. Рипеллино

происхождение этого образа: «вогулки – обмотанные платками и ба-шлыками

обмороженные рожи полицейских сравниваются с монголь-

скими лицами вогульских баб <...> Я, наверное, это место переделаю, чтобы в нем

не усмотрели пренебрежение к какой-нибудь народнос-ти» (17 авг. 1956). Строка 74

была переделана в верстке сб. 1956. Гулко ухает в фидлерцев / Пушкой / Машков

переулоч. – Реальное училище фидлера, где группировались восставшие дружинники,

вагоны расстре-ляно из пушек, расположенных в Машковом переулке. Всюду груды

вагонов <...> Только с год/Протянули провода. – В 1904 г. в Москве были введены

электрические трамваи, заменившие конки. Мин и Риман – офицеры Семеновского

полка, посланного на подавление восстания. У Прохорова... – Прохоровская

(Трехгорная) мануфактура была базой рабочих боевых дружин.

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ (С. 289)

Отдельные главы поэмы публиковались в журналах. Поэма была строго раскритикована

Цветаевой, упрекавшей Пастернака в «трагиче-ской верности подлиннику». В

процессе переработки поэмы для книжного издания она была сокращена на одну треть

(из 1033 строк снято 310). Исключенные главы см. в разделе «Другие редакции и

ва-рианты». С. 415–418.

В заметке, написанной в 1944 г., Пастернак так определял свою художественную

задачу в этой работе: «Автор, пользуясь материалами того времени для своей

поэмы, подходил к ним без романтики и реа-листически, видя в задаче обеих поэм

картину времени и нравов, хотя бы в разрезе историко-революционном. Поэтому,

когда документы, наряду с высотой и трагизмом матерьяла, обнаруживали черты

ограни-ченного ли политического фразерства, или по-иному смешные, автор

переносил их в поэму с целью и умыслом в сознании их самообличаю-щей

красноречивости <...> Обязательная приподнятость в трактовке героя и героической

стихии предполагалась настолько сама собою, что намеренная и умышленная

психологическая и бытовая обыденщина некоторых частей поэмы была оценена, как

недостаточная их проник-новенность, как нехватка пафоса и неудача» (РГАЛИ, ф.

1334).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Главы 1–7. – «Новый мир», 1926, JSfe 8–9. Им было предпослано «Посвященье» –

акrostих Марине Цветаевой. Посылая Цветаевой его текст, Пастернак объяснял: «Тут

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
поняты (беглый дух): героя, обреченности истории, прохождения через природу, –
моей посвященности тебе» (19 мая 1926). В стих, переданы особенности жанра в
образах охоты и погони за «беглым духом» героя; лес кругом, как олицетворение
истории, на каждом шагу останавливает внимание поэта подробностями, на которые
тот не позволяет себе отвлекаться, не допуская ни лирических отступлений, ни
фантазии. В работе над поэмой Пастернак использовал исторические и мемуарные
документы, главным образом это книга «Лейтенант П. П. Шмидт. Письма,
воспоминания, документы», М., 1922. (См.: Ю. И. Левин. Заметки о «Лейтенанте
Шмидте» Б. Пастернака // Boris Pasternak. Essays. Stockholm, 1976.)
Глава 1, под назв. «Встреча». – В «Стихотворениях в одном томе» 1933 – опечатка
в ст. 19: И вот как в дни Батыевы, – Избр.-1948; вариант
ст. 19:
И хлынул дождь. И как во дни Батыевы,
Глава написана по материалам воспоминаний корреспондентки
Шмидта З. Н. Ризберг. Киевский ипподром и их случайная встреча в
поезде были 22 июля 1905 г.
Глава 2, под назв. «Первое письмо», с последней строфой: Вот оправданье
беспричинной дерзости. Вот отчего я не кажусь вам фатом. Но надо кирпичу с
карниза сверзиться, чтоб догадались люди: это фатум. В основе «первого письма»
Шмидта к Ризберг лежат ее воспоминания и письма августа – октября 1905 г.
Между 2-й и 3-й главами – «Письмо о дрязгах» («Другие редакции и варианты». С.
415). Его текст близок письму Шмидта 26 сент. 1905 г.
Глава 3, ст. 57–89 под назв. «Письмо из Севастополя».
Глава 4, под назв. «Стихия», между 1-й и 2-й строфами:
Глаза протереть! Оклематься!
О, юношеская бурность
Курсисток! О, фурий-мишурниц
Старушечье – чур нас!
Щемящая грусть прокламаций.
О, море! О, рев о пощаде!
И грохот безумных и здравых,
И левых и правых! между 3-й и 4-й строфами:
О, кучи песку и асбеста,
Летящие с берега на дом
К садам, становящимся задом,
Ветвями к фасадам!
О ветер в ограде! Пресытись,
Ты рыщешь с искромсанной клятвой.
Клянись! Клянемся! – Клянись!
Как тени велят нам. Глава посвящена митингу и речи Шмидта на похоронах жертв
расстрела мирной демонстрации 19 окт. 1905 г. В тексте рефреном звучат слова из
клятвы Шмидта на кладбище.
Между 4-й и 5-й главами – «Мужское письмо» («Другие редакции и варианты». С.
417), местами текстуально близкое реальному письму Шмидта 19 окт. 1905 г.:
«Здравствуйте, дорогая подруга моя, здравствуйте, моя опора <...> Я пожизненный
депутат севастопольских рабочих».
Глава 5, под назв. «Марсельеза» с эпиграфом: «Артиллерист стоит у кормила» (из
стих. 1914 г.), между ст. 19 и 20:
Не толкайтесь, пожалуйста! – На действительных
началах
Неприкосновенности личности, ничего не боясь, ни о чем не заботясь, скрипят о
причалы Дунайских пароходств и интендантских тунейств.
после ст. 24: Доношу о распущенности в Брестском и Белостоцком Полках,
выражающейся в шатаньи по ночам и езде на извозчиках из подражанья флотским, по
халатности начальства, не заботящегося ни о чем.
Глава относится к событиям вокруг опубликования Манифеста 17 октября, в текст
вставлены незакавыченные параграфы Манифеста.
Глава 6, под назв. «Ноябрьский митинг», вместо ст. 13: Айвы гниющие огни, Упав,
гадают на грязи о вероятьях таскотни. Действительно, лишь вихрь дохни, и завтра
же выпадет снег в Симеизе.
после ст. 20:
Кольцо в кольцо растущий вширь Пахами вод ревуший цирк. Вариант ст. 51–53:
И вечно тянется рука
В столетий изморось сырую,
Зверинец верой дрессируя.
– Избр.-1948, после ст. 20 до конца главы выпущено.
– Автограф ст. 47–57 в письме М. Цветаевой 8 мая 1926 г.; вариант ст. 54:
Гиену верой дрессируя.
Посылая Цветаевой этот отрывок, Пастернак писал: «В Шмидте одна очень

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
взволнованная, очень моя часть просветляется и утомленно падает такими
строчками:

О государства истукан,

Свободы вечное преддверье! (и далее до ст. 57. – ф. я.)

До этого стихи с движением, и даже, может быть, неплохие. Эти же привожу ради мысли. Тут в теме твое влиянье (жид, выкрест и пр. из Поэмы Конца). Но ты это взяла, как символ и вековечно, трагичес-ки, я же в точности как постоянный переход, почти орнаментальный канон истории: арена переходит в первые ряды амфитеатра, каторга – в правительство, или еще лучше: можно подумать, при взгляде на ис-торию, что идеализм существует больше всего для того, чтобы его от-рицали» (8 мая 1926).

Глава 7, под назв. «Восстание», после ст. 52: Гирляндой, версты огибавшей, По вантам бился переключ, Опрашивали экипажи, Поддерживали, берегли.

флажки шептали: смерть драконам, Но новый ветер, налетев, Сменял их верными законам Или сулил нейтралитет.

Когда ж сменилась пляска знаков Несением ночных дежурств, Один Потемкин и Очаков Остались верны мятежу.

А тот, в совете, раскорякой

Средь сотен вопрошавших глаз

Шептал, как флаг: Петров с «Варяга»,

В двадцатый или сотый раз. – Избр.–1948; варианты: ст. 17–20: Шагах в восьми от адмирала,

Щетинясь гранями штыков,

Молодцевато замирала

Шеренга рослых моряков. В главе изображены события 11 ноября 1905 г. – разгон матросско-го митинга двумя пехотными ротами, одной из которых командовал ка-питан Штейн, операцию возглавлял контр-адмирал Писаревский. Ад-мирал задумал провокацию: «случайный» выстрел из толпы по прибыв-шим ротам. Но матрос со знаменитого крейсера «Варяг» К. Петров двумя выстрелами по сговаривавшимся Штейну и Писаревскому предупредил исполнение их замысла.

Глава 8. – «Молодая гвардия», 1926, № 7, под назв. «Письмо к сес-тре»; варианты: ст. 5–6: Покамест опасаться нечего, Да я и неробкого десятка

ст. 44: На мичмана в рабочей блузе

Строфы 12–18 («Другие редакции и варианты». С. 418).

– Автографы главы (собр. Е. В. Лидиной и Л. А. Ладыженского); варианты

ст. 24: И вот я выхожу оттуда.

ст. 44 – как в «Молодой гвардии».

Когда предшествующие главы поэмы были написаны и отосланы в «Новый мир», Пастернак, по его словам, «нашел "матерьял", несоиз-меримо существеннейший, чем тот, которым пользовался. Переделыв-ать – надо бы помещьем владеть. Не придется. Вгону главу в виде кли-на, от которой эта суть разольется в обе стороны», – писал он М. Цве-таевой (23 мая 1926). Это были «Воспоминания сестры» А. П. Избаш «Лейтенант П. П. Шмидт», Л., 1925. Пастернака поразила прямота и душевная глубина, сказавшиеся в письмах Шмидта к сестре. «Совсем другой человек пишет, нежели автор писем к "предмету"», – делился он с Цветаевой (7 июня 1926). И. С. Барков (1732–1768) – поэт, разрабатывавший фривольные сюжеты.

Глава 9. – «Новый мир», 1927, № 2, под назв. «Бегство жителей». – Два автографа второй части поэмы, которая начиналась этой главой (РГАЛИ, ф. 1190, ф. 379), в первом из них, посланном Цветаевой 9 февр. 1926 г., между ст. 46 и 47:

Боязнь бомбардировки

Сквозила дня ясней

В кучерской сноровке

И резвости коней.

Варианты:

ст. 52: Сгибались в три погибели ст. 57–58: Верста, скача под шины, Несла ко всем чертям. Элинг – крытое помещение для ремонта кораблей.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1. – журн. «Новый ЛЕФ», 1927, № 1, под назв. «14 ноября»; варианты:

ст. 1: Взвившись из-за освещенной почты,

ст. 3: Без заботы, несмотря на то, что

ст. 20: Этот сильно выеденный мрак, ст. 28: Угодивший ложкою в галдеж.

ст. 33–34: И снося раскатами догадки

И смывая со всего двора ст. 38: Буря покидает берега, ст. 49–50: Все

же раз послышалось: эскадра

И о том, что братья да с умом.

– «Новый мир», 1927, № 2, под назв. «В экипажах» с авт. примеч.: «Экипажи – морские казармы»; вариант

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
ст. 3: И не ропщет, несмотря на то, что
Глава 2. – «Новый мир», 1927, № 2, под назв. «Тяжелая ночь»; вариант ст. 19–20:
Тогда какой же вы моряк,
Какой же вы тогда политик? После 6-й строфы:
Нет. Я объеду города
И пробужу страну от спячки.
И лишь тогда пушу суда
На помощь всероссийской стачке.
Но так, – безумное одно – Судно против эскадры целой, Нам столкнуться не дано,
Да и не ваше это дело.
Пожатья рук. Разбор галов, Щелчок английского затвора. Плывущий за угол галдеж.
Поспешно спущенные шторы.
И ночь. Шаганье по углам, Выстаиванье до озноба. С душой, разбитой пополам Над
требухую гардероба.
Отказ от планов. Что ни час, Растущая покорность лани. Готовность встать и
сгинуть с глаз И согласиться на закланье.
И наконец, тоска и лень, Победа чести и престижа, Чехлы, ремни, – и ночь и день,
И вечер, о котором ниже.
– Автограф (РГАЛИ, ф. 379) – на обороте страницы неизвестной рукой записан
редакционный вариант ст. 19–20, набранный в «Новом мире» и потом печатавшийся во
всех изданиях поэмы, нейтрализующий резкую характеристику, данную Пастернаком
тому «нравственному неряшеству», которое считало насилие обязательной практикой
революционера. Ленинская формулировка, отвергающая возможность «делать
революцию в белых перчатках», уничтожала ее нравственную правоту и была
неприемлема ни для Пастернака, ни для его героя. По-сле 6-й строфы:
Я объезжаю города,
Чтоб пробудить страну от спячки,
И вывожу без вас суда
На помощь всероссийской стачке. Далее – как в «Новом мире». – Автограф, посланный
М. Цветаевой; варианты: ст. 4: Сухая сетка телеграммы,
ст. 14: Перекосившее: о Боже! После 6-й строфы 6 строф, текст «Нового
мира».
Глава 3. – «Новый мир», 1927, № 3, под назв. «Безоглядочное ре-шение», между ст.
52 и 53:
С сердцем, колотящимся в ушах, В лад шагам и обшлагам бушлатов.
– Автограф (РГАЛИ, ф. 379) – текст «Нового мира».
Подросток-реалист – сын Шмидта Евгений, которого он воспи-тывал сам после
развода с женой. Глава написана по его воспоминани-ям (Лейтенант П. П. Шмидт.
Письма, воспоминания, документы. М., 1922. С. 12). Г. П. Чухнин (1848–1906) –
вице-адмирал, командующий Черноморским флотом; дал приказ разоружить суда.
Вскоре после рас-стрела Шмидта был убит одним из матросов на своей даче в
Севастопо-ле.
Глава 4. – «Новый мир», 1927, № 3, под назв. «Северный рейд», перед 1-й строфой:
Стихла буря. Дождь сбежал
Ручьями с палуб по желобам.
Ночь в исходе. И ее
Тронуло небытие, между 2-й и 3-й строфами:
Где след команд? – Неотрезвимы,
Споили в доску, и к утру,
Приняв от спившихся в дрезину
Повинную, спустили в трюм.
Теперь там обморок и одурь. У пушек боцмана. К заре
Судам осталось прятать в воду Зубовный скрежет якорей.
А там, где грудью б встали люди, Где не загон для байбаков, Сданы ударники к
орудьям, Зевают пушки без бойцов. Авт. примеч. к слову в дрезину: «Морское
выражение – вдрызг»; вариант
ст. 23: Зато на суше – муравейник, между 5-й и 6-й строфами:
Но это только первый ярус.
А сверху бухты бунтарей
Амфитеатром мерит ярость
Объятых негой батарей. Вариант ст. 52: И солнце, колыхая флот,
– Избр-1948, без ст. 39–50.
– Автограф (РГАЛИ, ф. 379) – текст «Нового мира»; вариант ст. 51: Когда
расселись испаренья
Глава 5. – «Новый мир», 1927, № 3, под назв. «Поднятье флага», ст. 12
отсутствует; вариант
ст. 20: Ерошит волоса вестей вместо ст. 22–23:
Сигналы «Вижу» дальних мачт

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Рябят – (две, три, четыре, пять) –
Рябят – (не счесть, чего желать!) –
Рябят седую гладь.
Простор, ощерясь мятежом, Топорщится ежом, Над крейсером взвился сигнал:
КОМАНДУЮ ФЛОТОМ. ШМИДТ.
Как красный флаг, как флотский знак
К открытию огня.
Вверх и наотмашь поперек,
Как сабля со стегна.
– Автограф (РГАЛИ, ф. 379) – текст «Нового мира»; варианты: ст. 12: Со
дна души судна,
ст. 18: Он поднят, как магнит
вместо ст. 22–23 – как в «Новом мире», после ст. 28:
Над крейсером взвился сигнал:
КОМАНДУЮ ФЛОТОМ. ШМИДТ/
ст. 29: Но вдруг слабеет ток подков, ст. 32: Кумач сползает с
мачт,
Глава 6. – «Новый мир», 1927, JSfe 4, под назв. «Обход эскадры» объединены в
одну главы 6, 7, 8 и четыре строки 9-й, перед 1-й стро-фой:
Вдруг взоры отвлеклись к затону. Предвидя, чем грозит испуг, Как вены, вскрыв
свои кингстоны, Шел ко дну минный транспорт «Буг».
Он знал, что от его припадка Сместился бы чертеж долин: Всю левую его лопатку
Пропитывал пироксилин.
Полуутопший трапецбедр Служил свидетельством толпе, Что бой решен, и рыба роет
Колодцы под смерчи торпед.
Что градоносная опасность, Нависшая над кораблем, Брюхата паводком снарядов, И,
чернь по кубрикам попрятав,
Угрозой, водкой и рублем, Готова, не стерпевши, хряснуть, Как мокрым косарем
кочан, Арапником огня по трапам; Что их решили взять нахрапом, И ре#д на клетки
разграфлен.
Авт. примеч. к слову кингстоны: «Кингстоны – каналы, ведущие в балластные
цистерны двойного дна». (Пироксилин – нитрат целлюло-зы, применяемый для
бездымного пороха. Трапецбедр – объемная гео-метрическая форма в основе которой
лежит трапеция.)
после ст. 22:
Поднявшись над скопом Слепых остолопов, Ворочая шеей оград и тумб, Летевший
навстречу ему Севастополь Следил за ним За румбом румб.
Вариант ст. 11: На муку подвигнуть зверье из верфей.
– строка исправлена по Избр.-1948, где ст. 17–22 отсутствуют. Орфей – мифический
певец из Фессалии, который очаровывал
своим пением людей и богов, укрощал диких зверей; здесь: ...задумал <... >
Растрогать стальные созданыя верфей (раньше было: зверье из вер-фей).
...громоздзя Пелионом на Оссу... – горы, которые, по греч. мифол., гиганты
громоздили одну на другую.
Глава 7. – «Новый мир», 1927, JSfe 4, входила в главу «Обход эскад-ры», после
1-й строфы:
Он не спешил. На миноносце Щадили винт.
Он чуть скользил, а берег неся
Как в фордевинд. Авт. примеч.: «Гальян – отхожее место на корабле. Фордевинд –
первый попутный ветер». Он видел не толпу над бухтой, /л Петербург. – Эпизод
столкновения Шмидта с товарищами по Морскому училищу в Петербурге, в том числе с
бывшим другом М. Ставраки, описан в книге В. Воробьева «Два лейтенанта», М.,
1926.
Глава 8. – «Новый мир», 1927, № 4, входила в главу «Обход эскад-ры», после ст.
4:
Снова по рейду и по ряем
Громко пронесся красный вихрь:
Бывший «Потемкин», теперь – «Пантелеймон»
В освобожденных узнал своих.
– Избр.-1948; вариант
ст. 17: «Эх, – простонал, – без ножа доконали!»
– Автограф, посланный М. Цветаевой, – текст «Нового мира»; вариант
ст. 24: Камни и тени, камни и солнце
Глава 9. – «Новый мир», 1927, JSfe 4 (без ст. 1–4), объединена с 10-й главой под
общим назв. «Гибель Очакова».
– Автограф, посланный М. Цветаевой, – текст «Нового мира»; варианты:
ст. 1–4: Закат был тих и выпрен,
Как вдруг – бабах, в сердцах

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас

Раскатился выстрел
С «Терца», ст. 12–15: И началось. Пространство
Оборвалось и – в бой,
Чтоб разом опростаться
Пальбой.

Глава 10. – «Новый мир», 1927, JSfe 4, вместе с предыдущей под назв. «Гибель
Очакова», после ст. 16:

Уже давно затих обстрел.

Уже давно горит судно

В костре. Уже давно быстреей

Летят часы. Затих

С последним воплем треск шутих.

И крейсер догорел.

Пгухая ночь. Чернильный ров Морской губы. Слепой покров Бегущих крыш и катеров В
чехлах прожекторов.

– Автограф, посланный М. Цветаевой, – текст «Нового мира», между 2-й и 3-й
строфами:

Он нес суда и зданья, выбрав

Фундаменты и якоря,

На ливень гибель всех калибров

Беря.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 1. – «Новый мир», 1927, JSfe 5, под назв. «Последнее письмо». Текст близок
письму Шмидта к З. Н. Ризберг 23–24 дек. 1905 г. В авто-графах эта глава
завершала вторую часть поэмы.

Я жил и отдал/Душу свою за други своя. – Ссылка на слова Христа: «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей сво-их» (Ин. 15,13).

Главы 2–9. – «Новый мир», 1927, JSfe 5, под назв. «Часть третья и по-следняя»,

без нумерации. – Автограф (РГАЛИ), под назв. «Часть третья и последняя»,

подаренный. 3. Черняку с дарственной надписью: «Спа-сибо, дорогой Яша, за
помощь, без которой я, может быть, этой труд-ной части не поднял». Дата: 12 апр.
1927.

Глава 3, вариант

ст. 4: Стал подымать в ту непогоду сходни!

– ст. 4 исправлена по Избр.–1948.

Глава 4. ...как свежо Очаков дану Дантак... >В отличие от нее имел проводника. –
Поездка З. Н. Ризберг в Очаков для свидания в тюрьме с арестованным Шмидтом
ассоциируется с описанием Ада в «Божествен-ной комедии» Данте. Проводником Данте
по Аду был Вергилий.

Глава 5, вариант

ст. 18: Услышишь в эту тишь, междуст. 20 и 21:

Без всякого внимания

В тумане различишь,

Как к ракушкам в лимане

Кубышками льнет камыш, ст. 32: По их пути в острог. Опечатка в ст. 32

исправлена по Избр.–1948.

– Автограф (РГАЛИ) – текст «Нового мира»; вариант ст. 32: На их пути в
острог.

Глава 6, выпущены ст. 59–61.

– Машин, сб. 1956, ст. 59–61 вписаны рукою автора. – Верстка сб. 1956. –

Автограф (РГАЛИ); варианты:

ст. 7: Горсть за горстью, горсть за горстью,

ст. 30: И крутятся шипит крупа

Глава 7, после ст. 42:

Час спустя опять назад с гауптвахты Той же кучей в сорок три шеи К папкам
обвинительного акта, В смертный шелест сто второй статьи.

– Автограф (РГАЛИ), между ст. 10 и 11 заклеены две строки:

Чтение, чтение вымыслов и кляуз

Без зазренья совести и пауз, вместо ст. 36–37:

Бабы плакать, курицы кудахтать,

Сотня с седел воздух сечь, и кряквы,

Отряхаясь пить из колеи.

Эти ветлы, крыши и ручьи! вместо ст. 40–41:

Из тройной смарагдовой струи. Для передачи обстановки суда и последней речи
Шмидта Пастер-нак использовал «Сборник воспоминаний и материалов. Революцион-ное
движение в Черноморском флоте», М., 1925, и записки участника восстания,
приговоренного к каторге В. И. Красноухова-Краухова «Красный лейтенант», М.,
1926. Шмидт согласился возглавить восста-ние только тогда, когда понял, что оно

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
обречено на поражение, с тем, чтобы, взяв на себя вину за его инициативу, снять
ее со своих товарищей и спасти их от расстрела. «Я измучился в усилиях доказать
им <мат-росам> несвоевременность такого, не связанного со всей Россией
мат-росского мятежа, но они, как стихия, как толпа, не смогли уже отступить, так
как много уже беды натворили под влиянием социал-демократов, бессмысленно
поднявших их на преждевременную неорганизованную стачку. Бросить этих несчастных
матросов я не мог, и я согласился руководить ими» (письмо к З. Н.
Ризберг//Севастопольское вооруженное восстание в ноябре 1905 г. Документы и
материалы. М., 1957). ...рано /или поздно, сами, будет день, / Сядут там же за
грехи тирана... – офицер М. Ставраки, друг Шмидта по училищу, который руководил
казню Шмидта, был судим и расстрелян в 1923 г. (В. Воробьев. Два лейтенанта.
М., 1926).

Глава 8. – «Девятьсот пятый год» 1927; вариант ст. 56: Вы тоже – жертва
века.

без ст. 61–72, 81–84, – те же пропуски во всех дальнейших изданиях. – Ст. 56
исправлена в Избр.–1948. – Автограф (РГАЛИ); вариант
ст. 21: С рукою на кобуре.

Кинбурн – песчаная коса на Черноморском побережье длиной в 40 км около
Днепровского лимана. Мыс Тарканхут (Тарханкут) – западная оконечность Крымского
полуострова. Оливия – античный го-род, располагавшийся к югу от теперешнего
Николаева. Речь Шмидта передана документально точно, ритмика устной речи
сказалась на сти-хотворном размере. Ср.: ...я приму ваш приговор/Без гнева и
упрека. – «Я встречу приговор ваш без горечи, и ни минуты не шевельнется во мне
упрек вам». Вы тоже – жертвы века. – «Я знаю, что вы так же, как и мы, жертвы
переживаемых потрясений народных». Иснисхож-денья вашего/Не жду... – «Я не прошу
снисхожденья вашего. Я не жду его». ...народ <...>от прав дарованных/Поволокли в
аптеки <...> выде-лен / Волной самой стихии. – «Когда дарованные блага начали
отни-мать у народа, то стихийная волна жизни выделила меня». В 1905 г. жандармы
хватили людей с демонстраций и выступлений и избивали, затаскивая в помещения
аптек. Я не узнаю робости, / И не смутится дух мой. – «Велика, беспредельна ваша
власть, но нет робости во мне и не смутится дух мой». Я знаю, что столб, у
которого / я стану, будет гранью / Двух разных эпох истории... – «Я знаю, что
столб, у которого стану я принять смерть, будет водружен на грани двух разных
истори-ческих эпох нашей родины».

Глава 9. – Автограф (РГАЛИ); вариант ст. 30: Пробудил содом. Прожектор побежал,
На следствии Шмидт взял на себя всю ответственность за восста-ние, – кроме него
были расстреляны только трое. Третья часть поэмы писалась с февраля по март 1927
г., «на настроении ее последних стра-ниц, – как объяснял Пастернак, –
отразилась» недавняя кончина его любимого поэта Р.-М. Рильке («Советские
писатели о писателях и чи-тателях», 1928).

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ОСНОВНОМУ СОБРАНИЮ

Раздел составили выходившие отдельным изданием книги стихов, которые автор
впоследствии не переиздавал. «Близнец в тучах» и «По-верх барьеров» были
включены в собрания в неполном и переработан-ном виде.

БЛИЗНЕЦ В ТУЧАХ <1913> (С. 326)

В основу книги вошли стихи, написанные летом 1913 г. На названии отразился
ставший «величиной собирательно-циклической» стихотвор-ный цикл «Близнец за
тучей». «Отделка заглавия», по словам Пастер-нака, принадлежала «находчивому
Боброву», стоявшему во главе изда-тельства «Лирика» (письмо А. Л. Штиху 1 июля
1914). Образное содер-жание цикла, как отмечал Пастернак, определило стих. А.
Блока «Темно в комнатах и душно...» из «Стихов о Прекрасной Даме» (1901). На
стра-нице 103 Собр. соч. Блока (изд. «Алконост», 1923) против этого стих.
Пастернак записал: «Отсюда пошел Близнец в тучах. Сердца и спутники» (Блоковский
сборник. 2. Тарту, 1972. С. 448). Позднее Пастернак считал это назв. «до
глупости притязательным», подражающим «космологиче-ским мудреностям» символистов
и их издательств, но вспоминал то, «ни с чем не сравнимое, до слез доводящее
удовольствие», каким было для него летом 1913 г. писание этих стихов: «Я
старался избегать романти-ческого наигрыша, посторонней интересности. <...>
Совсем напротив, моя постоянная забота обращена была на содержание, моей
постоянной мечтой было, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно
содержало новую мысль или новую картину. Чтобы всеми своими осо-бенностями оно
было вгравировано внутрь книги и говорило с ее стра-ниц всем своим молчанием и
всеми красками своей черной, бескрасоч-ной печати» («Люди и положения», 1956).
Поэтический полет вдохно-вения стал семантическим и композиционным ядром книги,
связавшим самые разные стихи, тема «отделения от земли» объединяет стих. «Эдем»,
«Я рос, меня, как Ганимеда...», «Вокзал», «Венеция», «Близнецы», «Ли-рический
простор», «Зима», «Ночное панно», «Сердца и спутники».

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
 Вспоминая в очерке «Люди и положения» (1956) о лете 1913 г., когда он писал
 стихи, составившие книгу, Пастернак упоминает, что читал тогда Тютчева. Свое
 стих. «Enseignement» (т. 2, «Первые опыты») он пред-варил эпиграфом из
 «Проблеска» Тютчева (1825), полный текст четверостишия которого мог стать
 определением основной тональности «Близнеца в тучах»:
 О, как тогда с земного круга Душой к бессмертному летим!
 Минувшее, как призрак друга,
 Прижать к груди своей хотим. К тому же содержанием этого тютчевского
 стихотворения было ночное пробуждение от внезапно услышанного сквозь сон звука,
 подобное тому, которое Пастернак пережил в Венеции и выразил в стих, о ней:
 Слышал ли в сумраке глубоком
 Воздушной арфы легкий звон,
 Когда полуночь, ненароком,
 Дремавших струн встревожит сон?.. По поводу предисловия к книге Пастернак писал,
 что от него «тре-бовали собственного. Я отказал. Poleмические мотивы Лирики
 (тогда она была органом Боброва) делали предисловие в его глазах чем-то
 существеннейшим в книге <...> Тогда, даже не затребовав от меня сти-хов,
 предисловие написал Асеев; – я всячески от него отбояривался, – его положение
 казалось мне ответственным» (то же письмо А. Л. Шти-ху). В «Повести об одном
 десятилетии» К. Г. Локс писал: «Как следует из предисловия, книга "Близнец в
 тучах" рассматривалась как объявление войны символизму, хотя налет символизма в
 ней достаточно силен. Правильней было бы сказать – это была новая форма
 символизма, все время не упускавшая из виду реальность восприятия мира»
 («Минув-шее», № 15. С. 106). В своем предисловии Асеев назвал Пастернака «од-ним
 из тех подлинных лириков новой русской поэзии, родоначальни-ком которых был
 единственный и незабвенный Ив. Коневской».
 Книга вышла в конце декабря 1913 г. в издательстве «Лирика» (на титульном листе
 стоит: 1914).
 О безусловной «исключительной талантливости» книги Пастерна-ка писал в
 библиографическом обзоре С. Бобров («Руконог», 1914). На выход книги критически
 отозвались М. Шагинян («Приазовский край» 28 июля 1914), В. Шершеневич
 («Свободный журнал», ноябрь 1914), О. Аз («Столичная молва» 19 мая 1914),
 отмечая крайности словаря и образов. В защиту книги выступил В. Брюсов, объясняя
 «странности» стихотворной техники Пастернака «своеобразным складом души»
 («Рус-ская мысль», 1914, VI).
 Эдем. – См. коммент. к стих. «Когда за лиры лабиринт...». С. 428. О понимании
 «бездонного значенья» природы, «какое она имела в Раю, в этой ботанической части
 истории, в этой главе о порожденном, о выросшем мире», Пастернак писал М.
 Цветаевой 12 нояб. 1922 г.
 Лесное. – Экз. Штиха; варианты:
 ст. 1–8: О лес, ты притча во языцех,
 Я твой язык из языков
 Я не могу не < >
 Намеками твоих сучков.
 Но мхи живые попирая,
 Догадываюсь, как я стар.
 Я – речь безгласного их края,
 Их смолкнувшего слова дар. Отказавшись от переработки этого стих, и вычеркнув из
 переизда-ния, Пастернак перенес в новую редакцию «Эдема» некоторые черты
 «лесного», «ботанического» восприятия первоизданного мира («стволь-ный строй»,
 «лиственный покров»). Из биографии Пастернака извест-но его детское увлечение
 ботаникой и то большое значение, которое имели для него любовь к лесу, желание
 понять и передать другим полу-ченное от него сообщение, «чуткость» к чуду.
 «Мне снилась осень в полусвете стекол...» – см. коммент. к стих. «Сон». С. 429.
 Возможно, это первая попытка передать в стих, пробуж-дение влюбленности, бывшее
 темой ранних прозаических фрагментов «Однажды жил один человек...» (1912):
 «Медленный и печальный вальс прислуживал ей за ее скрадывающимся танцем.
 Товарищи прятали свои слова в тенистый мгlistый дым, заглушавший углы зала».
 «Ярое, меня, как Ганимеда...» – см. коммент. к стих. «Я рос. Меня, как
 Ганимеда...». С. 429. Заданное в стих, «отделение от земли» состав-ляет
 композиционный стержень книги: устремление вверх, вознесенье, восхищенность и
 полет.
 «Все оденут сегодня пальто...» – см. коммент. к стих. «Все наденут сегодня
 пальто...». С. 430.
 «Встав из грохочущего ромба...» – см. коммент. к одноименному стих. С. 433,
 отразившему существеннейшие принципы поэтического восприятия городской природы у
 Пастернака.
 Вокзал. – См. коммент. к одноименному стих. С. 430.0 ранней ре-дакции 4-й строфы

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
известно из письма Пастернака С. Боброву 19 сент. 1913 г., в котором речь идет о
возможной публикации стих, в альманахе «Всегда», для которой автор заменил
прежнюю строфу: «Бывало, раздвинется...

...переполнив фиал» «рифмически безукоризненной: Бывало, раздвинется Запад В
маневрах ненастий и шпал, И в пепле, как Mortuum Carit ширяет крылами вокзал.
Ты, наверное, знаешь, что Мертвая голова это ночная бабочка с крыльями цвета
министерства путей сообщения, совершенно дымно-пепельная и такая же неожиданная и
ничем не обоснованная втируша, как и этот эпизод с насекомым в стихотворении». Позднее
Пастернак вспоминал, что «строки "Бывало, раздвинется запад в маневрах
ненастий и шпал" из названного "Вокзала" нравились Боброву» («Люди и
положе-ния», 1956).

«Грусть моя, как пленная сербка...» – образ «пленной сербки» вдох-новлен Первой
Балканской войной, ведшейся Сербией против Турции (окт. 1912 – май 1913),
которая вызывала большое волнение в России. События того времени глубоко
запечатлелись в памяти Пастернака; за год до смерти он признавался, что в его
планы входит намерение напи-сать «поэму в стихах, посвященную любви к свободе,
олицетворенной в героине сербке (инстинктивная, страстная жажда независимости,
горы, море, мир Адриатики несколько в стиле Мериме)» (письмо Дж. Фель-тринелли 4
апр. 1959).

Венеция. – См. коммент. к одноименному стих. С. 431. Звуковому впечатлению от
Венеции, которому посвящено стихотворение, сосед-ствует зрительное, выраженное в
конечных строфах. Они соотносят его с космической символикой книги, уподобляя
город, разорванный ка-налами и заливами, взрыву небесного тела.

«Не подняться дню в усилиях светилен...» – см. коммент. к стих. «Зимняя ночь».
С. 434. Посвящ. И. В<ысоцкой>. Обращение к себе са-мому в прошлом, как
«мальчику», роднит это стих, с мотивами «Первых опытов». При переработке в 1928
г. «мальчик» стал учеником, поэт – губернатором, что относилось к более поздним
событиям 1914–1915 гг.

Близнецы. – Посылая недавно вышедшую книгу «Близнец в тучах» Н. В. Завадской,
Пастернак писал, что «XI-ое стихотворение объясняет заглавие или, по крайней
мере, – ответственно за него» (25 дек. 1913). Речь идет о рассматриваемом стих.
«Близнецы», в котором отразились мысли доклада Пастернака «Символизм и
бессмертие» (1913). Мифи-ческие близнецы, сыновья Зевса, Диоскуры, представляют
в стих, бес-смертное (Поллукс) и смертное (Кастор) начала: творчества и
действи-тельности. К подобному выводу приходит также Л. Л. Горелик, видя в книге
оппозицию «дневной обыденности» и ночного «пространства творчества», земли и
неба (Эволюция темы творчества в лирике Пас-тернака // Известия АН. Серия лит. и
яз. 1998. Т. 57, № 4). Именами Диоскуров названы две звезды созвездия
Близнецов. Метафора Сердца и спутники, по собственному признанию Пастернака,
обязана своим происхождением стих. Блока (1901):

Темно в комнатах и душно – Выйди ночью – ночью звездной,
Полюбуйся равнодушно,

Как сердца горят над бездной. Картина звездного неба, раскинувшегося над спящим
городом, передает отношения поэта (сердца) и читателя (спутника), переживанием
общих наслаждений и страданий, спянных в «цельное, замкнутое, к себе
возвращающееся кольцо творчества» («Сейчас я сидел у раскрыто-го окна...»,
1913). Эта же тема развивается в последнем стих, книги «Близ-нец в тучах» «Сердца
и спутники». Манипулы – римские отряды. Пбножь – надевающаяся на ногу от колена
до щиколотки металличе-ская защитная пластина. Канаус – плотная шелковая ткань.
Близнец на корме. – Стихотворение посвящено константину Л оксу и развивает
заданные в предшествующем стих, мотивы звездного поле-та. Рдест – водоросли.
Стогна – площади. Залетейскиемазмы – ядо-витые испарения, доносящиеся из-за
Леты, реки забвения и смерти, по греч. мифол.

Пиршества. – См. коммент. к стих. «Пир». С. 433. Стих, продол-жает классические
традиции поэтов пушкинской поры, воспевавших дружеские пирушки, как «Разума
великолепный пир».

«Вчера, как бога статуэтка...» – см. коммент. к стих. «Сегодня с первым светом
встанут...». С. 430. О «так называемом возвышенном от-ношении к женщине» и его
обусловленности теми препятствиями, кото-рые воздвигает природа на пути чувства,
разными способами заботясь о прочности этих барьеров, писал Пастернак в
«Охранной грамоте» (1931), рассказывая о своей любви к Высоцкой. Преодоление
этих барьеров оз-начает начало другой, суровой жизни, лишенной детских иллюзий и
по-строенной на новых основаниях. См. также разработку этого мотива во 2-й главе
«Спекторского» (1930), где герой «В ту ночь еще ребенок годо-валый / За полную
неопытностью чувств» (ср.: Дети уснувшие вчера).

Лирический простор. – Посвящено Сергею Боброву, автору статьи «О лирической
теме» («Труды и дни», 1913, JSfe 1-2), в которой форму-лируется понятие
лирического простора как лестницы от поэта к чита-телю, или цепи, образующей

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
«безостановочно протекающий простор». Посылая стих. Боброву, Пастернак
жаловался, что «образ города на при-вязи, срывающегося в осеннее плавание,
проведен в нем неясно» и стра-дает риторикой (25 сент. 1913). В стих, отразились
также рассказы о по-лете на воздушном шаре над Лондоном, Парижем и Одессой
(1870–е гг.) дяди Пастернака инженера и журналиста М. Ф. Фрейденберга. В
лек-сике и образах стих, повторяются некоторые технические и психологи-ческие
подробности заметки Фрейденберга в журнале «Маяк» 1 августа 1881 г. Т. Венцлова
в своем разборе этого стих, сопоставляет также пей-заж просыпающегося города с
видом из окна «каморки» на 6-м этаже дома в Лебяжьем переулке, в которой
Пастернак поселился в это время (наблюдения над стихами Б. Пастернака //Поэтика.
История литера-туры. Лингвистика. М., 1999). «Триангль – музыкальный треугольник
в большом оркестре», – объяснял Пастернак в письме Боброву. Монголь-фьер –
название воздушного шара по имени изобретателей, братьев Монгольфе.
Возвестившим пожар каланче... – неточная цитата из стих. Н. А. Некрасова «Утро»
(1874).

«Ночью... со связками зрелых горелок...» – Экз. Штиха; варианты: ст. 1-5:
Ночью – 0 в полиловевших Стрелках, сердечках < > щелей Дуешь ты днем на золу
головешек С выжженной стрелкой < > челе. День промелькнет перемешкой короткой
ст. 11: Слышите исповедь в пьяном уроне? Последняя строфа вычеркнута.
Горелка – здесь: вьющеся расте-ние. Лаззарони – нищий (ит.) Ср. с образами
стих. «Немотно! Насиль-ственно заперт...» (1910–1912).

Зима. – См. коммент. к одноименному стих. С. 432. Посвящено Вере Оскаровне
Станевич (1890–1967), жене Ю. П. Анисимова, в доме у которых собирались группы
«Сердарда» и «Лирика». Принадлежность стих, «близнечному циклу» оправдывается
6-й строфой, в которой об-раз «близнеца» предстает попыткой зарисовать порыв
творческого вдох-новения. Ср. стих. «Определение творчества» (1917): «Разметав
отворо-ты рубашки...».

«За обрывками редкого сада...» – автограф, подаренный А. Штиху, имеет
дополнительную последнюю строфу:

Когда верующего походкой,
Что скитался стезею воды,
Никуда, по следам околотка

Не ведут рассыпные следы. – Экз. Штиха; варианты: ст. 9-12: Мы к тревоге его
не привыкли,

Подступ ночи, как террор, жесток
В нас играет, как золото в тигле,
Рядовой обиходный восток. Последняя строфа вычеркнута.

Хор. – Посвящено Ю. П. Анисимову (1888–1940), художнику и по-эту, организатору
групп «Сердарда» и «Лирика». Экз. Штиха с после-довательно вычеркнутыми сперва
ст. 3 эпиграфа и ст. 20 текста, затем эпиграфом и строфой 5 полностью. Попытки
изменить грамматически неправильную форму главою очертя на правильную «очертя
голову» не удалось, – это решило судьбу стих., композиционным центром которого
был образ врывающегося в общее звучание хора (города) вы-сокого голоса одинокого
человека («Литя»=поэта). Аналогичный мо-мент, но лишенный символического
значения, описан в главе «Студен-ты» поэмы «Девятьсот пятый год», когда в
хоровое пение демонстрации «бросился сольный женский альт». По признанию
Пастернака, момент борения одинокого голоса с хором его всегда очень волновал.
Жи-рандоль – большой фигурный подсвечник для нескольких свечей (кан-делябр).
Самогуды – сказочные гусли, которые сами играют, сами пляшут.

Ночное панно. – Автограф первоначальной редакции с посвящ. С. Б<оброву> и
эпиграфом из него, сохранился в архиве Боброва (РГАЛИ). В письме 25 сент. 1913
г. Пастернак называет его Calsonapi – переводной картинкой («Другие редакции и
варианты». С. 382). фаэ-тон – в греч. мифол. сын бога солнца Гелиоса, взявшийся
управлять колесницей отца и сгоревший от дыхания огнедышащих коней. Тяг-ло –
рабочий скот, тягловая сила. Джентри – английский образован-ный класс, мелкое
дворянство. Ариэль – дух воздуха, также спутник пла-неты Уран.

Сердца и спутники. – Посвящено Е. А. В<иноград>, двоюродной сестре А. Штиха,
будущей героине книги «Сестра моя жизнь» (1917). Назв. возвращает к образам
центрального стих, книги «Близнецы» и того нераздельного единства, которое
«создается завтрашней жизнью (то есть читателем. – Е. П.) по отношению к
сегодняшней строфе» (то есть по-эту. – Е. Я.) (письмо А. Штиху 8 июля 1912).
Причем город, в любви к которому признается поэт в этом стих., воспринимается
как та самая «завтрашняя жизнь» и аудитория поэта.

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ <1916> (С. 344)

В книгу вошли стихи, написанные в 1914–1916 гг. В «Охранной гра-моте» Пастернак
связывает поэтику книги со встречей с Маяковским в 1914 году. «Если бы я был
моложе, – писал он, – я бросил бы литерату-ру». Произошел резкий отход от
Боброва и его издательских начина-ний. В письмах лета 1914 г. Пастернак писал,

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас как поразило его сходство манеры Маяковского с его ранними, допечатными стих. 1909–1911 гг., которые шокировали читателей непривычностью и смелостью образов. Через одиннадцать лет Пастернак вспомнил о своей первой лите-ратурной «школе» у Анисимова и Боброва: «То, что из дружбы я считал делом, наукой и пользой, и чем себя считал обязанным Боброву и (даже!) Асееву, вижу ясно теперь на бросающихся в глаза сравнениях, – было никчемным вредом, приближавшим судьбу сделанного к действительности (всегда условной) и всегда понижавшим мои живые задатки или лучше сказать уровень, предшествовавший у меня каждый раз таким "успехам"» (письмо к Е. В. Пастернак 19 июня 1928).

Желание вернуться к «духу своих начинаний» становилось меч-той о новой книге, с иной, чем «Близнец», поэтикой. Пастернак стре-мился освободиться от романтического восприятия жизни, от «позы поэта», как он это называл, свойственной поколению и как сильней-шему его выражению Маяковскому, чтобы никоим образом не повто-рять его. «Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпадения. Я их заметил. Я понимал, что если не сде-лать чего-то с собою, они в будущем участвят. От их пошлости его надо было уберечь. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. Так по-лучилась неромантическая поэтика "Поверх барьеров"» («Охранная грамота», 1931).

Пастернак сознательно шел на эксперимент: «Сейчас во всех сферах творчества нужно писать только этюды, для себя, с технической целью и рядом с этим накапливать такой опыт, который лишен эфемерности и случайности» (письмо родителям 30 апр. 1916). «Материальная выразительность» стих, новой книги едва ли не превосходит «гипербо-лизм» Маяковского. «Подробности внешнего мира, на ходу обрастаю-щие прихотливыми ассоциациями, – пишет В. Альфонсов в своей книге «Поэзия Б. Пастернака» (СПб., 1990), – зачастую движутся в ней тол-пами, это нарушает устойчивую интонационно-ритмическую структуру, которая в «Близнеце» была в согласии с четким строфическим членением стиха. <...> Открытия <...> достигаются <...> усилением открытого эмо-ционального начала. Эмоциональный напор укрощает избыточную изо-бразительность, направляет ее по определенному руслу, интонационно-ритмическая волна охватывает пространственный период в несколько строф, а то и целое стихотворение» (С. 44).

В очерке «Люди и положения», перечисляя «технические совпаде-ния» между собой и Маяковским, Пастернак назвал «сходное построе-ние образов» и «сходство рифмовки». Но вместо драмы неудовлетворенности и обвинений «зла посредственности», он выбрал путь удивления и восхищения перед красотой мира. Эти изменения происходили в нем незаметно для него самого, их присутствие в лучших стихотворениях книги отметил Локс. Пастернак сразу подхватил его определение: «Вы очень верно выделили в "Барьерах" существеннейшее их начало: дифи-рамбическое» (28 янв. 1917). «Дифирамбизм», или – по Альфонсову – «эмоциональный напор», явственно определяет тональность таких сти-хов, как «Петербург», «Урал впервые», «Счастье» и др.

Рукопись книги «Поверх барьеров» составлялась в сентябре 1916 г.; только 6 стих, из 49 имеют даты. Во втором издании поставлены даты у 10 стих. Избр.-1945 все стихи из «Поверх барьеров» датирует 1915 го-дом, безотносительно к датам предшествующих изданий. Предлагаемая датировка основывается на биографическом содержании стихотворений: их соотнесенности с началом Первой мировой войны, пребыванием на Урале, поездкой под Харьков, 5 стих, датируются по первым публика-циям, два – по сохранившимся автографам.

Стихов 1914г., по словам Пастернака, у него сохранилось мало. «Мне почти не пришлось выбирать, – писал он 24 сент. 1916 г. Бобро-ву, – весной прошлого года, как ты помнишь, вероятно, я горел, и у меня ничего не осталось» (речь идет об антинемецком погроме 28 мая 1915 г., при котором бумаги Пастернака, «попали в общую кашу» с хо-зяйскими. – «Люди и положения», 1956). Вероятно, поэтому автор в издании 1917 г. сам продатировал 5 стих. 1914 годом.

Вслед за символистами Пастернак стремился писать циклами и книгами как единым целым. «"Барьеры" первая, пусть и тощая моя кни-га. Этим я и занимаюсь сейчас. Учусь писать не новеллы, не стихи, но книгу новелл, книгу стихов и т. д.» (письмо родителям 11 февр. 1917). Сдавая рукопись в типографию, он писал Боброву 17 сент. 1916 г.: «Что до заглавия – колеблюсь. Колеблюсь оттого, что самостоятельной цен-ности в отдельном стихотворении и не могу сейчас видеть. <...> Вот пред-положительные заглавия: Gradus ad Parnassum, 44 упражнения, Поверх барьеров, Налеты, Раскованный голос, До четырех, Осатаневшим и т. д. и т. д. Раскованный голос кажется мне le moïn mauvais» (наименьшим злом, фр. – Е. П.). Бобров выбрал «Поверх барьеров». Книге был пред-послан эпиграф из стих. А.-ч. Суинберна «I am last least voice of her voices* («я последний и самый слабый из ее голосов»). А.-ч. Суинберн (1837–1909) – английский поэт и

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак драматург, автор трилогии о Марии Стюарт, две части которой Пастернак перевел в 1916–1917 гг. «Чувствую, что ожесточаюсь в своем поклонении Свинберну, поэзии и т. д.», – писал он в конце ноября 1916 г. родителям. С этим поклонением непосредственно связано и первое стихотворение книги «Посвящение».

Издание было задержано военной цензурой. Причиной стали антивоенные стихи и упоминания о декабрьском восстании 1905 г. Так были сокращены стихотворения «Артиллерист стоит у кормила...», «Отрывок» («Десятилетие Пресни») и совершенно уничтожено стихотворение «Осень. Отвыкли от молний...», не восстановленное автором. Из-за этой задержки Пастернак не имел возможности прочесть корректуры. Книга вышла 20 декабря 1916 г. (на титульном листе: 1917). Автор тщательно исправлял опечатки во многих экземплярах, вписывал строчки, выкинутые цензурой, посылал друзьям списки опечаток, которые нужно внести в книги.

Выход книги не был замечен, революционные события оттеснили литературные. В отзыве Д. Выгодского на книгу издательства «Центрифуга» Пастернак был назван «мастером причудливого, неожиданно-го и потому останавливающего, производящего поэтический эффект образа» («Новая жизнь» 21 мая 1917). Характеризуя «известную степень боевой» характер книги Пастернака, Локс отмечал, что в ней «автор особенно ярко разрывал с символизмом, отзвуки которого еще слышались в "Близнеце в тучах", и впервые мы услышали его "раскованный голос". В этой книге явно <...> выразилась основная особенность всей поэзии Пастернака – могучий натурализм образов и высокий подъем одушевляющего их вдохновения» («Литературная газета» 28 мая 1929).

По позднему мнению Пастернака, в стихах «Поверх барьеров» он добивался «объективного тематизма и мгновенной, рисующей движением живописности» (надпись на книге «Поверх барьеров» 1929 г. А. Крученых, собр. Е. С. Левитина). Но новаторские приемы, которыми достигались эти цели, через несколько лет стали смущать Пастернака как неоправданная претензия. При переиздании стихов в 1926 г. он сокращал строфы, кое-что менял в тексте. Но, посылая экземпляр книги 1917 г. Марине Цветаевой 7 июня того же 1926 г., он просил ее терпеливо дочитать книгу до конца, не смущаясь неоднородностью ее состава, который оценивал достаточно резко: «Не приходи в уныние. Со стороны-цы, примерно, 58-й станут попадаться вещи поотрадные. Всего хуже середина книги. Начало: серость, север, город, проза, предчувствуемые предпосылки революции (глухо бунтующее предназначение, взрывающееся каждым движением труда, бессознательно мятежничающее в работе, как в пантомиме) – начало, говорю я, еще может быть терпимо. Непозволительно обращение со словом. Потребуется перемещение ударения ради рифмы – пожалуйста: к услугам этой вольности областные отклонения или приближения иностранных слов к первоисточникам. Смешение стилей. Фиакры вместо извожиков и малорусские жмени, оттого что Надя Синякова, которой это посвящено, – из Харькова и так говорит. Куча всякого сору. Страшная техническая беспомощность при внутреннем напряжении, может быть больше, чем в следующих книгах». Ругая середину книги, Пастернак главным образом имел в виду стихи, посвященные отношениям с Н. М. Синяковой. «Вещи поотрадные» начинаются с «Последнего дня Помпеи», за которым следуют «За окнами давка, толпится листва...», «Ночам соловьем обладать...», «Счастье» и т. д. Именно середина книги, которая так раздражала Пастернака в 1926 г., осталась вне переиздания 1929 г.

Сохранились два экземпляра книги 1917 г., на страницах которых Пастернак в 1928 г. записал первые варианты новой редакции. Правке подверглись также некоторые стихи, которые не были включены в переиздание. Эти варианты описаны в комментариях.

В последние годы жизни Пастернак стал лучше отзываться о своих ранних стихах. На книгу «Избранных стихов» 1926 г. он записал 31 мая

1950 г. по просьбе А. Крученых: «Я всегда боялся старых своих вещей. Недавно, весной 1950 г. заглянул в "Поверх барьеров" издания 1917 г., убедился, что это не так страшно, кроме опечаток, которые любил Бобров и намеренно заводил их у меня и Асеева» (собр. Е. С. Левитина).

Посвящение. – Барьеры-17; варианты:

ст. 8: Мерзлый нарыв фонарей расковырял

ст. 9-10: Двор, ты заметил ли, как он набряк,

Ты догадался о часе прорыва ст. 10-11: Ты догадался, как вихря прорывы носятся в птичьих когтях октября ст. 13: Двор, это ветер всему коновод ст. 13-19:

Двор, это ветер, как кучер. Как он, снегом по горло набит. Он как кучер и оттого еще, что ослеплен, вздернут и к козлам как к дыбе прикручен. Окрик, картуз, казакин, позади Кручи и крыши, крестец перекручен, мчит, орет, берегись, осади строфы 3 и 5 вычеркнуты, ст. 28: Тянет весь год с островов сожаленья, ст. 35-36: Знайте же, – этого ига устав

Издан <> в их нищенском ханстве, ст. 44: Шлите в поселок пророческой голи. Двор, – ты как приговор к ссылке... – ассоциация с близким отъездом Пастернака в

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас

Тихие Горы на Каме (см. также отчетливо автобиографическую интонацию в словах: С солью из низко нависших градирен <...> Черные годы окраин и фабрик. – Промышленное устройство для выпаривания соли. Химические заводы, на которых работал Пастернак в 1916 г., соседствовали с солеваренными, которые он посещал во время своих деловых разъездов. «С<ело> Усолье. Ст. Солеварни Соликамско-го уезда, Содовый завод, – писал Пастернак Боброву из такой поезд-ки. – <...> География cum grano salis, как видишь, очень насоленные места» (24 июня 1916). Люди, там любят и ищут работы/– четырежды повторенное в стих, слово «там» создает представление о другом мире, идеальном мире вдохновения (ветра) и творчества (работы), где Дует всю ночь напролет с Откровенья. – Имеется в виду Откровение Святого Иоанна Богослова как определение искусства. См. в «Докторе Жива-го»: «Большое, истинное искусство, то, которое называется Открове-нием Иоанна, и то, которое его дописывает». Крепкие тьме – полыхань-тем огней... – эта и аналогичная синтаксическая конструкция в следую-щей строке Крепкие стуже... получили авт. объяснение в издании 1929 г.: «крепкий кому подвластный, обязательный данью или податью». Словарь Даля дает значения: «крепкий земле – приписанный к известной зем-ле» и «крепкий владельцу – крепостной». Стужа в их песнях студеной моей... – строка отсылает к эпиграфу из Суинберна: «For the song that is over my song» («Песне, которая выше моей»). Это определяет тему стих., посвященного любимым поэтам. ...зимнего ига очаг/ Там, у поэтов, в их нищенском ханстве. – Здесь дается определение этого «инога мира» – «там», как ханства поэтов. Это отголоски романтического дуализма двух миров: там и здесь, – заявленного в докладе «Символизм и бессмер-тие» (1913), где «иной мир» создается из отчуждаемой субъективности художника, – в «Охранной грамоте» он называется «второй вселенной». Баскак – ханский наместник, собирающий дань. В образах татарского ига: крепкие стуже, зима, как баскак, зимнее иго, нищенское ханство – разрабатывается тема человечества как «податного сословия», платящего дань любви ханству поэтов. Пастернак мечтал написать работу на эту тему, о том, что чувства, «которые каждый носит в себе и биографически осуществляет – находятся на содержанье у человечества, и миллионы живущих своими жизнями, как податью (облагаются в пользу искус-ства. – Е. П.) и т. д. Отсюда о «податном сословье"», – писал он роди-телям 7 февр. 1917 г. См. стих. «Как казначей последней из планет...» Шлите туда в департаменты голи. – Богемная окраска мира поэтов объясняется обстановкой собиравшегося у Синяковых общества, кото-рое Л. О. Пастернак называл «клоакой».

Дурной сон. – Барьеры–17; варианты:

ст. 1: Прислушайся к вьюге сквозь доски процеженной,
ст. 22: За челюстью дряхлой, на столике спальной На одном из санитарных поездов, описанных в стих., военным вра-чом работал школьный друг Пастернака Леонтий Ефимович Риг, погиб-ший в 1918 г. (см. о нем: В. Г. Смолицкий. Два года из жизни Б. Пастерна-ка (1905 и 1906) // Новые материалы по истории русской литературы. М, 1994). Дурной сон – сновидение, которое трактуется как плохая примета. Зйхлесни – существительное образовано от слова: захлестнуть – в значе-нии «задевать» или «заливать волною». Небесный Постник – Господь Бог, который «проспал» мировые бедствия, причиненные войной. ...попадали зубы из челюсти... – по народной примете, видеть во сне выпадающие зубы предвещает смерть, – слово десны повторено пять раз, пять раз – зубы, зубья, трезубцы, зазубрины, зубцы. От красных зазубрин Карпатских зубцов... – имеется в виду Галицийская операция в августе 1914 г., когда русские войска отбросили австро-венгерские военные соединения. На-зём – удобрение, навоз (обл.). Месяц как язык, небо как небо – образы славянского языческого народного сознания. Он сорван был битвой... – мучительная пытка Пугачева – отрезание языка описана в «Капитанской дочке» Пушкина. Ср. в «Докторе Живаго»: «На носилках несли несча-стного, особенно страшно и чудовищно изуродованного. Дно разорвав-шегося стакана, разворотившего ему лицо, превратившего в кровавую кашу его язык и зубы, но не убившего его, засело у него в раме челюст-ных костей, на месте вырванной щеки. <...> Боже, Боже, прибереги его, не заставляй меня сомневаться в твоём существовании!» Мысли Лары передают основное настроение стих. «Дурной сон». Баштан – участок, засаженный арбузами и дынями. Бахча – то же, что баштан (обл.). Как в небо посмел он играть, человек ? – Причину человеческих несчастий Па-стернак видит в желании человека поставить себя на место Бога.

«Артиллерист стоит у кормила...» – Литературная страница «Траурное ура» газ. «Новь», 20 нояб. 1914 г. Подборка была составлена Маяковским, там же опубликовано по одному стих. К. Большакова, Маяковского, Пастернака, Асеева и Д. Бурлюка. Варианты: ст. 3: Несется под давленьем в тысячу сил
ст. 11–13: Вот, вот срежется перед кафедрой,
спрягая в разбивку,
Капитаном заданный неправильный глагол

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
 Zcfo – голосом пересохшей гаубицы, ст. 19–24: Что вселенная стонет от
 головокруженья,
 Расквартированная в тех разможенных головах,
 Вселенная заметила это впервые,
 Они ей незаметны – живые.
 И не боясь за мольбу попасть на гауптвахту,
 О разоружении молят, толпясь, облака. Автограф стих. (РГАЛИ, ф. 379) с назв.,
 как и в «Нови», повторяю-щим первую строку, и разночтениями, аналогичными тексту
 «Нови». В «Поверх барьеров» 1917 ст. 16,18–23 заменены точками.
 Артиллерист стоит у кормила... – кормило – руль судна. Метафо-ра стоять у
 кормила – значит быть во главе управления страной, здесь – землей. Имеется в
 виду царь Николай II, который, еще будучи наслед-ником, командовал гвардейской
 артиллерией в чине полковника Пре-ображенского полка.
 Артиллерист-вольноопределяющийся, скромный и простой. – Вольноопределяющийся
 – человек, отбывающий воин-скую повинность по собственному желанию.
 Характеристику царя см. в «Докторе Живаго»: «Смущенно улыбающийся государь
 производил впечатление более старого и опустившегося, чем на рублях и медалях. У
 него было вялое, немного отекавшее лицо. Он поминутно виновато ко-сился на Николая
 Николаевича, не зная, что от него требуется в данных обстоятельствах <...>. Царя
 было жалко в это серое и теплое горное утро, и было жутко при мысли, что такая
 боязливая сдержанность и застен-чивость могут быть сущностью притеснителя, что
 эту слабость каз-нят и милуют, вяжут и решают». Первую строчку этого стих.
 Пастернак взял эпиграфом к главе о Манифесте 17 октября 1905 г. в поэме
 «Лейте-нант Шмидт» (1927). Он не слышит слов с капитанского мостика... – в
 автографе «Капитанский мостик» написан с большой буквы, что позво-ляет
 трактовать «слова», которых не слышит царь, как Божью волю; это подтверждает
 также следующая строка: Хоть и верует этой ночью в Бога. Zdco– в «Нови» глагол
 назван «неправильным», потому что наряду с правильной существуют слитные и
 диалектные формы его спряжения. ...земля <... >/ С этой ночи вращается вокруг
 пушки японской... – послед-нее слово, замененное точками, вписано в экземпляры
 книги рукою автора. Имеется в виду повторение поражений и неудач
 русско-япон-ской войны 1904–1905 гг. ...он, вольноопределяющийся, правит винтом.
 – Лопастной винт (гребной) – вал с лопастями, с помощью которого судно
 приводится в движение.
 – Барьеры–17; новые варианты ст. 19–24, выпущенных цензурой в 1916 г.:
 Что вселенная стонет от головокруженья,
 Расквартированная по разможенным черепам,
 Она их увидела впервые,
 Они ей незаметны, живые,
 И не боясь попасть на гауптвахту,
 Молят просторы о разоруженьи.
 «Осень. Отвыкли от молний...» – сохранилось только первое чет-веростишие, пять
 следующих были цензурованы и заменены точками. Это позволяет отнести стих, к
 разряду политических, с откровенно пацифистской позицией. По этой же причине оно
 осталось автором невосстановленным, потому что он обычно не сохранял своих
 стихов подобной тенденции. Зарисованная в первой строфе картина легко
 сопо-ставляется со стих. Блока «Петроградское небо мутилось дождем...»,
 на-печатанным в газ. «Русское слово» 21 сент. 1914 г., под назв. «На войну».
 Сочельник. – В стих, отразились народные поверья о пробуждении бесовских сил в
 ночь перед Рождеством. См. коммент. к стих. «Метель», 2. С. 440. Здесь также
 развенчивается романтика сыновнего бунта против родительского дома. Там детство
 рождественской елью топорщится. – Празднование Рождества 1914 г. у сестер
 Синяковых описано в «Спек-торском» (1930): поездка за город: На сборное место,
 город! Зд город!– См. в «Спекторском»: «За что же пьют? За четырех хозяек, / За
 их глаза, за встречи в мясоед...» Лампирон – бумажный фонарик. Фиакр – эки-паж,
 который нанимают за деньги, извозчик (см. цитируемое выше пись-мо М. Цветаевой,
 в котором Пастернак выражал свое недовольство неточностью этого слова, хотя оно
 обусловлено сопоставлением с Па-рижем XVI века. С. 551). Сувои – снежные
 сугробы, наносы, ухабы на дороге. Сполагоря – беззаботно, легко, вольно. В этом
 стих, в издании 1917 г. – чудовищные опечатки. Вместо: крест на крест –
 напечатано: крест на кресте, вместо: подняты на ноги – подняты на ночи, вместо:
 в саванах взмыли сувои – в саванах в мысли сувои и др.
 «Какая горячая кровь у сумерек...» – Барьеры–17; варианты: ст. 3–4: Какая
 угрюмая горечь! – Как в юморе Казнимых, когда их подводят к осине. Новая
 редакция строк выявляет горькую иронию стих., обращ-ного к Н. М. Синяковой.
 Стих, отмечено синим карандашом как пред-полагаемое для переиздания в 1928 г. Из
 дома Коровина... – дом № 9 по Тверскому бульвару. «Зимой (1914–1915. – Е. П.) на
 Тверском бульваре поселилась одна из сестер <синяковы>х З. М. М<амоно>ва. Ее

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас-
посе-щали», – писал Пастернак в «Охранной грамоте».

Полярная швея. – «Второй сборник Центрифуги» 1916. – Автограф 2–4-й строф первой
части; варианты:

ст. 7: Разутюживая вьюги, она их вьючила

ст. 11: И за эти виденья днем мне мстило

ст. 13–16: На моем роду ничто не сравнится С закройщицей тех одиночеств, С
накидкой подкидыша – ее ученицы и гербом на картонке ночи. Барьеры-17; вариант
ст. 4: Во что было ей запахнуться?

Первая часть стих, обведена синим карандашом, как предпола-гаемая к переизданию,
вторая вычеркнута. – «Поверх барьеров» 1917 с авт. надписью В. Г. Лидину (собр.
Е. В. Лидиной), ст. 22 исправлена ав-тором:

Под седьмую раскосину стрелку.

Разбирая в письме Боброву (27 апр. 1916) состав «Второго сборника Центрифуги»,
Пастернак резко критиковал свое участие в нем: «Гляжу я теперь трезвыми глазами
на все и берусь здраво рассудить себя самого с тобою. Ради Создателя, что в
Альманахе меняется или изменилось бы от наличности дюжины еще таких полярных
вшей или от их отсутст-вия? Нет, по чести говоря. А? Ну вот. Велика тоже радость
с такой весо-мостью в ансамбль входить!». ...каждый спрашивает / О стенном
приборе для йзмеренья чувств. – В письме 10–15 мая 1916 г. Пастернак писал отцу:
«Несомненно было только увлечение впервые. Разве можно требовать безошибочности
в этих желаниях, если только они не стали привычкой? Дай мне тот аппарат,
который бы указывал градусы привязанности, и на шкале которого, в виде делений,
стояли бы: влечение, привязанность, любовь, брак и т. д. и т. д. – и я скажу
тебе, измерив у себя температуру этих состояний, самообман ли это или не
самообман». Рапсодия венгер-ца за неуплату денег... – Венгерская рапсодия
Ференца Листа.

Вяч. Вс. Иванов считает, что в этом стих, выражен круг «пережи-ваний
отрочества», в частности «самоотожествление себя самого с девочкой»: На ней
была белая обувь девочки / И ноябрь на китовом усе... Кроме того, здесь
«Пастернак коснулся центрального образа своего мла-денческого испуга» –
«медвежьих чучел в экипажных заведениях Ка-ретного ряда» («Люди и положения»,
1956): Ей не было дела до того, что чучело- / Чурбан мужского рода... («О теме
женщины у Пастернака» // «Быть знаменитым некрасиво». Пастернаковские чтения. М.,
1992. С. 51–52).

Биографический комментарий к стих, неизвестен. Возможно, те же впечатления
отразились на описании швейной мастерской Левиц-кой у Триумфальных ворот в
романе «Доктор Живаго»: «Как очумелые, крутились швейные машины под
опускающимися ногами или порха-ющими руками усталых мастериц <...> Разговаривать
приходилось громко, чтобы перекричать стук швейных машин и переливчатые трели
Кирилла Модестовича, канарейки в клетке под оконным сводом...» (ср.: Канарейка
об сумерки клюв свой стачивала...).

«Как казначей последней из планет...» – сб. «Взял. Барабан футури-стов». Пг.,
1915.

– Барьеры-17, отчеркнуты строфы 5–16, остальные вычеркнуты. Имеются отметки,
судя по которым выбранные строфы должны были быть включены в стих. «Скрипка
Паганини». – «Поверх барьеров» 1917 с дарственной надписью С. Рубановичу (собр.
Вяч. Вс. Иванова) – ст. 12 исправлена автором: По воле дней – на волю их
буксира.

Стих, обращено к Н. М. Синяковой, в замужестве Пичета. Ситуа-ция подчиненности
женщины своему прошлому (в бывшее ведущую дверь), ставшая содержанием этого
стих., разработана в романе «Доктор Жива-го» на отношениях Ларисы
Пиар-Антиповой и Комаровского, симво-лом которых стал образ кукольника и
марионетки: «Зрелище порабо-щения девушки было неисповедимо таинственно и
беззастенчиво от-кровенно. Противоречивые чувства теснились в груди у него»
(Юры. – Е. П.). ...ревнивой тоски сулема. Сулема – хлорид ртути, сильный яд.
Ме-тафора поэта как казначей человечества связана с замыслом статьи об искусстве
как казенной палате, которая ведает ревизиями податного со-словия человечества.
Во что душе обходится поэт, / Любви, людей и весен содержание? – В письме родителям
7 февр. 1917 г., где излагался замы-сел статьи, Пастернак писал, что «чувства
живые <...> которые каждый носит в себе <...> находятя на содержание у
человечества», которое об-лагается ревизиями в пользу искусства, и «чиновник»
этой казенной па-латы – казначей рад/душеизнурительной цифре затрат, / <...> На
со-держание трагедий, царств и химер (см. коммент. к стих. «Посвящение», 1916).
Сохранился набросок теоретической статьи Боброва о поэзии, на-званной по первой
строке стих. Пастернака «Казначей последней из пла-нет» (РГАЛИ, ф. 2554).
Мельницы. – Барьеры-17, под назв. «Безветрие»; варианты: ст. 2: Над тьмой, над
отдаленным лаем

ст. 11: Когда и ветряные мельницы

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас

ст. 20–21: У пыли, головокружительной пыли И у плясовых головешек костров.

ст. 32: Во впадинах ночных могильных ям.

ст. 36–38: Что, право, не всегда легко.

Они духоту на муку перемалывают И тугое зерно кучевых облаков.

Стих, написано под впечатлением поездки в июле 1915 г. в село Красная Поляна Харьковского уезда. И они огромны, как мысли гениев, / И тяжеловесны, как их слова... – вероятно ассоциация с характером по-этики и человеческого облика Маяковского, посвящ. которому Пастернак хотел поставить при переиздании этого стих, в 1928 г. ...к саженым глазам, <... > Наподобие общих могильных ям. – Ср.: «Ямами двух могил / Вырылись на лице твоём глаза» – из поэмы Маяковского «Флейта-по-звоночник». «Изображение "эталоны чрезвычайных свойств и масштабов поэтического призвания"» увидел в этом стих. В. Н. Альфонсов (По-эзия Б. Пастернака. С. 40–41).

Матеріа prima. – Авт. датировка: 1914. Назв. стих. – термин фило-софии Аристотеля («Метафизика»), первоматерия – конечная градация материи, наиболее чистая материя, о которой невозможно сказать, из чего она состоит. Окно на Софийскую набережную... – осенью 1913 г. Пастернак поселился в маленькой комнате в Лебяжьем переулке с окном на Кремль и Большой Каменный мост. ...пускаются 3д реку... – то есть в Замоскворечье, где жили Синяковы.

«Срассветом, взваленнымзй спину...» – авт. датировка: 1914. Пор-томойные – связанные со стиркой.

Предчувствие. – В книге «Поверх барьеров» 1917, подаренной В. Г. Лидину, сделано примеч.: «"Предчувствие" и "но почему связать чертой". То есть "Предчувствие" в двух частях» (Собр. Е. В. Лидиной). – Барьеры–17 – новое заглавие «Наступление» заменено на «Предчувст-вие весны»; вариант

ст. 15: Отяжеленному телу.

Но почему. – Авт. датировка: 1915. – Барьеры–17 – новое назв.: «Рассеянность», варианты, записанные длинными строками. Вместо ст. 1–16:

Я не пойму:
 На медленном огне предчувствия сплавляют зиму. Но почему
 И сам, как эхо захохотустья, уязвим я?
 Парная муть
 Покрыла прутья испареньем водогреен. Но почему,
 Как снег под баком водогрейни, я рассеян? И облака
 Раздольем моего ночного мозга Плывут, пока
 С земли чудной их не окликнет возглас, ст. 17: А волоса
 ст. 30–31: Тетка отпелель крадется с краденым,
 Глянешь вспать, ст. 37: Как понять?
 Скрипка Паганини. – Барьеры–17, отмечены отрывки 3-й и 4-й, которые автор предполагал предварить строфами 5–16 стих. «Как казначей последней из планет...» и закончить отрывком 6-м из «Скрипки Паганини». Сделаны авт. объяснения для машинистки. Ва-рианты:

3, ст. 3: Но на что тебе, впрочем, надеяться?
 4, ст. 7: От неловкой толпы, как шахтерку, 6, ст. 2: Две души в
 бедном теле моем.
 ст. 4: Им несносно и душно вдвоем;
 Автограф отрывка 4-го; вариант
 ст. 5: С заскорузлой от музыки коркой
 (В письме М. Цветаевой 14 июня 1924. РГАЛИ, ф. 1190).

Жмени – горсть (укр.). Стих, посвящено Н. М. Синяковой, и это слово характеризует ее речь (см. письмо М. Цветаевой 7 июня 1926). Музыкальные метафоры стих, обусловлены тем, что Н. М. Синякова-Пичета была пианисткой.

Баллада. – Барьеры–17; варианты : ст. 42–43: А главное, затем, что рядом шумит монетный двор дождя, ст. 44–45: Мне надо его. Низвергаясь со ската Его гербом по каретной коре, ст. 44–47: Он прыгает с досчатых скатов, Гербом каретным льнет к коре, Чеканит из кремня дукаты

И медью плещет на дворе, ст. 49: И листья, как цинковые цехины ст. 64:
 Впустите меня. Я достоин. Право, – Оскрётки большака. – Осколки, обломки камня, которыми мос-тят дороги. Затем, что, дыханья не переводя, / Мутясь, мятется ночь

измлада... – воспоминания о ночном пробуждении во время домашнего концерта 23 нояб. 1894 г. О нем Пастернак писал в «Охранной грамоте» и очерке «Люди и положения». Я несся бедой в проводах телеграфа... (Ср.: Отрывистость азбуки Морзе...) – речь идет о послании, трагически важ-ном сообщении поэта. Когда в дремоносные сосны органа/впился – весь отчаянье – вопль пустельги. – Этот эпизод соотносится с новеллой «Ис-тория одной контроктавы» (1916), где органист нечаянно убивает свое-го сына механикой органа «и из грандиозного бастиона труб

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас и клапанов рванулся какой-то нечеловеческий крик, нечеловеческий оттого, что он казался принадлежащим человеку». Следующее стих. «Не как люди, не еженедельно...» – служит как бы продолжением «Баллады», словами поэта, обращенными к Творцу. См. коммент. к этому стих. С. 440.

«Вслед за мной все зовут вас барышней...» – авт. датировка: 1914. Стих, обращено к Н. М. Синяковой (в замужестве Пичета). Барышней обычно называли девушку, а не замужнюю женщину. Как акт положенья наручной... – свое первое «ощущение женщины» Пастернак в «Охранной грамоте» связывал с впечатлением от дагомейских амазонок в 1901 г., когда он «увидал на них форму невольниц». Ср. также: «...вне железа я не мог теперь думать уже и о ней, и любил только в железе (то есть в оковах. – Е. П.), только пленницу, только за холодный пот, в котором красота отбивает свою повинность» («Охранная грамота», 1931).

Pro domo. – Авт. датировка: 1914. Pro domo – назв. речи Цицерона, сказанной в свою защиту – о себе самом: «Pro domo sua» (57 год). За-трепыхалась в тяге / Сального огарка. – Характерная для Пастернака ассоциация творческого вдохновения с пламенем свечи, колеблемой на сквозняке. Ср. в «Вариации 3» («Мчались звезды. В море мылись мысы...») строки: «Плыли свечи. Черновик "Пророка"/ Просыхал...» (1918).

«Порою ты, опередив...» – обращено к Н. Синяковой.

Appassionato. – Обращено к Н. Синяковой. Повторяет назв. сона-ты Бетховена JSfe 23: «Appassionata» («Страстная»).

Последний день Помпеи. – Назв. дано в честь знаменитой картины К. Брюллова, посвященной гибели римского города, заливаемого рас-каленной лавой Везувия. – Барьеры-17, стих, было переписано для переиздания, но не во-шло в него («Другие редакции и варианты». С. 384).

«За окнами давка, толпится листва...» – см. коммент. к стих. «По-сле дождя». С. 446.

«Разве только по канавам...» – см. коммент. к стих. «Весна», 3 («Раз-ве только грязь видна вам...»). С. 444. Две последние строфы относятся к началу войны. Л нынче и мысли, и воздух, и воля/Из ветра, из пыли, из серого дерева. / Вчера еще были ристанья и пренья... – имеется в виду столкновение двух литературных групп в начале мая 1914 г., когда Пас-тернак познакомился с Маяковским. «Это был май четырнадцатого года. Превратности истории были так близко. Но кто о них думал?» («Охран-ная грамота», 1931).

«Это мои, это мои...» – стих, посвящено позднему наступлению весны на Урале. «Заря на севере». – Барьеры-17, заглавие «Речной ледоход», затем: «Ледоход»; варианты:

ст. 2: Земли с распахнутою грудью
ст. 4: Пгядят и зябнут в изумруде,
ст. 23–24: И сонных ненасытных глыб
Икающие пережевы. См. коммент. к стих. «Ледоход». С. 442.

«Кокошник нахлобучила...» – см. коммент. к стих. «Ивака». С. 444.

Прощанье. – Пастернак уезжал из Красной Поляны в 20-х числа июля 1915 г. Обращено к Н. Синяковой.

Муза девятьсот девятого. – В своих автобиографических очерках Пастернак датирует разрыв с музыкой весной 1909 г. Стих, стало при-знанием, что этот год фактически был началом его литературных опы-тов. Впервые Пастернак употребляет традиционное наименование музы для обозначения поэтического вдохновения. ...опыленная дочерна/Гро-мом, как крылья крапивниц! – Образ творческого горения, характерный для Пастернака. Ср.: «Я люблю тебя черной от сажи...» и т. д. из «Скрипки Паганини». Или: «Нас мало. Нас может быть трое / Донецких, горючих и адских...» (1921). Крапивница – бабочка с черной каймой по краям крыльев. Твой же глагол их осиливал... – здесь кроется причина смены занятий музыкой занятиями литературой, глагол которой «осиливал» клубы догадок полуденных, – то есть происходило называние неназван-ного.

Марбург. – См. коммент. к одноименному стих. С. 451. Авт. машин, стих., сделанная на типографских бланках «Канторы имения и Ураль-ских заводов ея превосходительства Зинаиды Григорьевны Резвой. Продажа Уксусно-кислой извести, ацетона, спирта древесного, разных градусов хлороформа и древ, угля», с дарственной надписью Збарской:

«Из Марбургских воспоминаний – черновой фрагмент фанни Нико-лаевне в память Энеева вечера возникновения сих воспоминаний. Бо-рис Пастернак. 10.V.1916» (собр. И. Б. Збарского). Варианты:

ст. 8: Под головою – подушка для ног.
ст. 26: Шел рядом, шел следом, шел о бок, особо,
Веселую атмосферу «Энеева вечера» воспоминаний частично по-могает восстановить зачеркнутая надпись Пастернака на обороте пред-последней страницы:
«Meuve'UT6'uJev6'u. Remember of the guest. Memento me! Люди! Здесь кровью сердца

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
 была сделана надпись! И ей не понра-вилось! Что вы скажете, люди! А? Нет,
 послушайте, что вы скажете. Те-перь бедная таблица умножения должна раскаляться
 на этих угольях. И это летом?» (Помни о госте – греч. и англ. Помни обо мне –
 лат.). Поверх таблицы умножения написано простым карандашом: «Фанни Николаевне
 Г-же Збарской на добрую память о дивных вечерах за си-фоном от Бориса
 Пастернака. Всеволодо-Вильва».

Пеньюар был тонок, как хитон. – См. также: ...мой друг в мати-нэ?– В написанном
 одновременно со стих, письмо отцу 10–15 мая 1916 г. И. Высоцкая названа «другом
 детства в тончайшем пенюаре». Матинэ – утренний халат (фр.). Пошлая интонация и
 лексика первых строф (извиняюсь, танцкласс, кружево, хитон, линолеум),
 нехарактер-ная для Пастернака, возможно, отражают стиль речи и образ жизни
 богатого дома Высоцких. Сейчас, вспоминаю, стоял на мосту... – ти-пичная поза
 самоубийцы. Ср. Раскольников в «Преступлении и нака-зании», «Поэма Конца» М.
 Цветаевой, картина Л. О. Пастернака «На мосту» («Брошенные», 1894), изображающая
 мать с ребенком, «Чело-век» Маяковского (1916) и др.

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ (С. 379)

Город (Отрывки целого). – альм. «Лирень», под назв. «Город. От-рывки целого»,
 дата: «1916 г. Тихие Горы».

Это «Бесы», «Подросток» и «Бедные люди» – романы Достоевско-го; два последних
 рисуют страшный мир Петербурга. Сандрильона – Золушка из сказки Шарля Перро.
 Бовари – героиня романа Флобера «Госпожа Бовари» (1857).

«Второе июля. Три часа утра...» – Новый журнал (Нью-Йорк), 1984, № 156. –
 Черновой набросок стих. «Еще более душный рассвет» (Уитни).

Ипсвич – город в юго-западной Англии. Отель Бристоль – распро-страненное
 название гостиниц, вероятно, именно оно вызвало ассоци-ацию с «Ипсвичем».

Другие редакции и варианты

Бабочка-буря. – Автограф 1923 г. (собр. В. В. Катаняна). См. ком-мент. к
 одноименному стих. С. 504.

Высокая болезнь. – Ранняя редакция поэмы – журн. «ЛЕФ», 1924,
 №4.

–Автограф 1923 г. (РГАЛИ, ф. 379), ст. 1–305 ранней редакции, ва-рианты:
 ст. 78: Его, ругая, поносила между ст. 88 и 89:
 [А между дам, чьих ради благ
 Стрелялся рыцарь и вахлак
 Росла к нему в глухих углах
 Вражда за то, зачем не шире
 Себя порол при харакири], ст. 164: И тут же [шалую] резвую хвостунью ст.
 194: Не возражайте мне, мой друг, ст. 203–205: И пропасть пленных
 волоклось
 В седых лассо ее волос.

И – апогей надежд тогдашних ст. 210–211: Стан, разбираемый на спал!
 Кто в ночи те с тобой не спал, ст. 237: С исчезновеньем костылей ст. 262:
 Упало сердце, птицы, рельсы, – Экз. журн. «ЛЕФ» с авт. правкой; вариант ст.
 159: В сопровождении обид.

ст. 235–236 вычеркнуты, ст. 342, 370 – как в окончательном тексте (ст. 241, 269).
 Керенки – деньги, выпущенные Временным правительством, быст-ро обесценившиеся.
 Це-дур (муз.) – тональность до мажор. Максим – наиболее распространенный тип
 станкового пулемета. Сухарева башня – построена Петром I в 1701 г., в 1920-е гг.
 была местом рынка, разрушена в 1930-е гг. при расширении Садового конца. Однажды
 Гегель ненароком <...> Назвал историка пророком, / Предсказывающим назад. – Это
 определение впервые дано Ф. Шлегелем в работе «Атенеум. Фрагменты», 80 (1798).

Любка. – Корректирный лист журн. «Звезда» (собр. В. Н. Орлова. Музей А. Блока в
 Петербурге) – Автограф, посланный Ж. Л. Пастернак 13 июня 1927 г., 1–3-я и 6-я
 строфы ранней редакции; варианты:
 ст. 3: Лист ландыша с расплюснутой блесной.
 ст. 6: Задоренных до мушки в каждой мочке.
 ст. 23: Зову и я зимой, когда далек

Стихотворение предварялось словами: «Если прилагаемый набро-сок я отделаю, то
 посвящу его тебе». – Черновой набросок 5–6-й строф ранней редакции; варианты:
 ст. 21–24: Поэт, дыша внушеньем орхидей,
 Не поперхнись их пряностью, но разве Люби, как лес, в последней верхоте
 Кружащийся над чистотой и грязью, ст. 26: Моя жена и сын – ночной
 фиалкой. Цветов ничтожных мира, может быть, / Они всего ничтожнее, пока в них...
 – парафраз строк Пушкина из стих. «Поэт» (1827) («Пока не требует поэта...»): «И
 меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он». Намеченная здесь
 аналогия осталась недоделанной и потому была снята в окончательной редакции.
 Зовут ихлюбкой. Алек-сандр Блок <...>– ночной фиалкой. – Имеется в виду поэма А.
 Блока «Ночная фиалка» (1906).

е сочинений в одиннадцати томах. Том 1. Стихотворения, 1912–1931 гг. Борис Леонидович Пастернак рас
Е. Б. Пастернак, Е. В. Пастернак

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://pasternakboris.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!